
**НОВЫЙ
ЖУРНАЛ**

V

НЬЮ-Йорк

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW
RUSSIAN QUARTERLY

под редакцией

М. М. КАРПОВИЧА и М. О. ЦЕТЛИНА

V

40 экземпляров V книги «Нового
Журнала» напечатаны на особой
бумаге.

Экз. №

НЬЮ - ЙОРК

1943

Copyright 1943 by the New Review
(«Новый Журнал»)
All Rights reserved.

Printed by
GREINICH PRINTING CORP.
151 W. 25th St., N. Y. C.



О Г Л А В Л Е Н І Е.

М. А. Осоргин. — Времена	5
М. В. Добужинскій. — О Художественном Театрѣ	23
Нина Федорова. — Талант.	63
Г. Д. Гребенщиков. — В просторах Америки	68
Н. В. Кодрянская. — Марія Безрадостная	77
Андрей Съдых. — «Гидра», Керчь	91
Е. Рубисова. — Мѣрка масштаба	97
Мих. Цетлин. —	
Стасов и Могучая Кучка	101
«Замерзаніе» Балакирева	125
С Т И Х И :	
Леонида Гребнева, М. Желѣзнава, Елены Крыленко, Татіаны	
Остроумовой, Юрія Терапіано	137
ВОПРОСЫ ДНЯ:	
Ю. П. Денике. — Размышленія о власти	142
Г. П. Федотов. — Загадки Россіи	161
РОССІЯ И ВОЙНА:	
Н. С. Тимашев. — Война и религія в Совѣтской Россіи	182
ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА:	
Б. И. Николаевскій. — Совѣтско-японск. соглашеніе 1925 г. ...	198
М. В. Вишняк. — На Родинѣ. На чужбинѣ	241

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

- В. М. Чернов.** — Два полюса духовнаго скитальчества 261
И. С. Яссер. — Мысли об искусствѣ 275
Ю. Л. Сазонова. — Письма Райнер Маріа Рильке 281

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

- В. Н. Ипатьев.** — Наука в современной Россіи 293
А. Т. Гречанинов. — Добрыня Никитич 303
І. В. Гессен. — Из воспоминаній 313
А. Ф. Керенскій. — П. Н. Милюков 328
М. А. Алданов. — Памяти П. Н. Милюкова 337
М. М. Карпович. — Памяти Н. Д. Авксентьева 343
В. М. Чернов. — Н. Д. Авксентьев в молодости 344
М. А. Алданов. — С. В. Рахманинов 353
М. О. Цетлин. — К. Д. Бальмонт. 356

БИБЛИОГРАФІЯ И ЗАМѢТКИ:

- Б. Н—скаго, Д. Н. Шуба, Елены Извольской, Д. Д., Х. Кротковой, Ц., Вѣры Александровой, Вѣры Коварской** 364

Обложка работы худ. **А. Н. Прегель.**

Вслѣдствіе болѣзни М. А. Алданова, в настоящей книгѣ «Новаго Журнала» не может бть помѣщен второй отрывок из его романа «Истоки». Этот отрывок появится в шестой книгѣ. В ней будут также помѣщены статьи М. М. Карповича о П. Н. Милюковѣ и о І. В. Гессенѣ, Н. П. Вакара о П. Н. Милюковѣ и о книгѣ проф. Питирима Сорокина, Б. И. Николаевского о д-рѣ С. М. Ингерманѣ и о А. Н. Минор, М. В. Добужинскаго о М. М. Фокинѣ, проф. Р. О. Якобсона о польском сборникѣ «Пушкин», М. Л. о В. Андри.

ВРЕМЕНА

Какое прекрасное сентябрьское утро! Сияет свѣтом наша улочка, огороды залиты золотом, за ними идет низина, по которой моими рыбацкими ногами протоптана тропинка к рѣкѣ. Одинокая пара среди чужих людей, в чужой странѣ, сиротливые, нищіе, мы в иные дни все-же хотим улыбаться. Иностранцы, да еще русскіе, мы стали узниками привѣтливаго французскаго мѣстечка, куда спаслись бѣженцами в дни военной угрозы Парижу. Теперь лишены права и возможности передвиженія. Но в любую минуту я могу взять свои удочки и пойти на рѣчку Шэр. Она малорыбна, но очень красива; за рѣкой занятая нѣмцами Франція, — тѣми самыми нѣмцами, которые сейчас стараются раздавить Россію. В мои записки о прошлом невольно вплетаются нити настоящаго, но для читателя оно будет тоже прошлым, — для читателя, уже знающаго то, чего я еще не знаю. Впрочем, мнѣ некуда торопиться в этой книгѣ, начатой до войны и все еще ее не догнавшей.

Жизнь — картинная галерея. По улицѣ, на которую выходит окно нашей хибарки, скоро потянутся повозки 'с виноградом и тѣ незамысловатыя давилъныя машины, залитыя кровавым соком, которыя странствуют по дворам мѣстечка в дни винограднаго сбора. Однако, по ходу моего разсказа, естественнѣе смотрѣть из другого окна на засыпанную снѣгом, нечищенную Проломную улицу Казани. Там рѣчки Казанка и Булат, обѣ впадают в широкую Волгу, отдѣленную от города семью верстами унылых песков, зимой — снѣжной поляной, изрѣзанной немногими дорогами. В теплом кожаном полушубкѣ и валенках я брожу по казанскому базару, гдѣ прямо на снѣгу раскинулась мелочная торговля старѣвщи-

ков. Среди бытовой дряни — несчетныя богатства, и я охотно накопил бы на свои гроши кучу музейных цѣнностей, если бы был человѣкомъ с будущимъ и с прочнымъ пристанищемъ: томики безцѣнныхъ уникумовъ, рукописныхъ старообрядческихъ книгъ с цвѣтными рисунками, чашки и чайники знаменитаго Поповскаго фарфора, бисерныя вязанья, чудесныя коврики, и все — почти что даромъ, по цѣнѣ щепотки ржаной муки. Мой знакомый, не богаче меня, но здѣшній человѣкъ, завалилъ книгами двѣ комнаты от полу до потолка, утонулъ в нихъ в счастливомъ недоумѣніи; онъ не искусенъ в отборѣ и бросается на все с одинаковой библиофильскою жадностью. Полки кооперативнаго музея ломаются от новыхъ случайныхъ поступленій — образцовъ мѣстнаго искусства и осколковъ любительскихъ коллекцій. Гдѣ бывшіе хозяева этихъ разбитыхъ сокровищъ? Не они ли ушли в Сибирь и дальше с прошедшими черезъ Казань добровольцами и чехословацкими отрядами?

На базарѣ пахнетъ эфиромъ и одеколономъ, замѣнившими водку; до чего богата Россія! Бывшій дворникъ дома, гдѣ я живу, теперь оказавшійся не у дѣла, такъ какъ дворники отмѣнены и дома стали ничьими, ввалился ко мнѣ божественно пьяный и насквозь проэфиренный, грохнулся на колѣни, поклонился до земли и промывчал: «Простите меня, барин!» Я вижу его в первый разъ, прощать его мнѣ не за что. Пьяная отрыжка рабскаго духа. Толкаю его в бокъ носкомъ валенка: «Встань, пьяная рожа, постыдись, вѣдь ты — гражданин!» Онъ обидѣлся: «Чего же ты дерешься? Я по хорошему пришелъ. Драться нынче не приказано». Глаза красныя, в войлокъ свалена борода; хоть бы догадался ударить меня, все же было бы мнѣ легче. Вытолкалъ его за дверь: «Ступай, проспись, проснувшійся народ!» Хожу весь день мрачный, не могу забыть оскорбительнаго «барина». Подъ вечеръ я зашелъ в открывшуюся дешевую столовую, цѣлое событіе для Казани, гдѣ нѣтъ, конечно, ресторановъ, какъ и вообще частной торговли; какъ возникла эта — неизвѣстно, и почему ее терпятъ; вообще в провинціи новый строй путается со старымъ, никто ничего понять

не может. В столовой дали неплохую котлету, то-ли мясную, то-ли из чего-то, напоминающего рубленое мясо; и дали ломоть хлѣба, слишком чернаго, но словно-бы настоящаго. Чудеса! Под стол забралась собака, путается у моих ног. Хотѣл дать бѣднягѣ хлѣбную корочку, сунул под стол: «Эй гдѣ ты там?» — и собака выхватила корку синими дѣтскими пальцами. В ужасѣ отнял руку: это голодный татарченок. Женщина, служащая столовой, говорит: «Ничего не могу с ними подѣлать, вползают в дверь, как клопы, забираются под стол, крошки собирают. Главное очень вшивые они. Иди, мальчик, иди на улицу, здѣсь нельзя!» Маленькій скелет выползает и ухмыляется. Я вышел из столовой отравленным.

С Казанью меня роднят семейныя воспоминанія. В казанском университетѣ учились мой отец, дядя и старшій брат. Гимназистом я посылал свои первыя статьи в казанскую газету и даже полемизировал с сотрудником другой здѣшней газеты, тоже прятавшимся под буквами; я был очень доволен и горд, узнав стороною, что это — прокурор окружн. суда. Студентом из Москвы в Пермь и обратно на лѣтніе каникулы, я ѣздил пароходом по Волгѣ и Камѣ, и Казань была серединой пути. Старался попасть на один из мощных пароходов Ольги Курбатовой, тянувшій за собою баржу; пароходы были прекрасно оборудованы, проѣзд на них дешев, буфет превосходен, и шли они не трое, а пятеро суток — два лишних дня рѣчного наслажденія. Я не люблю моря, оно скучно и однообразно; но плыть по большой рѣкѣ с измѣнчивыми берегами — высокое наслажденіе. В Казани было нѣсколько часов остановки, и я ѣздил в город посмотреть на Кремль и Сююмбекову башню; есть какая-то легенда о ней, — не помню. С почтеніем смотрѣл на казанскій университет, питомцем котораго был и Лев Толстой. Теперь я был частым гостем в стѣнах этого университета, хотя большинство его лучших профессоров ушло вслѣд за чехословаками в Сибирь; дальше их путь — на Дальній Восток, в Китай, в Японію, оттуда океанами в мѣста

россійскаго разсѣянiя — в Америку, в Австралію, чорт знает куда и зачѣм, а кто мог — в Европу. Великій исход, переселеніе народов, гигантская чепуха. Оставшіеся робки, запуганы, безцвѣтны и уже уступают мѣсто людям большой воли и малой грамотности, «красной профессурѣ», путающей науку с политикой, труды великих с пропагандными брошюрками. Новая страничка в исторіи многострадальнаго города. Когда то его разоряли междоусобiя, он долго боролся с Москвой, был завоеван, спустя два вѣка разграблен Пугачевым, много раз выгорал до тла. Его исторiя любопытна, но это не значит, что жить в нем занятно, в особенности суровой зимой. И я мечтал вернуться в Москву; об этом хлопотали мои друзья. Гражданская война кончилась, может быть наладится какая-нибудь жизнь. Мои бывшіе спутники, члены нашего Комитета, тоже хотят избавиться от ссылки, а пока, вѣроятно, гонят смолу и готовятся сплавлять лѣс на Волгу по веснѣ; они мечтали уплыть на плотках из своей ссыльной дыры, — люди бодрые, здоровые, способные строить новую Россію. Ничего о них не знаю, мнѣ не удалось больше с ними встрѣтиться; но они, конечно, в Россіи, а не в глухом французском мѣстечкѣ.

Весной мнѣ разрѣшили вернуться в Москву «для лѣченiя»; это было тѣм прiятнѣе, что я был здоров. Немногіе казанскіе друзья устроили мнѣ проводы и какими-то путями выхлопотали проѣзд в удобном «служебном» вагонѣ; преимущество огромное, так как нѣсколько боится от сыпнаго тифа, грозы путешественников. Вагон довольно опрятен, у меня отдѣльное купе, другое купе на затворѣ, и только еще в одном ѣдут чины военной охраны. Выйдя на остановкѣ на перон, слышу за спиной шопот: «Ихній комиссар!» Возможно, что и стража считает меня тайно подсаженным для контроля важным чиновником, — сейчас вѣдь не разберешься, почему ѣдет человек в вагонѣ финансоваго вѣдомства; смотрят почтительно, уступают дорогу. И только в Москвѣ я узнал, что

ѣхал в вагонѣ, нагруженном отобранными в церквах цѣнностями.

Московскій вокзал. Какіе-то заградительные отряды, заставы, провѣрка багажа. У меня ничего нѣтъ, кромѣ худого чемоданчика. На площади ни одного извозчика. Пріятно прогуляться пѣшком через всю Москву по знакомым улицам. Был я преступником, мнѣ угрожала смерть. Теперь, как будто, свободен. Не мало прелести в революціонной нелѣпости. Любопытно, что у меня нѣтъ никаких бумаг, и кто я — неизвѣстно; но квартира осталась, и в ней мои книги, собранныя так любовно. На углах улиц бывшіе люди и мальчики продают что-то вродѣ бѣлых булочек. В воздухѣ — «новая экономическая политика». По пути встрѣчаются магазины с тщательно протертыми тряпкой стеклами и с подобіем витрины; частные магазины! Но люди еще остаются «сумчатыми», с мѣшками за спиной, иные толкают впереди себя дѣтскую коляску, очевидно для перевозки продуктов питания. Улица, на которой я живу, переименована. Звонок не дѣйствует — стучу. Я дома.

Я пробыл в казанской ссылкѣ всего полгода, и не считаю это время в жизни потерянным; вездѣ есть люди, и хорошіе люди, всюду — общенія, о которых остается благодарная память. Комната с самодѣльной мебелью, полѣница березовых дров в передней, сносное питаніе (я получал обильный «кооперативный» паек на своей службѣ), своя кулинарія, великолѣпные казанскіе морозы, литературныя бесѣды в малой университетской аудиторіи, новогодніе пельмени в кругу актеров мѣстнаго театра, мирные вечера в семьѣ сосѣда по квартирѣ, ласка моих молодых литературных друзей, сотрудников по газетѣ и по устройству в Казани книжной лавки, — мнѣ рѣшительно не на что жаловаться. Но оказаться в роли и в положеніи «врага революціи» и политическаго ссыльнаго, — мнѣ, со студенческих лѣтъ включавшему эту революцію в

программу своей жизни, со всѣми послѣдствіями, — это, конечно, не могло пройти безслѣдно. Я еще не ясно понимал то, что твердо знаю сейчас, когда тѣм же словом «революція», которое для нас было не только священным, но и исполненным опредѣленнаго содержанія, синонимом политической свободы, стали прикрывать наихудшій деспотизм и величайшее насиліе над личностью человѣка. Какой диктатор не использовал этого краденаго слова? Какія гражданскія цѣпи не выкованы из понятія «свободы»? Мы были послѣдним поколѣніем чистых и цѣльных иллюзій, могиканами наивных вѣрованій. И это наша вина: нужно было внимательнѣе вглядываться в глубь исторіи.

Эта краткая исповѣдь не ради политических высказываній. Ею я хотѣл бы только пояснить, почему тѣ дни стали для меня, как для многих, как бы пограничными в духовном состояніи: днями не полной утраты — далеко нѣтъ! — а кризиса прежних вѣрованій, неумолимых к ним реальных поправок. Но это не значит — духовной пространства! Мы оставались живыми людьми.

Несмотря ни на что, наша духовная жизнь была чрезвычайно богата, — или мнѣ это кажется сейчас, по контрасту с копотью прозябанья в заграничном русском разсѣяніи, по еще пушему контрасту с сегодняшним днем сидѣнія в глухом французском мѣстечкѣ, в трагическом духовном одиноществѣ, в однообразіи мелькающих дней. Нѣтъ, в тѣ дни мы все таки пили из полных чаш настоящее вино жизни. В нищетѣ, в растерянности быта, в неувѣренности дня и ночи, в бучѣ важнаго, ничтожнаго, грознаго, смѣшнаго, в грохотѣ разрушеній и фантастических планах созиданій, мы боролись за будущее, в которое может быть по инерціи продолжали вѣрить. Во всяком случаѣ мы жили необычайной, неповторяющейся жизнью, — дух никогда не угасал. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нас тогда мечтал промѣнять эту жизнь на затхлость буржуазнаго покоя, на кофей с булочками, воскресный отдых, умѣренные идеалы и их постепенное дости-

женіе. Вѣчно предстоя пропасти, мы все-таки жили в странѣ и в эпоху необычайных возможностей. Пляска смерти на богатѣйшей, плодоносящей почвѣ, великолѣпныя грозы, разливы великих рѣкъ, неожиданности пробужденій, — этого не выразить ни словами, ни образами, это нужно было пережить в рѣдком сознаніи каждым себя — страной и народом. Мнѣ, европейцу, Европа вспоминалась безвкусным блюдом зеленого горошка под кисло-сладким соусом, старушкой в чепчикѣ, чиновником на покоѣ. Расширенными зрачками мы смотрѣли на нашу Россію, настороженным ухом ловили музыку будущаго в дикой какофоніи рычанія, плача и восторженности. Именно тогда произошло первое отравленіе русских Россіей, приведшее позже к изумительной слѣпотѣ, к убѣжденію в миссіонерствѣ, к принятію ученія о непогрѣшимости всѣх россійских начинаній, от соціальнаго строительства до московской подземной дороги. Здоровое и радостное чувство, позже вытянутое хлыстом и ставшее официальным, претворилось в изувѣрство и самодовольство. Но если свобода стала политической каррикатурой, с «отцом народов», замѣнившим «царя-багюшку», то виноват ли в этом сам народ, впервые научившійся читать по складам брошенную ему книжку с картинками и сразу почувствовавшій себя студентом? Раньше дѣлившаяся неравно на кучку высококультурных и миллионы безграмотных, Россія стала вся поголовно полуграмотной в изумительном поравненіи сверху донизу, от властей до рабов, от писателя до писаря, от «рабочаго у станка» до «служителя искусства».

Я пишу о переживаніях кругов избранных, об умственных верхах, но то же и большее испытывали слои, с ними соприкасавшіеся или раньше им чужіе, среда рабочая, обласканная общаніями, среда крестьянская, впервые окрещенная в гражданство. О необычайном, широчайшем пробужденіи сознанія в этих слоях свидѣтельствует быстро развившійся в Россіи спрос на книгу, при первой возможности показавшую миллионные тиражи, тяга к знанію, заполнившая школы и

университеты, появленіе новой интеллигенціи, еще малосознательной, но почвенной, с мозгом, взвихренным внезапностью пробужденія, с упрощенными методами мышленія, с особым, ломанным, полународным, полукнижным языком, которым и до сих пор говорит Россія в быту и в покаръченной литературѣ. При огромных пространствах Россіи, это пробужденіе и сейчас не завершено и не вошло в прочное русло. Издали оно нам кажется искусственным и, как бы, простацким, повторяющим налету схваченныя и заученныя фразы, — в чем много правды, — но не может быть сомнѣнія в огромности его значенія. Им пытались и пытаются руководить сверху, завивая недоразвитые мозги марксистским штопором, сводя сознание к готовым формулам, иногда не без успѣха, но это не страшно при наших масштабах, это смоется в огромных потоках. Безгранична разница между европейским рабочим, удовлетворенным пропагандистской брошюркой и по ней строящим свое политическое сознание, и русским трудящимся человеком, жадным до знаній положительных, которыя для него не приправа к быту, а откровение, и горизонты котораго настолько же обширнѣе, насколько сама Россія шире, моложе, свѣжѣе, сочнѣе и богаче своей престарѣлой сосѣдки.

Охотно отдаю страницы воспоминаніям о м о е й Россіи, какой я ее знал, какой цѣнил и как воспринимал. Но это уже послѣднія о ней страницы; сейчас онѣ оборвутся для меня, и жизнь не в первый раз швырнет меня за борт. Хочу, чтобы в памяти осталось как можно больше лучшего, что в Россіи есть: зеленого шума и рѣчных струй, земных испареній, мирнаго произрастанія, неоглядных далей. Я пользуюсь ранним лѣтом и бѣгу в деревню, на берег Москва-рѣчки, рѣчки-невелички, но извиистой и свѣтлой, к соснам и лиственным рощам, к коврам озимых хлѣбов, к концерту іюньских жуков, лягушек, мошкары и дрожащих листьев.

Уѣхать из Москвы в деревню Борвиху не так просто.

На вокзал итти пѣшком, потому что извозчики раз'ѣхались по деревням на сельскія работы; денег им не нужно, а не голодать можно только близ земли. Поѣзда существуют, но нѣтъ для них точнаго расписанія. Добравшись до маленькой станціи, шагай опять пѣшком два-три часа через поля, краткой дорогой через овраги, болотцем по кочкам, лѣсом по корням деревьев случайной тропой. То солнце, то лѣсная полутьма, то дух медвяный, то хвойный. Изба в деревнѣ снята раньше, мы дѣлим ее пополам с семьей моего друга философа, культурнѣйшаго и превосходнаго человѣка, глубокаго, терпимаго, с судьбой котораго и дальше совпадает моя судьба, лишь с той разницей, что он проживает двадцать лѣтъ в Кламарѣ, я — в Парижѣ. В деревнѣ я немедленно дичаю — в одеждѣ, в повадках, в распредѣленіи времени; ранней зарей на рѣчкѣ, сплю, когда сморит усталость, пишу урывками, поймавъ мысль на лету, увлекшись образом. Он — как бы на подлинной дачѣ, жизнь — правильным здоровым темпом, сам в свѣтлом костюмѣ, даже в галстукѣ легкаго батиста, днем за работой, под вечер в пріятных и полезных прогулках за ягодой, за еловыми шишками для растопки самовара; для шишек берет с собой легкій чемоданчик. Наслаждаясь природой, он разумно мыслит, — я попросту пьян лѣсом, рѣкой, полями. Будто бы я пишу свой роман, но роман сам пишется в головѣ, а я больше валяюсь на травѣ, слушая стрекот кузнечиков, об'ѣдаясь земляникой, брусникой, костеникой, сладко тупѣя от лодки и рыбной ловли, и вижу во свѣ рѣчную рябь и ныряющій поплавок. Гуляет вѣтерок по волнам ржей, в лѣсу шорохи звѣрушек, в зелень ныряет бѣличій хвост, заяц удирает прижав уши, с шумом вспархивают птицы. Здѣсь заповѣдный лѣс, не рубленный три вѣка, стоявшій еще в дни царя Алексѣя Михайловича. Кто помнит, как заповѣдывали рубку в русских лѣсах? Входили в них торжественно, с крестами и хоругвями, со священником во главѣ притча, служили заповѣдный молебен и пѣли «Слава в вышних Богу и на землѣ мир». В заповѣдном лѣсу по волѣ живут и умирают деревья,

нѣтъ ни дорог, ни просѣкъ, валежник не убирается, невозможно пробраться человѣку, и тѣм привольнѣе звѣрью. А попробуешь продрасться вглубь — путь пресѣчет ствол павшей сосны, толщиной много выше человѣческаго роста, настоящая стѣна, хотя от ствола осталась одна кора. Все в зарослях и ліанах, не колючих, как в южных лѣсах, но с мягкой настойчивостью запрещающих дорогу.

Мое последнее русское лѣто... Оно связано в воспоминаніях со многим личным, что дорого и важно только для меня — при мнѣ и останется. И вся Россія останется для меня в образѣ деревни со свѣтлой рѣчкой и заповѣдным лѣсом, — в самом ея лучшем образѣ.

В Москву не тянуло — был за все лѣто раза два. Однажды туда собрался мой сожитель — и в срок не вернулся. Один из дачников, пріѣхавшій из города, рассказал, что там аресты среди писателей и ученых, почему — никто не знает и понять трудно. Значит — нужно готовиться. Ночью сюда не пріѣдут, можно спать спокойно, с утра ухажу с удочками на рѣчку. Условлено, что в случаѣ тревоги, мальчик махнет мнѣ платком с холма. Хорошо клевала на хлѣб плотичка, на червячка попадался окунекъ. С холма махнули платком, и в то же время к перевозу подѣхал по бездорожью автомобиль, — появленіе в этих краях почти невиданное. За рѣчкой мѣстный «совѣтъ депутатов», куда, очевидно за справкой, отправились на паромѣ пріѣхавшіе, оставив машину на нашем берегу. Все просто и понятно, и чекистская форма горожанам знакома. Один из пріѣхавших остался с шофером в машинѣ, но у меня нѣтъ выбора — по берегу одна тропа к лѣсу — мимо машины. Иду тихо и спокойно, загорѣлый, заплатанный рыбак, смотрю на военных людей с любопытством. Дальше — в прибрежные кусты, гдѣ прощаюсь с удочками; рыбу выпустил на волю раньше — такое ея счастье. Взобравшись на береговую кручу, сразу углубляюсь в лѣсную опушку, мимо которых лежит единственная на Москву проѣзжая дорога. В пяти километрах есть деревушка избы в три-четыре, гдѣ один

домик снят моими знакомыми. Правда, так же рядом, в бывшем большом барском имѣннѣ, лѣтом живут общежительно семьи народных комиссаров — Трощаго, Каменева, Дзержинскаго, главнаго палача, и имѣнье окружено высокой кирпичной оградой, — дачное гнѣздо предержавших властей. Но это хорошо, в таком мѣстѣ искать не будут. Добравшись до деревушки, сажусь под домашній арест, чтобы выждать, какія вѣсти придут из Москвы. Все-таки трудно сидѣть в избѣ безвыходно в чудесную осеннюю погоду, а в лѣсу, как нарочно, появились бѣлые грибы — цѣлыя заросли, собирай хоть бѣльевыми корзинами. Выползаю с оглядкой на занятный спорт. На третій день узнаю, что часть арестованных еще в тюрьмѣ, а часть выпущена на волю с предписаніем готовиться к высылкѣ за границу. Ни причин, ни обвиненій; взяты люди, от политики далекіе, «религіозные философы», ректор университета, профессор-финансист, профессор-астроном, инженер, агроном, нѣсколько писателей, литературный критик, — никакой между ними видимой связи, случайный любительскій отбор. Взят, конечно, и мой сожитель, но уже выпущен на свободу; он — московскій профессор, из русских философов виднѣйшій. Есть ли смысл скрыватья дольше и до каких пор. В деревнѣ, у нашей дачи, поставили стражу из мѣстных парней, внушив им, что я — опасный преступник. Но парням ждать скучно, да и руки их нужны в хозяйствѣ. Зайдут, спросят, не вернулся ли, и уходят в поле.

Москва велика — пріют найдется. Простившись с добрыми друзьями, покидаю свое убѣжище и иду на сосѣдную с нашей станцію ждать поѣзда в Москву. Моим пріютом будет в Москвѣ частная хирургическая лѣчебница, гдѣ для меня уже готова койка в отдѣльной комнатѣ и милый пріем у владѣльца лѣчебницы, стараго знакомаго. Денек отдыха, на другой день беру телефонную трубку; я уже знаю фамилію слѣдователя, которому поручено наше дѣло; не знаю только, что это за «дѣло».

— Ало, я такой то, вы меня ищете?

— Да. Откуда вы говорите?

— Это безразлично, я могу к вам явиться. Но скажите, вы меня задержите?

— Я не обязан отвѣчать на такіе вопросы.

— Но я хочу знать, брать ли мнѣ подушку и перемѣну бѣлья?

Молчанье. Затѣм голос отвѣчает:

— Можете не брать.

— Тогда я явлюсь через час.

Итти и самому сдать ся непріятелю — как будто мало-душно. Но долго скрываться невозможно и слишком хлопотно, не столько для меня, сколько для тѣх, кто дает пріют. И бессмысленно: мнѣ нечего дѣлать в подпольях, моя жизнь всегда была на виду. Быть высланным за границу, так недолго прожив на родинѣ, хотя и успѣв вкусить ее пьяно и обильно, — совсѣм не улыбалось. Почему и за что? Но таких вопросов в то время не ставили. По ходячему анекдоту, в многочисленных анкетах, на которыя приходилось отвѣчать гражданам новаго свободнѣйшаго строя, была графа: «подвергались ли вы аресту, и если нѣтъ, то почему». — Все же Европа — лучшая тюрьма, чѣм подвалы Лубянки, корабль смерти и проч.

Повѣрив слѣдователю, я не взял с собою ни подушки, ни бѣлья, только добрый запас папирос, и отправился в страшный дом, мнѣ уже достаточно знакомый, гдѣ прошлой осенью едва не кончил свои дни в зацвѣтшей плесенью камерѣ. Итти в тюрьму не весело — даже добровольно. Развеселить мог только новый анекдот. И вот оказалось, что даже на пути в тюрьму ждут гражданина препятствія. Помѣщеніе Чека недавно переименованнаго в Гепеу (признак государственной устойчивости) тщательно охранялось, и смертному проникнуть туда было не просто. Перваго часоваго я убѣдил соображеніем, что вызван по телефону, почему и не имѣю впускной бумаги, — вѣдь не доброй же волей приходят в тюрьму. Часовой смилостивился. В конторѣ, гдѣ у каждаго оконца

стояла толпа, я громко и настойчиво потребовал выслушать меня внѣ очереди в виду срочности заявленія; я мог возвышать голос — опасаться было нечего; и при общей робости, громкій голос дѣйствует. — «По какому дѣлу?» — «По дѣлу о моем арестѣ». — «Но вы не арестованы». — «Я для этого пришел». — «Нельзя, гражданин, без приказа». — «Что же мнѣ дѣлать?» — «Это нас не касается, уходите домой». Чистая идилия! Пришлось опять убѣждать другого часового у двери, ведшей внутрь тюрьмы, гдѣ были и комнаты слѣдователей. Долго объяснял ему, что нельзя из тюрьмы выпускать, а туда отчего же не пустить, вѣдь назад свободно не выйдешь; пригрозил, что буду жаловаться. Пропустил и этот. Путался по бесконечным корридорам, пока на одной из дверей не нашел плакат с нужной фамиліей. Слѣдователь любезен: «прежде всего подпишите бумажку». В бумажкѣ сказано, что мнѣ объявлено о моем арестѣ. — «О каком арестѣ? Я не взял с собой подушки». — Успокоительно говорит: «Вы только подпишите, я уж приготовил и другую». На другой значилось, что объявлено мнѣ об освобожденіи, с обязательством покинуть в недѣльный срок предѣлы РСФСР. Любят новые чиновники бумажное производство. — «И еще вот третью бумагу». — На третьей значится, что в случаѣ невыезда или бѣгства с пути подлежу высшей мѣрѣ наказанія, т. е. разстрѣлу. Только улыбаюсь: «Предоставьте мнѣ аэроплан, улечу хоть сегодня. Можно идти?» — «Еще заполните анкету». — И дѣйствительно, как же можно без анкеты в канцелярском дѣлѣ. Первый вопрос: «Как вы относитесь к совѣтской власти?» — Вопрос ехидный, — как могу я относиться к власти, находясь в тюрьмѣ и готовясь быть высланным? И я пишу: «С удивленіем». — Слѣдователь морщится, но говорит: «Пишите, что хотите, все равно уѣдете». — «Теперь все?» — «Вот только подпишу вам бумажку на выпуск отсюда». Возвращаюсь тѣми же корридорами, солдат отбирает бумажку и натывает на штык. Дух канцелярскій смѣняется пылью лѣтней московской улицы.

Значит — вот чѣм стала революція. Бури выродились в привычный полицейскій быт. Ну что-же, тѣм легче будет ухъать из Россіи. Вчера это казалось мнѣ огромным несчастьем, сегодня не нахожу в душѣ ни протеста, ни особаго сожалѣнія.

Мы обязались немедленно оставить предѣлы РСФСР (тогда еще не было букв СССР). Путь указан: Москва — Петербург (еще не ставшій Ленинградом), оттуда пароходом в Германію. Легко сказать — мудрено выполнить. Германія — тогдашняя Германія! — обидѣлась: она не страна для ссылок. Она готова нас принять, если мы сами об этом попросим, но по приказу политической полиціи визы не даст. Жест благородный — мы его цѣним, но пускай и нас попросят. И нас убѣдительно и трогательно просят: «Хлопочите в посольствѣ о визах, иначе будете бессрочно посажены в тюрьму».

Мы сговорчивы, мы хлопочем. Буду справедлив к сегодняшним врагам, — они были к нам очень любезны: и визы, и даже обезпеченіе приѣма в Берлинѣ, гдѣ о нас позаботится какой-то комитет, встрѣтит на вокзалѣ, подыщет временное для всѣх помѣщеніе. Переговоры задерживают нас в Москвѣ на мѣсяц слишком. Мы стали «организацией ссыльных», мы собираемся, мы совѣщаемся, имѣем своих представителей, обсуждаем свои дѣла. Хлопочем об иностранной валютѣ, об отдѣльных вагонах до Петербурга, о каютах на пароходѣ; с семьями нас семьдесят человек. Пока — мы самые свободные граждане республики: терять нам нечего, бояться тоже, и уста наши не замкнуты. Нами интересуется иностранная печать, и Лев Троцкій, идеолог нашей высылки, дает журналистам интервью: «высылаем из милости, чтобы не разстрѣливать». Не чувствует ли Троцкій, что и сам будет выслан из милости? Нам многіе завидуют: как хотѣли бы они помѣняться с нами участію. Нѣкоторым образом мы — герои дня. Почему именно на нас, таких то, пало избраніе, мы никогда не могли узнать: включены в списки отдѣльныя лица, почти никакой связи между собой не имѣвшіе. Ссылка нѣкоторых поражала: никто

не слышал раньше об их общественной роли, она ни в чем не проявлялась, и имена их известны не были. Троцкому принадлежала идея, но выполнял ее меньше умный человек. Или меньше злой. Мы знали, что готовятся и еще списки петербуржцев; но там взялись за дело вяло.

Лично я удивлен не был. Мы с моим дачным сожителем, профессором Н. Бердяевым, возглавляли в то время президиум всероссийского Союза Писателей, слишком дорожившего своей независимостью от партийных влияний. Нужно было напугать Союз — и он напугался. Накануне нашего отъезда из Москвы я в последний раз председательствовал на заседании правления Союза — хотелось проститься с товарищами, мы так хорошо и так дружно работали. Я был одним из организаторов Союза, писал его устав, перед отъездом передал Союзу последний дар нашей «Лавки Писателей» — ценнейшую коллекцию библиографических, очень редких изданий, и набор изданий рукописных — уникалы переходных революционных лет. С нашим отъездом Лавка ликвидировалась, но нас заботила судьба Союза. Идя на это последнее заседание, я заранее заготовил самую краткую и самую сдержанную речь в ответ на прощальное приветствие, которое естественно ожидал. Ни приветствия, ни речи я не внесу в протокол, чтобы не повредить Союзу. Были на очереди небольшие, обычные вопросы организации, и мы их исчерпали в какой-нибудь час времени. Не было никаких споров, члены правления — пятнадцать человек — были сдержаны и несловоохотливы. Сейчас я объявлю повестку заседания исчерпанной, и тогда кто-нибудь попросит слова, на которое мне придется отвечать. Только бы его выступление не было резким и мне не пришлось бы просить воздержаться от всякой политики. Повестка исчерпана. Двое-трое быстро встают и выходят, — самые осторожные. Минута замшательства — никто не просит слова. И внезапно я догадываюсь, что никто его и не попросит, что Союз уже достаточно напуган, что он уже не тот, и будущее его предопределено. Я встаю — и все встают с облегчением. В передней

молчаливо обмѣниваемся рукопожатіями, и я задерживаюсь, чтобы никого не вынудить итти по улицѣ вмѣстѣ с высылаемым преступником. Как я был наивен со своей заготовленной рѣчью.

Дома — прощальный приѣм, скромный прощальный ужин, и часть тѣх же людей, не нашедших слова в застѣданіи, здѣсь не стѣсняется ни в чувствах, ни в их выраженіи. Я это цѣню — но еще никогда мнѣ не было так грустно и так смутно на душѣ. Нужно очень долго жить, чтобы не удивляться и не ошибаться в оцѣнках. В сущности ничего не случилось, люди милы, отзывчивы, нельзя сомнѣваться в их искренности и их дружбѣ. Я не сомнѣваюсь даже в их памяти, — ну, хоть на нѣсколько лѣтъ; мы жили в таком тѣсном общеніи, в такой взаимопомощи. Но я сомнѣваюсь в том, что всѣ они сохранят свои лица, не отрекутся от того, что казалось нам священным, — от независимости мыслей и сужденій, от смѣлости их высказыванья. Не легко уѣзжать, увозя с собой яд сомнѣній. А может быть я слишком требователен? Мы уѣзжаем завтра — кто придет проводить наш поѣзд? Вокзал — не частная квартира.

И здѣсь я опускаю желѣзный занавѣс.

Желѣзным занавѣсом отрѣзана Россія, земля родная, страна отцов. Отрѣзана на двадцать лѣтъ, — я кончаю эти воспоминанія в юбилейный год разлуки. Я уѣхал молодым, с чувством увѣренности, что не вернусь; эта увѣренность с годами укрѣпилась.

Россія — шестая часть свѣта; остаются еще пять шестых. К сожалѣнію не всякое растеніе легко выдерживает пересадку и прививается в чужом климатѣ и на чужой землѣ. Я чувствовал себя дома на берегах Камы и Волги, в Москвѣ, в поѣздках по нашей огромной странѣ, на мѣстах работы, в ссылках, даже в тюрьмах; внѣ Россіи никогда не ощущал себя «дома», как бы ни свыкался со страной, с народом, с языком.

Это не патриотическая чувствительность, а природная неспособность к акклиматизации. И, кстати сказать, неохота; может быть, впрочем, и гордость. Почти всё мои книги написаны в эмиграции и в заграничной ссылке; в России писать было «некогда»; но жизненный материал для этих книг давала только русская жизнь — и он казался мне неистощимым. Полжизни прожил за границей, я в своих воспоминаниях не вижу надобности говорить об этой напрасной половинке; она слишком лична; и потому я обрываю свои записки на невесте минуте разставанья с Москвой, моим последним «домом». Дальше будут иные осёдлости, иные катастрофы и блужданья, — и вот я на берегу французской рёки, имени которой не слышал. Но теперь уже совершенно безразлично, где жить и к чему еще готовиться: книга закончена, не стоит затягивать послесловія

Во всех мѣстах недолгой осёдлости, в Москвѣ, в Гельсингфорсѣ, в Римѣ, снова в Москвѣ, в Берлинѣ, в Парижѣ, — любовь к вороху бумаг накапливала архивы; житейскіе документы, записи встрѣч, дневники, тысячи писем. часть исчезла при «катастрофах», часть сохранилась и снова разрасталась.

Из Москвы нам не было разрѣшено вывезти ни одной писаной бумажки и ни одной книги; все, мною собранное, пропало. Но опять накопились «сокровища» в жизни заграничной — для новой очередной гибели.

В обществѣ этих постепенно желтѣвших бумаг, и в обществѣ книг, которыми я всегда себя окружал, я жил, как в маленькой крѣпости, защищавшей от слишком сегодняшняго и, во всяком случаѣ, чужого. Крѣпость пала, как пали многія другія крѣпости, казавшіяся достаточной защитой. Случалось так и прежде, но хватало жизненных сил, чтобы упрямо отстраивать заново свое убѣжище. Может быть нашлись бы онѣ и теперь, эти силы; но случилось худшее — исчезло всякое желаніе.

И вот, подобрав обрывки прошлого, оставшіеся не на

бумагах, не в документах эпохи, не в письмах, а в памяти, я их сплетаю в книгу, чтобы уж нечего было больше хранить и беречь.

Книга о дѣтствѣ, юности, молодых годах. Старость не нуждается в книгѣ — ей довольно эпитафii.

Мих. Осоргин.

*) Этим отрывком кончаются «Времена» покойнаго М. А. Осоргина.

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРѢ

(Из воспоминаній художника).

Московскій Художественный Театр стал прїѣзжать на гастроли в Петербург с 1904 года, на 6-й год своего существованія, и в нашем тѣсном кругу художников Мира Искусства, весьма театрално настроенных, его новыя и свѣжія слова были приняты с громадным интересом.

В первые годы театр привозил чеховскія пьесы, Юлія Цезаря, Царя Феодора, Доктора Штокмана, Горе от Ума и др., и то, что показал театр, по сравненію с тѣм, что большей частью царило в современной драмѣ — с привычными шаблонами игры, неестественностью и декламацией, — было настоящим художественным откровеніем.

Все в Московском Театрѣ казалось необычным.

Новым был уже его занавѣс в легких складках с изображеніем чайки — символа Художественнаго Театра, не поднимавшійся, как всегда, а медленно раздвигавшійся, что сразу вводило в настроеніе «камерности» представленія. В театрѣ был запрещен вход в зрительный зал послѣ начала дѣйствія (на что петербургская публика, привыкшая опаздывать, немало негодовала) и это придавало особенную серьезность спектаклю. Театр отмѣнил и тот обычай, который теперь кажется невѣроятным: в тогдашних драматических театрах в антрактах обязательно играла музыка для развлеченія публики и эти вальсы и легкія вещи ничего общаго с пьесой не имѣли. Озадачивало, что в театрѣ не полагалось аплодисментов и вызывов, — это даже обижало публику. Нововведеніем было и то, что на программах не стояло, как всегда, «г-н или г-жа» такіе то, а И. М. Москвин, В. Л. Лужскій, О. Л. Книппер, эти инициалы были и у игравших самыя незначительныя роли, что как бы выражало извѣстное уваженіе к артистам. Слово «актер», «актриса» тут казались слишком грубыми.

Мы увидѣли на сценѣ не актеров, играющих «в публику»,

а подлинных живых людей, говорящих между собой обыкновенным не приподнятым тоном, как у себя дома, свободно двигающихся и даже поворачивающихся спиной к зрителю (что казалось многим даже особенно дерзким нововведением) и душевность и простота их игры и естественность полутонов и пауз трогали нас милой и правдивой интимностью. Даже артисты, играющие выходня и безсловесныя роли, не были манекенами, как обычно, но и они создавали свой маленькій художественный образ, не переигрывая, при этом, и оставаясь в общем ансамблѣ игры. Больше всего поражала именно эта слаженность ансамблей и любовная и тщательная законченность всего.

Знаменитыя «настроения» теагра создавались, помимо всего темпа игры, также тонким и изобрѣтательным звуковым фоном и «сверчки» москвичей сдѣлались тогда крылатым словечком. Новыми были и необыкновенно искусныя нюансы освѣщенія, так помогавшіе этим настроениям, изумляла и необыкновенная иллюзія солнечнаго свѣта (как в Юліи Цезарѣ).

Изображая предѣльный реализм на сценѣ, театр отказывался от всякой условности и театральности. Для его духа это было логичным, но именно тут и было много такого, что нам, любившим в театрѣ и его зрѣлищную сторону, казалось каким-то дефектом. Московскій Театр, показывая порой очень уютныя и остроумно построенныя интерьеры, точно боялся красочности и декоративности.

Живописная сторона его декораций или отсутствовала вообще или, как в Юліи Цезарѣ, не подымалась выше Семирадскаго, а в Царѣ Федорѣ стояла лишь на уровнѣ Конст. Маковскаго, и очень многое нам, петербуржцам, искушенным в области стиля и историзма, казалось досадно несовершенным. Станиславскій гениально углубил задачи актера, но внѣшняя сторона постановок, по сравненію с его огромной реформой, не была на подобной высотѣ.

Тогда М. Х. Театр почти не выходил из предѣлов натурализма, хотя постепенно, но медленно, его изживал и, идя своим

путем, все же все время эволюционировал. В постоянных поисках был Станиславский, который являлся душой театра.

После первых петербургских гастролей Московского Театра проходит несколько лет. За это время много нового создается в художественном мире обеих столиц и в театральной жизни наступает острейший период новшеств.

В общей волне М. Х. Театр ищет своего собственного обновления и тогда происходит творческое сближение его с художниками петербургской культуры Мира Искусства.

**

Это обращение Московского Художественного Театра к Петербуржцам, которое состоялось в 1909 году, в итоге, по существу, кажется особенно знаменательным. Наше сотрудничество явилось как бы одним из «мостов» между двумя такими различными мирами, какими были Петербург и Москва. Быт, психология и культура в каждой из столиц, которая и по облику своему были такими различными, — имели свои особенности и известно каким вообще «чреватым» был этот замечательный дуализм русской жизни и истории.

В Петербурге уже создалась тогда целая новая театральная культура. Налицо были уже новые художники театра, а Мир Искусства, как определенное течение, завоевывал уже общее признание.

Обращение театра к петербургским художникам было естественным и вполне назревшим шагом. Те, к кому обратился театр, были свежими людьми в театре, совершенно свободные от обычных традиций и ищущие нового.

Эти художники обладали серьезными знаниями разных исторических эпох и, главное (что было особенно ценно театру), — обладали чувством стиля.

В этом именно и требовалась помощь Московскому Театру, который уже сам замечал и ошибки своего вкуса и опасность «вариться в собственном соку» — ему мог угрожать тупик. Но мысль о привлечении этих художников в театр назревала медленно.

Почти всѣ постановки, начиная с основанія Художественнаго Театра, были сдѣланы с участіем художника Виктора Андреевича Симова, превосходно знавшаго сцену и театральное освѣщеніе. Этот очень добросовѣстный и скромный художник дал все, что мог в обширном и разнообразном репертуарѣ театра, но не выходил из рамок того довольно блѣднаго и безкровнаго реализма, который был у передвижников.

Лишь послѣдніе годы перед обращеніем театра к Міру Искусства вошли в театр молодые московскіе художники Ульянов (Драма Жизни) и Егоров (Жизнь Человѣка и Синяя Птица); они внесли в эти постановки красочное оживленіе и темперамент.

В Московском окруженіи театра были настоящіе его друзья, сочувствующіе всѣм начинаніям театра, которые часто откровенно осуждали недостатки декоративной стороны постановок и давно совѣтовали Станиславскому привлечь новыя силы — именно петербургских художников Міра Искусства*).

Есть основанія думать, что Станиславскій, привыкшій работать с художниками, точно слѣдовавшими его указаніям, долго колебался, боясь «засилья» этих новых художников из-за слишком опредѣленной их индивидуальности. Но, ближе познакомившись с нашим кругом, он, наоборот, увидѣл возможность самаго интимнаго сближенія.

Приглашеніе это явилось в московской театральной жизни первым случаем обращенія Москвы к Петербургу и не будет слишком громким сказать, что тут произошло, хотя и в спеціальной области театрального творчества, соприкосновеніе московской и петербургской культур.

Безпристрастно можно сказать, что результаты нашей связи с театром были поистинѣ счастливыми. Удача была в том, что у нас с москвичами оказалась одна общая почва: всѣ мы

*) Думаю, что тут сыграло между прочим роль вліяніе Сѣрова и Грабаря, которые были наполовину петербуржцами и являлись «мостом» между Петербургом и Москвой.

горѣли настоящей любовью к театру, а у меня лично каждая моя постановка была огромным подъемом, за радость котораго я остался навсегда благодарным театру.

**
*

Первое знакомство Станиславскаго с нашим кругом художников Мира Искусства произошло за год до нашего приглашенія, — в 1908 году. Станиславскій, прїѣхавшій зимой того года в Петербург, побывал у Александра Бенуа, который был центром нашего круга, встрѣтился со многими другими художниками (посѣтил между прочим и меня) и видѣл много наших работ. Все показывало большой интерес его к нашему искусству, но в этот его прїѣзд никаких разговоров о сотрудничествѣ не возникало.

Вскорѣ послѣ этого, на масляницѣ 1909 года, я был в Москвѣ по выставочным дѣлам и, вспомнив приглашеніе Станиславскаго побывать в Художественном Театрѣ, был на Синей Птицѣ, которая только что была поставлена.

Станиславскій был необыкновенно мил и радушен, я сидѣл в партерѣ рядом с ним и помню как он внимательно слѣдил за игрой и как порой лицо его расплывалось в улыбку. Такую же улыбку я у него видѣл впоследствии на репетиціях и в самых драматических мѣстах, когда он был доволен искренностью его артистов. В антрактѣ он меня сводил на сцену и показал как дѣлаются разные сценическіе трюки, — в Синей Птицѣ они всѣх интриговали и поражали. Это была рѣдкая честь для гостя: сцена в Худож. Театрѣ было «святое святых» — для публики совершенно недоступное мѣсто т. к. за кулисы посторонніе абсолютно не могли проникнуть.

На первой недѣлѣ поста в М. Х. Т. устраивался всегда традиціонный актерскій «Капустник», — «похмелье послѣ масляной», и я получил приглашеніе посѣтить это рѣдкое зрѣлище. Капустники были закрытые и лишь два года, как театр стал на них пускать публику по особым приглашеніям; хотя билеты раздавались с большим выбором, но присутствовала

«вся Москва» — Капустники становились событіем сезона.

Душой всевозможных дурачеств, пародій и экспромптов был Никита Баліев (игравшій всегда только маленькія роли в театрѣ), который был тогда в своем расцвѣтѣ, как выдумщик и балагур. Из Капустников (и актерских вечеринок в домѣ Перцова), гдѣ кромѣ Баліева рсточали свое весьма талантливое остроуміе артист Н. Н. Званцев, режиссер Суллержицкій и весельчак, друг всей Москвы скрипач Аверино, — и родилась впоследствии «Летучая Мышь».

На этом Капустникѣ я познакомился с очень многими артистами, впоследствии ставшими мнѣ такими близкими и дорогими людьми.

В этот мой пріѣзд в Москву Станиславскій просил меня задержаться для важнаго, по его словам, разговора, который вскорѣ и состоялся в отдѣльном кабинетѣ ресторана Эрмитаж. Кромѣ него и Немировича-Данченко присутствовали Качалов, Лужскій, Вишневскій, Москвин, Леонидов и О. Л. Книппер — основатели и пайщики Художественнаго Театра.

Разговор был дѣйствительно важный и не только для меня, т. к. имѣл большія послѣдствія в жизни театра: Станиславскій к полной моей неожиданности предложил мнѣ сдѣлать постановку Мѣсяца в Деревнѣ Тургенева и, вмѣстѣ с тѣм, просил передать Александру Бенуа и другим моим коллегам по Міру Искусства о желаніи театра соединиться с ними в непосредственной тѣсной работѣ.

Он и Немирович-Данченко мнѣ об'яснили, что Худ. Театр не удовлетворен тѣм, что у них дѣлается в смыслѣ декораций, роли художника они хотят отвести гораздо большее мѣсто, хотят свѣжих людей и их «новаго слова» и потому ждут от нас, столь ими цѣнимых за знаніе стилей и вкус, помощи и ближайшаго сотрудничества.

Когда Станиславскій высказал всѣ эти пожеланія, то как ни обрадовало и ни взволновало это приглашеніе, обращенное к нашей группѣ, я сам лично был искренно смущен предложеніем мнѣ пьесы Тургенева. Реализм на сценѣ мнѣ пред-

ставлялся тогда чѣм то прѣсным и я прежде всего подумал, что эта работа меня не захватит, что вообще будет неинтересно и я не справлюсь с задачей. Впрочем, думая так, я очень слабо помнил Мѣсяц в Деревнѣ из чтенія и никогда не видѣл его на сценѣ.

И тут я совершенно растерялся и не знал что отвѣтить. Сошлись на том, что я подумаю и напишу из Петербурга. В душѣ мнѣ совершенно искренне казалось, что театр обращается не по адресу — Бакст или Сомов мнѣ представлялись именѣю тѣми художниками, которые должны были бы поставить эту пьесу Тургенева.

Я уѣхал из Москвы с порученіем передать нашей группѣ о чаяніях театра и с просьбой Станиславскаго сообщить, кто из нас и что именно хотѣл бы ставить в Художеств. Театрѣ, кого вообще к чему клонит.

**

По пріѣздѣ в Петербург я собрал моих друзей художников и сообщил им о предложеніи*).

Предложеніе театра всѣх чрезвычайно заинтересовало и, послѣ всѣх наших разговоров, я мог написать Станиславскому, что петербургскіе художники Міра Искусства с радостью принимают предложеніе сотрудничества и что Бенуа интересуется Мольером, Рерих Ибсеном, Кустодіев Островским и Билибин русскими историческими пьесами. Бакст же, о котором я думал, что он заинтересуется пьесой Тургенева, от своего *Wiedermayerzeit* уже в ту пору отошел и находился в увлеченіи Элладой и хотя и мечтал о постановкѣ античной трагедіи, не мог отозваться на предложеніе, т. к. был уже одной ногой в Парижѣ (в 1909 году начались русскіе сезоны Дягилева). Сомов отказался вообще, потому что, хотя и был «записным театралом», но театром никогда не занимался, ибо

*) Основное петербургское ядро Міра Искусства в то время составляли: Бакст, Бенуа, Браз, Билибин, Головин, Добужинскій, Кустодіев, Лансере, Остроумова, Петров-Водкин, Рерих, Сапунов,

ему казалась мучительной работа, гдѣ между его идеей и ея осуществленіемъ стоитъ столько людей — что в театръ неизбѣжно.

Что касается меня, то я признался Станиславскому, что мечтаю о Шекспирѣ и Метерлинкѣ, но что сдѣлать Мѣсяцъ в Деревнѣ готов... Я рѣшился на это послѣ того какъ всѣ мои друзья в одинъ голосъ стали меня убѣждать.

Эпоха Тургенева, особенно 1830-40 годы, была мнѣ душевно близка — театръ могъ знать мои иллюстраціи и картины на тему этихъ старыхъ годовъ — и довольно хорошо былъ знакомъ мнѣ и помѣщичій бытъ: часто гостя с ранней юности в Тамбовской губерніи у матери, я перевидалъ немало старыхъ дворянскихъ гнѣздъ на ихъ закатѣ. И хотя я былъ и не безоруженъ, у меня были все же невольныя колебанія.

На мое письмо, гдѣ я подробно о всемъ написалъ, я получилъ восторженный отвѣтъ отъ Станиславскаго, который предвидѣлъ в дальнѣйшемъ много плодовъ отъ связи с Міромъ Искусства, но в первую очередь, на ближайшій сезонъ, намѣчался Мѣсяцъ в Деревнѣ и мнѣ было предложено приступить къ этой работѣ теперь же и пріѣхать для разговоровъ в Москву — что я и сдѣлалъ, предварительно вчитавшись в пьесу. В ней я открылъ много меня даже взволновавшаго.

Такимъ образомъ судьба пожелала, чтобы я первымъ из Мира Искусства вступилъ в тѣсное общеніе с Московскимъ Художественнымъ Театромъ, и 1909 годъ сталъ для меня моимъ «историческимъ» годомъ. Станиславскій ввелъ меня в самую интимную сторону работы и с тѣхъ поръ я могъ назвать себя его ученикомъ. Я имѣлъ счастье и лично сблизиться с этимъ замѣчательнымъ человѣкомъ.

Сомов, Судейкин, Цюнглинскій, кн. Шервашидзе, Чемберс, Яремич и др. Многіе изъ нихъ къ театру отношенія не имѣли, другіе же постоянные участники выставокъ и близкіе намъ были москвичи: Грабарь, Миліоти, Сѣровъ. Такіе же выдающіеся художники, какъ Анненков, Григорьевъ, Нарбутъ, Шухаевъ, Яковлевъ в тѣ годы себя почти еще не проявляли.

С этого времени в течении 8-ми лѣт лишь с немногими перерывами продолжалась моя работа с театром, я стал жить подолгу в совершенно новом для меня мірѣ — Москвѣ — и можно сказать вошел в «лоно» Художеств. Театра.

Связь с Міром Искусства выразилась за період с 1909 по 1917 год в 17 постановках, сдѣланных в театрѣ Добужинским, Рерихом, Бенуа и Кустодіевым (в порядкѣ начала их работ *). Бенуа кромѣ того принимал самое ближайшее участие и в режиссурѣ. Долговременное сотрудничество его, человѣка исключительной культуры и дарованій, зачинателя самага Міра Искусства, слѣдует особенно отмѣтить.

**

В Москву я пріѣхал по вызову Станиславскаго в мартѣ того же 1909 года. За это первое мое «дѣловое» пребываніе я успѣл ознакомиться с очень многими постановками театра — Станиславскій очень хотѣл, чтобы я узнал все, что они дѣлали. Я особенно был восхищен Тремя Сестрами и еще больше Вишневым Садам. Я был в 'легком угарѣ от этой близости к театру и хотѣлось даже прощать ему тѣ недочеты, которые я и раньше видѣл, а теперь особенно от них страдал. Разбираясь в этих «ошибках» я вскорѣ понял главную их причину: художник, работавшій в театрѣ, был черезчур связан всевозможными указаніями режиссера и работал как бы

*) Добужинским: 1909 — Мѣсяц в Деревнѣ, 1912 — Нахлѣбник. Гдѣ тонко там и рвется и Провинціалка; 1913 — Николай Ставрогин; 1914 — Горе от Ума; 1915 — Будет Радость; 1916 — Село Степанчиково; Рерихом: 1912 — Пер Гинт; Александром Бенуа: 1913 — Брак по Неволѣ и Мнимый Больной; 1914 — Хозяйка Гостиницы; 1915 — Моцарт и Сальери; Каменный Гость, Пир во Время Чумы; Кустодіевым: 1914 — Смерть Пазухина; 1915 — Осеннія Скрипки.

Постановки, законченныя в эскизах, но по разным причинам не осуществленныя: Добужинскаго: 1911 — Завтрак у Предводителя; 1913 — Коварство и Любовь; 1916-17 — Роза и Крест и Бенуа: Тартюф (кажется 1917 г.).

под его диктовку; и собственное творчество проявить было трудно. Тот метод работы, который теперь мнѣ предложил Станиславскій, был совершенно иным и главное — я увидел, что у него было **довѣріе** к художнику, которое могло только окрылять.

Самим Станиславским я был совершенно очарован, что для знавших его лично понятно. Бесѣды наши и работа над Мѣсяцем в Деревнѣ происходили всегда у него в Каретном Ряду в самой интимной обстановкѣ.

В год Мѣсяца в Деревнѣ Станиславскому было ровно 50 лѣтъ. Сѣдая его голова, необыкновенно густые черные брови и огромная статная фигура (он был головой выше меня) были необыкновенно оригинальны. Он долго носил пушистые черные усы, но в то время был брит, и лицо его напоминало портрет вельможи Екатерининскаго или Александровскаго времени. При всей импозантности и великолѣпіи его фигуры (в этом он напоминал Шаляпина) и удивительно красивом голосѣ*), в котором порой могли звучать властные ноты, — в обликѣ его было нѣчто на рѣдкость милое и привѣтливое, иногда даже до странности застѣнчивое, и всѣм знакомая вѣжливость его иногда даже бывала трогательно забавной. Типично-русскаго в его внѣшности казалось мало — недаром его бабка была француженкой, чѣм он, кажется, немного гордился.

Происходя из знатной московской купеческой семьи Алексѣевых (его родственник был извѣстный московскій городской голова Алексѣев), он, будучи директором театра, не терял связи с своей наслѣдственной фабрикой. Это было очень курьезно и по московски — в какой-то опредѣленный день мѣсяца он удалялся от театралных дѣл и занимался на своей фабрикѣ золотых ниток и канители. В театрѣ говорили

*) В молодости он обладал прекрасным басом и учился пѣнію у извѣстнаго пѣвца Ф. П. Коммиссаржевскаго, тогда профессора Московской Консерваторіи.

с уваженіем: «старик на фабрикѣ», и даже не острили над этой канителью. Внѣ театра об этом мало кто знал, а кто знал, находил это естественным и почтенным.

С Константином Сергѣевичем несмотря на порядочную разницу лѣтъ, у меня сразу возникло большое душевное сближеніе. Он меня мало стѣснял и умѣл необыкновенно уютно бесѣдовать.

Задача, которая стояла передо мною в Мѣсяцѣ в Деревнѣ, была гораздо глубже и больше, чѣм просто создать «красивую рамку» пьесѣ. Я вошел в совершенно новую и исключительную атмосферу работы и то, что открывал мнѣ Станиславскій, было огромной для меня школой.

Как я уже упоминал, Мѣсяца в Деревнѣ я никогда не видѣл на сценѣ, хотя пьеса часто шла в Александринкѣ с Савиной, но это было лучше, т. к. мог подойти к задачѣ совсѣм свѣжо. Мѣсяц в Деревнѣ был Станиславским нѣсколько сокращен — были выпущены нѣкоторые слишком большія длинноты, особенно в монологах. Сдѣлано это было с большой тщательностью и обдуманностью.

С самаго начала, когда мы с ним стали вчитываться в каждый акт и разбирать пьесу, он предварил меня, что пусть меня не связывают ремарки Тургенева, описывающія каждый акт — гдѣ дверь, гдѣ окно и т. д., ибо это отголосок традиціонных театральнх декораций того времени, чего нѣтъ надобности держаться, и потому мнѣ открывалась тут возможность разнообразных выдумок.

Но Станиславскій, вводя меня в мои задачи и ожидая от меня моих идей, с самаго начала раз'яснил мнѣ, что декорация, вѣрнѣе план сцены, должен быть органически связан с дѣйствіем и что тут тѣсно сплетаются одновременно режиссерскія и художественныя соображенія.

На очень многое у меня открылись глаза, когда он сказал мнѣ: «декорация должна как бы вырастать из пола» и этот «половой вопрос», как он шутя говорил, и был самым главным с начала, который надо было нам совмѣстно рѣшить, обсудив

всѣ планировочныя мѣста, выходы и «опорные пункты» игры каждаго акта.

В то-же время он ждал от меня, чтобы в конечном итогѣ декорація отвѣчала духу пьесы и смыслу ея — в данном случаѣ — картинѣ уютной и тихой помѣщицъей жизни, гдѣ в домѣ всѣ мѣста «насижены», все устойчиво и куда врывается «буря», но когда она утихает, все остается на своем мѣстѣ и жизнь опять течет по прежнему руслу.

С эскизами Станиславскій меня не торопил, он просил приносить сначала наброски «карандашиком на кусочкѣ бумажки», как он говорил, и мы вмѣстѣ комбинировали всевозможныя мизансцены. Такой способ работы дѣлал ее особенно интересной и давал возможность всяческой изобрѣтательности, но шел я не только одной логикой. Как художнику мнѣ естественно было исходить от формы, «начинать с конца», представлять себѣ как результат и самую декорацію, думать и о чисто декоративном впечатлѣніи от нея, но думал о ней я и как режиссер, чтобы она помогала актеру. Моя работа шла одновременно в этих двух направленіях.

Об этой первой стадіи нашей совмѣстной работы над Мѣсяцем в Деревнѣ Станиславскій подробно и очень тепло вспоминает в своей книгѣ «Моя жизнь в искусствѣ»^{*)}. Между прочим он пишет, что тогда «хитрил» с художником, незаметно для него наводил его на нужныя идеи, впрочем не насилуя при этом его воображенія.

Но я отлично помню, **что** именно принадлежит моей собственной выдумкѣ, и что часто было моей интуитивной находкой. «Хитрить» мнѣ не приходило в голову, но мои мысли как-раз очень часто счастливо совпадали и с его мыслями.

Такими «осѣнвившими» меня чисто декоративными идеями была полукруглая зала с симметрично разставленной мебелью

^{*)} К сожалѣнію, в англійском переводѣ книга издана в сокращенном видѣ и именно эти страницы, столь дорогія мнѣ, там отсутствуют.

и угловая диванная. Эта симметрия и «уравновешенность», которая так типична для интерьера русского ампира отвѣчала и намѣреніям Станиславскаго в этой постановкѣ создать атмосферу спокойствія и дать внѣшнюю неподвижность актерам при всей внутренней напряженности чувства и как бы «пригвоздить» их к мѣстам. Этот характер игры был одним из этапѣв в режиссерском творествѣ Станиславскаго. Мой план оказался и тут подходящим для темпа пьесы.

Вся постановка Мѣсяца в Деревнѣ оказалась построенной на симметріи.

Но принцип этот (я это подчеркиваю) не был предвзятым и надуманным теоретически, не во имя симметріи были сдѣланы мои декораціи, она родилась сама собой во время нашей совмѣстной работы со Станиславским и была подсказана внутренним духом дѣйствія, вылилась из режиссерских задач, а внѣшне была у меня навѣяна чисто интуитивно декоративным воображеніем и воспоминаніями. Но было как бы чудо в том, что произошло слияніе всего этого. Незамѣтно для себя в этой постановкѣ мы вернулись к забытой, но испокон вѣка существовавшей в театрѣ симметрической декораціи. Но теперь, послѣ реалистических декорацій Художественнаго Театра, это показалось новым и свѣжим и симметрия дѣйствительно могла дать стройность и архитектурность постановкѣ Мѣсяца в Деревнѣ.

Дальнѣйшая разработка моих проектов была уже всецѣло в моих руках. Тут Станиславскій предоставил мнѣ полную свободу.

Я уже носил в себѣ тогда чувство «художественной экономіи» и вкус к «минимуму» на сценѣ и в этой работѣ я старался отказаться от декоративных излишеств, которые так бывают соблазнительны в театрѣ, но отвлекают вниманіе зрителя от актера и ему самому мѣшают. Эта внутренняя добровольная самодисциплина явилась и слѣдствіем всего того, что я вынес из бесѣд со Станиславским. В них мнѣ открывалось много новаго, что впрочем отвѣчало и моим собственным пред-

чувствіям и все это дѣлалось тѣм фундаментом, которому я старался быть вѣрным и остался вѣрным и в будущем.

В работѣ для «Мѣсяца» меня, конечно, волновало выразить и лирическое настроеніе пьесы и при той любви, которая у меня рождалась и росла к ней, это выходило само собой и было естественным. Как это дѣлалось — самому мнѣ труднѣе всего об'яснить.

Для тона пьесы была недопустима какая-либо подчеркнутость. Были умѣстны лишь «намекы». Мирной деревенской жизни в «Мѣсяцѣ» грозит душевная буря. И на стѣнах голубой гостиной меня «осѣнило» сдѣлать двѣ больших картины: морской шторм в духѣ Жозефа Верне и изверженіе Везувія. Эти темы были привычны и типичны именно для русскаго помѣщичьяго интерьера, это исключало их нарочитость, но в то же время давало намек умѣющим видѣть и создавало извѣстное настроеніе акту.

Чтобы создать на сценѣ помѣщичій дом 1840-х годов было изобиліе всяческих матеріалов. Помогали мнѣ и впечатлѣнія видѣннаго в русских помѣстьях (так, напримѣр, бесѣдка из старых лип, использованная в декорации сада, была в имѣніи моей матери). Разумѣется я не имѣл в виду никакого определеннаго имѣнія и дом Ислаевых был «плодом моей фантазіи».

Эскизами я занялся зимой в Петербургѣ и, — когда в маѣ театр пріѣхал на гастроли, они были почти всѣ готовы. Рисунки костюмов и бутафоріи я должен был сдѣлать лѣтом.

К концу пребыванія театра в Петербургѣ можно было приступить и к исполненію декораций.

В Петербургѣ я все лѣто был занят писаніем декораций. Была нанята знакомая мнѣ раньше большая мастерская, в закрывшемся уже тогда театрѣ В. Ф. Коммиссаржевской и в помощники я себѣ взял опытнаго и милѣйшаго Н. Б. Шарбе, котораго мнѣ рекомендовал Бакст и с которым мы все от начала до конца написали.

Я часто оставался ночевать в пустом театрѣ, гдѣ была мнѣ устроена маленькая комната, и ночью приходилось

ощупью идти через темную сцену, натываясь на кулисы и слышать, как бѣгают крысы, а иногда вдруг шуруша развѣтывалась всякая декорация, и это было довольно романтично. Спичку я зажигать боялся из за страха не дай Бог пожара. Я так уставал, что крѣпко засыпал на своем диванчикѣ под музыку, доносившуюся из сосѣдняго увеселительнаго сада. И эта музыка, томительныя бѣлыя ночи, чахлыя березки под окном, все очень поэтично связалось в памяти с этим лѣтом и моим Мѣсяцем в Деревнѣ.

Я отдыхал на дачѣ в Ораніенбаумѣ, гдѣ за лѣто нарисовал всѣ костюмы и рисунки мебели и еще успѣлъ с'ѣздить к моей матери в Кирсанов и тамошнія кущи рош и полосатыя нивы мнѣ пригодились для моей декорации сада.

В концѣ августа всѣ декорации уже были на мѣстѣ и меня пригласили в Москву, чтобы их провѣрить и провѣрить костюмы. Тогда же должны были начаться уже и репетиции Мѣсяца в Деревнѣ.

Я пріѣхал с вокзала прямо в театр. В зрительном залѣ меня уже ждал Станиславскій и вся труппа, и была повѣшена и освѣщена декорация сада, и какой был для меня сюрприз и какое я испытал волненіе, когда вдруг при моем входѣ в зал всѣ стали мнѣ долго и горячо аплодировать...

Станиславскій подошел ко мнѣ и благодарил меня. Я был как в туманѣ. Мнѣ говорили, что «таких декораций еще в театрѣ не было» и я видѣлъ по улыбкам и привѣтливым глазам как искренно всѣ радовались.

Мнѣ самому эта декорация, которую я видѣлъ лишь на полу мастерской, теперь освѣщенная так, как умѣли это дѣлать только в Художественном Театрѣ, показалась ожившей и полной прозрачнаго воздуха, и я убѣдился, что был прав в техникѣ ея почти «графической» живописи. В моем сознаниі это был как бы выдержанный экзамен.

Я остановился было в гостиницѣ, но Станиславскій меня сразу же попросил переѣхать к нему и с тѣх пор в теченіи

нѣскольких лѣтъ, каждый раз прїѣзжая в Москву, я направлялся с вокзала прямо к нему в Каретный ряд.

Мнѣ была дана маленькая, тихая комната с отдѣльным ходом с лѣстницы и с видом на дворовыя крыши, гдѣ ворковали голуби, — которая и прозвана была с тѣх пор в семьѣ Станиславскаго «комнатой Добужинскаго». Они снимали цѣлый особнякъ, настоящій Московскій с просторными комнатами, всегда зимой жарко натопленными, и с деревянной широкой лѣстницей, увѣшанной бутафорским оружіем. Обстановки в домѣ собственно никакой не было, стояли какіе то гигантскіе готическіе шкапы (кажется оставшіеся от в серьез сдѣланной бутафоріи Уріель Акосты) и все было большое, под стать хозяину. Стѣны оставались голая, лишь впоследствии в столовой сиротливо висѣлъ подаренный мной Станиславскому один итальянскій этюд.

Старый его камердинер, очень милый старик с сѣдыми усами, Василій Алексѣевич, весь день шаркалъ туфлями и трогательно заботился обо мнѣ, совѣм как о членѣ семьи, любил побесѣдовать и было уютно, что его фамилія тоже Алексѣев, какой была настоящая фамилія Станиславскаго.

С семьей Станиславскаго у меня создались самыя дружескія отношенія, которыя остались на всю жизнь.

Утренній чай мы на-спѣх пили всегда вмѣстѣ с К. С. и затѣм на извозчикѣ, котораго он звал с под'ѣзда зычным голосом, ѣхали в театр. Станиславскій трусил каждаго перекрестка, ненавидѣлъ быструю ѣзду и всегда препирался с извозчиком, хватая его за кушак. Великолѣпная фигура его всегда обращала на себя общее вниманіе и ѣхать с ним как то было даже неловко. Я любил всегда, и всѣ будущіе годы, об'единяться с К. С. по вечерам, послѣ спектакля. Нас ждал самовар и всякая холодная закуска, на которую К. С. обыкновенно набрасывался: «я собственно говоря, обжора».

Очень часто тогда прїѣзжал кто нибудь из театра — Ольга Леонардовна Книппер, Москвин, одно время зачистил Качалов,

бывал и А. А. Стахович, — и никогда Вл. Ив. Немирович-Данченко. Во время Мѣсяца в Деревнѣ я всегда встрѣчал у К. С. маленького живого Сулержицкаго, «Сулера», как его звали в театрѣ, человѣка необыкновенно талантливаго на всѣ руки, веселаго и забавнаго собесѣдника. Перед тѣм, как отдаться театру, у него была совершенно необыкновенная жизнь: он был очень любим Львом Толстым, был преданный его послѣдователь и когда Духоборы, которым помогал Толстой, переселились в Канаду, он туда их сопровождал. Об этом и вообще о себѣ и о Львѣ Николаевичѣ он рассказывал замѣчательныя вещи.

Мы засиживались иногда до очень поздняго часа и часто, по уходѣ гостей, еще продолжали бесѣдовать вдвоем с К. С. Именно тогда, в эти ночные часы, обсуждались разные будущіе проекты. Однажды, в позднѣшее время, мы с К. С. несколько ночей подряд фантазировали на тему какія «вообще» могут быть декорации в театрѣ — писанныя, ширмовыя, архитектурныя, драпировочныя, проекціонныя и т. д., со всякими их комбинаціями и вариантами. К сожалѣнію, у меня не сохранились сложнѣйшія и довольно чудаческія діаграммы, наброски и чертежи, которые мы тут дѣлали.

**
*

У меня было много работы в самом театрѣ — по установкѣ декораций, их освѣщенію и наблюденію за выполненіем мебели (которая вся дѣлалась по моим рисункам) и костюмов. Репетиціи шли в моих декорациях и актеры репетировали часто в костюмах. На репетиціях «Мѣсяца» я постоянно присутствовал и работа Станиславскаго мнѣ была безконечно интересна. Во время игры он все время дѣлал замѣтки и по окончаніи отдѣльной сцены или цѣлаго акта разбирал игру каждаго артиста в присутствіи всѣх остальных. Я не помню, чтобы были какіе нибудь нелады. Эта постановка создавалась удивительно гладко.

Станиславскій был в самом разгарѣ своих исканій и посте-

пенно создавал свою «систему», работая над актерами. На репетиціях я знакомился с его идеями, но мнѣ, не посвященному, удавалось улавливать лишь отрывки. То, что называлось «переживаніями» и хотячія тогда выраженія «круг» и «сквозное дѣйствіе» — постепенно все дѣлалось понятным именно на репетиціях, гдѣ я видѣл как ставились и разрѣшались самыя тонкія психологическія задачи.

Во время подготовительной работы самага спектакля (репетицій было 114!) я тѣсно сжился с самой пьесой. Она раскрывалась на моих глазах и наполнялась подлинной жизнью, и актеры становились для меня больше, чѣм простыми исполнителями ролей. Я «вѣрил» в Ракитина-Станиславскаго, вѣрил в Вѣрочку-Кореневу, вѣрил в Наталью Петровну-Книппер и в других, и всѣ эти образы дѣлались мнѣ близкими, как живые люди.

**

Спектакль Мѣсяца в Деревнѣ состоялся 9-го декабря 1909 года. Произошло то, что еще не случалось в Художественном Театрѣ: аплодировали декорациям при поднятіи занавѣса. Среди всяких комплиментов, которые меня весьма стѣсняли, больше всего мнѣ было радостно то, что говорил Станиславскій и артисты, — что декорации им давали большой под'ем и помогали их настроеніям. Было очень забавно, что многіе из публики утверждали, что мои декорации изображают какое-то опредѣленное имѣніе, но одни называли одно, а другіе — другое и даже спорили!

Мѣсяц в Деревнѣ был дѣйствительно событіем в исторіи Художественнаго Театра и по новому принципу: максимума духовной выразительности при скупости движеній актеров, по замѣчательной игрѣ их и по той тургеневской лирикѣ, которою дѣйствительно была проникнута вся постановка Станиславскаго. О спектаклѣ единодушно писали в московской прессѣ самыя восторженныя вещи, печатались и репродукціи декораций. Фотографіи же постановки с того времени всегда висѣли в фойе театра.

В счастливом моем настроении одно только мне мешало: мне было неловко и как-то конфузно перед художником Художественного Театра и долготным его сотрудником В. А. Симовым, которого мне пришлось как бы «устранить». Встречаться с ним мне приходилось редко и, чувствуя точно какую-то вину перед ним, я не знал как себя держать. Впрочем он продолжал работать в театре и, — может быть это было влияние петербургских гостей, — но его постановки пьесы Островского На Всякого Мудреца и особенно У Жизни в Лапах, отличались и большой простотой и даже цветистостью.

После всего длительного подема, в котором я был во время создания «Мѣсяца» — тоже бывало всегда и позже в подобных случаях — я чувствовал тягостную пустоту, все было окончено, я становился лишним и лишь завидовал актерам, которые теперь только начинали жить данной им жизнью. В Петербурге я заполнял эту пустоту, дѣлая «post scriptum» к моей работе, совершенствуя эскизы и начав некоторые наново. Сдѣлал также для «Аполлона» серию виньеток, посвященных «закулисной» жизни пьесы — тому, что есть в ее намеках. Впоследствии два моих эскиза были приобретены с выставки Мира Искусства в Третьяковскую галерею.

Сантиментально утѣшил и позабавил меня и тот смѣшной сюрприз, что когда я собрал все, что у меня накопилось от моей постановки и написал на большой папке этого архива инициалы пьесы: «М. в. Д.», я увидѣл, что это инициалы моего имени, отчества и фамилии! Утѣшался я и тѣм, что увижу весной мое «дѣтище» на гастролях театра в Петербурге, а главное, что мне в будущем предстоит новая работа в Художественном Театре. Я уѣхал из Москвы с этим обѣщанием Станиславского.

В мае 1910 года М. Х. Т. привез «мой» Мѣсяц в Деревню в Петербург. Декорациям хлопали, как и в Москвѣ, и на премьерѣ пьеса была принята так горячо, что театр нарушил все свои традиции и по окончании спектакля на сцену вышли все

артисты со Станиславским, который зывел и меня. Словом это был настоящий триумф «Мѣсяца».

Меня познакомили с Савиной. Ея ядовитыя слова (не из ревности ли?) относительно обѣих актрис, Книппер и Кореневой, игравших обѣ ея «коронныя» роли — Натальи Петровны и Вѣрочки (для нея Тургенев написал Вѣрочку) — были несправедливы и ея томный комплимент «как бы я хотѣла с'играть в ваших декорациях» меня не тронул. «Нововременская» критика пьесы была кислая и пристрастная и, хотя мы в Мирѣ Искусства привыкли сентенціи этой газеты игнорировать и лишь забавлялись ея желчью, тут это, помнится, крайне меня раздражало: Художественный театр стал «моим» и я уже жил его огорченіями и обидами.

Я, конечно, не пропускал ни одного спектакля Мѣсяца в Деревнѣ и всегда выносил из театра радость. Каждый раз я видѣл новые штрихи в игрѣ артистов, которые все время ее совершенствовали и сохраняли прежнюю свѣжесть.

Однажды заболѣл Грибунин, игравшій роль доктора, и экспромтом его замѣнил Москвин и, т. к. он не успѣл приготовить роли, ему дали книжку, с которой он выходил и в нее заглядывал. Это было очень смѣло и могло казаться смѣшным, но публика это приняла, как должное, такое было уваженіе к театру.

Довольно наивно, что Станиславскій, чтобы эта книжка была «незамѣтной», просил меня покрасить ее в синій цвѣт докторскаго сюртука, что для этой «мимикрии» я и сдѣлал.

**

Слѣдующая моя работа в Художественном Театрѣ был Тургеневскій спектакль: Нахлѣбник, Гдѣ Тонко Там и Рвется и Провинціалка, но Станиславскій перед этим долго колебался с выбором пьесы. Я часто пріѣзжал в Москву для бесѣд с ним, но он ни на чем не мог остановиться. То была мысль возобновить Чайку, то поставить Бѣшенныя Деньги Островскаго, то Женитьбу Гоголя, то Вишневы Сад по новому («у нас

есть Вишневый Сад, но сада самого нѣтъ — сдѣлайте нам так, чтобы в окно пахнуло этим цвѣтущим садом», говорил мнѣ Станиславскій). Но ни чѣм особенно я не мог «зажечься», хотя я и начинал дѣлать эскизы «карандашиком на кусочкѣ бумажки» и Станиславскій их одобрял; к Чехову же я не знал, как подойти — задача мнѣ казалась очень трудной, особенно для Вишневаго Сада, постановку котораго, такую как есть, я полюбил. Хотя я и видѣл ея недочеты, но мнѣ казалось кощунством мѣнять то, что так долго жило и было сдѣлано при Чеховѣ.

Послѣ всѣх колебаній, уже в началѣ 1911 года, рѣшенъ был Тургеневскій спектакль.

Работая для Тургеневского спектакля, я находился в прежних настроеніях «Мѣсяца», но эпоху (в «Мѣсяцѣ» 40-е годы) я взял другую — для Нахлѣбника 1830-е годы, для Гдѣ Тонко 50-е и для Провинціалки 60-е, и со Станиславским мы очень согласно выработали всѣ планы. Первоначально мой эскиз для Гдѣ Тонко Там и Рвется, который Станиславскій принялъ, был розовый зал «в духѣ Растрелли» (в пьесѣ говорится о Растрелли) и к приѣзду театра в Петербург, в маѣ 1911 года, декорация мной уже была написана и по просьбѣ Станиславскаго поставлена на сценѣ Михайловскаго театра для осмотра. Хотя декорация была эффектно освѣщена, мнѣ она показалась тяжелой. Кромѣ Станиславскаго и меня на этот показ был приглашен Немирович-Данченко и А. Н. Бенуа и мы вчетвером в один голос рѣшили: это не для «Гдѣ Тонко»... Кто знал Станиславскаго, может представить, как он, конфузясь и бая, сказал мнѣ: «ради Бога, простите, но это — для оперы, так и кажется вот выйдет тенор и, прижимая руку к сердцу, станет выводить рулады. Это моя ошибка, что утвердил эскиз и вас заставил напрасно работать, но и ваша вина, что вы эскиз сдѣлали талантливо, я и повѣрил». Немирович нашел, что зал слишком «роскошен» для помѣщичьяго дома, а Бенуа сказал, что скорее не Растрелли, а Штакеншнейдер*).

Я со всѣми ими был вполне согласен.

Надо было искать нѣчто другое, то, что дѣйствительно бы отвѣчало легкости пьесы и было бы именно «тонко». Тут же мы рѣшили, что упоминаніе о Растрелли, сбившее меня, можно игнорировать: в стилях при Тургеневѣ у нас не особенно разбирались и авторству Растрелли любили приписывать что угодно. Это мѣняло задачу и освобождало меня от того «рококо», которое у меня дѣйствительно получилось неубѣдительным и грузным.

Вѣроятно, только один Художественный Театр так честно избѣгал ошибок. Декорація была отмѣнена и даже примѣнена ни к чему не была.

Новая идея декораціи в эскизѣ у меня возникла скоро, она была гораздо легче и воздушнѣе первой: блѣдно-зеленый зал, с архитектурой в духѣ Камерона, с большими окнами до полу, в которых виден широкій свѣтлый пейзаж — это и было уже «гдѣ тонко».

Но для самага Тургеневского спектакля было еще очень далеко и я, лишь постепенно выясняя все в попрежнему дружеских и интереснѣйших бесѣдах со Станиславским, готовил другіе эскизы к нему. Театр был отвлечен иными большими работами: послѣ Мѣсяца в Деревнѣ, в 1910-11 годах, были поставлены — На Всякаго Мудреца Островскаго («Мудрец», как его называли в театрѣ), Братья Карамазовы, Miserere, Живой Труп и долго и мучительно рождавшійся Гамлет*). Многое творилось на моих глазах, было мнѣ очень близко и дорого, но создавалось без всякаго моего участія. Больше всего меня взволновала замѣчательная постановка Братьев Карамазовых и я ревновал: о Достоевском я давно мечтал, впрочем его и дождался позже.

Бенуа, который был так желателен театру, был еще занят в Парижѣ (в 1911 году он поставил своего Петрушку) и все, что там кипѣло, проходило без меня (лишь в 1914 году я был

*) Архитектор Николая I, строившій изящные подражанія стилю Людовика XV.

привлечен в Дягилевские балеты) — теперь же я весь ушел в жизнь Художественного театра и по целым недѣлям жил в Москвѣ.

В театрѣ я долгое время чувствовал себя немного «гостем». При встрѣчѣ сначала говорили: «Вы давно приѣхали?» а потом это замѣнялось: «Вы еще долго пробудете?» или «скоро уѣзжаете?» и я смѣялся, что вѣроятно это означает, что пора домой. В ту пору я ни с кѣм особенно не сошелся, но всѣ были очень привѣтливы, особенная же, чуть подчеркнутая, вѣжливость, я замѣтил, была общим свойством артистов М. Х. Т. Качалов, котораго я помнил еще Виленским гимназистом и с которым я постоянно встрѣчался, как то не располагал к близости и был менѣ всего москвичем, не так как иные «с душой на распашку». Но мнѣ всегда нравились его сдержанность и джентельменство.

Болѣе всѣх был ласков Лужскій, шумный, веселый, живой, немного актерствовавший в жизни, и с ним тоже я ближе сошелся лишь позже, благодаря Бѣсам и Розѣ и Кресту, гдѣ он принимал участіе в режиссурѣ. Я охотно бывал в его комфортабельном и уютном домѣ, как и у О. Л. Книппер, с которой всегда было просто и весело.

О Станиславском я не говорю, к нему у меня была настоящая влюбленность.

Я сразу же был очарован Алексѣем Александровичем Стаховичем. Как актер он появился в театрѣ в 1910 году, когда с'играл князя Обрѣзкова в Живом Трупѣ, но давно был другом Художественного Театра. Тогда он только что вышел в отставку из свитских генералов и стал 3-м директором театра. Шутники говорили, что его пригласили, чтобы «полировать» актеров и учить их свѣтским манерам. А. А. был одним из самых замѣчательных шармеров, каких мнѣ приходилось

*) Для Гамлета был приглашен из Англій известный режиссер Гордон Крэг.

встрѣчать в жизни, был «барин» с головы до ног и прост и ровен со всеми. Я часто видѣл как он, сидя в буфетѣ с каким нибудь скромным «сотрудником», весь наклонялся к нему, держа ладонь возлѣ уха, и выслушивал его, полный вниманія и участія. Он бывал душой собраній у Станиславскаго и рассказчик был талантливѣйшій. Помню его еще с бородой, — таким, и с моноклем в рукѣ он и запечатлѣн на портретѣ Сѣрова. Когда он по актерски побрился, с своим орлиным носом, черными бровями и круглым лицом он стал совершенный римлянин. Его всегда вспоминаю с необыкновенно тоненькой папирской. Позже, уже во время войны, несмотря на разницу лѣтъ, мы очень сошлись и перешли даже «на ты». Я иногда жила у него в квартирѣ и мог вдосталь наслушаться его всевозможных воспоминаній, особенно из придворной, свѣтской и театральной жизни Петербурга времен его молодости. Так мнѣ жаль теперь, что и в голову не приходило что нибудь из этого записать.

По утрам, спозаранку, я уже слышал его шаги, он ходил взад и вперед по сосѣдней комнатѣ, нетерпѣливо дожидаясь 8-ми часов, когда сможет меня разбудить, чтобы поговорить. Он появлялся в длинной старомодной ночной сорочкѣ до пят, с головой, повязанной платком или сѣткой, для прически, с неизмѣнной тоненькой папирской и с моноклем в глазу на широкой черной лентѣ. Он присаживался и начинались рассказы.

С Вл. Ив. Немирович-Данченко я еще в ту пору был далек и его оцѣнил, и даже душевно сошелся с ним, позже, в нашей незабвенной с ним работѣ над Бѣсами. Он, 2-ой директор Московскаго Художественнаго Театра, был полной противоположностью Станиславскаго и ничего московскаго в нем не было. «Безукоризненно» одѣтый (он носил всегда цилиндр) с аккуратно подстриженной бородой, с сдержанными манерами, с размѣренной спокойной рѣчью, Немирович был как бы «задерживающим центром» для порывов Станиславскаго и его спокойствіе и здравомысліе Станиславским очень цѣнились и

всегда каждая его постановка перед концом провѣрялась этим умнѣйшим и тактичнѣйшим человѣком. И наоборот, каждая постановка Немировича коррегировалась Станиславским (один как бы смягчал углы и закруглял, другой придавал гдѣ надо «перцу» и обострял). Этот «симбіоз» держался очень прочно и чрезвычайно рѣдко возникали между ними «трения».

Я полюбил самый театр с его круглым корридором, темным днем, покрытым коврами, гдѣ шаги были совешенно безшумны. По утрам из далеких верхних фойе доносились экзерцисы и сольфеджіо и придавали особенный уют этим рабочим утрам*).

Я с интересом сидѣл на репетиціях, когда онѣ шли на самой сценѣ, но к сожалѣнію не видѣл предварительных работ «за столом», что происходило в разных помѣщеніях театра — дѣлалось это келейно и совершенно интимно.

В перерывѣ репетицій буфет (с весьма скромными «студенческими» завтраками) был переполнен, тут и начались мои многія новыя знакомства.

Актрисы в театрѣ одѣвались очень просто, даже казались полу-монашенками и всегда были гладко причесаны (в театрѣ онѣ никогда не появлялись в шляпках — это считалось просто преступленіем!). Даже разбитная и веселая Ольга Гзовская, тогда только что появившаяся, старалась держаться общаго тона.

За порядком и строжайшей дисциплиной, которая царила в театрѣ, наблюдал отставной полковник фон Фессинг, называвшійся очень грозно: полицеймейстер театра. Это был чрезвычайно прямой и сухощавый невысокій офицер с большими усами, всегда не только корректно, но торжественно вѣжливый, который не входил ни в какіе посторонніе разговоры. «Потрудитесь, пожалуйста, с этим вопросом обратиться к господину директору Константину Сергѣевичу Станиславскому» отчеканивал он. Изрѣдка его бѣлый драгунскій воротник с пуговицей мелькал и в буфетѣ, через который он без-

*) В театрѣ всѣ упражнялись в пѣніи для постановки голоса.

молвно проходил, позванивая шпорами. Но обычное мѣсто его, вооруженнаго очками, было за конторкой в пріемной театра. Ему подчинен был большой штат сторожей или капельдинеров театра, одѣтых в коричневую форму. Они играли большую роль в будничной жизни театра, особенно хитроватый толстый Григорій Максимыч, общій фактотум, и спокойный бородатый Константин. Первый всегда безошибочно предсказывал будет или не будет успѣх той или иной пьесы и с этим, кажется, даже серіозно считались.

За буфетными столиками велись часто самые безопасные разговоры. Я особенно веселился, слушая импровизацію Лужскаго. Он, с невозмутимым лицом, любил изображать какіе то нелѣпѣйшіе діалоги между Станиславски и Немировичем, причем для каждаго из них был установленный штамп интонацій. К сожалѣнію это не передаваемо. Изобрѣтались и им и Качаловым, не отставали и другіе, постоянно все новые разговоры и анекдоты, причем Немирович прозывался «Колодкин» (от какого то магазина Немирова-Колодкина) — и это за ним так и удержалось в театрѣ, — а Станиславскій был «Старик».

О Немировичѣ создавалась легенда какого то невѣроятнаго неудачника, «22 несчастья», вродѣ Епиходова: то он будто бы садился в отдѣльном кабинетѣ ресторана на звонок и в самое неподходящее время появлялись лакеи, то спотыкался на гладком мѣстѣ, то зажигалась спичка в его карманѣ, то его знаменитая борода попадала в щель пюпитра и прочая ерунда. Это балагурство, конечно, нисколько не мѣшало общему уваженію к Владиміру Ивановичу и общей любви к Константину Сергѣевичу.

**
*

Вращаясь в театрѣ, я имѣл возможность внимательно присмотрѣться ко всѣм дефектам в постановках и причины многих грѣхов мнѣ становились уже ясными. Критическій глаз был дѣйствительно нужен и, по правдѣ говоря, и мнѣ и позже Александру Бенуа удалось внести в М. Х. Т. нѣчто от наших

знаний. Между прочим, по просьбѣ театра я впоследствии поправил Горе от Ума.

Сам принцип «правды на сценѣ» не во всем уже удовлетворял театр. И каким ненужным уже казался такой «реализм», когда во Власти Тьмы, чтобы изобразить на сценѣ грязную дорогу, дѣлались документальные гипсовые слѣпки с замерзшей колеи в подмосковном селѣ Ивановкѣ... Перестал удовлетворять и тот «историзм», когда он простодушно сводился к показу на сценѣ подлинных старинных вещей.

Самое очаровательное время бывало для меня в театрѣ перед самой постановкой, в концѣ моей работы.

В театрѣ за мной как тѣнь все время бѣгал артист Н. Г. Александров, нарочно ко мнѣ приставленный, чтобы мнѣ напоминать, что надо еще сдѣлать, и я очень полюбил милѣйшаго этого человѣка с его толстым носом, мигающими глазками и московскими словечками. Постоянно в корридорах я позади себя слышал его торопливую басистую скороговорку: «красавец, красавец, — остановитесь». (такіе зовы слышались по ночам на московских улицах). «А как на счет того и того?»

В один из пріѣздов моих в Москву для разговоров о новой постановкѣ я снова попал на очередной Капустник 1911 года, который как раз был одним из самых веселых и удачных. Баліеву на репетиціи пришла идея поставить «Уголок Вильны», воспользовавшись тѣм, что я, Качалов и Бравич*) были виленцами, литовцем был поэт Балтрушайтис (близкій друг театра) и за такового мог сойти и Сулержицкій. Меня за ночь заставили экспромтом написать декорацию и я изобразил красный облупленный старый виленскій дом, деревянные ворота с фонарем и разные вывѣски и в том числѣ неизбѣжную «повивальную бабку», которых почему то было много в Вильно. То, что мы будем играть, была тайна Баліева, но перед самым спек-

*) Бывшій артист театра Комиссаржевской, поступавшій тогда в М. Х. Т.

таклем появились гимназическія фуражки, блузы, пояса и шинели и нас пятерых в них облачили. Так как все это было не по мѣркѣ, то получилось очень забавно. Едва мы усѣлись, (гимназисты на большой перемѣнѣ), как оказались перед хохочущим залом — была, как водится, «вся Москва» и пока Баліев нас рекомендовал публикѣ, началась сама собой «Comœdia del arte». Занавѣс открывался нѣсколько раз под веселые апплодисменты.

Среди увеселеній этого капустника был «музей восковых фигур» — загадочные ящики, в которых за занавѣсками обнаруживались терпѣливо стоящіе в покорных позах «живые» Станиславскій, Немирович и другіе столпы театра, был «историческій музей М. Х. Т.», гдѣ под стеклом фигурировал волос из бороды Владимира Ивановича» и другія рѣдкости, и интриговавшая будочка «Москва в натуральную величину», куда входили за особую плату и гдѣ в окно можно было полюбоваться на подлинный Камергерскій переулок с фонарями, извозчиками и прохожими.

**
*

Репетиціи Тургеневскаго спектакля начались лишь в концѣ 1911 года и спектакль состоялся 5 марта слѣдующаго года. Репетицій было гораздо меньше чѣм для Мѣсяца в Деревнѣ*) и вся постановка создавалась легче.

Для «Гдѣ тонко» пришлось много потрудиться над освѣщеніем сцены и монтер Художественнаго Театра П. Н. Андреев сумѣл так залить ее свѣтом, что уже на генеральной репетиціи всѣ ахнули. Всѣх поражало «настоящее солнце».

Премьера была новым для меня «праздником», апплодировали самой декорации «Гдѣ тонко» и это стало таким обычаем, что потом нарочно артистов сразу не выпускали на сцену, чтобы дать публикѣ успокоиться! Декорация могла нравиться и этим солнцем и своей легкостью и прозрачностью, которую создавали и кисея на окнах и хрустальная люстра и

*) Их было «всего» 48 для «Нахлѣбника» и по 31 для других двух пьес.

жирондоли и едва намѣченный пейзаж с тоненькими березками и голубыми просвѣтами бѣлаго облачнаго неба, который был виден сквозь пять высоких окон. Играли этот очаровательный и изящный пустячек Тургенева всѣ с необыкновенной естественностью, мягкостью и молодостью. Особенно Качалов и Гзовская.

Для Тургеневского спектакля я с меньшей любовью сдѣлал декорации мрачнаго зала в Нахлѣбникѣ и комнатку Провинціалки.

Станиславскому в Провинціалкѣ я дал грим стараго волокиты 60-х г.г. с зачесанными вперед височками и с пышными баками, но почему-то послѣ первых спектаклей он вдруг придумал себѣ длинные висячіе бакенбарды, от которых физиономія получилась постная и унылая и даже было жаль этого стараго франта, когда он рушился на колѣни перед лукавой провинціалкой.

Мы с Бенуа, который тогда только что появился в Москвѣ, старались его переубѣдить, но он стоял на своем и так и не передѣлал этого грима. Я не подозревал, что в этой его неудачѣ он затаил обиду на художника и впоследствии это сказалось.

В маѣ того же 1912 года спектакль во всей своей свѣжести был показан в Петербургѣ и имѣл там пожалуй даже большій успѣх, чѣм в Москвѣ.

**

В зимній сезон 1912-13 года была создана в Художественном Театрѣ другим художником Міра Искусства, Н. К. Рерихом, огромная постановка Пер-Гинта Ибсена. Вряд-ли кто смог бы из русских художников передать так, как Рерих, с его сильным и довольно мрачным искусством, поэзію Ибсена.

Той же зимой, в началѣ 1913 г., впервые вошел в работу театра и третій по счету художник Міра Искусства А. Н. Бенуа, до этого года всего себя отдававшій Дягилевским балетам в Парижѣ.

Им были не только сдѣланы декорации и костюмы к Браку по Неволѣ и Мнимому Больному Мольера, но Бенуа принял

большое участие и в режиссурѣ этих двух пьес — как и при дальнѣйших своих постановках. Его работа, особенно в Мнимом Больном, придала спектаклю необыкновенную театральность и Художественный Театр несомнѣнно под его вліяніем освободился тут от чрезмѣрной внѣшней сдержанности. Своим необычайно живым темпераментом Бенуа сумѣл по новому расшевелить актеров и был создан отличный стиль в их буффонадѣ. Эпоха Людовика XIV, в знаніи и в чувствѣ которой он не имѣл соперников, была поставлена в театрѣ полной жизни и блеска и в пышнѣйшей и дурацкой церемоніи, которою кончался «Больной», с докторами, их шутовскими атрибутами и балдахинами, развернулось забавнѣйшее совершенно балетное зрѣлище. Наряду с этим, полным вкуса и стиля спектаклем, старыя постановки в театрѣ исторических пьес казались бѣдными и провинціальными. Станиславскій в роли Аргана создал новый неожиданный тип и показал может быть самое настоящее свое призваніе — комическаго актера.

В том же сезонѣ Бенуа сдѣлал свою вторую столь же стильную и остроумную постановку — Трактирщицу Гольдони, гдѣ опять же плѣнял своим тонким комизмом Станиславскій в роли помпезнаго Кавалера Риффопрато; а в 1915 году Пушкинскій спектакль из Каменнаго Гостя, Пира во время Чумы и Моцарта и Сальери.

В 1914 году сдѣлал в М. Х. Т. постановку и четвертый петербуржец, Б. М. Кустодіев — Смерть Пазухина, драму Шедрина, насыщенную купеческим бытом, который Кустодіевым был показан на сценѣ весьма красочно и «вкусно». В слѣдующей, мало интересной для художника пьесѣ, Осенних Скрипках, Кустодіев «вышел с честью» из положенія, вводя в декорации свои любимыя краски, особенно в поэтическом осеннем пейзажѣ городского провинціального сада.

**
*

За эти же годы у меня была моя третья постановка в М. Х. Т. — Николай Ставрогин по роману Бѣсы Достоевскаго,

на которой я остановлюсь подробнѣе. Предложена она была внезапно.

В 1913 году было рѣшено поставить Коварство и Любовь Шиллера и хотя я приготовил всѣ эскизы и ѣздил на лѣто специально в Мюнхен и Штутгарт, чтобы собрать историческіе матеріалы, — постановка эта к моему огорченію неожиданно отпала (из за болѣзни Германовой, которая должна была играть леди Мильфорд). Роли же были всѣ уже распределены и можно было представить, как бы была сыграна пьеса с Качаловым-Фердинандом, Станиславским-Президентом и Москвиным-Вурмом.

Но я полностью был утѣшен новой работой, которая меня увлекла чрезвычайно и была одной из самых незабываемых для меня в М. Х. Т.

Мір Достоевскаго с юности меня волновал и теперь я погрузился в него всецѣло. Бѣсы были приспособлены для сцены Немировичем, который гордился, что ни одного слова не приписал — все были слова Достоевскаго, за исключеніем одной незначительной фразы, для связи. Немирович был опытный драматург и опыт свой тут примѣнил так же блестяще как и в Братьях Карамазовых. Использована была лишь часть огромнаго романа и был исключен цѣлый ряд дѣйствующих в нем лиц.

С Немировичем работалось очень дружно. Мы по долгу запирались в его кабинетъ в театрѣ и эту комнату (сплошь увѣшанную фотографіями театральных людей) он мнѣ часто предоставлял в полное распоряженіе — другаго помѣщенія не было — и я мог там сосредоточиваться. У нас не случалось не только никаких разногласій, но я удивлялся как мы одинаково воспринимали Достоевскаго и как ясно вставали общія задачи. Я очень дорожил всѣм, что подсказывали мнѣ его умныя и тонкія режиссерскія соображенія, но я вовсе не был стѣснен в моих проектах и все им весьма охотно принималось.

Самый дух и темы пьесы были совершенно другіе, чѣм в предыдущих моих постановках: вмѣсто лирики была острѣйшая

драматичность, которая по иному и «подстегивала» меня. Тут я шел тѣм же путем, как в работѣ со Станиславским, но совсѣм в других настроеніях. В противоположность симметріи, спокойным краскам и линіям — тому, что подсказывали благодушныя тургеневскія пьесы — динамика Николая Ставрогина и вся кипучая атмосфера Бѣсов требовали абсолютно другого.

В этой постановкѣ я впервые как бы нашел себя — предчувствія были давно и в моих ранних мечтах о Шекспирѣ — и, хотя лирическія настроенія остались мнѣ близкими и в них я и впослѣдствіи «впал» в театрѣ, — но именно с этих пор то, что исходило из драмы, трагедіи и романтических пьес, — особенно меня поднимало и возбуждало творчески.

Спектакль ставился в необычайном для театра темпѣ работы и хотя в общем было 107 репетицій, Николай Ставругин был готов к концу октября, т. е. пьеса готовилась меньше 2-х мѣсяцев — срок небывалый.

Это был общій под'ем и для меня работа была одним из первых случаев того художественнаго «ража», который и впоследствии повторялся, когда я сам недоумѣвал откуда бралась энергія и как я успѣвал сдѣлать так много за короткое время.

Свести декорации к простым фонам (так было в Братьях Карамазовых) в Бѣсах казалось бѣдным и моя задача заключалась в наибольшей выразительности и в то-же время лаконичности декораций, — их было 11 и требовалась легкость их конструкций и перемѣн.

В этой моей задачѣ была попытка выразить то, о чем лишь в скрытых намеках говорится в романѣ и как Немирович ограничился лишь словами Достоевскаго, я старался выразить самое острое, что чудилось в его неуловимом стилѣ и его скупых описаніях. Задача была как бы в «преодоленіи» ненужнаго тут натурализма и я, на сколько мог тогда смѣло, взялся за это.

Может быть наиболѣе удачными оказалась длинная стѣна у паперти с рядом вдоль нея сидящих черных фигур нищих, мост, гдѣ все сведено было к силуэту перил и фонаря, сѣрая

комната с мебелью в чехлах в «Скворешниках», гдѣ в амбразурѣ окна, освѣщенного заревом, жалась фигурка Лизы в зеленом бальном платьѣ, закутанная в красную шаль, и силуэт голых деревьев в сценѣ ея бѣгства.

Были и неудачи. В сценѣ пожара и убійства Лизы (позже выпущенной) мы долго и напрасно бились над изображеніем дождя и дыма, но «реализм» тут провалился. Полуниин, старик бутафор, придумал для дождя серебряныя веревки, накрученныя на вал, но онѣ перепутались, вал визжал и чудак был в отчаяніи. Когда же сооруженный им из войлока лохматый «дым» пополз кверху — это всѣх так разсмѣшило, что поскорѣе его убрали к конфузу изобрѣтателя.

В маленькой комнатѣ Шатова мы долго добивались нужного освѣщенія. Я предлагал простую свѣчу, но в театрѣ ужасно боялись пожара и она была замѣнена электрической лампой, скрытой за грудой книг, при чем, как я ни спорил, давали слишком сильный свѣтъ. Чтобы меня успокоить, его придушили на генеральной репетиціи, а потом пускали во-всю. Немирович признался, что меня надо было «надуть» (вопрос освѣщенія почти всегда неизбѣжный камень преткновенія с режиссером!).

В костюмах «Бѣсов» я придерживался конца 60-х годов — времени написанія романа — и особенно меня увлекла задача ансамбля пестрых нарядов на балу у губернатора. К сожалѣнію, эта сцена, поставленная очень по Достоевскому, вполнѣ была тоже отмѣнена. Как всегда, насколько позволяло время, я присутствовал на репетиціях, образы «героев» Достоевскаго создавались на моих глазах и я помогал артистам в их внѣшнем обликѣ.

Лучшаго Ставрогина, чѣм был Качалов, нельзя было представить. Его красивая и благородная осанка и нѣчто «леденящее», что было в самой натурѣ артиста, все подходило для внѣшности «великаго князя», каким я хотѣл его сдѣлать. Лиза-Коренева, которая так поразительно по Достоевскому совпала в Бр. Карамазовых с типом другой «Lise» — хрупкой,

капризной полу-женщины, полу-ребенка — тут развернула окончательно свой исключительный драматический талант. Была замѣчательна Бутова. Эта монахиня в жизни, с ее строгим лицом и орлиным профилем, на сценѣ оказалась властной и сильной женщиной и настоящей «дамой» и был незабываем Берсенев — Петр Верховенский — у котораго была и вертлявость «мелкаго бѣса» и отлично сдѣланныя подлость и подхалимство — он безпрестанно грыз ногти — что было очень удачно найдено.

В спектакль дѣйствительно вѣяло духом Достоевскаго. В необыкновенно остро поставленной Лужским, — помогавшим Немировичу, — истерической сценѣ бала с «кадрилью литературы» выступил впервые (в маленькой роли нигилиста) будущій чудесный артист Мих. Чехов и бѣсновались совѣм юные тогда Бирман, Дурасова, Соловьева, Успенская, Булгаков, Жилинский, Колин, Смышляев и многіе другіе — цѣлый рой будущих прекрасных артистов.

И опять же, когда все кончилось, послѣ всего под'ема, я должен был найти исход волненію, в котором жил и я сдѣлал много «послѣсловій» к Николаю Ставрогину*). В «Бѣсах» был вообще перелом на моем пути художника.

*

**

Послѣ передѣлки мной старой постановки Горя от Ума в 1914 году (я с большим удовольствіем исправил всѣ неточности стилиа и сдѣлал много новых костюмов) — были еще три мои послѣднія работы в М. Х. Т. перед революціей: Будет Радость Мережковскаго, Село Степанчиково Достоевскаго и Роза и Крест Блока.

В Будет Радость, довольно нудной пьесѣ Мережковскаго, которую ставил Немирович, был лишь повод выразить нѣкое романтическое настроеніе в декорации ночной залы, имѣла успѣх радуга и дождь сквody солнце (неплохіе свѣтовые эф-

*) Эскиз моста попал в Музей Александра III и комната Шатова — в Третьяковскую галерею.

фекты) в сценѣ сада, и я помню, утѣшил Вл. Ив., дав намек осени в пустых цвѣточных горшках, сложенных возлѣ веранды. Тут можно было лишь показать «очищенный» — реализм.

Село Степанчиково, в 1916 году содавалось в крайне тяжелой атмосферѣ. Актеры говорили, что ни одна пьеса в театрѣ еще не ставилась так трудно и туго Станиславским и у меня тоже ни одна работа не была такой мучительной. Прежней идиллии, спокойствія, сосредоточенности — не было и в поминѣ. На театрѣ, особенно на Станиславском, сказывались угнетающія настроенія войны, всѣ устали, сам он был в періодѣ разочарований (не в своей системѣ — он ей оставался вѣрен, хотя и запутывался), а в актерах, был нервен и мрачен.

У меня самого дѣло шло трудно, реализм меня связывал и я никак не мог найти нужного подхода к этой сатирѣ Достоевскаго, и хотя Станиславскій, послѣ моих тягостных поисков эскизы одобрял, моя самокритика меня мучила.

На безконечных репетиціях разыгрывались тяжелыя сцены. Артисты часто не понимали чего хочет от них Станиславскій, были запуганы, терялись и я видѣл слезы даже у почтенных артистов, как Книппер, Лилина и Грибунин. Он был придирчив, жесток, говорил подчас весьма обидныя вещи и сам терзался и мудрил над своей ролью, вообразив, что она у него не выходит (на дѣлѣ же в этой пьесѣ он был идеальным «полковником» Достоевскаго, какого только можно было представить).

Во время работы выплыло и то, чего никак нельзя было ожидать послѣ стольких лѣт сотрудничества со Станиславским — его внезапная «ревность» к художнику.

О пресловутом «засильи» художников уже давно говорили кругом разныя недоброжелательныя вещи. Дѣйствовало и это и возможно, что играли роль и наши художественныя затѣи, особенно у Бенуа и Кустодіева. Послѣднему, напримѣр, не могли в театрѣ простить одну его «выходку»: на фонѣ декорации нарисованную вдали лошадь, которую он ни за что не хотѣл убрать, увѣряя, что это реализм — лошадь де стоит неподвижно часами.

Бенуа часто тоже бывал настойчив, даже бывали крупные споры, и на иное Станиславский соглашался, вѣроятно, скрѣпя сердце из уваженія к авторитету Бенуа.

Тут и произошел крайне неприятный случай.

Еще в началѣ репетицій Села Степанчикова, Станиславский, собрав всѣх участвующих, в их присутствіи разбирая мои эскизы, сказал мнѣ: «Ваши рисунки очень хороши, но они связывают актера. Я не могу забыть, как в Провинціалкѣ вы мнѣ нарисовали грим. Я ему повѣрил и сдѣлал, но не мог в нем играть — он не подходил к типу, который я представил, и потому я его сам измѣнил. Вы можете дать тут такой галстух, котораго не «переиграть» актеру. Покажите нам разные образцы того, как одѣваться и как гримироваться по эпохѣ, а мы сами выберем».

Я был страшно поражен и тут же при всѣх сказал приблизительно слѣдующее: «Дорогой К. С., я не ожидал послѣ всей моей работы с Вами этого недоверія. Я никогда не фокусничал и не навязывал пустых капризов. При таком отношеніи к художнику мнѣ нечего дѣлать и я отказываюсь работать» — и ушел.

Я видѣл, как всѣ были разстроены и сочувствовали мнѣ, я же был совершенно подавлен. Потом все наладилось. Было дружеское об'ясненіе с К. С. и об'ятія, но трещина залѣчилась лишь постепенно. Разумѣется все это не могло не отразиться на моей работѣ.

Несмотря на всѣ страданія и нервность, спектакль вышел удачен, многіе же находили его замѣчательным.

Сам я не был удовлетворен своей частью, хотя меня многіе увѣряли, что я к себѣ несправедлив.

**
*

В том же 1916 году начались работы по постановкѣ Розы и Креста Александра Блока.

Вначалѣ для декорацій был приглашен московскій скульптор Андреев (автор памятника Гоголю) и он вмѣстѣ с В. В. Лужским проектировали общую архитектурную конструкцію.

Она была хотя и остроумна, но очень сложна и громоздка и ее оказалось невозможно осуществить.

Пьесу ставил Немирович и когда я был привлечен для нея, мы с ним, как было в Бѣсах и в Будет Радость, вошли в очень тѣсное и ладное общеніе.

Моя сценически декоративная задача была очень не легкой, в виду необходимости быстрых и незамѣтных переходов от одних сцен к другим, хотя в этом технически и сходная с Бѣсами, но здѣсь было сцен еще больше (13) и гораздо меньше антрактов между ними. Мы рѣшили использовать давно не примѣнявшуюся в новых постановках вертящуюся сцену, которая была отлично оборудована и на которой можно было размѣстить постройки всѣх сцен с системой отдѣльных занавѣсей, и теоретически все казалось найденным.

Но пьеса в театрѣ выходила какой то мертворожденной. Роза и Крест ставилась чрезвычайно медленно — почти два года...

Артисты постепенно «увядали», многіе роли переходили от одних к другим. Не выходило и с музыкой, которая должна была сопровождать многія сцены. Ильи Саца, написавшаго замѣчательныя музыкальныя иллюстраціи к многим пьесам, Синей Птицѣ, Miserere, У Жизни в Лапах, уже не было в живых. Музыку пробовали писать многіе, обращались и к С. В. Рахманинову, но почему то ни на чем не могли остановиться...

Блок, с которым я видался неоднократно в Петербургѣ, дал мнѣ много цѣнных матеріалов, но я хотя и довольно хорошо и до этого знал эпоху — работу свою засушил, слишком педантично собирая матеріалы (в Румянцевской библиотекѣ нались еще новые) и Блок был прав, написав в своем дневникѣ, впоследствии изданном, что «эскизы Д. какіе то деревянные».

Как ни странно, Блок настаивал на реальности постановки (он говорил: «от Алисы должно нести луком»), несмотря на то, что в пьесѣ столько истинной поэзіи и отдѣльные образы,

как Гаэтан — почти видѣнія. Все это меня смущало и по настоящему мы не могли договориться.

Декорации я усердно писал в Москвѣ и слѣдил за очень тщательно, как всегда, исполнявшимися костюмами. Но при начавшейся разрухѣ было тяжело ѣздить в невѣроятную даль — новая декоративная мастерская театра помѣщалась на окраинѣ города, гдѣ то у Покровской заставы — и я физически изнемогал.

Когда все почти было готово и уже была назначена генеральная репетиція с декорациями и костюмами, Станиславскій, как обычно дѣлалось при постановках Немировича, «вошел в пьесу». Пошли слухи о его неблагоприятных отзывах ко всему подходу и Немировича и моему и я, будучи в полном отчаяніи, смалодушествовал и перед самой репетиціей уѣхал в Петербург... Это было наканунѣ октябрьской революціи.

Потом я узнал, что Станиславскій рѣшил все сдѣлать по новому. Не только для меня, но и для Немировича и для Блока и для всѣх артистов, которые истомились в ожиданіи спектакля, это был большой удар. Защищать же свою работу я по совѣсти все таки не мог.

Передѣлка Розы и Креста была поручена Станиславским моему же помощнику по писанію декораций молодому художнику Гремиславскому, который по его указаніям перевел все на драпировки. Говорили и об этой очередной неудачѣ...

Пьеса так и не была поставлена. Кажется в 1920 году ее передали в театр Незлобина, этим матеріально как-то был удовлетворен Блок, но и в этом театрѣ ничего не получилось.

Уже послѣ смерти А. А. Блока был проект кинематографического режиссера Волкова поставить Розу и Крест в кинематографѣ. У меня начались с ним разговоры, но и это не осуществилось. Собирались в Москвѣ издать книгу о Розѣ и Крестѣ, для которой я сдѣлал нѣкоторые рисунки, но я не увѣрен, были ли она напечатана.

На неудачѣ с Розой и Крестом окончилась моя работа в Художественном Театрѣ.

Послѣ революціи я много работал в петербургских театрах, между прочим сдѣлал постановку Разбойников Шиллера в Большом Драматическом Театрѣ, об'единившись с Болеславским и Сушкевичем, артистами М. Х. Т., режиссировавшими пьесу.

Будучи в Москвѣ в 1921 году, я с завистью проводил Станиславскаго и театр, уѣзжавших на гастроли в Европу, и жил в самом зданіи театра. При тогдашних ужасающих жилищных условіях негдѣ было остановиться и мнѣ устроили в пустовавшем театрѣ «угол» — в уборной отсутствовавшего Качалова, гдѣ впрочем было трудно спать от страшнаго количества появившихся театральных крыс, с которыми не мог бы сладить даже бравый полковник фон Фессинг, если бы был жив...

В 1924 году я уѣхал за границу, но все же нить с М. Х. Т. не порывалась. Через два года в Берлинѣ я встрѣтился с Немировичем и он мнѣ предложил сдѣлать эскизы к Плодам Просвѣщенія. Хотя пьеса как то не вдохновляла, мы с ним начали обдумывать эту постановку и я нарисовал один проект, но почему то это все замерло и я уѣхал в Париж.

Но были зовы и в послѣдующіе годы и одно письмо от Немировича из Москвы, очень дружеское и подробное, о том, что именно они хотѣли бы ставить со мной, с тронувшими меня его словами, что в театрѣ меня не перестают цѣнить и помнят, но, по разным причинам, я отказался...

В 1929 году было 25-лѣтіе смерти Антона Павловича Чехова и в Баденвейлер, гдѣ он умер в 1904 году, пріѣхали многіе из М. Х. Театра. Пріѣхал и я, чтобы повидать старых друзей послѣ долгой разлуки и был счастлив снова обнять Станиславскаго, увидѣть его жену и дѣтей и О. Л. Книппер (другіе тогда уже уѣхали) и наговоритьсѣ с ними. Но Станиславскій был крайне нервен, говорил осторожно, с оглядкой, даже тут, в этом мирном курортѣ...

Он тогда очень постарѣл, его черные брови посѣдѣли и это очень мѣняло его. Я сдѣлал тогда с большой любовью

его карандашный портрет. Нарисовал и бѣлую гостиницу, гдѣ скончался А. П. Чехов и вид, на который он смотрѣл из своего окна перед смертью. Эти рисунки я послал в подарок театру.

Года за два до смерти Константина Сергѣевича я получил от него из Франціи длинное необыкновенно сердечное письмо. Он писал: «я долго не мог начать писать. Писал «на Вы» и у меня не выходило. Я не помню, пили ли мы на брудершафт, но только «на ты» и могу.

**
*

В 1937 году в Парижѣ я видѣл три спектакля М. Х.Т.: Врагов, Любовь Яровую и Анну Каренину, встрѣтился с Немировичем, с Васей Качаловым, с которым так сблизился за послѣдніе годы в Москвѣ, с Книппер и другими, но всѣ они, понятно, по неволѣ, были очень сдержаны. Владиміра Ивановича я нашел совсѣм таким же по внѣшности, как раньше, он только совершенно весь побѣлѣл и перестал уже носить свой цилиндр. Послѣднія слова, которыя я от него услышал, были — «а когда же Вы к нам?»...

От спектакля я вынес очень тяжелое чувство. Было в лучшем случаѣ лишь копія прошлаго, всѣ повторяли самих себя и новаго творчества, новых наблюдений жизни, кромѣ типов общаго шаблоннаго характера, я не замѣтил. Когда я увидѣл разныя неточности в эпохѣ в Аннѣ Карениной (постановка которой и отчасти игра были еще на извѣстной высотѣ) и сказал от этом на сценѣ актерам, прибавив: «воспользуйтесь мной, я вам охотно помогу», мнѣ отвѣтили: «это мелочи, которых не замѣчает публика».

Этот отвѣт меня больше всего огорчил, потому что в мое время театр был прежде всего художественно **честен** и подобное отношеніе говорило о том, что он перестал быть тѣм, чѣм он был.

М. Добужинскій.

ТАЛАНТ

— О чем Вы, няня, задумались?

— Про кухню думаю. Вспоминаю. В Россіи-то у нас были кухни большія-пребольшія. А тут что? Куфонька. И комнатой назвать невозможно. Вот хотя бы у вашего костромского дя-дюшки Филофея Павловича — это кухня была! Случись, ложка серебряная потеряется — никак не найдешь. Потому, пространство!

— И часто ложки серебряныя терялись?

— Правду сказать, только и терялись, пока в домѣ кухон-ный мужик жил. А так, ни-ни.

— А что у вас кухонный мужик дѣлал?

— Как это «дѣлал»?

— Работу какую?

— А никакой работы. Кухонные мужики не для работы приставлены, а для виду. Дом, мол, это господскій, настоящие баре живут. Ну, не без того, если, скажем, мужик с кухаркой в дружбѣ, то помойное ведро вынесет, либо дров внесет, а то и в лавку сбѣгает. Это может случиться.

— Но как же он время проводил?

— Мѣтом, бывало, за воротами на лавочкѣ сидит, на про-хожій люд посматривает, а зимой в кухнѣ грѣется, щи хлебает. Талько наш кухонный мужик особенный был. Барин сам нашел и за талант в дом принял.

— Нашел? Гдѣ же это?

— А в слободкѣ. Дядя ваш извѣстный благотворитель был. В городѣ, в Костромѣ, очень его уважали. Кругом слу-чались и грабежи и поджоги, а у нас и запоров на дверях не было. Уваженіе от народа, не трогали.

— Каким же образом дядя бѣдным помогал?

— А деньги мѣшечками раздавал, бывало. В праздник от обѣдни идет, а нищие в ряд стоят. Каждому три копѣйки.

— И много нищих?

— По два, по три ста сходилось. Всякому три копѣйки.

— Ну, для богатаго человѣка это не так уж много.

— Не скажи, милая. Воскресеньев, значит, в году — 52. Дванадесятых — 12. Да всѣ царскіе дни посчитай, и, конечно, престольные праздники. Пост великій: первую недѣлю, четвертую да послѣднюю, по двѣ службы на дядю считай. Говѣнье опять же — недѣлька. Жены покойной память и опять же родителей. А в день своего-то ангела и не по три копѣйки, а по пятаку на пришедшаго. Набиралось, милая, расходов-то. Бывало, в мѣшечкѣ-то и не хватит, ну назад в церкву дядя идет, у свѣчнаго ящика одалживает, а уж без милостыни не отпустит, никак. За то и уважали дяденку.

Повздыхала няня, задумалась. Ей дорого было минувшее. Жаль было ее потревожить, но и послушать хотѣлось. Она о прошлом говорила рѣдко, отмѣривая скупно из своих богатств. Зато уж если рассказывала, то обстоятельно, истово.

— Но как это дядя мужика-то нашел?

— А один раз такое случилось: часы золотые положил дяденка на подоконничек, а окошко-то было открыто на улицу. Исчезли часы. Разсердился дяденка ваш ужасно. Я этак — говорит — вѣру в человѣка потерять могу. И пошел он в слободку, гдѣ всякій люд жил: которые бѣдные, которые пьяные, которые, просто сказать, разбойники. А дядю вашего разбойники особенно любили. Адвокат он был, и всѣх-то даром защищал. Гордился даже. Я, говорит, за уголовныя дѣла гроша в жизни не заработал. Доказывать хотѣл народу, что не всякій, мол, адвокат «продажная совѣсть». И уважали его очень. А вот послѣ пропажи часов смутился он духом, пошел в слободку и говорит:

— Воры-разбойники! Вы — говорит — что сдѣлали! В жизни моей, можно сказать, меня разочаровали! Я, вѣдь, этак

вѣру в человѣка потерять могу. Кто же вас потом на судѣ защищать будет?

— Испугались всѣ, а дядюшка их упрекают: — ни стыда у вас, значит, нѣт, ни совѣсти. Я вѣдь из принципу без заповор живу... Народную совѣсть доказываю. А вы меня же и обокрали!

Смутились воры-разбойники прямо до слез и так отвѣчают: не может того быть, чтобы мы сами украли. Должно, какой пришлый вор-разбойник. Идите, барин, домой. Найдем сами вора и приведем с часами и повинной.

— И нашли?

— Как же! Вечерком, смотрим, вся слободка шагает. Ведут. На колѣни поставили: кайся. Кается вор: пришлый я человѣк, сирота. На чужой, опять, сторонѣ. Иду, вижу — часы. Чьи, не знаю. Беру часы-то. Чистое дѣло! Ну, как мнѣ потом сказали, этот барин воровству не подлежит, так на-те часы-то, берите — пользуйтесь!

— А дядя ваш спрашивает: зачѣм крадешь? Изумляется вор: а как же, говорит, не красть? Человѣк, случается, бывает голодный, а вещи лежат-валяются, хозяина не видать. Как не украсть? Тут дядя говорит: иди жить ко мнѣ, работу дам. Нѣту, говорит, сейчас не пойду: у меня деньги есть. — Сколько денег-то? А 30 копѣек. Ну, говорит барин, как прохарчишься — приходи. Утром и приходит вор: прохарчился, говорит.

— Стал дядя его нанимать. Что ты дѣлать умѣешь? — спрашивает, кромѣ воровства.

Помолчал мужик.

— Пятаки гнуть умѣю.

— А еще что?

— Волгу могу переплыть туда — сюда два раза.

— Нагишем?

— Нѣт, в одеждѣ.

— Пойдем смотрѣть! — дяденька кричит и картуз надѣвает...

И взяли мужика. А барышня — сестрица, Цапелькой барин ее называл, и очень она этим обижалась, стала барину замѣчать: ну, как это — вора и в дом? А дядя говорит: талант у него подозрѣваю. И до чего, говорит, талантлив русский народ, сказать невозможно. Нѣту другого такого талантливаго народа на свѣтѣ. Так и утвердился мужик в домѣ. Тут и стали пропадать серебряныя ложки.

— Крал он их?

—А этого сказать не могу, не знаю, своими глазами не видала, хоть и великогрѣшница. Ну, опять же, теряются ложки-то. А барышня-Цапелька, хоть и не по молодости, все же о замужествѣ мечтала. Видит, уходит приданное-то ложка за ложкой. И скажи тут она кухонному мужику неприятное слово. Прямо-то сказать, опять же неловко. Обидѣть челоуѣка можно. Стала барышня говорить намеками. Странно мнѣ это кажется, говорит, ложки так вот и теряются, так и теряются. И гдѣ тому причина, сильно я интересуюсь. — Стерпѣл мужик обиду, слова не сказал. Только вечером он и докладывает барину: — боюсь, грѣха бы не случилось. Запойный я. Как запью, да обиду вспомню — нож могу взять, да и зарѣжу всѣх.

Тут барин придумал всѣ ножи на ночь запирать. Столяра позвали, замки и в шкафах, и в столах придѣлали. Вечером барин, бывало, псалом напѣвает: «Камѡ пойду от духа твоего и от лица твоего камѡ бѣгу»... и самолично всѣ ножи запрут и ключики с собой унесут, под подушку. Так и спал на ключиках. Барышня-Цапелька ссориться с братцем начинала было: ты бы, говорит, мужика прогнал, а ты ножи запираешь, А барин отвѣчает, что старыя дѣвицы обычно не в мѣру подозрительны и боязливы. А мужика прогнать не могу, говорит. Жалко. Талант.

Барышня тайно даже полицмейстера на чай приглашала. Приѣхали в мундирѣ, ручку цѣлует, на просьбу же, однако, отказывает. Барышня просит: запирайте мужика в тюрьму. Ему там будет тепло и сухо. А пищу я ему подсылать буду, если харчи не хороши. А их благородіе убѣдительно отвѣчают: не-

возможно. В году, говорят, считайте сами, 52 недѣли. Двѣ, скажем, он пьет. Не может правительство его за то пятьдесят недѣль содержать. Невозможный расход, да и не заслужено. Вот если он и вправду нож возьмет и кого зарѣжет, тогда рады стараться, с большим удовольствіем — на десять лѣтъ, а то и на двадцать, смотря, как рѣзать будет.

— Да пил-ли мужик-то?

— Как не пить, пил. Ночью, случилось, всѣ кухонные-то бѣгут прямо к барину в спальню: вставайте! — кричат — запил! Барин халатик накинёт, перекрестится на образ и спѣшит на усмиреніе, потому никто кромѣ и не подходил, боялись.

— Как же все это кончилось?

— Обычно кончилось. Плохо кончилось — мужику-то. Зимой запил, в Филиппов пост. Упал з канаву и замерз. А дядя ваш даже плакал! Жалѣли. Талант пропал. В сорокоуст записали. Добрый был барин. Ну, и Господь барина наградил за доброту Своей милостью: до революціи помер.

— Хорошо, няня, но какой же талант был у кухоннаго мужика?

— А я того не знаю, милая. И барин видно сам не знал. Так только... догадывался.

Нина Федорова.

В ПРОСТОРАХ АМЕРИКИ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С НОВОЙ РОССИЕЙ

В февралѣ 1943 года, развернувши мѣстную газету, мы прочли, что в сосѣдном порту высадились нѣсколько сот русских моряков под командою тридцати офицеров. Одна мысль о том, что на их лицах лежит еще загар русскаго солнца, вѣрнѣ свѣжіе знаки от укусов сѣверных морозов русской зимы и, конечно, сладкій запах отечественнаго дыма, толкнула к непреодолимому желанію:

— Повидать бы их, хоть издали!...

Но вѣдь это не так просто, как могло быть когда то, много лѣт назад. Мы — разные міры. Они хозяева родной земли, мы — пасынки, ушедшіе за рубежи. И не о себѣ уж рѣчь. Не подвести бы кого либо из них. Они вѣдь, по преимуществу, молодежь и за дѣла, с которыми мы не соглашались, винить их не приходится. А повидать, послушать, что то новое понять — ужасно хочется.

В нашем колледжѣ предстоял годовоіъ праздник, на который был, кромѣ других почетных гостей, приглашен И. И. Сикорскій, только что начавшій строить тысячами свое новое изобрѣтеніе — вертолетъ. Мы и рѣшили на его лекцію пригласить главнаго командира моряков. Послали приглашеніе не прямо, а официально от колледжа и через посредничество главнаго начальника почт того города, в котором высадились моряки. Не пріѣхал и не отозвался. Только уже послѣ нашего торжества было получено письмо от помощника командира: извиняются, дѣла не позволили.

Мы поняли все правильно и не роптали. Но не унялись. Тогда я написал письмо уже прямо от себя и по-русски: гора, мол, не идет к Магомету, разрѣшите маленькому Магомету из

Сибири подойти к горѣ. Очень хочется повидать сынов родной земли. Молчаніе. Мы и это поняли правильно, без обиды. Но через двѣ недѣли — вдруг письмо, любезное, хорошее письмо: пожалуйста, и сами выберите мѣсто и время встрѣчи. Этот момент высокаго волненія крови назначен был на воскресенье 18 Апрѣля. День исторической, потому и называю его точно.

Хотѣлось бы описать мое душевное состояніе, если бы это было не столь сложно. Многіе из нас должны были пройти ухабистый путь жизни, который выпадал каждому из нас, как мухѣ через паутину. В паутинѣ этой бьется человѣкъ под несусыпным оком паука-судьбы и волен и не волен распорядиться днями своей жизни, но борется одиноко, одиноко ищет выхода к свободѣ. Вы чувствуете в этом замѣчаніи нотку не то вины, не то жалобы, не то смущенія... Ни то, ни другое, ни третье, но Новая Россія слишком много пролила крови в этот короткій період времени с начала этой сверхчеловѣческой борьбы против внѣшняго врага, за землю и за волю, и завоевала всеобщее признаніе и преклоненіе. Не только потому, что эти моряки — являются активными участниками отечественной войны, но потому, что теперь каждый человѣкъ в Россіи является героем, я не без волненія стоял у окна в вестибюлѣ огромнаго зданія Почты, гдѣ мы условились встрѣтиться. Я не знал, будет ли он в формѣ или в гражданском платьѣ и когда у под'ѣзда появились двое в морской формѣ, я уже по походкѣ угадал, что это они. Так как контора главнаго начальника Почты была закрыта и нам негдѣ было уединиться, жена моя пошла наскоро присмотрѣть в незнакомом городѣ какой либо ресторан для встрѣчи. Вошедшіе моряки, видимо узнав меня, пошли ко мнѣ навстрѣчу с хорошей, простой, привѣтливой улыбкой. Мы сразу заговорили по-русски.

Это был момент необычайной радости — пожать руки настоящим, свѣжим русским людям, прямо «оттуда».

— Сейчас придет жена и мы пойдем куда либо попить кофе, — сказал я.

— Ах, вы с женой! — сказал высокій, главный, блондин,

хорошо выбритый, превосходно одѣтый в черную морскую форму, с бѣлою фуражкою в руках. — Тогда и я приведу наших жен. Онѣ в автомобиль.

Со мной остался второй, пониже ростом, плотный, скромный. Жена вернулась в тот момент, когда двѣ молоденькія женщины, изысканно одѣтыя, только что вошли с главным капитаном. Сразу, всѣ мы шестеро заговорили одновременно.

— Ну, что же ресторан!... А нельзя ли куда либо за город? — спросил капитан.

— Да за-городом теперь все закрыто. Давайте уж поѣдем к нам, в Лэйкланд. Это только час ѣзды. За то у нас и комнат много и свободно, и покушать что либо найдем.

Главный заколебался. У него в опредѣленные часы назначены свиданія и при том — дѣла. Да и сейчас они со стадиума. Наши цѣлою командой состязались с американцами в футболѣ.

— Уже? Вот это здорово! И побили американцев?

— Еще нѣтъ, но побьют!

Как то сразу стало просто, интимно, сердечно. Дамы говорят свое, мы, мужчины, свое. Подсчитали часы, подсчитали мили. Выходит. Поѣхали.

Автомобиль новенькій. Главный сам правит. Рассказывает, что вчера нарушил правила о скорости. Был остановлен полицейским, а об'ясниться не мог. Только и сказал: «Ай ам рошшин». Засмѣялся полицейскій, пальцами показал: в городѣ можно двадцать пять, тридцать нельзя. И отпустил.

Дамы сидят на задних мѣстах, мы трое на переднем. Мы даже ничего не спрашиваем, но разговор идет как раз на самыя важныя темы, о самом главном, о жизни там, о новой жизни, о большой жизни на родинѣ. О великой, небывалой борьбѣ. И много, всего не передашь, услышали мы за этот час в автомобилѣ. Как раз шел дождь, машина шла не быстро и час с лишним промчался, как минута. И вот мы у нас, в большом домѣ университетскаго клуба. Он весь в нашем распоряженіи. Нам немножко неловко принимать рѣдких гостей в такое су-

ровое время в таком роскошном залѣ, с ковром в три тысячи долларов. Мы оправдываемся: это все не наше, мы тут, бѣдные, лишь квартиранты. Всѣ смѣются и бесѣда продолжается как то плномѣрно, ни одной минуты не потеряно на болтовню. Главный умѣет экономить время, но говорит спокойно, не-принужденно, без экивоков, но и без особой церемоніи:

— Нѣтъ, Россія больше не крестьянская страна.

— Как так?

— Россія страна рабочих, промышленная страна. Теперь уже рѣдко встрѣтите вы типичную русскую деревню. Это либо город, либо большое колхозное село. И непременно клуб, непременно библіотека, непременно больница. А там, гдѣ маленькіе были города, там выросли города со стотысячным населеніем. Там лѣс фабричных труб, там работа кипит, двигается так, что не только каждая пятилѣтка была эпохой, каждый год отличается один от другого, как отдѣльная эпоха. Мы сами не узнаем себя, так мѣняемся и растем мы с каждым годом.

Я слушал и невольно соглашался. Потому что мы здѣсь не имѣли времени попасть в ногу даже с темпом собственного недосуга, но все же удивлялись: на главных улицах американских столиц успѣли снести дважды нѣкоторые дома и дважды перестроить. На Вест-Энд авеню в Нью Йоркѣ, когда мы приѣхали, сносили пятиэтажные дома и строили тринадцатипятиэтажные, потом эти дома смѣнились тридцати-этажными. А Россію мы все продолжали представлять расхлябанной, разнузданной первыми годами революціи, как мы ее оставили. И нам все казалось, что народ там рабствует, саботажничает, стоит в очередях, голодает.

— Конечно, голодали. И сейчас не поголовно сыты. Но уже перед этой войной начали строить красивые дома, стали подумывать о красивых вещах обиходной жизни. Но теперь, нѣсколькими ступенями опять сойдем вниз, но кризиса послѣ войны не боимся. Кризиса и безработицы у нас не будет. А у вас тут будет безработица и кризис.

— Поясните.

— У вас здѣсь нѣтъ и не может быть единства плана, потому что частный капитал не рискнет что либо предпринять и производить вслѣпую. А у нас есть и будет план. То, что вы здѣсь называете нашей диктатурой, а мы называем командой сверху, подаст нам сверху знак: какую фабрику на что и когда повернуть для производства необходимых нам вещей. Вѣдь мы хозяева, мы и заказчики, мы и потребители. Вот у вас тут **уговаривают** покупать военные займы, а у нас послѣ пяти дней послѣ объявленія декрета правительство должно было отдать распоряженіе банкам — остановить продажу займов. В пять дней он был покрыт.

— Откуда же у вас теперь богатые люди? Очевидно кооперативы, колхозы или...

— Нѣтъ, у нас теперь не мало и обыкновенных граждан богачей.

— Да кто же, кто?

— Простые люди, рабочіе. Не рѣдкость, по сто тысяч рублей они дают теперь просто в дар на нужды войны. Выработывают трудоднями, а главное качеством и состязаніем производства. Кур по осени считают. И хорошо несутся у нас куры...

Я не все понимаю, а моряк рассказывает также просто и спокойно, как это может дѣлать человѣкъ, который знает, что за ним стоит не дутая статистика, а результаты.

Хозяйка успѣла накрыть на стол и приглашает нас в столовую.

Мы усаживаемся вокруг стола уютно, дружно, по-семейному. Бесѣда прерывается, но лишь настолько, чтобы похвалить хозяйку, заморить перваго червяка и, по столь рѣдкому случаю, выпить по стопочкѣ. Не скрою, виски хоть и с американской маркой, но выдумана, выкурена и прислана из Кентокки большим русским мастером этого дѣла. Хранилась мѣсяцы не тронутая и пригодилась.

Однако, по второй никто не пожелал.

— Нѣтъ, нѣтъ, я могу опять попасться на глаза полиціи.

Я поведу машину. Не могу. — Такова была простая дисциплина Главного.

— Вот, между прочим, разгульной, пьяной, буйной Россіи тоже больше нѣт.

— Это отраднo. — Подаю я реплику, потому что невольно вспоминаю именно кабацкую, запойную, дикую часть Россіи.

— Во время мобилизаціи у нас поднимался вопрос, закрывать ли питейныя заведенія? Рѣшили не закрывать, и никакихъ развитій винныхъ лавокъ, даже пьяныхъ на улицахъ мы не видали. Да и слезныхъ проводовъ на войну у насъ больше нѣт. Бываетъ, мать или отецъ при проводахъ тайкомъ утрутъ слезу. Да это и понятно, у насъ каждый знаетъ, что идетъ прямо в бой, а не на погулянку.

— Я больше вамъ скажу. Я только что из Ленинграда. Осаду мы выдерживали больше года. Мы были в мѣшкѣ. Ближайшая линія боя в четырехъ километрахъ. У меня на рукахъ много умерло людей, от ран, от истощенія, от разныхъ болѣзней. Но я не помню, чтобы кто нибудь, когда нибудь выругался, заворчал: вот, мол, довели до чего народ... На салазкахъ везли снаряды, на салазкахъ воду и дрова, больныхъ и раненыхъ, на салазкахъ хоронили... И никто ни на минуту даже не подумалъ, что мы сдадимъ столицу.

Время летѣло, а хотѣлось безконечно слушать. Какъ то вышло такъ, что говорилъ Главный. Остальные рѣдко вставятъ слово, но ни перебоя, ни спорныхъ выкриковъ, какъ это водится в такихъ случаяхъ. Видимо всѣ уважали и любили своего командира, но отношенія между ними самыя сердечныя, мужчины межъ собой на ты, женщины называютъ всѣхъ по имени и отчеству. Самый вид, каждое слово, простота в обращеніи, все, все во всѣхъ было такъ просто и естественно приложено.

— Семья у насъ крѣпка, — между прочимъ роняетъ жена Главного. — За шестого ребенка правительство выдаетъ премію в три тысячи рублей и даетъ ее до совершеннолѣтія этого шестого...

Вопросовъ я старался не задавать. Разговоръ былъ самъ по

себѣ такъ естественен, что вопросы могли его только испортить. Все же в одном мѣстѣ я был не деликатен и как то нечаянно наступил на одну из мозолей:

— А всетаки не думаете ли вы, что революція поглотила слишком много совершенно ненужных и невинных жертв? Не думаете ли, что в ней участвовало не мало и преступнаго элемента?

— Нѣтъ, не думаю, — спокойно отвѣчал наш собесѣдник. — во первых такая борьба не могла быть безкровной, а во вторых, если бы допущен был малѣйшій компромис, революція могла сорваться и всѣ жертвы были бы напрасными.

— Так что вы думаете, что и ошибск не было даже в первом періодѣ революціи?

— Нѣтъ, ошибок не было, — также ровно и увѣренно сказал наш собесѣдник, на ногах котораго, видимо, никаких мозолей не было, так как едва ли он мог участвовать в первом періодѣ революціи. Он тогда был подростком.

Я невольно вспомнил рассказ Н. К. Рериха о знаменитом булочникѣ Филиповѣ, пирожки котораго славились в обѣих русских столицах.

Однажды в слобной булочкѣ потребителем был обнаружен таракан. Потребитель принес булочку и таракана и потребовал об'ясненій. Приказчики смутились. Позвали самага хозяина. Филипов вышел, взял булочку, вынул из нея таракана, повертѣл в пальцах и... со вкусом скушавши его, сказал с улыбкой:

— Ваша ошибка-с! Чистѣйшая изюмина.

Жалобщику ничего не оставалось сдѣлать, как согласиться, так как и таракана, как доказательства, уже не было.

И в данном случаѣ, хоть масштаб сравненій и несоизмѣрим, нам приходится лишь согласиться с тѣм, чего никто из нас ни предотвратить, ни позже поправить не мог. Они хозяева, они теперь могут наступать на наши мозоли. Да они могут даже и не знать о трагедіях и болях пережитаго и многими забытаго. По старой пословицѣ:

— Кто старое вспомянет, тому глаз вон.

Заговорили о войнѣ, тему, которую, по понятным причинам, я затрагивать не хотѣл. Наш собесѣдник сам коснулся ея и назвал одну цифру, говоря о том, что война их захватила не врасплох.

— Во время первой мобилизаціи, — сказал он, — у нас уже готовы были пятьсот тысяч танкистов.

— Пятсот тысяч? — Удивился я, мысленно охватывая эту потрясающую цифру.

— Да, полмилліона, грубо говоря. Может быть немножко больше. Я же вам сказал, что Россія больше не крестьянская страна и старыя сошки-боронки у нас можно видѣть лишь в музеях. Раскинутые по всему Союзу колхозы имѣли в оборотѣ не менѣ полмилліона тракторов, а трактористы — всѣ механики и всѣ были готовы управлять танками. За время войны, конечно, цифра эта почти удвоилась.

Какіе еще могли быть вопросы? ... Я представил себѣ всю грандіозность новой всероссійской пашни, не только на полях, но и в лѣсах, и на горах, и под водой, и в нѣдрах...

Был еще один вопрос, самый деликатный, но и самый важный для нас, за рубежами. Это вопрос о церкви и религіи. Но я не спрашивал, а как бы сам себѣ сказал:

— Сегодня я прочел в газетах, что всѣ 26 храмов в Москвѣ были переполнены. Если мнѣ удастся попасть на родину, непременно буду ходить в церковь.

— У нас никто и никому не мѣшает вѣровать, кто и как желает.

— У нас даже, когда женятся, — вставил к моему свѣдѣнію Главный, — жених у невѣсты не спрашивает, какой она вѣры и національности.

— Да, — сказала его жена, — среди всѣх наших народностей неравенства нѣт.

— За то культура каждой народности цвѣтет и развивается и никто им в этом не только не мѣшает, но помогают и радуются их независимому самоопредѣленію. — Поправку

эту внес Главный, как бы отвѣчая на мой молчаливый вопрос.

— А как вы думаете, откровенно, — спросил я с нѣкоторым усилением воли, — могли бы мы, вот какіе мы тут есть, на что либо пригодиться вам в Россіи?

Главный отвѣчал на это с готовностью:

— Для нас годится все, что мы можем так или иначе использовать. А писатели и профессора у нас в почетѣ.

Услышавши этот отвѣтъ, я даже не мог с минуту что либо сказать. Такое острое желаніе обожгло меня — поѣхать домой, и не тогда, когда там будут цвѣсти розы мира, а вот сейчас, немедленно. Я даже побоялся такого порыва. Это могла быть ложная вспышка, но удар молніи проник во весь мой организм, включая мозг и сердце: поѣхать домой, на родину, сейчас, и даже возможность смерти рядом с ними, на линіи боевого фронта, показалась заманчивой.

Одна из дам сказала:

— Нам пора уже ѣхать. Вѣдь у нас там у обѣих дочки.

— Да что вы? И большія?

— Обѣ шестилѣтнія Свѣтланы.

— У нас в Союзѣ теперь это имя Свѣтлана очень популярно. Вот и мы назвали своих Свѣтланами...

Вскорѣ они собрались и уѣхали. Мы провожали их с нескрываемой грустью. Но эти имена шестилѣтних дѣвочек остались нам, как бѣлые, неувядающіе цвѣты — символы грядущей, растущей, столь нам невѣдомой Русской Свѣтланы...

Нѣсколько дней послѣ этой встрѣчи я ходил, как с похмѣлья. Да и до сих пор я ничего не могу с собой подѣлать. Я заболѣл тоской по Родинѣ... И всѣ великолѣпные просторы Америки, кажется, не успокоят меня, пока не сложу своей головы гдѣ либо под кустом родной черемухи...

1 Мая, 1943 г.

Георгій Гребенщиков.

МАРІЯ БЕЗРАДОСТНАЯ

Посвящается Маріи Мироновѣ Велицкой.

В Полоцкій Монастырь в день святой Ефросиньи из года в год, по обѣту, на богомолье ходили бабы. Из села Новико переход в пятьдесят пять верст. Шли бабы с четырех утра до девяти вечера: весной большой день. На послѣднюю остановку в деревнѣ Струнья со всѣх сторон сходились богомольцы. В любую избу они могли войти. Никогда того не было, чтобы отказали, и даже за честь считали, что у них богомольцы заночевали. Придут в эту деревню, и сейчас же кто из старших пошлет дѣтишек за соломой, и тут же на полу улягутся спать богомольцы.

Утречком чуть свѣтъ вставали, к ранней поспѣть. Запыленные, разгоряченные от быстрой ходьбы — весь город Полоцк пройти надо было, — монастырь на самой окраинѣ стоял. Шли богомольцы прямо в церковь, как были, с котомками за спиной. Денег имѣли только на свѣчку, на сторонѣ ничего и не купишь. Главное, хлѣба с собой брали.

В этот день в церкви при монастырѣ, выстроенной святой Евфросиньей, служили литургію во всем великолѣпнѣи.

В большой бѣлой ракъ, как раз перед алтарем, лежал святой Ефросиньи Мизинец.

Тяжело работает круглый год на деревнѣ женщина, как даст обѣтъ пойти в монастырь к святой Ефросиньѣ, усердной молитвенницѣ перед Господом. Туда день идет баба, в монастырѣ пробудет два, и обратно день. А домой придет, будто другой человек, — и душа лучше станет, и зло на тяжелую жизнь пройдет.

Шли пѣшеходы Екатерининским большаком. Такой ши-

рокій, что с одной стороны не видать, кто по другой идет. Шли, будто поспѣшая за странниками, свѣтлыя, высокія березы, что стояли вдоль дороги. А на дорогѣ щавель рос, прямо как лопух. Богомольцы из него варили щи. И грибов всяческих при дорогѣ много росло, — тоже в щи наложат.

Рѣдко кто попадался богомольцам по дорогѣ. На телѣгах только свои односельчане ѣздили, и тѣ рѣдко, а чужіе — по новой, только что проложенной шоссейной дорогѣ — куда короче! Так что тишь и благодать вокруг, птица поет, да иногда русак перебѣжит дорогу.

Идут богомольцы кучкой, а то какой-либо старичек один, тяжело опираясь на палку бредет. На дорогѣ так тихо, что слышать, как у него на поясѣ побрякивает жестяная кружка. И даже если он и слѣп, и то чует вокруг себя всю благодать Божью.

Велика, прекрасна наша страна, нигдѣ столько неба нѣтъ, простора, душистых цвѣтов в полѣ, как в Россіи!

А когда приходили в деревню Сосницу, за двадцать пять верст от Полоцка, давали часто люди обѣтъ перейти рѣку Оболь вброд. Была рѣка Оболь довольно широка и мѣстами глубокая. Обычно богомольцы брали паром, который перевозил их за копѣйку на другой берег. А тѣ, что по обѣту — переходили ее вброд. Подымут бабы выше колѣн юбки, а нѣкоторыя, что постарше были, не стѣснялись закинуть юбки прямо на голову, чтобы их не замочить, и смѣло лѣзут в воду. Вот, думают глядящіе на них с парома, еще потонут в глубоком мѣстѣ, аль вода тѣх, что слабѣе, потянет в омут. А ничего, подмогут друг дружкой, которыя подревнѣе, тѣх под ручки схватят и вылѣзут мокрыя, растрепанныя, с посинѣвшими от холода лицами, но счастливыя: обѣтъ исполнили.

Взберутся, карабкаясь по крутому берегу и пойдут по бору. Боголѣпно, сумрачно в бору. Тихо, чисто так, только хвоя одна, как подстилка войлочная под ногами стелется.

Как то увязалась за бабами и Марія Безрадостная. И восьми годков от роду не было.

— Куда тебѣ, мала еще, — отговаривали ее бабы, — вѣдь не дойдешь.

— Дойду, тетеньки, ей-Богу дойду, — убѣжденно говорила Марія.

И глаза у нее при этом сверкали как звѣзды. И никогда, кажется, столько слов сразу за всю свою жизнь она не сказала. Такая застѣнчивая обычно была, слова не выжмешь. Одинаково чуждалась и взрослых, и дѣтей. Хоть куколок разных из тряпиц сестренкѣ младшей и дѣлала так же молча и хмуро, как всё, но сама с ними никогда не играла. Все сидѣла больше на завалинкѣ, болтая босыми ногами, занятая чѣм-то своим, так глубоко задумавшись, что каждый раз пугаясь вздрагивала, когда кто из домашних окликал ее. И глаза у нея были какіе то особенные, будто пустые. Темные, совсѣм матовые, они глядѣли в упор, и, казалось, ничего не видѣли, А когда она улыбалась, вымученной была ея улыбка на востреньком смуглом личикѣ. Глядя на нее брала жалость. В деревнѣ так и прозвали ее — Безрадостной.

Раненько поутру вышли богомолки из дому. Солнце заалѣвшим облаком предвѣщало свой скорый выход. Никогда еще такого высокаго неба не видала Марія. Над деревней небо было низеньким, особенно по вечерам, когда звѣзды высыпают. Кажется, что если можно было бы взобраться на церковную колокольню, то до них рукой достать. А тут неба так много, куда ни глянешь, дорога длинная, а деревья до того велики, что аж страшно дѣлается, и за юбку то одной, то другой тетки так и хватается Марія.

И кажется ей, что она такая маленькая, не больше жучка, который переползает дорогу.

А тетка Аграфена, высокая, худая баба, которая, когда в избу входит, должна каждый раз в дверях в три погибели согнуться, чтобы войти, тут тоже такой мелкой кажется, ну словно гриб, думает Марія.

— Как- же, тетя, — говорит она, и не умѣет, и не может точно выразить своей мысли, — идти то все до неба, что ли

надо, когда оно ниже спадет? (чтобы дойти до монастыря).

Смѣются бабы, — никак одурѣла от жары Марія.

— Велико, Господи, твое царство, громко вздыхает старуха Селихеевна.

За каждым поворотом другой мір представлен. Вот в бирюзѣ поле, вот скирды рыжія, прошлогднія, открытым домом стоят. В темном овражкѣ увязли в верескѣ, густой травѣ, желтые, высокіе, цвѣты, и сіяют из глубины золотыми лампадками. И всему восторгается Марія Безрадостная, у которой кромѣ скуки в душѣ до сегодняшняго дня ничего не было.

«А гдѣ-же тут Бог?» — думает Марія, поворачивая во всѣ стороны голову.

Знает Марія, что Бог у них в избѣ, в переднем углу, в почернѣвшей ризѣ живет. А тут гдѣ-же Его найти? И разныя мысли лѣзут ей в голову.

Ложь — самый страшный грѣх, — учит старая Селихеевна, крестная. «А вдруг», — думает Марія, — «вот Господь всѣх нас сейчас вот тут, на дорогѣ, захочет покарать?» И тетку Аграфену, и старую Селихеевну, и Аксинью, толстую бабу, что так вкусно все облизывает свои масляня, полная губы. И превратит Господь их старших в большіе красные мухоморы при дорогѣ. Как идут, так и поставит их рядышком. А ее, маленькую, — в пищалку, черного сверчка, и заставит по дорогѣ скакать. Уж не лучше ли домой своротить, дома нѣтъ таких страхов.

Но тетки так быстро идут вперед, подымая тонкую пыль под теплыми, нагрѣтыми солнцем босыми ногами, что она, забывая свой страх, принимается бѣжать, чтобы догнать их.

И куда ни глянет Марія, конца края нѣтъ земли, и уже начинает сомнѣваться она, дойдут ли это они, в самом дѣлѣ, до монастыря.

От усталости в ногах будто огонь ходит, жжет пятку. Вот бы сѣсть при дорогѣ и отдохнуть, поспать малость. Гла-

зенки так и слипаются. А боязно, вдруг тетки, пока она спать будет, о ней забудут и уйдут. И представляет себѣ Марія, как она останется одна на свѣтѣ. Она даже не знает дороги, чтобы вернуться домой, а тут скоро ночь. Ей становится жалко себя и страшно.

Бѣжит за телѣгой, поджав мочалой сѣрый хвост, большая дворовая собака, от жары высунув глубоко язык. И кажется Маріи, что это волк, и вот он сейчас ее с'ѣст. И как закричит со сна, ибо в полуснѣ шла.

Смѣются, оглядываясь на нее, бабы.

— Говорила, мала еще, не иди, теперь возись с тобой, — полусердито говорит тетка Аксинья, беря ее за руку.

И от прикосновенія этой горячей, широкой ладони к ея рукѣ, Маріи дѣлается так хорошо и спокойно на душѣ, будто она никуда за околицу деревни и не выходила. Быстрѣ семеня ногами, чтобы попасть в шаг теткѣ, она уже идет бодро, с интересом поглядывая по сторонам.

— Вот, тетя, как птица тут поет, — потянув книзу Акси-

— Вот, тетя, как птица тут поет, — потянув к низу Аксиньину руку шепчет Марія, чтобы не спугнуть пѣвца.

— А что ты думаешь, дѣтушка, у нас птица красиво не поет? Да только за работой и не слышать, говорит, качаясь на ходу, как утка, тяжелая тетка Аксинья.

Чему то громко вздыхает, шевеля в молитвѣ губами, старая Селихеевна. Она идет, и больше не глядит по сторонам, боясь остановиться, так как знает, что если остановится хоть на минуту, то больше уж не сможет продолжать путь, до того смирилась.

Спотыкаясь, загребая от усталости глубоко песок отяжелѣвшими ногами, плетется дальше.

Наконец добрались богомолки и до деревни Струнья. Переночевали, а поутру пришли в Полоцкій монастырь.

Поочередно глядѣла Марія то на тоненькій, будто поломанная восковая свѣчечка мизинец святой Ефросиньи, то на свои, такіе живые, почернѣвшіе от загара пальцы, и все пря-

тала их за спину, боялась, что вдруг станут тоже желтыми свѣчечками, как у святой Ефросиньи.

От долгаго созерцанія реликвиі, своих грязных ногтей, пѣнія, высокаго фальцета дьячка с будто никогда не кончающейся послѣдней нотой, утомилась в конец Марія.

— А гдѣ же она теперь вся? — толкает она легонько тетку Аграфену.

— Про кого ты? — оглядываясь по сторонам спрашивает тетка.

— Да святая Ефросинья, — уже громко говорит Марія.

— В Кіевѣ, в Лаврѣ мощи ея покоятся, — об'ясняет Маріи тетка Аграфена. Но услышав «со святыми упокой», торопливо опускается на колѣни и тянет за собой и Марію, чтобы тоже становилась рядом с ней на колѣни.

Семи лѣт лишилась Марія Безрадостная матери, и ничего не осталось в ея сердцѣ к матери, кромѣ страха. Всѣ остальные чувства вытравил страх. Как стемнѣет, заберется она со своей младшей сестренкой в избу, и ни за что, пусть лучше прибѣет отец, во двор не выйдет. Дрожит, вдруг покойницу мать встрѣтит.

Потом только, в двѣнадцать лѣт, схватилась Марія, как тяжело жить без матери, и глубоко задумалась, и зависть мутит. У всѣх есть мать, и приласкает, и похвалится каждая мать своими дочерьми. Только Марія одна, как чужая на деревнѣ. Раз мамки нѣт, то никому до тебя по настоящему и дѣла нѣт. Только и радости из года в год пойти к святой Евфросиньѣ на богомолье. Да еще в церковь. Уж очень ей нравилось, какіе торжественные были в церкви и бабы, и мужики, будто совсѣм другіе люди. А что говорят шопотом и ходят на цыпочках, придавало таинственность службѣ.

Любила смотрѣть Марія, как горят в треножниках высокія восковыя свѣчи, золотыми язычками освѣщая лики святых. Пугали Марію Царскія врата, куда смѣл входит только отец Михаил, гдѣ присутствовал невидимый никому Бог. На престолѣ в золотой вазѣ стоял нарядный букет бѣлых роз с

туго свернутыми бумажными лепестками. Эти красивые, не от міра сего цвѣты волновали Марію, и она принималась мечтать о каких-то подвигах, что она еще совершит, о чудѣ, что над нею вдруг свершится. А от того, что так чисто навощены в церкви полы, было пріятно становиться на колѣни.

В синих окошках блестяло нездѣшнее солнце, качались вѣтки вишен. Только раз попробовала Марія с них одну ягоду, такую горькую на вкус. Потом каялась на исповѣди батюшкѣ, что не удержалась от соблазна, так из окна манили. Долго своей грѣх замаливала.

У них в избѣ висѣло на стѣнѣ плохонькое, кривое зеркало, так высоко, чтобы дѣти не могли его разбить. И только поднявшись на цыпочки, Марія могла в нем увидѣть кончик своего носа, большой, будто косящій глаз, от чего в дѣтствѣ ей всегда было смѣшно. Но и выросши она никогда по настоящему в него не глядѣлась, развѣ мимоходом, в праздники, чтобы поправить на головѣ платок, когда шла в церковь. Глядя в зеркало, она не видѣла своего отраженія, задумавшись, тихонько вздыхала, что на головѣ у нея все еще нѣтъ покрывала монахини, и даже не знала, как хороши были ея темныя брови на смуглом узком лбу, как милы горящіе грустным огнем черные глаза.

В тринадцать лѣтъ она одѣвалась как старуха, годами носила все одно и то же шитое на рост ситцевое сѣрое платьице, а зимой рѣдко когда снимала старый кожух матери, в котором тонуло ея худенькое тѣльце.

Она все дѣлала споро, весь день занятая по хозяйству, что лежало на ней, как на старшей, и под вечер с трудом могла разогнуть спину от тяжелой, недѣвичьей работы. Послѣ ужина, собрав посуду, спѣшила сразу лечь, часто притворяясь спящей, чтобы никто не помѣшал ей думать о чем то своем, столь для нея важном, хоть и теперь еще не совсѣм ясном.

Чѣм старше становилась Марія, тѣм больше крѣпло ея рѣшеніе уйти в монастырь. Только там она чувствовала себя хорошо. Ходила праздничная, с просвѣтленным лицом. Первая

заговаривала с богомольцами, болтая без умолку, словно хотѣла наверстать время, проведенное дома в молчаніи, одиночествѣ. Ее постоянно влекло к юродивым, к калѣкам, и она была с ними особенно ласкова, да и они ее любили.

И каждый раз, возвратившись с богомолья домой, ея свѣтлое настроеніе смѣнялось угрюмостью. Она все глубже уходила в себя, и все, что не было связано с ея мечтой о Богѣ, ей казалось пустым и ненужным.

Много наслышалась Марія и от богомольцев, и от странников, что и к ним в деревню заходили, про Сергіевскій Скит, про отца Герасима, в мірѣ прозваннаго «печальником», и как на всякаго, кто побывал у него, нисходит дотолѣ неизвѣданная радость. И запало в душу Маріи попросить благословенія у старца на служеніе Господу.

С мальчиком Костей, своим двоюродным братишкой, пошла она в Сергіевскій Скит.

Не таким себѣ представляла она отца Герасима. Был он мал ростом, худ, так, что не будь у него бороды, казался бы совсѣм подростком. Вокруг его лица тонкой паутинкой висала рѣдкая бородка, глаза и лицо были совсѣм золотые, как спѣлая рожь. Черная скуфейка будто прилипла к его лысой головѣ. А на височках синими рубчиками бежали жилки.

Сидѣл он на табуреткѣ, с опущенными теперь глазами, задумавшись, как видно ждал, чтобы Марія заговорила первой. Так случилось, что у Маріи слов тѣх больше не было, что приготовилась сказать, когда шла к отцу Герасиму. Да как то сильно смутила ее и внѣшность старца.

А старец все молчал, и так долго длилось малчание, что Марія начала уже было беспокоиться, что старец совсѣм забыл о ней. Она боялась даже дышать, чтобы не потревожить старца. Сдерживая свое дыханіе, стояла не шевелясь, хоть мурашки так и ползали в колѣнках.

Как вдруг старец поднял на нее свой взор и так глубоко глянул Маріи в глаза, что ей показалось, что он вынул ея душу и положил себѣ на ладонь.

Широко, медленно перекрестив ее и отымая свою руку, которую она снова хотѣла поцѣловать, он наконец заговорил. И голос его был так тих, что слышно было, как забилась жужжа в окошкѣ муха.

— В міру живя, — говорил печальник Маріи — можно сдѣлать много, угодное Господу.

Окаменѣвшая стояла Марія. И старец, видя, что она все молчит, сурово добавил:

— Добро твори, и будешь ближе к Господу, и возлюбишь Его. В монастырѣ живя легко спастись — попробуй в міру, гдѣ много соблазна. Да ты ничего, не бойся меня, дѣвонька, вдруг мѣняя тон и уже не отымая руки от поцѣлуя говорил старец, — да и молода ты очень, чтобы постриг принимать, — ласково заглядывая в ее огорченное его отказом лицо добавил он, вставая с табуретки.

У Маріи сильно сжалось сердце. Ей хотѣлось плакать, упасть на колѣни перед старцем и все рассказать ему, что на сердцѣ у нея за всю жизнь скопилось. Как мамка умерла, что отец больно суров, и как она всегда чувствует себя как-то одинокой среди всѣх, словно чужой. Но взглянув на будто потемнѣвшее 'лицо отца Герасима, на его пустую, голую келейку, похожую на темную мышиную нору, с нескладно теперь торчащим пустым табуретом, она опять сробѣла и в смущеньи вышла, чувствуя, что по какой-то ея винѣ (не так что-то сдѣлала) не получила от старца благословенія на постриг.

— Ну что? — спросил ее мальчик Костя, с нетерпѣніем уже поджидавшій ее во дворѣ. — Благословил отец Герасим?

Обида поднялась в сердцѣ Маріи на отца Герасима. «Пойти бы сразу в Ефросиньевскій монастырь, там навѣрное приняли бы», думала она, не отвѣчая брату. Вѣдь приняли же как раз в эту весну двух ее сверстниц на послушаніе, и не как она, не каждый год те ходили на богомолье, не во всякій праздник бывали в церкви. А вот ее не захотѣл благословить на служеніе Господу отец Герасим.

Ходили они с братишкой еще в Тихонову Пустынь. Подготовили там день-два, а на обратном пути, на самое Вознесение, зашли они снова в Сергіевскій Скит.

Как раз в этот вечер всюнощную служил отец Герасим, а с ним вмѣстѣ совершали службу еще восемь монахов, один древнѣе другого старцы. Безтѣлесными казались они под широкими черными мантиями, в тяжелых, негнущихся на груди золотых епитрахилях. На их высохших головах глубоко нахлобученные клобуки все сползали на уши. Призрачны были их руки, воздѣваемая в крестном знаменіи. И казалось Маріи, точно одно и то же лицо повторялось у всѣх восьми старцев, и всѣ они были похожи на лики святых, написанных на стѣнах церкви. И их мертвенныя лица озарялись свѣтом зажженных в церкви свѣчей и лампадок.

И глубоко поразили Марію старцы своей древностью, какой-то воздушностью, и навсегда запечатлѣлись они в ея памяти, как и вся служба в этот вечер, будто воедино небо с землею слились.

Проникновенно, каждое слово в отдѣльности выговаривал отец Герасим, и так высок и радостен был его голос печальника, когда он обращался к Богу, что Маріи казалось, что она впервые в своей жизни в церкви слушает службу. А когда на слова молитвы с невидимаго для Маріи клироса отвѣчали ему голоса пѣвчих, они были так прекрасны, будто не касаясь земли уносились прямо на небо.

И чѣм больше вслушивалась Марія в голос отца Герасима, как хорошо, как просто он молясь говорил с Богом, тѣм яснѣе ей становилось, что никогда она не сможет быть так близко к Богу, так молиться, как отец Герасим. И все больше в ея сердце росло к печальнику довѣріе и в то, что он ей сказал — что на міру ей надо принять и нести свой крест.

По возвращеніи с паломничества домой она вскоре вмѣстѣ с другими дѣвушками, ея сверстницами, уѣхала в город искать работу.

Живя в городѣ, гдѣ каждый сам себѣ хозяин, — а в

деревнѣ все от Бога, да и доля у всѣх одинакова, — трудно было Маріи, поступившей на мѣсто, свыкнуться с городской жизнью, и горек ей был хлѣб у чужих людей. Бог теперь ей казался болѣе суровым, болѣе далеким, чѣм был в деревнѣ, гдѣ у Бога постоянно чего-то просили, изо-дня в день с Ним общаясь. Она часто вспоминала батюшку, отца Михаила, как в выщѣтшей ризѣ, такой домашній, с заспанными глазами, и от этого кажущійся еще болѣе добрым, он в засуху освящал поля, и как мужики не только просили, а требовали у Бога дождя, и Бог был так близко от них, над самым полем. А в городѣ неба за большими домами почти не было, и Бог уходил от Маріи все выше за облака. По вечерам она все рѣже молилась. Закутавшись с головой в одѣяло, чтобы не слышать постоянных насмѣшек над своей набожностью, Марія часто так и засыпала, не закончив молитвы.

Стоя в церкви, ослѣпленная ярким свѣтом, богатством риз, множеством икон, она все никак не могла сосредоточиться на молитвѣ, часто отвлекалась, разсѣянно смотрѣла по сторонам, с тоской думала, что среди молящихся нѣтъ ни одного знакомаго лица. И глядя на этих хорошо обутих, сытых людей, вспоминала горькую нужду в деревнѣ, что вытолкнула и ее на заработки в город. И мучимая сомнѣніями, дѣйствительно ли Бог одинаков ко всѣм, вспоминала слова, что ей часто теперь доводилось слышать о том, что Бог только для богатых. Тут же, спохватившись своих грѣховных дум, принималась изступленно молиться, полная раскаянья, прося Святую Матерь над ней сжалиться, защитить от злаго духа, наводящаго ее на грѣх. И как она ни внушала себѣ больше обо всем этом не думать в домѣ Божьем, стоило ей только войти в церковь, как всякія непотребныя мысли приходили ей в голову.

И вмѣсто безконечной любви к Богу рос в ея сердцѣ страх перед ним, который постепенно все отдалял ее от Господа. Вслушиваясь в оглашеніе священнослужителем от Матфея святаго евангелія «просите и дано будет вам, ищите и

обращаете, стучите и отворят вам; ибо всякій просящій получает и ищущій находит, и стучащему отворят», она не могла удержаться от слез, чувствуя все свое безсиліе перед этими словами, всю свою скверность перед Господом.

Не смѣя молиться, робко, виновато крестясь глядѣла она на лики святых, и не находила покоя в своем сердцѣ. В ея затуманенных слезами глазах букет восковых роз, который стоял на престолѣ, столь схожій с тѣм, что был в их деревенской церкви, постепенно превращался в большое, бѣлое облако; оно давило ей грудь, и она больше не ждала чуда.

На второй год ея жизни в городѣ, как раз когда она собиралась пойти к отцу Герасиму, она узнала о его внезапной смерти. Крест, что он велѣл нести ей в жизни, вдруг стал непомѣрно тяжел.

Только через три года вернулась Марія к себѣ в деревню в гости. Выросшая, еще больше замкнутая в себѣ. Весь день сестренка, красивая, дородная дѣвка, избѣгала оставаться с ней наединѣ, стѣснялась Марія, чужая какая то, не своя. Отец, сутулясь еще больше чѣм обычно, с излишней суетливостью принимался все что-то дѣлать по хозяйству. И каждый раз не заканчивая бросал работу. Уж очень его смущала дочь своим видом и манерами.

Вечером сестра ушла на посидѣлки, а отец, прикрутив в лампѣ фитиль, встал на колѣни и принялся молиться. Марія, скинув с себя только платье, легла под крѣпко пахнущую полынью грубую простыню, на жесткій соломенный тюфяк, гдѣ прошло все ея дѣтство. Чуть потрескивал свѣже заправленный фитиль в красной лампадкѣ, бросая мягкій отблеск на кіот и освѣщая красным свѣтом весь угол и склоненнаго набожно в молитвѣ отца.

Марія вспомнила, как в дѣтствѣ ночью, в грозу, отец их, дѣтей, подымал с кровати.

— Молитесь, дѣтки, чтобы гроза нас минула, — говорил он, становясь посрединѣ избы на колѣни.

Ну, а им, дѣтям, спать хотѣлось, и лѣнь было вставать,

и норовили они не на колѣни встать, а присѣсть на пол, да так, чтобы отец того не замѣтил.

И еще вспомнила Марія повѣрье, которое она не раз слыхала в дѣтствѣ: если во время грозы в церкви звонят в колокола, то грозу разобьет пополам, одна туча пойдет в одну сторону, а другая в другую, и бѣда минует.

Ей стало жалко своего дѣтства, что она покинула дом. И как она себя ни настраивала на молитвенный лад, глядя то на икону, с дѣтства такую родную, то на усердно молящагося отца, в ней уже больше не было, как прежде, ея единственной радости — общенія с Богом.

— А что, спишь? — шопотом спросил ее отец.

Таким же шопотом, как если бы кромѣ них еще кто то был в комнатѣ, отвѣчала ему и она, что не спит.

Отец поднял в лампѣ свѣтъ и присѣвъ к столу спросил:

— А что, ты развѣ не каждый день молишься?

— Не каждый, — отвѣчала Марія.

И немного помолчав добавила, отгадывая мысли отца:

— Да никто тому и не виноват, никто не учил и не говорил мнѣ, тятя, так вот, во мнѣ самой это сдѣлалось.

— Ну, а исповѣдуешься? — опять спросил отец.

— Нѣтъ, сказала Марія.

Наступило долгое молчаніе. Отец, насупив брови, опустил глаза, принялся стирать ладонью какое-то пятно на столѣ. Маріи вдруг сдѣлалось холодно, она еще больше натянула на себя простыню. Ей стало жаль отца. И сѣвъ на кровати, плотно закутавшись, сказала:

Не знаю, как это тебѣ сказать, отец. У меня будто что-то внутри пополам сломалось, — как тарелка. Вот теперь надо подождать, чтобы опять склеилось, — грустно усмѣхнувшись и снова ложась добавила она.

Всѣ три дня, проведенные Маріей дома, отец больше не заговаривал об этом. Марія чувствовала с каждым днем, что она здѣсь для всѣх не только чужая, но и что ея присутствіе как-то всѣх стѣсняет и нарушает лад той жизни, какой тут

жили до нея. Сестренка то и дѣло должна была убѣгать в сѣнцы, чтобы прятать от сестры свою веселую, молодую улыбку, боясь ею обидѣть сумрачную, молчаливую старшую сестру.

И Марія опять уѣхала в город, и на этот раз навсегда, и ушла в мір безрадостная.

Наталія Кодрянская.

«ГИДРА», КЕРЧЬ

(Из записной книжки).

«Гидра» грузилась в Варнѣ третій день. Под вечер подвезли на подводѣ провизию, — цѣлую тушу быка, ящики с томатами, качкавал, хлѣб. Запаслись водой и стали ждать приказа об отплытіи. Погода была жаркая, вѣтренная. С плоскаго болгарскаго берега несло тучи песку и над городским садом «Морской Градиной», гдѣ по вечерам мы гуляли гурьбой и покупали «свѣжи, прѣсни кифли», стояло желтоватопрозрачное облако пыли.

Сначала сошлись на кормѣ палубные. Потом из кочегарки вылѣз Костя, потный, грязный, в заплатанных парусиновых штанах, никогда не стиранных, насквозь пропитанных машинным маслом и угольной пылью. Разговоры шли обыкновенные, — такіе, как всегда, с той только разницей, что перед плаваньем больше интересовались погодой, разстояніем до Констанцы и рассказами грузнаго, тяжелаго боцмана, который побывал во всѣх морях и ко всему видѣнному относился крайне презрительно:

— Мелкій народ, говорил он одинаково и о французах, и о китайцах, и о румынах. Опять же — такой жирной сельди, как у нас в Керчи, встрѣчать не приходилось.

Боцман бывал в Румыніи, куда мы теперь должны были уйти, ходил на торговых судах в Кюстанджѣ, и теперь неохотно и скупомысленно рассказывал новичкам о прибрежных полях, засѣянных кукурузой, о русских рыбалках — скопцах под Добруджей, о румынских женщинах и многом другом. Боцман всю свою жизнь прожил на борту и весь мір знал только по портам и береговым кабакам. В Керчи оставил он немолодую жену. Боцман видѣл ее раза два-три в год, когда судно шло

в Крым, за сельдью. Дома оставался он недолго и снова уходил в море, в очередной рейс. В каждом порту были у него приятели, и он заранее нас предупреждал:

— В Константинополь придем, — первым делом в турецкую баньку сведу вас. Вродѣ как наша, паровая, — только вѣника не проси, не понимают. Замѣсто этого ихній банщик тебѣ руки и ноги выворачивает и на спину колѣнкой нажимает. А потом поведу я вас, братцы, до одного пріятеля-грека. Держит он в Галатѣ ресторан. Дузику выпьем, закусим перцем и маслинами, а потом по порціи шашлыку. Мелкій народ, а баня и шашлык у них подходящіе...

На закатѣ просвистали сбор. С капитанского мостика помощник закричал:

— Отдай концы!

По второму свистку матросы с кормы разбѣжались по мѣстам, в разныя стороны. Тянули сходни, подбирали мокрый, тяжелый и скользкій канат. Потом из трубы загудѣло тонко и протяжно, низко рывкнуло, и за кормой заклубилась зелено-вато-бѣлая пѣна.

«Гидра» задрожала всѣм своим корпусом, дала задній ход, и разом поплыла куда-то вбок пристань, на которой собралась мальчишки, чистильщики сапог, амбары, волнорѣз. Стал приближаться бѣлый, высокій маяк.

**
**

В девять вечера кочегарка смѣнялась. На палубу снова вылѣз Костя, мокрый, потный, окунулся с головой в бак с холодной водой и вприпрыжку побѣжал по палубѣ — как был — голый — одѣваться. Вслѣд кочегару кто-то кричал озлобленно с капитанского мостика:

— Бѣгаешь, сукин сын, голый! — и обкладывал его сочно: в печенки и селезенки. В кубрикѣ Костя мял полотенце, с ожесточеніем растирал себѣ грудь и бормотал с идиотским видом:

— Кричи, кричи, глотка казенная... Которые на мостикѣ

видом развлекаются, бѣлые кителя носят, а ты сиди под машиной в углѣ и в г...

Потом вдруг успокоился, взял гармонь и пошел на корму, играть свой любимый марш «Прощай».

Ужинали в морѣ пораньше, — в шестом часу. Кухарка Анисья, единственная женщина на суднѣ, кричала:

— Вахтейный, иди, что-ли!

— Есть, вахтейный! За шамовкой, готовь!

Вахтенный скрывался на кухнѣ и минуту спустя появлялся с глубокой лоханью дымившагося борща. В лохани плавали жирные куски мяса — равно по числу обѣдающих. Команда разсаживалась неподалеку от кубрика, вокруг стола. Сначала молча выхлебывали борщ. Потом боцман своим перочинным ножом, отточенным как бритва, дѣлил мясо. Мясо ѣли просто, руками, тыкая его в горку крупной соли.

За столом говорили совѣм мало: ѣли серьезно, сосредоточенно. Иногда прорывалось, кто-нибудь принимался за матерщину, и тогда рулевой Голубев, человек тихій и набожный, укоризненно поднимал глаза и говорил:

— Совѣсти нѣт. Люди хлѣб ѣдят, а ты что говоришь? Ты, братишка, как ребенок малый, или стервец какой. Страха Божьяго не имѣешь!

Голубева слушались, уважали его, но почему-то потихоньку все же над ним посмѣивались. Уж очень он был человек тихій и аккуратный. Всякій раз, придя в новый порт, рулевой тщательно брился, вынимал из сундучка синий, слегка помятый от долгаго лежанья костюм и уходил в город, на прогулку. Возвращался на судно всегда раньше других, трезвый, очень довольный, переодѣвался в кубрикѣ и потом любил обстоятельно рассказывать, что видѣл на берегу и с какими людьми познакомился.

Случилось как-то, обидѣли Анисью, жестоко посмѣялись над женской ея слабостью. Была она единственной бабой на суднѣ и многое приходилось ей выслушивать. Вечером на кухнѣ плакала Анисья, злобно громыкала кастрюлями, черты-

халась, и Голубев утѣшал ее, говорил ровным, спокойным голосом:

— А ты, бабочка, не плачь. Плюнь, да и все... Они парни глупые, бугаи молодые. У них сила мужская, непочатая... А ты и виду не показывай, что они обидѣли тебя. Вот им и совѣстно будет перед людьми.

Сначала в кубрикѣ косились на Голубева, а потом обтерлись, привыкли. Ничего, пріятный человек рулевой. Жить можно.

**
*

По хорошей погодѣ дѣлали двѣнадцать узлов. Но тут до Констанцы шли двое суток. Мѣшала баржа на буксирѣ, груженная лѣсом, и было плохое море.

— Полундра, держись!

Шла полундра бѣлая, мохнатая, свирѣпо била в борт, окатывала с головы до ног и потом разсыпалась пѣной по мокрой и скользкой палубѣ, все перепутывая и переворачивая на своем пути. Шла от румынского берега крутая волна. «Гидра» давала крену и суденышко наше бросало в разные стороны, как орѣховую скорлупу.

— На плоскодонкѣ плывем, ребята, накажи меня Бог, жаловался Костя. Зараз потонем, и ваших нѣт!

Ночью, в темнотѣ, подошли к Констанцѣ.

— Стоп машина! кричал голос с мостика.

— Есть стоп машина!

Танцует на волнѣ «Гидра». Танцуют на горизонтѣ огни Констанцы, вспыхивают и гаснут на далеком маякѣ зеленые и красные сигналы.

Красивый город Констанца, особенно с моря. Берег в зелени, видно казино, широкие бульвары. Утром спустили шлюпку. Капитан уѣзжал к портовым властям, захватив с собой тщательно упакованную корзину с крымским вином. К вечеру часть команды тоже ушла на берег. Остальные прибрали судно, помылись, почистились. На кормѣ, под брезентом, ѣли арбуз с хлѣбом, побросали корки в воду и улеглись спать. Стало

тихо, только гдѣ-то на берегу протяжно и отчаянно свистѣл паровоз. Спали до ужина, пока не зашло солнце.

Ночью вышло мнѣ стоять на вахтѣ. Хожу вдоль борта, смотрю на огни далекаго города. Из темноты доносится тихій разговор:

— И всѣм бы нам по этому случаю пришлось бы погибать, — потому что темно совершенно и большая волна, а до берега, до косы, считай восемь верст... Только, понимаешь, час спустя подходит спасательный катер, ищет нас, сирена гудит. А были которые уже голоса подать не могли, либо далеко заплыли... Так, которых повытаскивали, а другіе потопли, — четыре человѣка, и мальчонка, помощник кока. И лежали, мы, понимаешь, в гошпиталѣ, хорошо лежали, только скучно было. А воды этой самой, между прочим, наглотались порядком. Сильно через нее брюхо раздуло. Когда вытащили, думал — помру, а оказалось — пустыки. Через три недѣли опять в море ушел. Так-то, братуха, такіе дѣла бывают...

Разсказчик помолчал. Потом двѣ темныя фигуры поднялись и лѣниво пошли к кубрику, — спать.

**
*

Скучно стоять на вахтѣ. Прохожу вокруг судна, все спокойно. Потом с кормы кричу на баржу, подаю голос вахтенному:

— Василій, который час?

— Сиди, лѣшій, уже умаялся! Успѣешь выдохнуться, душу твою!...

Снова тишина.

Заглядываю в кубрик. Там в поголкѣ горит электрическая желтая лампочка, плохо горит. В полумракѣ видны восемнадцать грязных, деревянных коек, и только на четырех лежат полуголые люди, в ситцевых кальсонах, без рубах. Душно здѣсь, плохой, тяжкій воздух... На койках во снѣ ворочаются человѣческія тѣла, моряки бормочут что-то невнятное, раскидываются на койках, дают с просонья жирных клопов,

которых изрѣдка травят паром... Тяжело и густо храпит за перегородкой боцман, не пожелавшій почему-то с'ѣхать на берег, — вѣрно потому, что не любит румын и всѣх их считает жуликами... Скучно!

В час ночи с берега доносятся пьяные голоса и крики старшаго механика и помощника:

— Вахтенный! Давай шлюпку! Вахтенный! Спишь, сволочь проклятая!

Шлюпка идет к берегу. От весел, далеко позади, расходятся круги, играющіе в лунном свѣтѣ. На берегу моряки бушуют и пьяно кричат:

— Веселѣй, вахтенный! Наддай ходу!

Свѣтит большая луна. Мнѣ восемнадцать лѣт, я читаю стихи и хочу плакать от одиночества.

Андрей Съдых.

МЪРКА МАСШТАБА

Масштаб есть схема сравнительнаго порядка, напримѣр, масштаб бытія.

Словарь.

А что если все — лишь вопрос масштаба? Ощущеніе беспомощности, незащищенности перед гдѣ-то рядом раз-верзающейся невидимой бездной овладѣло мной.

Весенній вечер был прозрачен. Пахли липы в саду; их цвѣтушія вѣтви осѣняли крышу деревяннаго сарая, гдѣ жили кролики. Ферма была бѣдная, и сарай — старый и тѣсный. Сѣрья полотнища паутин болтались под крышей; кое гдѣ, сквозь широкія дыры, виднѣлось несравненное весеннее небо в вечерней зарѣ. Клѣтки, в которых жили кролики, стояли тѣсно прижавшись друг к другу, в нѣсколько этажей, криво и косо, точно дома в бѣдных кварталах East End'a. Испуган-ныя и любопытныя кроличьи мордочки виднѣлись за рѣшет-чатыми дверцами. Нѣкоторыя клѣтки были пусты. Кроликов было много — бѣлые, черные, сѣрые, рыжіе — смѣшеніе кроличьих рас и психологій.

А против клѣток, совсѣм рядом, через весь сарай тянулась веревка, на которой болтались кроличьи шкурки, — бѣлыя, черныя, сѣрыя, рыжія; здѣсь тоже их было много, даже больше, чѣм в клѣтках.

Темный сарай, голубыя заплаты неба в щелях, паутина, тишина. И эта веревка, связывающая два міра — мір кроликов в клѣтках, и мір кроличьих шкурок! Неужели они не пони-мают? Но вѣдь я тоже не понимаю. А вдруг я тоже в клѣткѣ, только побольше, и купол неба надо мной — большая круглая дыра в которую, как в щель сарая, что-то видно?

В это время я замѣтил, что в открытую дверь сарая лились

потоки голубаго свѣта, смѣнившаго огонь вечерней зари. Голубое сіяніе все ширилось, и вот полная луна появилась в квадратѣ дверей; она не «заглянула», а «вошла», как полно-властный хозяин.

Не она ли? Не там ли живет таинственное существо для котораго мы, — кролики? Недаром навстрѣчу лунному лучу поднимается боль в человѣческой груди, — не то тоска, не то ужас, не то восторг, — какой то особый вид боли?

Другим весенним вечером, таким же ясным и благоуханным, я стоял на берегу маленькаго лѣснаго пруда. Толстыя старыя деревья, обновленныя молодыми, только что прорѣзавшимися сквудь мохнатую кожуру почек, листьями, склоняли над водой свои вѣтви. Еще не всѣ почки открылись; набухшія, тяжелыя, онѣ точно излучали из себя тепло напряженной внутренней работы. Это была весна, — время года ради котораго живет природа, — “le moment suprême” бытія.

Жизнь переполняла пруд, и — хотя это были только лягушки, но их было так много, что их тѣла образовали живую кору на поверхности воды. Это были пары, многое множество лягушиных пар; каждая пара составляла одно восьмирукое цѣлое — маленькое, окаррикатуренное изображеніе танцующаго Шивы, бога производящаго огня. Лягушиные пальцы были оттопырены, толстыя мягкія тѣла полу-висѣли в водѣ, неподвижно, — вѣроятно часами, может быть — днями. Как не закипала вода в прудѣ от такого количества страсти, хотя бы лягушиной?

А вот одинокая худенькая лягушка всплыла на поверхность, элегантно отставила лапку, и устала в небо круглыми мечтательными глазами; это, вѣрно, лягушиный поэт, — вот он звонко на весь лѣс квакнул — славословіе веснѣ, поэму о любви?

Маленькое яркое пламя, золотая рыбка, мелькнуло в темной водѣ пруда, и ушло в глубь.

Я вернулся на ферму. Двор был полон мирных звуков,

из которых слагается музыка удовлетвореннаго в себѣ весенняго вечера. Коровы возвращались домой, на их крѣпких шеях, как на башнях, мѣрно гудѣли маленькіе колокола. Жудахтали куры, забираясь на насѣст; насѣдка подбирала пиликающих цыплят под свои крылья; мычал теленок.

В маленькой комнатушкѣ рядом с молочной никого не было; на высоких полках стояли крынки с молоком, лежали круглые завернутые в кисею сыры. Это была келья, и мир Отшельника.

Отшельником назывался тщедушный сѣрый цыпленок, еще не оперившійся; жалкія цыплячы косточки столь привычныя для нашего глаза на тарелкѣ за обѣденным столом, остро выдавались на его худом тѣльцѣ. Слабосильныя лапки с трудом держали это почти невѣсомое тѣльце.

Когда кто нибудь входил в комнатушку, Отшельник радостно бросался навстрѣчу с пронзительным писком — привѣтствіем. Маленькое сердце наполнялось восторгом при видѣ каждаго живого существа, оно было открыто для всѣх и не знало страха. Пристальные зеленые глаза кошки, настойчиво заглядывавшіе в окно молочной, не пугали Отшельника. Он не знал о существованіи зла, будучи отдѣлен от внѣшняго міра почти с момента появленія на свѣт: курица мать не захотѣла принять его — полуслѣпого, больного и слабого, в свой выводок, и если бы не вмѣшались люди, она заклевала бы его. Люди, закальвающіе больших и сильных цыплят, почему то спасли этот жалкій живой комочек, и в теченіе двух или трех недѣль жил Отшельник в полутемной теплой молочной; ему приносили ѣду и питье, но он все же не выжил, и однажды утром его нашли мертвым у порога запертой двери. Я думаю, что он умер оттого, что не в мѣру страдал от одиночества, — и вот страданье цыплячей души превысило положенную ей мѣру, и он умер. Мнѣ его жалко, хотя я не знаю, какой мѣрой мѣрять цыплячье страданіе. Но что если есть одна мѣрка для всѣх, мѣрка масштаба?

Эта мѣрка иногда мелькает, и тогда кажется, что вот-вот

схватишь, и сразу все поймешь. Но схватить не удастся. Это приходит и уходит, и никогда не знаешь, кто, что и когда сдвинет крѣпкій трехмѣрный мѣръ в точку, откуда видны всѣ вещи сразу, вещи и их душа. Не это ли есть «четвертое измѣреніе», — не идея о нем, а оно само?

Что может быть обыденнѣе, невзрачнѣе жука? Это было так ужасно просто: по черному асфальту дороги, медленно, слѣва направо, переполз дорогу большой черный жук. Я шел по дорогѣ, одурманенный солнцем и усталостью и ничего не думал, глядя вниз. Жука я отмѣтил, как движеніе перпендикулярное моему, производимое чѣм то очень черным, движущимся по черному. И продолжал шагать, попережнему глядя вниз, весь в ритмѣ движенія.

Но вот через минуту снова по черному асфальту дороги, медленно, слѣва направо, прополз большой черный жук. Совсѣм такой же как первый, по той же дорогѣ, под тѣм же палящим солнцем, точно так же — перед самым носком моего сапога. Мгновеніе повторилось в точности; два мгновенія, одно в прошлом, другое в настоящем, совпали.

И тут что то случилось — поток времени нарушился, и крѣпкій трехмѣрный мѣръ заколебался, поплыл, растворился; исчезло время, и в образовавшуюся дыру мелькнул новый, невѣдомой ширины горизонт; на линіи круга того горизонта, вѣроятно, лежит точка, откуда видны всѣ вещи сразу, вещи и их душа — их значеніе. Вот еще чуть-чуть крѣпче встать — и появится мѣрка, и я все пойму. Только бы не спутать совпавших кругов, только бы удержаться!

Но круги спутались, крѣпкій трехмѣрный мѣръ сомкнулся.

Е. Рубисова.

СТАСОВ И «МОГУЧАЯ КУЧКА»

(Глава из Книги «Пятеро и Другіе»)

«Твоя от Твоих Тебѣ приносяще».

(Слова Литургіи).

«Вот толкатель то!»

(Мусоргскій о Стасовѣ).

Стасов переживал лучшее время в своей жизни, вторую (но еще не послѣднюю) молодость. «Каждый человек должен рожать, а не можешь сам, так помогай другим», — кратко формулировал он свою философію. Вот он, не умѣвшій сам рожать, как художник, и стал повивальной бабкой, акушером новаго русскаго искусства. Оно родилось, росло, существовало. Позади были годы его дружбы с Балакиревым, годы одиночества вдвоем и ожиданія. Теперь вокруг него было много молодых, талантливых людей. Как он любил этот «рекрутскій набор талантов», этих, как грибы послѣ лѣтняго дождя, растущих геніев. Вслѣд за музыкантами пришли художники, скульпторы, архитекторы одушевленные его идеями. Кипѣла работа, пѣнилась бодрая общественная жизнь. Сегодня собирались у Милія; завтра у «Людмы» Шестаковой; послѣзавтра у Кюи или у него самого. Повсюду шли разговоры о музыкѣ, поэзіи, о живописи, исполнялись новыя вещи. Случалось, что у него засиживались далеко за полночь, и тогда он сам шел провожать гостей по высокой лѣстницѣ. Он зажигал огарок, свѣтил им, но и на лѣстницѣ еще продолжались горячіе споры, и когда приходили вниз, то огарок был уже выгорѣвшим до конца, и обратно ему приходилось подыматься в темнотѣ. А гости еще шли провожать друг друга,

да так и провожали иногда всю ночь, от одного к другому, увлекая с собой порою и хозяина, так что к утру всей компанией они возвращались снова в его квартиру варить утренний кофе. В журналах и газетах шла полемическая война, которую он любил, будучи мастером инвективы и разил булавою и шестопером, — по тупым головам противников. Дѣла было хоть отбавляй! Надо было искать сюжетов для опер, тем для симфоній, слов для романсов его друзей. Надо было спорить, убѣждать, горячиться, восторгаться.

У него на глазах приподымалась завѣса со «святая святых» их творчества (они сами, впрочем, предпочитали говорить о своей работѣ, как повара о блюдах «я состряпал, я изготовил, я спек»). У него же был один только талант: дар восторга! В тѣ чудесныя кушанья, которыя «стряпали» его друзья, он мог только прибавить немного перца, чуть-чуть соли и много, очень много лавроваго листа. Дни его были переполнены через край. В один и тот же день приходилось продѣлать столько разных вещей! Справиться с привычной рутинной Библиотеки, которую он пестовал как нянька, куда ходил ежедневно, не пропуская даже воскресеній; поработать хоть немного для себя, для души над каким нибудь вопросом исторіи искусства, вродѣ изслѣдованья русскаго орнамента; просмотрѣть корректуру послѣдней статьи, заѣхать на открытіе Передвижной Выставки, или поспѣть в ателье Рѣпина, Крамского, Верещагина. Позаботиться о правѣ жительства для еврейскаго мальчика, котораго рекомендовал ему Антокольскій или с'ѣздить к красавицѣ баронессѣ Аннѣ Гинцбург похлопотать у нея о стипендіи для юнаго піаниста; побывать у «Людмы» Шестаковой и прослушать там новые романсы Мусорянина. Поспѣть на премьеру в Александринку, да еще заѣхать в цирк Чинизелли (он обожал цирк за его яркую и мишурную красоту). Так что на придумыванье сюжетов и тем для музыки его друзей не было уже времени, кромѣ поздней ночи и ранняго утра. Ложась в постель послѣ такого дня он долго порой не мог успокоиться и сердце стучало в грудь

сильными, тяжелыми ударами. Он прислушивался к его биению и мнительный страх охватывал его. Как всё очень здоровые люди, он боялся болѣзни и смерти. Он не хотѣл уйти до времени из жизни, гдѣ не все было ладно, гдѣ были и горе, и неправда, но которую он любил сильной, языческой любовью.

Он посылал вѣнки и цвѣты, писал программы и отчеты. Он, как никто, заботился о каждом из своих друзей, а они настолько привыкли к этому, что это казалось им само собой разумѣющимся. «Кто послал вѣнок? **понятно**, Стасов». И то что это стоило вниманія, заботы, наконец, просто денег их доброй нянѣ, об этом позабывали. Он пестовал и нянчил, ахал и охал, подталкивал и подсаживал. А когда приходили горе, утраты и болѣзни, он тоже был тут как тут, внимательный, забывающій. А когда приходила смерть а с ней, постепенно, даже у самых близких, забвеніе, **он один помнил** и напоминал, хоронил и ставил памятники, писал статьи и біографіи, устраивал концерты и издавал сочиненія. Благоговѣйно хранил вѣчную память, словно сам вѣчный, сѣдѣющій, бессмертный.

Кѣм он был? Мухой, которая говорит: «мы пахали», трутнем, пользующимся медом рабочих пчел? Оводом, жалящим уставшую лошадь? Да, он было оводом, добрым оводом, который жалил лошадь для ея же блага: чтобы не застоялась! Был ли он на самом дѣлѣ дирижером своего оркестра или только размахивал палочкой, а оркестр все равно играл свое? Больше умственных дарованій был в нем какой-то талант социабельности. Он «держал», он об'единял всѣх этих капризных, обидчивых, порою неуютных людей, всѣх этих неуживчивых индивидуалистов. **Без** него все бы распалось и они разбрелись бы до времени, как разбрелись потом, когда время пришло. Его сѣдовая борода трепыхалась, как бѣлый панаш, собиравшій бойцов в суматохѣ сраженія, его ободряющій поучительный голос гудѣл, как труба сбора. Добрый овод, гудящій шмель единенія!

Он ли создал теоріи, которыя исповѣдывал Балакиревскій

кружок? Нѣтъ, не он один. Были ли правильны эти теоріи? То, чему он учил — націонализм въ искусствѣ, преклоненіе перед народной пѣсней, реализм были истины не безспорныя. Но для того момента, для тѣх людей во всем этом была та правда, которая помогала им жить и творить. Таланты, пошедшіе по другому пути, вѣрившіе во «всечеловѣческое» искусство, как Сѣров и Рубинштейн, зачахли, не развивались. И если по плодам познается дерево, то плоды на древѣ русскаго національнаго искусства играли и искрились, как золотыя яблоки в садах сказочной Жар-Птицы, о которой собирался написать оперу друг Милій.

II

«Милій Чешскій», как звал Балакирева Модест с тѣх пор как тот побывал в Прагѣ, вел в эту зиму странный образ жизни. Он часто уходил куда то, надѣвъ торжественный черный сюртук, взявъ в руки палку и красныя перчатки. В его скромной комнатѣ стали появляться какіе то экзотическіе люди, с которыми он говорил на плохом нѣмецком и, главным образом, жестами. Все это были братья славяне, с'ѣхавшіеся в Питер, гдѣ был основан Славянскій Комитет. На Балканах и в славянских землях Австріи шло броженье. Представители разных славянских групп с надеждой посматривали в сторону Москвы. В это время панславистское движеніе находило сочувствіе в очень высоких русских бюрократических кругах. Пріѣзжая в Питер, «братушки», естественно, разыскивали и того, «умѣльца» (художника) и «капельника», который прославился на весь славянскій мір постановкой «Руслана» в Прагѣ.

Милій теперь, кромѣ русских народных пѣсен, со вниманіем изучал и другіе славянскіе и даже венгерскіе напѣвы, которые он считал по происхожденію и духу славянскими. Он рылся в Публичной Библиотекѣ у Стасова, и порой заставлял своих серьезных, бородатых, горящих политическими

страстями посѣтителей, пѣть ему их родныя мелодіи. Они исполняли их серьезно, как старательныя дѣти, изрѣдка фальшивя. В результатѣ этого увлеченія славянским фольклором сам Милій написал «Увертюру на чешскія народныя темы», а Корсинькѣ указал нѣсколько интересных сербских тем, на которыя тот с большой быстротой и с немалым умѣніем сочинил свою «Сербскую Фантазію».

На двѣнадцатое мая был назначен в Городской Думѣ торжественный концерт под управлением Балакирева. Программа должна была заключать образцы музыки разных славянских народностей. Тут были и «Камаринская» Глинки и малорусскій «Казачек» Даргомыжскаго и «Сербская Фантазія» и «Чешская Увертюра». Было еще и многое другое.

Репетиціи концерта прошли не без инцидентов... Но это были не политическіе инциденты и не германская интрига. Благодаря спѣшкѣ переписчик надѣлал ошибок в «Чешской Увертюрѣ». Первая скрипка благодаря этому сбилась. Балакирев разсердился и начал кричать на скрипача: «Вы не понимаете жестов дирижера! Вам не в оркестрѣ мѣсто, а...» Скрипач обидѣлся и ушел, а оркестр отказался репетировать. Кое как все это уладилось, первую скрипку замѣнили и концерт состоялся.

Прошел он с большим под'емом. Публика была необычная, много профессоров, крупных чиновников, военных. Темные глаза сверкали на энергичных лицах южных славян. Солидные чехи, забыв дисциплину, кричали «слава! слава!» и сербы отвѣчали «живіо!» Болгарскіе революціонеры, мечтавшіе о возстаніи против турок, аплодировали так, словно взрывали бомбы. Балакиреву поднесли нѣсколько вѣнков.

На другой день в С.-Петербургских Вѣдомостях, давая отчет об этом «славянском» концертѣ, Стасов обмолвился не очень удачной фразой: «дай Бог, чтобы наши славянскіе гости навсегда сохранили воспоминаніе о том, сколько поэзіи, чувства, таланта и умѣнія есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». «Русскіе музыканты» были не

очень то довольны этой фразой, особенно же скромный, не терпѣвшій рекламнаго шума Римскій-Корсаков. Он считал ее безтактной, но она была ярка и запомнилась. Газетчики набросились на эти слова, сдѣлали их предметом насмѣшки; в публикѣ зашептали недружелюбно о «могучей кучкѣ», — и балакиревскій кружок получил свое воистину боевое крещеніе, и крестным отцом его был Стасов. Они навсегда остались «Могучей Кучкой», просто «Кучкой», или даже (совсѣм нехорошо) «кучкистами».

III

У Балакирева явилась мысль: выписать для управленія серіей концертов Р. М. О. знаменитаго Берліоза, считавшагося первым дирижером своего времени. Великая княгиня охотно приняла это предложеніе. Она даже оказала рѣдкую честь старику и пригласила его жить во время пребыванія в Петербургѣ у нея в Михайловском дворцѣ. Он должен был получить за шесть концертов громадную сумму — 15.000 рублей. Берліоз однажды уже побывал в Россіи в 1846 году и концерты его тогда были сплошным триумфом и на время вывели вѣчно нуждающагося композитора из очень запутанных обстоятельств. Он на всю жизнь сохранил прекрасныя воспоминанія о морозной странѣ, гдѣ его встрѣчали такими южными, такими горячими восторгами.

Концерты под управленіем Берліоза должны были идти в перемежку с обыкновенными концертами, которыми дирижировал Балакиров. Милій взял на себя черную работу с оркестром и служил переводчиком между гостем и русскими музыкантами. В программу концертов входили как классическія произведенія, главным образом бетховенскія симфоніи, так и вещи самого маэстро. Среди, бетховенских симфоній была намѣчена и Девятая, но без послѣдней, хоровой части.

Первый концерт Берліоза состоялся 16 ноября. Успѣх превзошел все, что можно было вообразить. Пресса дала

восторженные отзывы, Р. М. О. чувствовало великаго гостя объѣдом. Берліоз тоже устроил пріем для своих друзей и почитателей во дворцѣ. Это превосходило успѣх Листа.

Но, несмотря на триумфы, старик был болен, подавлен и удручен. Балакирев посѣщал его и брал с собой иногда и Стасова. То сильное и доброе, что было в личности Стасова дѣйствовало живительно на Берліоза словно согрѣвало его старое сердце и кости. Сколько раз находил он его лежащим и охающим на диванѣ, неспособным, кажется, сдѣлать малѣйшее движеніе! Но он умѣл растормошить его, заставить подняться, надѣть фрак и ѣхать с ним куда нибудь в ресторан, в оперу, или к брату Дмитрію. На этот раз болѣзнь была, кажется, болѣе серьезнаго свойства. «Entrez!» раздался стариковскій, хриплый голос, когда лакей подвел их к двери его апартамента. Маэстро лежал в небольшой круглой гостиной на диванѣ, весь обложенный подушками. Он был очень худ, большая голова его казалась слишком тяжелой для тонкой, сморщенной шеи. Выдающіяся скулы горѣли: у Берліоза был легкій жар. Орлиный нос придавал ему вид хищной и усталой экзотической птицы. Глаза смотрѣли остро и блестя, вѣроятно, тоже от жара. Старик им обрадовался и послѣ обычных привѣтствій, когда они усѣлись в малиновыя кресла против него, стал жаловаться на слабость. Он до сих пор не вполне оправился от путешествія, хотя теперь продѣлал путь по желѣзной дорогѣ, а не так как в первый раз, когда в санях, по твердому снѣгу, он пересчитал чуть ли не всѣ ухабы и рытвины по русским дорогам. Но он в восторгѣ от Россіи. Он готов был бы снова ѣхать сюда на санях, только чтобы попасть в эту удивительную страну, дирижировать перед этой отзывчивой, понимающей публикой. Когда он уѣзжал сюда в первый раз, сатирическій Charivari шутил, что «Monsieur Emberlificoz est devenu! Monsieur Berliozkoff»^{*)}). Что-ж,

^{*)} Игра именем Берліоза, приблизительно означающая: «Господин Надуватель стал господином Берліозковым».

он рад был бы на самом дѣлѣ стать Берліозковым, поселиться в Россіи, сдѣлаться скифом, славянином. Только здѣсь люли живут искусством! Как и многіе иностранцы Берліоз охотно поддавался иллюзіи, что в Россіи духовные интересы играют огромную роль, что русскіе живут и дышат искусством. Так оно и было на самом дѣлѣ, в тѣ минуты, когда в воздухѣ мелькала его дирижерская палочка. Славянская душа, легко поддающаяся гипнозу искусства, дѣйствительно, отдавалась в эти минуты его чарам. В разговорах с знаменитым музыкантом русскіе люди проявляли бездну отзывчивости и идеализма. И Берліозу казалось, что в Россіи в противоположность Западу, нѣтъ власти денег, интриг, косности, душивших его на его родинѣ. И он забывал о том, что эти очаровательные и отзывчивые люди — совсѣм другіе в своей обыденной жизни, что за окнами дворца и концертной залы лежит огромная, сонная, косная страна!

Стасов и Балакирев пришли просить маэстро исполнить Бетховенскую Девятую цѣликом с хорами, не опуская послѣдней части. Стасов на том пѣвучем французском языкѣ, который якобы так нравится французам, уговаривал Берліоза сдѣлать такую попытку, предоставив Балакиреву всю черную работу подготовки ея. Но Берліоз не поддавался на уговоры. Он тряхнул головой и знаменитая сѣдая прядь его волос упала на лоб еще упряме. «Нѣтъ, нѣтъ, это невозможно!» Очевидно его обычные комплименты русскому хору и оркестру, якобы самым лучшим в мірѣ, не были вполне искренними. Потом они заговорили о Сѣровѣ. Сѣров обидѣлся на то, что его не пригласили на чествованье дня рожденья Берліоза, которое устроило Р. М. О. Он даже написал письмо в газеты, возмущаясь тѣм, что посмѣли обойти приглашеніем почетнаго члена Общества. Но нигдѣ в уставѣ Общества нѣтъ обязательства звать на обѣды всѣх членов, даже почетных. К тому же обѣд был устроен совмѣстно с Безплатной Школой и отдѣльными почитателями маэстро. Сѣров ярый Вагнерист, но хочет ѣсть из двух ясель, танцовать на всѣх свадьбах.

Берліоз весело засмѣялся. Он счел своим долгом пригласить Стѣрова на обѣд, которым он отблагодарил за вниманіе своих русских друзей. Однако, во все время обѣда вид у Стѣрова был такой будто его завлекли в какое-то неподобающее ему мѣсто. Может быть, обстановка Дворца смущала его либеральныя чувства? Он казался разсѣянным, был молчалив, а когда говорил, то только о Вагнерѣ.

— Этот вагнерист пахивает Мейербером — вставил Стасов. Но Берліоз стал защищать Мейербера. «Это самое сильное театральное дарованіе нашего времени» говорил он. «Что касается Вагнера, то он просто несносен. Понятно, это новатор борец, безкорыстный музыкант, а не ремесленник, гонящийся за деньгами. Но что за диссонансы! что за дикія модуляціи! что такое «Тристан», как не один долгій хроматическій стон, полный диссонансов. А «Летучій Голандец»? безконечный ряд хроматических гамм и тремоло без единого луча свѣта!»

Берліоз замолчал и они не прерывали молчанія. Он смотрѣл в окно на снѣжныя крыши и вспоминал об одной из самых странных страниц своей жизни, о приключеніи, которое с ним тут было. Впрочем, можно ли было назвать приключеніем один из тѣх трагикомических эпизодов, которые не раз случались с ним и были так непохожи на его яркую музыку? Романтизма и в них было хоть отбавляй, но какого-то не по французски мечтательнаго. Поиски истинной, единственной любви не покидали его никогда, от ранней юности до самой старости. Голодное сердце столько раз зажигало его воображеніе, и оно вспыхивало ярким пламенем, чтобы потухнуть...

Это было в первый триумфальный его прїѣзд в Россію. Она была маленькая хористочка, даже не особенно красивая, с милым, кротким, безотвѣтным выраженіем лица. Она была очень бѣдна и кромѣ пѣнія работала корсетницей в мастерской у сестры. И эта бѣдность, кротость и безотвѣтность плѣнили его. Он гулял с ней по петербургским улицам, иногда уходя далеко за заставы, гдѣ ровной пеленой лежал розовый снѣг,

освѣщенный закатным солнцем, гдѣ на всем пейзажѣ была закатная зимняя грусть. Он жал ей ея маленькія ручки, получал иногда поцѣлуй холодных, равнодушных губок. Он готов был увезти ее с собой во Францію, но она не поѣхала. «Je vous écrirai», говорила она, обѣщая писать ему в Париж. Но обѣщанія не сдержала и не написала ни разу. Так и кончился этот роман, похожій на изступленные повѣсти другого мечтателя, писавшаго о кротких дѣвушках, об оскорбленных и униженных, о бѣлых ночах и бѣдных людях. Словно композитор заразился Россіей в русском воздухѣ.

На прощанье он крѣпко жал руки Балакиреву и Стасову. «Вы, Стасов, своей неизмѣнной добротой согрѣваете мое старѣющее, холодѣющее сердце» говорил он.

Вскорѣ он уѣхал. Наканунѣ от'ѣзда, снова благодаря русских друзей, он подарил Балакиреву на память о совмѣстной работѣ свою дирижерскую палочку из слоновой кости. Милій хранил ее бережно, как высшую инвестирую генія.

IV

Недаром сорвались с запальчиваго пера Стасова эти слова о «могучей кучкѣ». Было что-то могучее в их быстром расцвѣтѣ.

И все же, хотя Милій был в это время на небывалой высотѣ, почти «диктатором» музыкальнаго Петербурга, про себя Стасов знал, что он на этой высотѣ не удержится, сорвется. Он это чувствовал до самых «корней» своей души. «Орел» во всем музыкальном, в жизни он часто был недостоин самого себя. К его прежней реакціонности и мизантропіи все больше примѣшивалась російская, обывательская лѣнь. Как прежде любил он поиграть в картишки, при этом балагурия так, как это дѣлают всѣ игроки в Россіи, становился уютным, обывательским, похожим на милліоны Иванов Ивановичей, поигрывающих в картишки по маленькой. Трефовый король по-

чему-то напоминал ему митрополита Исидора. «Исидоренка — говорил он — ну-ка, потрудись за меня. У Исидоренки нос картошкой». Или, кладя карту на стол: «ну-ка, туз, его и сам Господь Бог не побьет!» Он все рѣже доводил до конца свои произведенія... Корсинька жаловался, что Милій совѣм не жалѣет времени, ни своего, ни чужого. Времени «Римлянина», он, дѣйствительно, не жалѣл, смотрѣл на него с чувством собственника. Но это было безбожно, так как сам Римлянин боялся буквально потерять полчаса для работы. Он не переставал учиться, вѣчно сидѣл на какой-то (воображаемой) университетской скамьѣ. Послѣ своего шедевра «Садко» он написал теперь новую симфоническую поэму «Антар» на сюжет восточной сказки Сенковского, и вещь обѣщала быть превосходной. Упорно от пустых разговоров он возвращался к своему предмету, к своему прямому дѣлу, постоянно «учил музыку», думал о ея проблемах. В сущности, он был единственный мыслящій музыкант в их группѣ и отнюдь не диллетант, несмотря на свой мундир. Правда, по части оригинальности Модест мог их всѣх за пояс заткнуть. С этим соглашался даже «идеалист» Балакирев, которому не по душѣ был реализм Мусорянина. Да, это большій всѣх, почти гениальный талант, но талант его просто выходит вон из всѣх пазов, а критики никакой.

Единственно, чего не хватает Римлянину — это страстности, сильнаго чувства. Стасов не раз говорил это другу в глаза. «Но не бойтесь, Корсинька, — прибавлял он в утѣшеніе, — придет минутка, когда Вас кто-то и что-то завертит и окунет в омут, и тогда **Вы запоете пѣтухом**. Это случится в видѣ сильнаго пожара. Что у Вас **есть** достаточно для этого пороха, в том я не сомнѣваюсь, видя как страстно Вы любите Милію». В этом Стасов как раз ошибался: чувство к Милію уже оскудѣвало в душѣ Римскаго Корсакова. Но ему все-таки суждено еще было «запѣть пѣтухом».

Бородин Стасов очень любил, да как было и не любить его? Но многое и раздражало в милѣйшем Химическом Гос-

подинѣ. Он был ужасный консерватор и дѣлая шаг вперед, дѣлал тотчас же сто назад. Он, кажется, все на свѣтѣ с удовольствіем бы заморозил, чтобы не двигалось, не мѣшало ему сидѣть в лабораторіи или дома пить «чайчечочек», как он выражался. Подвинуть его на музыкальное творчество было еще труднѣе, чѣм Милія! Однако, симфонія понемногу подвигалась. Ее Стасов любил, как собственное дѣтище. Было в ней что-то могучее, древне былинное, словно широкое дыханіе богатырской груди. И подлинный Восток, почище еще чѣм у Глинки.

Дирекція Р. М. О. рѣшила прибѣгнуть снова к тому методу, который она немного по иному неудачно испытала с Мусоргским. Ей хотѣлось поощрить молодые таланты. Но с другой стороны она считала невозможным давать публикѣ слабыя и диллетантскія произведенія. Вот она и обратилась к молодым композиторам с просьбой: представить ей свои новыя вещи, которыя будут сыграны на большой пробѣ в концертной залѣ Михайловскаго Дворца... Затѣм в зависимости от того, как примет их избранная публика на пробѣ, онѣ будут исполнены публично, или возвращены авторам. Таким образом сам автор не должен был уже быть судьей своей вещи, как в случаѣ с Мусоргским, а публика. Балакирев, которому не терпѣлось исполнить симфонію друга, взял ее для этой пробы, и тѣм чуть было не совершил роковую ошибку. Дирекція Р. М. О. могла не без основанія причислить Бородина ко всѣм другим начинающим и диллетантам, которые требуют осторожнаго отношенія. К тому же для репетиціи партіи в симфоніи были переписаны наспѣх, с ошибками, вещь была трудная и потому прозвучала прескверно. Несмотря на это Балакирев, выговорившій себѣ право самостоятельно составлять свои программы, твердо настаивал на публичном ея исполненіи. Дирекція была в ужасѣ, но что было дѣлать с упрямым!...

Концерт был назначен на 4-ое января 1869 года. Послѣ неудачной пробы во Дворцѣ состоялись и обычные репетиціи

и тут мѣнѣе о симфоніи стало явно мѣняться. Кологривов, тот из директоров Р. М. О., который с наибольшей симпатіей относился к Балакиреву, радостно сообщил Милію, что симфонія начинает многим нравиться. Даже директор консерваторіи Заремба, и тот признал, что автор не без таланта. Все же Балакирев с волненіем ждал субботы 4 января. Он опасался не столько широкой публики, сколько профессиональных музыкантов и критиков, много болѣе косных в своих взглядах, чѣм публика. Первая часть симфоніи была принята холодно: немного похлопали и замолкли. Балакирев поспѣшил перейти к скерцо. Но скерцо прошло бойко, раздался взрыв рукоплесканий, автора вызвали и скерцо бисировали. Послѣ финала снова вызывали автора. Это был успѣх.

Даргомыжскій, вице-предсѣдатель петербургскаго отдѣла Р. М. О., тоже волновался за судьбу симфоніи. Душою он был сам теперь членом этой «балакиревской банды», которая сумѣла согрѣть его старое сердце своим признаніем. Но он был болен, обострившійся аневризм помѣшал ему быть на концертѣ. Он просил, чтобы к нему непременно зашли послѣ концерта, рассказать, как все было. Но заѣхал к нему один лишь генерал Вельяминов, не музыкант, и не мог описать все подробно, как хотѣлось больному... Он подждал других. И, дѣйствительно, они оживленной и шумной компаніей подходили к его под'ѣзду послѣ концерта, но не рѣшились подняться, боясь потревожить больного. Он скончался в это утро в пять часов. В завѣщаніи своем он просил Кюи закончить «Каменнаго Гостя», а Римскаго-Корсакова сдѣлать его оркестровку. Этим он публично свидѣтельствовал о своей близости к балакиревскому кружку...

Дарго умер, живые оставались жить и по эгоизму молодости не слишком печалились. Одному Модесту было, кажется, по настоящему жаль этого желчнаго, маленькаго человѣка. Но и Модест не забывал его недостатков. Даргун показал ему как-то свою записку в альбом пріятеля: «Чтобы сдѣлаться истинным художником надо: любить добродѣтель, искус-

ство, женщин; терпѣливо сносить равнодушіе и пристрастіе знатоков; презирать роскошь, свѣтскія удовольствія, брань газет и зависть... Не знаю, можете ли Вы это все, любезный барон, а я не могу»... И Дарго весело смѣялся своим тонким смѣхом над собой, над тѣм, что могло бы служить ему эпитафіей. Мусоргскій считал даже, что, может быть, лучше, что «Каменнаго Гостя» поставят, когда его автор уже «среди предков». При всем своем революціонном новаторствѣ, Дарго оставался «человѣком сороковых годов». Он, пожалуй, не выдержал бы возмущенія, которое должна была вызвать его опера. Он легко «окисллся» от малѣйшаго неодобренія и, кто знает, удержался ли бы на должной высотѣ?

V

Бородин радовался успѣху своей симфоніи и принялся за работу над второй. Стасов, знаток былин и сам немного похожій на древних богатырей, радовался эпическому складу бородинскаго дарованія. Все принимало у него могучія, широкія, пластическія формы... Мелодическое дарованіе его было незаурядным. Всякому, кто слышал его романсы, было ясно, что он способен к творчеству и в вокальной области. Стасову особенно нравилось «Море». По его мнѣнію, это был самый лучший, самый «великій» романс на свѣтѣ. Он был счастлив, когда автор, тронутый его восхищеніем, посвятил «Море» ему, Стасову. Но и другіе бородинскіе романсы — всего какая-нибудь дюжина — и «Морская Царевна», и «Спящая Княжна», и «Пѣсня о темном Лѣсѣ» напоминали ему Глинку и «Руслана». И он начинал думать, что Бородин создан для оперы, и что именно он, а не Кюи будет наслѣдником Глинки. Сам Бородин тоже подумывал об оперѣ, искал сюжета, но его вчуже пугала та безконечная возня и работа, которая связана с сочиненіем оперы, и для которой у него не было времени. Бала-

кирев посоветовал ему драму в стихах Мея — «Царскую Невѣсту». Сюжет сперва, было, понравился Александру Порфирьевичу, но когда он принялся за дѣло и сочинил нѣсколько сцен, — то сюжет ему разонравился: тонущая в крови, мелодраматическая Русь Грознаго, Русь гонителей и гонимых инстинктивно отталкивала его свѣтлую натуру. Он не был русским Мейербером и ему не нужны были русскія Варфоломеевскія ночи.

Стасов думал о другом, а именно о «Словѣ о Полку Игоревѣ». Чудная эпическая поэма, самая прекрасная в русской литературѣ, об эпохѣ самой прекрасной в русской исторіи — что могло быть источником болѣе высокаго вдохновенья для его друга? Уже познавшая тяжкія испытанія, но еще не омонголенная, не оскверненная игом Русь; еще рыцарственный и благородный быт князей; уже нависшая угроза с юго-востока, из половецких степей; борьба, поражение, надежда. Стасов думал обо всем этом, когда не спал по ночам, или, проснувшись, в раннія утра (днем у него не было времени). И вот, в апрѣлѣ 1869 года, перед самой Пасхой, он смог уже представить другу подробный сценарій оперы под названіем «Князь Игорь».

Бородин был в восторгѣ. Воистину, это было красное яичко к Свѣтлому Празднику. Опера, казалось ему, уже лежала перед ним в главных своих очертаніях, как на ладони. Сюжет мнѣ ужасно по душѣ, будет ли только по силам? Не знаю. Ну, да волков бояться — в лѣс не ходить! Попробую», говорил он, благодаря Владимира Васильевича.

«Волки» были не только трудности такого сложнаго предпріятія, как опера. «Волки» были свои, домашніе, давно знакомые: лабораторія, лекціонный зал, благотворительныя за сѣданія. Но были и трудности по существу дѣла. Первая трудность была в самом либретто. Он, как и всѣ члены кружка, даже и не подумал о том, чтобы обратиться к профессиональному литератору и хотѣл сам написать слова для своей оперы. Сюжет «Слова о полку Игоревѣ» привлек его сразу с чрез-

вычайной силой, как это бывает с гѣм, что влечет нас как бы по «избирательному сродству». Вѣдь в нем самом, как и в Стасовѣ, было нѣчто родственное князьям и витязям, героям и богатырям древней Руси. Мало того, плѣн Игоря среди кочевого азіатскаго племени половцев давал ему возможность выразить в музыкѣ и другое, что незримо для него самого таилось в нем, то восточное, что унаслѣдовал он от отца. Однако, «Слово о полку Игоревѣ» будучи изумительной поэмой, не давало достаточно матерьяла для либретто. Что было в нем, кромѣ краткаго поэтическаго разсказа о том, как путивльскій князь Игорь Святославич созвал своих сородичей, других южно-русских князей, на борьбу против половцев; о том, как поход его сопровождался недобрыми предзнаменованіями, как попал в плѣн сам князь и как убивалась по нем его княгиня. Всего этого было как будто бы недостаточно!

Он бодро принялся за дѣло, побывал у Стасова в Библиотекѣ, набрал себѣ по его указаніям уйму книг, обложил себя источниками, погрузился в исторію, в этнографическія и музыкальныя изысканія. Он изучал всякія тюрко-монгольскія народныя пѣсни и отыскал даже пѣсни малочисленных потомков древних половцев, которые еще сохранились в Венгріи. К осени он мог уже похвастаться перед женой (он нерѣдко позволял себѣ перед ней такое невинное хвастовство!), что «химикусы были довольны работой, сообщенной в Химическом Обществѣ, а музикусов я также ублагоотворил первым номером «Игоря», гдѣ Сон Ярославны вышел прелестно». Чего «музикусы, увы, не знали, это, что увлеченіе «Игорем» и музыкальным творчеством было уже позади и, что сейчас он был снова в «пассіи» лабораторных работ. Что он строил «лабораторійку» при своей квартирѣ, куда уже проводился газ и гдѣ ставилась мебель и что все это представлялось ему столь милым, уютным и удобным, что, как он признавался женѣ: «майчики (стыдно сознаться!) иногда без всякой нужды ходят туда только посотѣть (посмотрѣть), а когда все будет готово

— все будут сидѣть там. Правда!» Печальная для «музиков» правда. Когда Стасов замѣтил ее, убѣдился, что Игорь не двигается, он даже предложил этот сюжет, как заштатный и безхозяйный Римлянину. Но Римскій-Корсаков писал уже оперу на другой сюжет и как раз на сюжет брошенный Бородиным, а именно на «Царскую Невѣсту» — славянофила из нѣмцев, Льва Мея.

Вѣроятно, именно разочарованіе (не в сюжетѣ Игоря, который, напротив, он все болѣе чувствовал, как предназначенный, суженый себѣ), а в своей способности справиться с долгой и кропотливой задачей сочиненія оперы, толкали Бородину к работѣ над новой симфоніей. Симфонію «выносить» и родить хоть тоже было не легко, хоть и эти «роды» продолжались долго, но все же через пять лѣтъ симфонія на свѣтъ появилась, а опера не была закончена и через восемнадцать! И все то, что он хотѣл вложить в «Игоря», вкладывал он в эту свою вторую симфонію. Доблесть древне-русских князей и — еще древнѣе — дозоры богатырей в безграничных степях, их борьба с кочевниками, их побѣды и пораженія, все было тут. Стасов восторгался первыми услышанными им отрывками, он звал симфонію «своей», «богатырской», «львиной» или даже просто «львицей».

Александр Порфирьевич все больше дружил с Корсинькой. Их сближеніе, так же как сближеніе Корсиньки с Мусоргским, шло параллельно легкому, но уже замѣтному для чуткаго Стасова охлажденію между Корсинькой и Миліем. «Я шпион, от меня ничего не скроешь», любил он говорить о себѣ, произнося это слово в нос: «шпигон». С Модестом и Корсинькой отношенія у Бородина были простыя, товарищескія, хотя с отгнком почтительности со стороны младших друзей. Они с полуслова понимали друг друга, дѣлились друг с другом своими проектами и планами. Они любили разговаривать друг с другом как техники, как мастера одного цеха. Корсинька нерѣдко ѣздил в гости к старшему другу, засиживался у него до поздней ночи и оставался ночевать. Бородин тоже, также как и

Стасов и Модест заглядывали и к нему, в его маленькую комнатку, которую он снимал в квартирѣ рабочего за 11 рублей в мѣсяц. В тѣсной комнаткѣ, казалось, трудно было умѣститься высокому Стасову или плотному Бородину: ее почти всю заполняло фортепiano. «Римлянин» все свободное время проводил за ним и за нотной бумагой. Однажды Бородин зашел к нему рано, в девять часов утра. «Адмирал» обрадовался, накинул пиджак и был немного смѣшон в этом видѣ, без формы, в пиджакѣ поверх синей русской рубашки, длинный, неловкій, улыбающийся. Он не знал, как лучше усадить гостя, принялся сам раздувать самовар, поить чаем Александра Порфирьевича. Потом они сѣли за рояль, играли фуги Баха, собственныя свои вещи. Бородин наиграл начало новой симфоніи и Корсец от восторга неистовствовал. Он размахивал руками, смѣшно оттопыривал нижнюю губу, подыгрывал то бас, то дискант. Бородина ждали гдѣ-то к завтраку, но когда друзья впервые разслышали бой часов на сосѣдней башнѣ, то оказалось, что уже четыре и о завтракѣ не могло быть и рѣчи. За эти семь часов они «усидѣли» два самовара и сыграли уйму музыки. Бородин шутил, что давно уже так «всласть» не музицировал и не пил так много чая, а он ли не умѣл дуть «чайчечочек»? Корсинька рассказал о новой симфоніи Милію и наиграл ему из нея кое что. Балакирев, который в послѣднее время дулся на Бородина (как, впрочем, и на всѣх друзей), теперь, встрѣтив его у Людмилы Ивановны, вдруг словно перемѣнился весь. Раскис, смотрѣл на него влюбленными глазами, разнѣжился и вдруг, как будто не умѣя иначе выразить свои чувства, подошел к нему, взял двумя пальцами за нос и крѣпко поцѣловал в щеку. Бородин шутил, что Милій простил его так, как наказанныя дѣти вдруг перестают дуться на маму и «прощают» ее... Милій «прощал» его за симфонію.

Скоро слух о новой симфоніи и об «Игорѣ» распространился по музыкальному Петербургу. Бородина всюду просили исполнять отрывки из оперы, особенно необыкновенно оригинальныя по ритмам восточныя пляски. Играл он плохо, пѣл,

пожалуй, не лучше. Если в обществѣ случался Мусоргскій, он по своему обыкновенію смѣялся над бородинскими «пулярдками» и смѣнял его у рояля. Он тоже пѣлъ отрывки из оперы и «Плач Ярославны», и «Кончака». Особенно хорошо выходил у него половецкій хан. Он как-то особенно подчеркивал нѣкоторыя слова и слоги, от чего получались неожиданные эффекты. «Я тебѣ под-дарю» пѣлъ он и дѣлал при этом жест царственного величія и щедрости и потом, с необыкновенною нѣжностью, он переходил к об'ясненію хана в любви к своему плѣннику.

Но ты меня не боялся,
Пощады не просил князь.

Вообще они были в модѣ. Их извѣстность стала выходить за предѣлы узко-музыкальных сфер, ширилась, как круги по водѣ от брошеннаго камня. Так, популярный в то время художник Маковскій и вся его семья просто бредили новой музыкой, не знали, как залучить к себѣ ея представителей. Бородин, послѣ многих уклоненій, стал бывать у них, и жена Маковского, тоже художница, рисовала его портрет. В домѣ Маковских поставили даже «Каменнаго Гостя» цѣликом, там только и разговоров было, что о новой музыкѣ, о реализмѣ в искусствѣ и т. д. Дамы Маковскія цѣлый день млѣли и таяли от новой музыки, бранились с ея противниками, плакали от восторга. Маленькая Маня, дочка художника, долго недоумѣвала, почему ея тетя «Сашок» все плачет за роялем. Наконец она рѣшила, что «Сашок» **жалѣет музыку**. Другая маленькая Маня, ея кузина, пѣла цѣлый день бородинскую «Спящую Княжну». Она сама подбирала на рояли акомпанимент и старательно выводила дѣтским фальцетом, ставя ударенія на «ли»:

И никто не знает, скоро ли
Час настанет пробужденья?

Ей особенно нравились в концѣ интервалы секунды. «Вот оно, молодое поколѣніе, небось сразу все схватывает», шутил Бородин, трепля по щечкѣ свою юную поклонницу.

VI

Но не однѣ розы были в жизни «Кучки», и не всѣ курили им фиміам. Газетная война не прекращалась вокруг них. Кромѣ Кюи и Стасова, всѣ прочіе музыкальные критики сомкнутым строем сражались против них. Кюи и Стасов были даровитые литераторы и сильные полемисты. Кюи казался умнѣе и тоньше Стасова, но у него не было «сердца» и потому он, несмотря на свой ум, дѣлал массу промахов. У него было слишком много задних мыслей и мало подлинной убѣжденности. Для чуткаго Стасова, он уже «пахнул измѣной». Нѣсколько раз вмѣшались в словесную войну и нелитераторы — Римскій-Корсаков и Мусоргскій. Вот как это случилось.

Кюи был тонкій кондитер и умѣл находить выход из трудных положеній. В таком положеніи очутился он, когда поставил свою оперу «Нижегородцы» дирижер Маринскаго Театра Направник. Что было дѣлать? Хвалить — значило измѣнить своим друзьям и своим принципам. Бранить? Но это означало бы разрыв и ссору с вліятельным капельмейстером. Направник, чех по рожденію, был хорошій музыкант, одаренный необыкновенным слухом. Во время оркестровых репетицій он мгновенно слышал малѣйшій оттѣнок звука, тотчас же обнаруживал «фальш» и «грезь», как он выражался. Он был работающ, добросовѣстен, оркестр его уважал. Но у него не было ни искры огня или вдохновенія, он был типичный «сухарь» и такимъ же остался в своей оперѣ...

Кюи придумал предложить попробовать свои силы на поприщѣ критики Римскому Корсакову. Предложеніе польстило Корсинькѣ, вѣдь его самолюбіе не мало страдало от того, что его считали просто ничтожным офицериком. Он с полной наивностью принял предложенную ему Цезарем критическую ферулу. Со всей честностью и прямою, не замѣчая подвоха, он разобрал «Нижегородцев» и приобрѣл себѣ врага на всю жизнь.

Атмосфера обострялась. Стасов назвал своих противников «музыкальными лгунами». Критик Фаминцын привлек его к суду за клевету, но добился осужденія своего противника не за клевету, а только за брань в печати, что кружок счел своей побѣдой. Сѣров в полемическом азартѣ доходил до того, что писал про Балакирева, что «Любая вторая скрипка из провинціального оркестра могла бы отмахать палочкой с большим успѣхом», чѣм Милій. Феофил Толстой, по прозванію «Фиф», не отставал от братіи в своих нападках на «Кучку».

Неожиданно в эту войну вмѣшался Модинька. Он благо-разумно не стал на путь критика-любителя, как сдѣлал это Римскій-Корсаков. Вѣрный себѣ, он остался композитором и чтобы нанести удар противникам изобрѣлъ новый жанр музыки — музыкальную сатиру, написал свой «Раек».

Тѣ, кто бывали в Россіи на масленичных гуляньях, слышали там доморощенных юмористов, т. н. «раешников». Они показывают разныя «чудеса в рѣшетѣ» и сопровождают свои «показыванья» рифмованными импровизаціями. Раешник-Мусенька «показал» всѣх критиков, противников их «благословеннаго кружка».

Первым выступал Директор Консерваторіи Заремба под религіозную музыку из генделевских «Маккавеев». «Углубляя» свое преподаваніе гармоніи туманными мистическими теоріями, Заремба

«С помощью божіей»
Учит, что «минорный тон —
Грѣх прародительскій»,
И что «мажорный тон —
Грѣха искупленіе».

За ним вприпрыжку бѣжит «Фиф» Толстой, («Ростислав»): Фиф был поклонником итальянщины и особенно Патти. И вот под мотив салоннаго вальса:

Фиф вѣчно юный,
Фиф неугомонный,

Фиф примиритель,
 Фиф всесторонній,
 Патти воспѣвает:
 О Патти, Патти,
 О Патти, Патти,
 Чудная Патти,
 Дивная Патти.
 О, Ти-ти, Патти,
 Па-па, Ти-ти.

За ним шагом плетется «младенец» Фаминцын, который хочет смыть с себя «моральное пятно», оправданіе Стасова в обвиненіи в клеветѣ. Четвертый «удалец» сам Сѣров:

Вот он, Титан,
 На тевтонском Букефалѣ
 Заморенном цукунфтистом,
 С пачкою громов под мышкой
 Изготовленных в печати.
 Кресло генію несите,
 Негдѣ генію присѣсть,
 На обѣд его зовите,
 Геній очень любит честь!

Это был отзвук самолюбивых претензій Сѣрова статья во главѣ Р. М. О. и обиды на то, что его не позвали на берліозовый обѣд.

Мусинька знал воинственный характер маленькаго «титана», который об'единялся с другими критиками только для борьбы с «Кучкой», но был всегда готов напасть и на своих союзников:

Сей титан, сей титан
 К ним в компанію попал
 И тотчас же осерчал,
 С яростью на них напал
 И жестоко оттрепал...

Пока не примирила их всѣх свѣтлорусая богиня муза Евтерпа, орошающая их «златым дождем с Олимпа».

Все это было так живо, так вѣрно схвачено и так смѣшно, намеки на Евтерпу — Великую Княгиню Елену Павловну были так смѣлы, что смѣху и апплодисментам не было конца, при исполненіи «Райка» «раешником» Мусоргским.

VII

Убы, «титанической» жизни Сѣрова пришел конец: он умер 2-го февраля 1871 года, 51 года от роду. Для Стасова это была смерть «лучшаго врага», человѣка, котораго он считал вредным для русской музыки, но с которым был связан неразрывно. Его вдова, Валентина Семеновна, обычно такая сильная и рѣзкая, была теперь жалка, растеряна, убита горем. Он тотчас же поѣхал к ней и она была тронута его посѣщеніем, его сочувствіем. Она приняла его в скромной столовой их маленькой квартиры и тотчас же подняла разговор о том, как лучше всего увѣковѣчить память мужа. Стасов считал, что лучшим памятником ему будет изданіе его сочиненій. Он взялся выхлопотать 3000 рублей на это изданіе у государя и вызвался быть его редактором. Как редактор он сочтет своим долгом свято сохранить все, что писал противник, даже рѣзкія нападки на него самого. Сѣров был слишком крупная фигура и сам отвѣчал за свои слова и поступки. Но говоря это вдовѣ, он про себя думал о том, какіе ужасные промахи дѣлал покойный критик. «Ma position c'est l'opposition», говорил он сам о себѣ и это была правда. Он был в оппозицію ко всему, к плохому и к хорошему и — увы! порою к великому. Он был предан собачьей преданностью только Вагнеру, который, как его не расцѣнивать, был чужд Россіи и бесплоден для русской музыки, как сухая смоковница. Он называл I-ю симфонію Бородина «доморощенной и ученической». Он считал «паденіе Балакирева и его партіи» (когда Р. М. О. позорно устранило его) «дѣлом вполне логическим и справедливым». Он

утерял не только правильность сужденія, но и моральное чувство. Что-ж! ему же хуже. Все же из исторіи музыкальнаго развитія Россіи его не выбросишь.

Потом, в полутемной спальнѣ, стоя над тѣлом своего бывшаго друга, он с болью и напряженно вглядывался в его восковыя черты. Как это бывает, смерть словно мгновенно стерла все, что за долгіе годы наслоила жизнь. Несмотря на сѣдые кудри и морщины, Сѣров стал снова похож на того мальчика, с которым он был дружен. «Совсѣм, совсѣм прежній Саша!» Стасов с горечью думал о безкорыстной дѣятельности этого человѣка, теперь оборвавшейся навсегда, о всем обиліи его дарованій. Но эта шумная дѣятельность была бесплодна, эти дарованія только «соблазнительны» и вредны. «Один Бог и одна музыка», говорил Антон Рубинштейн. «Один Вагнер и одна музыка — его музыка» было *credo* Сѣрова. Но измѣна національному несет в себѣ свое отмщенье. И вся эта общечеловѣческая музыка Рубинштейнов, Чайковских, Сѣровых отмѣчена проклятьем безсилія и бесплодія, музыка евнухов. Нѣтъ и не может быть другой музыки, кромѣ національной.

«ЗАМЕРЗАНИЕ» БАЛАКИРЕВА

I.

«Но, Боже, что сдѣлалось с Миліем?» — все чаще спрашивали себя его друзья с печалью, тревогой, а иногда и без осужденія, — «что стало с нашим веселым, живым, депотическим, очаровательным, несносным Миліем?»

Втеченіи долгаго времени, с эгоизмом молодости и слѣпотою сосредоточенных на себѣ творческих натур они ничего не замѣчали. Его было рѣдко видно? Ну, что ж? Он занят концертами, школой, уроками, мало ли чѣм! Разнообразіе и самый характер его дѣятельности отдаляли его от друзей. И приходилось сознаться, что без него дышалось свободнѣе.

Но время шло и не замѣтить переменъ дѣлалось невозможно. «Балакирев произвел на меня вчера самое грустное впечатлѣніе — рассказывал о своей встрѣчѣ с ним Стасов Римскому-Корсакову, и в самом наименованіи стараго друга по фамиліи сказывалась создавшаяся уже отчужденность от него — по наружности как будто все то же и ничего не переменялось: голос тот же, фигура, лицо, слова — все тѣ же, — но только на самом дѣлѣ все переменялось, и от прежняго не осталось камня на камнѣ... Можете себѣ представить, от времени до времени наступало вдруг молчаніе и продолжалось по нѣскольку минут!... Я снова начинал, и так и сяк, принимался и с одного конца и с другого, тщательно избѣгая всего, что могло бы быть неприятно — мнѣ ничего не помогает; он отвѣтит нѣсколько слов, и опять молчаніе... Когда бывало что-нибудь подобное, вот пятнадцать лѣтъ, что я его знаю? Нѣтъ, это совсѣм другой человѣкъ; передо мною был вчера какой-то гроб, а не прежній живой, энергическій, безпокойный Милій

Алексѣевич». О том же писал он и Мусоргскому и вот что отвѣтил Модест: «Ваши строки о Миліи, дорогой мой генералисиме, пришибли меня, хотя я и не был очевидцем его замерзанія. Благодаря впечатлительности моей мнѣ пригрезилось нѣчто ужасающее: Ваши строки показались мнѣ отпѣваніем художественнаго жара Милія — ужасно, если это правда и если, с его стороны, не было личины! Слишком рано, **до гадости слишком рано!** Или разочарованіе? что-же, может быть, и это; но гдѣ же тогда мужественность, а пожалуй и сознание дѣла и художественных цѣлей, которыя без борьбы никогда не достигаются. Или искусство было только средством, а не цѣлью? Diavolo, diavolo!...».

О том же он говорил, что испытал чувство потери «дорогой личности, с которой он дни дѣлил и ночи коротал». «Ключем кипѣла жизнь с такой личностью и страстно жить хотѣлось». И это все было в прошлом.

Печальными были и впечатлѣнія Бородина. Он посѣтил Милія и как будто все нашел по старому. Милій чрезвычайно интересовался новой его симфоніей, просил сыграть ему все, что было готово и, понятно, как всегда, настойчиво совѣтовал передѣлать то-то и то-то, причем, опять таки по своему обыкновению, порою требовал діаметрально противоположнаго тому, что так же настойчиво внушал еще нѣсколько мѣсяцев перед этим: темы, которыя прежде он совѣтовал повторить цѣликом, теперь, оказывалось, лучше было цитировать только частично, и тональности, которыя сам же ему внушил, оказывались не тѣми, что нужно, словом, обычныя балакиревскія «штуки», над которыми можно было добродушно посмѣиваться. Александр Порфирьевич, впрочем, заходил не за совѣтами по поводу новой 2-ой симфоніи, а чтобы получить обратно партитуру первой, которую ни за что не хотѣл вернуть Милій под предлогом, что Надежда Пургольд собирается сдѣлать ея фортепианную аранжировку. На самом же дѣлѣ его планы были, как выяснилось, гораздо шире: он мечтал все переоркестровать, чуть ли не пересочинить. Вся пар-

титура симфоніи была испещрена замѣчаніями вродѣ: «удвоить» или «дать кларнетам» и это как раз в тѣх мѣстах, гдѣ по настоянію самага Милія кларнеты были переимѣнены на фаготы и т. п. Бородин давно привык к этим чудачествам друга. Но как было понять, почему он упорно уклоняется от всяких встрѣч с членами кружка? Почему, когда у Пургольдов «производилась» цѣликом '«Псковитянка», эта «первый сорт музыка», он не пришел послушать даже оперу своего любимца? В чем дѣло? недоумѣвал Бородин и писал в Москву женѣ: «Может быть, просто самолюбіе его грызет? Он такой деспот по натурѣ, что требует себѣ полного подчиненія, до мелочей самых ничтожных. Он никак не может понять и признать свободы и равноправности. Малѣйшее сопротивление его вкусу и даже просто капризам для него невыносимо... Между тѣм он сам сознает, что мы всѣ уже выросли, стоим крѣпко на своих ногах и в помочах не нуждаемся. Это его, видимо, досадует. Он не раз высказывал Людмѣ Шестаковой: «что мнѣ слушать их вещи, теперь они настолько созрѣли, что я для них стал не нужен, они обходятся без меня». Натура его такова, что требует непремѣнно несовершеннѣйших, с которыми он возился, как нянька с ребенком. Между тѣм отчужденіе Милія, явное уклоненіе от кружка, рѣзкіе отзывы о многих, особенно о Модестѣ охладили значительно симпатіи к Милію. Если пойдет так, то легко может случиться, что он останется изолированным, а это, в его положеніи равносильно моральной смерти... Даже Людма (Шестакова), которая прежде могла его еще кое-как настраивать на лад, утратила всякое вліяніе... Стасов не может простить Милію отношеніе послѣдняго к концерту в пользу «Каменнаго Гостя» Даргомыжскаго, для котораго было сдѣлано все и который не состоялся, потому что Милій без всякой причины откладывал концерт и тянул безбожно дѣло. Людма не может простить необ'яснимое равнодушіе к «Руслану», когда Милій, уговорив Людму взять ложу нарочно для него, вдруг просидѣл этот вечер у Жемчужниковых без всякой нужды и на слѣдующія

представленія не ходил ни разу. Модинька оскорблен несправедливыми и высокомерными отзывами о «Борисѣ»... Корсинька оскорблен равнодушіем к «Псковитянкѣ»... Прежде, бывало, Милій первым интересовался малѣйшею новинкой, даже в самом зародышѣ. Как бы то ни было, но пропасть между ним и нами разверзается все больше и больше».

Это отчужденіе не было единственным признаком перемены, происшедшей в Миліѣ. До Бородина дошел ужасный слух, что Милій сошел с ума. Он этому слуху едва не повѣрил, он вспомнил, что у Балакирева было когда-то воспаление мозга и что он страдал сильными головными болями. И к тому же это непонятное православіе! Да, как это ни странно, но религиозность казалась интеллигентным людям того поколѣнія едва ли не признаком сумасшествія. Милій, осуждавшій когда-то «мистическій штрих» в Мусоргском, сам сейчас отказывался от единственно истинной матеріалистической вѣры и стал впадать в прямое суевѣріе. Сначала он тщательно скрывал это, но все же нѣсколько раз, как бы мимоходом и нехотя, рассказал Корсинькѣ, что посѣщает какую то, будто бы замѣчательную, гадалку, живущую гдѣ-то на Николаевской. Эта еще молодая брюнетка с большими черными глазами, по слухам дошедшим до Римскаго-Корсакова, была настоящая вѣдьма. Хотя гаданіе составляло ея профессію, но, повидимому, она вкладывала в общеніе с Миліем нѣчто большее, чѣм просто профессиональный интерес. Кажется даже, что она была влюблена в своего кліента. Гаданіе состояло в том, что она смотрѣла в ручное зеркало и описывала Милію наружность людей, которых якобы в нем видѣла и подробно говорила об их чувствах и намѣреніях по отношенію к Балакиреву. Оно происходило при свѣчах, в полутьмѣ. Милій больше угадывал, чѣм видѣл в зеркалѣ смутные образы своих друзей и врагов, которые грозили ему, или ободряли его. «В Бога не вѣрит, а в чорта вѣрит», подумал не без не-

дружелюбія Римскій-Корсаков, выслушивая эти признанія. Но за вѣрой в черта пришла и вѣра в Бога.

Большинство его атеистических друзей только отмалчивалось, когда Балакирев заводил рѣчь на религіозныя темы. Но даже Бородину, при всей его широтѣ и терпимости, этот «странный и неожиданный поворот в піэтизм, самый фантастическій, самый наивный» было неприятен и неприемлем. Ну как было понять, что интеллигентный человек не пропускает ни одной обѣдни и всенощной, вынимает часть из просфоры, с азартом крестится на всѣ маковки? Милій чувствовал общее молчаливое неодобрение. Владимір же Стасов, тот вовсе не стѣснялся и при каждой встрѣчѣ осыпал Милія «безтактной и безшабашной митральезой своих упреков», как выражался Бородин. Он без обиняков принимался ему «докладывать, что все это вздор, что ему непонятно, как Милій, человек умный и т. д., и т. п.» Разумѣется это отпугивало Балакирева. Его тянуло к новым людям, к какому-то старообрядческому священнику, котораго он хоть и считал еретиком по новому своему православному воззрѣнію, но в котором по старой памяти о книгѣ Кельсіева о расколѣ, видѣл и хранителя самой чистой и прекрасной струи в русской жизни и исторіи. Еще больше любил он посѣщать Тертія Ивановича Филиппова. С этим добрым бюрократом-славянофилом связывала его не только общая религіозность, но и любовь к русской народной пѣснѣ. Тертій Иванович знал их множество и пѣл их правильно своим высоким фальцетом. В домѣ его все дышало спокойствіем и благолѣпіем, свойственным истовым православным людям. Горѣли иконы, пахло чѣм то пріятным и все, начиная с хозяина с его русским, мягким лицом, кончая этим запахом не то лампаднаго масла, не то кипарисных крестов, успокаивало Милія, как бальзам. Все тут было добротное, немного тяжело-вѣсно — и хозяин, и кожаные переплеты книг, и вкусные обѣды. Тертій Иванович познакомил его с другим своим другом, профессором церковнаго права Побѣдоносцевым, воспитателем великаго князя Александра Александровича. Этот был

совсѣм не благостный и не умиротворяющій. Напротив, была в нем острая сухость фанатика католическаго типа. Но зато был он необыкновенно умен.

Станным образом в это время самая наружность Милія перемѣнилась. Как 18-ти лѣтним юношей поражал он необыкновенной возмужалостью, так и теперь он казался много старше своих тридцати пяти лѣт. Непонятно было, куда исчезла его прежняя красота? Его невысокій рост теперь, когда его фигура с возрастом стала плотнѣе, сдѣлался замѣтнѣе. Несмотря на эту плотность, лицо его казалось скорѣе сухошавым. Цвѣтъ лица был темный, а в его выраженіи было что то нервное, безпокойное, измученное. Даже прекрасные большіе глаза нѣсколько потухли и рѣже сіяли своим прежним магнетическим свѣтом. В его лицѣ явилось несвойственное ему прежде восточное выраженіе: скорѣе всего был он похож на татарина, хотя никаких преданій о татарском происхожденіи не сохранилось в памяти его семейства. До друзей дошло одно, совершенно невѣроятное извѣстіе: Милій бросил музыку, как профессію, и получил мѣсто маленькаго чиновника в товарной экспедиціи Варшавской желѣзной дороги за 80 рублей в мѣсяц. Оказалось, что он поступил на эту службу уже в прошлом году, но он жил так замкнуто, так отошел от всѣх, что долго о его службѣ никто ничего не знал.

Непонятно, как никто из близких не нашел в себѣ достаточно интереса или мужества, чтобы постараться подойти к другу, понять что с ним случилось, помочь ему? Помочь ему, может быть, просто деньгами, как он когда-то предложил помощь Мусорянину, когда тот потерял службу и «скорчил кислую мину». Понятно, они были небогаты, но всѣ они были так или иначе обязаны Милію, в жизни каждаго он сыграл большую и благотворную роль. Не он ли открыл и пестовал их таланты, как нянька, не он ли щедро дѣлился с ними всѣм, что знал в музыкѣ? Не он ли был всегда готов подѣлиться послѣдним? Правда, за это время он ухитрился задѣть и обидѣть чуть ли не каждаго и теперь сам отдалился от них.

Но неужели нельзя было преодолѣть обиду, постучаться в захлопнутую дверь? В самый трудный час своей жизни, Балакирев оказался в полном одиночествѣ.

Настоящую правду о том, что произошло с ним — мы никогда не узнаем. Писем его от этого времени не сохранилось, дневников он не вел. Не сохранилось и того косвеннаго свидѣтельства, той стилизованной, приукрашенной исповѣди, которою почти всегда является творчество, т. к. Милій бросил сочинять. К счастью только, хотя это было слабостью и противорѣчіем, но по какому то вѣрному инстинкту он не разорвал и не сжег своих нотных рукописей, а куда то далеко и, по своей привычкѣ, аккуратно, их запрятал.

II.

Если друзья Милія мало знали о его душевной жизни, то только немногим больше знали они и о его жизни внѣшней. Знали, разумѣется, и не удивлялись тому, что он не удержался на той высотѣ, на которую поставило его руководство концертами Р. М. О. Очень скоро и с разных сторон против него повели интригу, которая увѣнчалась успѣхом. Балакирев многими чертами таланта и личности, преданностью искусству, благородством, безкорыстіем напоминал Листа. Но это был Лист с дурным характером. Комплиментарный, благодостный олимпіец Лист был всѣми любим. Рѣзкій и прямой Балакирев всюду вызывал раздраженіе. Лист с тщательностью "parvenu" соблюдал условности, царившія в придворной и аристократической средѣ. Балакирев обращался с Великой Княгиней, как с хористкой из своей Безплатной Школы. Не удивительно, что она терпѣть его не могла. Интрига облегчалась тѣм, что дирижером он оказался не первоклассным и что прекрасныя программы его концертов были слишком трудны для публики. Как это было и при разборѣ им сочиненій своих друзей, он слишком много вниманія отдавал деталям исполняемых произведеній, пренебрегая их общим смыслом. Разочаровывали в этом сильном и властном человѣкѣ неопредѣленность и неувѣ-

ренность взмаха его палочки, словно он сам не был увѣрен в том, что вещь нужно исполнять так, а не иначе? Друзья его часто недоумѣвали, а враги злорадствовали. Очевидно, дирижерская одаренность не покрывается пониманіем, слухом и другими качествами, которыми обладал Балакирев. Критика была к нему крайне враждебна. Все это давало великой княгинѣ достаточно поводов, чтобы отдѣлаться от неудобнаго человѣка. Сначала она попробовала сдѣлать это полюбовно, предложив ему командировку в Европу для изученія народной музыки Запада. Но Милій отказался и в столь рѣзкой формѣ, что смертельно обидѣл старушку. Ухитрился он обидѣть и всѣх директоров Р. М. О., демонстративно пренебрегая их мнѣніем и возстановил против себя оркестр. Он был упорен, рѣзок и требователен, но, главное, большинство оркестрантов были нѣмцы, а он ни за что не хотѣл говорить с ними на репетиціях по нѣмецки и иногда отпускалъ довольно сомнительныя шуточки насчет засилья всяких «Газенфусов». «Газенфусы», естественно, обижались. Ко всему этому публика стала совсѣм мало посѣщать концерты Общества. Великая Княгиня принялась искать замѣстителя властнаго дирижера. Сначала остановились на одном из ненавистных Балакиреву «Газенфусов», недавно пріѣзжавшем в Петербург нѣмецком дирижерѣ Зейфрицѣ. Чтобы найти авторитетную поддержку этому плану обратились даже к Берліозу. Однако Берліоз отлично понял в чем дѣло и, высказавшись с одобреніем о достоинствах Зейфрица, ничего, кромѣ самаго лестнаго, не сказал о Миліѣ. От приглашенія Зейфрица отказались, но весной 1869 года Балакирева все же заставили подать в отставку и замѣнили его Направником. Это было большим и несправедливым аф-фронтом, и он не прошел без протеста. В московских «Русских Вѣдомостях» Чайковскій писал, что, как Ломоносова нельзя было отставить от Академіи, а развѣ что Академію отставить от Ломоносова, так и Балакирева нельзя устранить из Р. М. О. Николай Рубинштейн демонстративно обѣщал участвовать в концертѣ Бесплатной Школы, и дѣйствительно пріѣхал в Пе-

тербург и блестяще исполнил труднѣйшій Балакиревскій «Исламей». Ободренный этой поддержкой «москвичей», Милій пытался бороться. Он сосредоточил всю свою энергію на концертах Школы, начал новые сборы пожертвованій и даже тратил на Школу свои собственныя, добытыя уроками, средства. Но борьба была неравная: с одной стороны вліятельное Общество во главѣ с Великой Княгиней, не жалѣвшей средств; поддержка всего чиновнаго и придворнаго міра; пресса (Елена Павловна даже ассигновала сумму денег на основаніе газеты «Музыкальный Сезон» под редакціей Фаминцына со спеціальной задачей борьбы против Балакирева); щедрая раздача бесплатных билетов; приглашеніе итальянских пѣвцов и пѣвиц; легкій оперный репертуар. С другой стороны Бесплатная Школа, без бюджета, во главѣ с непрактичным идеалистом; твердая охрана высокихъ принципов; трудныя для публики программы. Самаго Балакирева мучили к тому же в это время еще и собственныя денежныя затрудненія, на нем лежало воспитаніе двух младших сестер. Он изнемогал под тяжестью уроков.

В борьбѣ с финансовыми затрудненіями Балакирев готов был идти на компромиссы, какіе недавно были бы еще для него немыслимы. Так, готов он был прибѣгнуть к помощи знаменитой Патти, пѣвшей тогда в Петербургѣ в Итальянской оперѣ. Он рѣшил исполнить «Реквѣм» Моцарта и через общих знакомых попросил пѣвицу выступить в нем солисткой. Патти согласилась пѣть в пользу Бесплатной Школы, но хотѣла выступить не в «Реквѣм», а в своемъ обычном, болѣе легком репертуарѣ. Стасов написал другу рѣзкое письмо, упрекая его в измѣнѣ принципам, в готовности «просить милостыню» у пѣвицы, которую он презирает. Из концерта с Патти ничего не вышло. Задумал он, было, грандіозный общедоступный концерт в Манежѣ, но его не разрѣшили. Ничего не вышло и из поѣздки в Москву, куда его звали друзья Чайковскій и Николай Рубинштейн.

Балакирев терпѣть не мог играть публично: это казалось

ему профанаціей святого и интимнаго, метаніем бисера перед свиньями. И однако он готов был даже на это. В юности он имѣл успѣхъ, какъ піанистъ, а съ тѣхъ поръ далеко ушелъ впередъ, если не в своей техникѣ, то в углубленности и зрѣлости своего исполненія. Онъ рѣшилъ дать концертъ не в пресыщенномъ иностранными виртуозами Петербургѣ, а в тихомъ Нижнемъ, гдѣ онъ родился, гдѣ его, вѣроятно, еще помнили. Этотъ концертъ — онъ твердо на это рассчитывалъ — долженъ былъ дать ему ту тысячу рублей, которая могла все спасти и устроить в его жизни. Но концертъ в Нижнемъ былъ полнымъ проваломъ. За пятнадцать лѣтъ его отсутствія его забыли; люди, которыхъ онъ зналъ когда-то, умерли или раз'ѣхались. Музыкой в провинціи не интересовались, и ему пришлось играть при пустомъ залѣ (сборъ еле достигъ... девяти рублей!). «Это былъ мой Седанъ», — говорилъ Милій Алексѣевичъ об этомъ ужасномъ вечерѣ.

Послѣ такого «Седана» онъ уже не сомнѣвался, что «Божье благословеніе не лежало на его музыкѣ». Надо было не противорѣчить, подчиниться ясному указанію, бросить «неблагословенную» дѣятельность, войти в ряды обыкновенныхъ людей, съ ихъ обыкновенной будничной дѣятельностью. Много званыхъ, но мало избранныхъ. Что же дѣлать! церковь учитъ смиренію, онъ и смирился, хотя и не сразу и не навсегда.

Кажется, изъ всѣхъ его друзей только Бородинъ кое-что понялъ изъ того, что происходило съ его бывшимъ менторомъ. «Положимъ, что онъ не сошелъ съ ума, — писалъ онъ Римскому-Корсакову. — Но развѣ состояніе, в которомъ онъ находится, лучше помѣшательства? Я страхъ боюсь, чтобы Милій не кончилъ тѣмъ же, чѣмъ кончилъ Гоголь. Піэтизмъ его весьма подозрительнаго свойства и не общаетъ ничего хорошаго. Еще прискорбнѣе его непонятное охлажденіе къ музыкальному дѣлу и къ своимъ экономическимъ интересамъ. Что его ожидаетъ в будущемъ? Страшно подумать...». Бородинъ правильно увидѣлъ глубину Балакиревской трагедіи, когда вспомнилъ о Гоголѣ. Но Гоголь сжегъ вторую часть «Мертвыхъ Душъ» незадолго до смерти, онъ, какъ Толстой, отошелъ отъ художественнаго творчества, только при-

ближаясь к старости, «пресытившись днями» (хотя старость и пришла к нему очень рано). Балакирев ушел от искусства в пору зрѣлости сил и таланта, не умер, но отказался от всего, что любил, и как один из миллионов вошел в ту будничную жизнь, которую до тѣх пор отрицал со всей силою своего романтизма. Так утопающій, выбившись из послѣдних сил, покорно погружается в воду. Это было и проще, и страшнѣе, чѣм у Гоголя. Аналогію этому не легко найти в анналах искусства, развѣ что позднѣе в судьбѣ геніальнаго Рембо, уѣхавшаго в Африку торговать слоновой костью и копить деньги. Рембо тоже смирился и тоже стал вѣрным сыном (католической) церкви. Его судьба оказалась трагичнѣе и уход кончился смертью. Милій же через пять лѣтъ воскрес для искусства. Но субъективно, в своем тогдашнем рѣшеніи, он тоже уходил, «утопал» навсегда!

Во всем этом денежные трудности сыграли свою роль, но эту роль не надо преувеличивать. Какія матеріальныя трудности могли разрѣшить тѣ скромныя 80 рублей, которые он стал получать за работу, поглощавшую весь его день без остатка? Правда, заработок этот был регулярнѣе, чѣм уроки, но едва ли выше. По его словам он не хотѣл больше профанировать музыку, дѣлать из 'нея средство к существованію, служить ей не вполнѣ безкорыстно. С другой стороны он старался отойти от музыки и по каким-то другим мотивам. Это становится очевидным благодаря слѣдующему эпизоду: когда в Москвѣ узнали о его положеніи, то и Чайковскій, и Николай Рубинштейн искренне всполошились. Можно ли было допустить, чтобы для русскаго искусства пропал такой крупный и достойный его дѣятель? Рубинштейн предложил Милію профессуру в своей московской консерваторіи, с жалованіем в три тысячи рублей в год. Милій был тронут, горячо благодарил, но твердо отказался. Он отвѣтил, что у него нѣтъ достаточных знаній теоріи, что всѣ его знанія композиціи носят эмпирический характер, так что он не может учить других. Как будто он что-либо другое дѣлал в теченіе всей своей жизни! Разу-

мѣтся, принятіе профессорскаго званія в консерваторіи, против методов преподаванія которой он всю жизнь боролся, было бы для Балакирева сдѣлкой с совѣстью, измѣной себѣ. Но немногіе умѣют быть столь стойкими в трудных обстоятельствах и нельзя не любоваться на его мужественную твердость. Вѣроятно, вслѣдствіе сочувствія и отзывчивости москвичей в это тяжелое для него время, он сохранил к ним болѣе примиренныя чувства, чѣм к петербуржцам. Московскій музыкальный критик Кашкин, друг Чайковскаго и Рубинштейна, добился даже свиданія с добровольным отшельником. Балакирев принял его в своей небольшой квартиркѣ, переполненной собаками и кошками, завѣшанной иконами с горящими лампадками. Он тщательно избѣгал касаться болѣзненных для него тем и это придавало бесѣдѣ натянутый и неестественный характер. Но Кашкин почувствовал в нем глубокое, тщательно скрываемое отчаянье. Это был тяжело пораженный человѣкъ.

Мих. Цетлин.

А Г А Р Ь

Из цикла «Библейскія Жены».

Ты сыну мстишь, смиренная Агарь,
За грѣх отца пред изгнанной рабыней, —
Молю прощенья, милосердыя нынѣ
Я, нѣкогда могущественный Царь.

Любовь, как очистительный алтарь,
Воздвигнешь ты среди узорных скиній.
На знойном лонѣ царственной пустыни
Меня ты встрѣтишь, юная, как встарь.

Вѣка, вѣка — от берегов Евфрата
Нес грѣх отца я за изгнанье брата,
Познал я слезы и враждебный смѣх.

Но там в пустынѣ палево-лиловой,
Внук Исаака, проклятый Еговой,
В твоей любви очищу я свой грѣх.

Леонид Гребнев-Файнберг.

НѢТ НИЧЕГО ЛЮБВИ ВЕЛИКОЛѢПНѢЙ...

Ущербный день сгорает в зимней стужѣ,
И стынет ночь за медленным костром.
Теперь и нам уже никто не нужен,
Вздохнем, взгрустнем...

Нѣтъ ничего любви великолѣпнѣй.
 Натянем лук и выпустим стрѣлу,
 Пронзим глаза друг другу и ослѣпнем
 И побредем, нащупывая мглу.

Зачѣм сентиментальности стыдиться,
 Простых, избитых, очень нужных фраз?
 Поговорим о разных небылицах,
 О том, о сем, — как дѣлали не раз.

Так хорошо: уйти, затѣм вернуться ;
 Уйти не радуясь, вернуться не скорбя.
 Я чуть устал от войн, от революцій,
 И, может быть, от самага себя.

Велѣнья вѣка так жестоко строги.
 Нам легче этот путь пройти вдвоем.
 Пойдем, присядем на краю дороги,
 Вздохнем, взгрустнем.

М. Желѣзнов.

**
 *

Кто устал от жизни бурной
 Горя и забот
 Пусть ко мнѣ, волнѣ лазурной
 Отдохнуть придет.

Пѣной ласковой омою
 Слѣд печальных дум,
 Укачаю, успокою
 Тѣх, кто стал угрюм.

Обовью зеленой влагой
 Как руками мать,
 И усталый дух отвагой
 Напою опять.

И, когда уйдет он, сильный,
 Снова в шумный свѣт
 Пѣны радужною пылью
 Я разсыплюсь вслѣд.

Елена Крыленко.

Н Е К Р О Л О Г

Вот буреломы, древніе дубы
 И цвѣт небес неуголимо-рдяный!...
 Вот родина моя, исток моей судьбы
 И имя первое, что не было Татьяной.
 Вот дѣтство, колыбель теперешней души,
 Колышима буйными вѣтрами,
 Вѣтрами сѣвера... (душа, дыши, дыши!...)
 Не колыбель, купель в нагорном храмѣ...
 Нѣтъ! не купель, а жертвенный алтарь,
 Не вѣтер, гул молящихся друидов...
 О, вечеров зіяющая марь!...
 О, дождь ночной, сверкающих болидов!...

 ..Иное дѣтство в пасмурной странѣ,
 Больное дѣтство в сумрачной столицѣ;
 И зелень робкая, по медленной веснѣ,
 Что, до сих пор не перестанет сниться;
 И ночи сѣрыя и сѣрые дома,
 И вдоль паркета — призраки былого...

Отец и мать, сестра и я сама,
 Живущая и ищущая снова.
 ...Я помню поздний, солнечный расцвѣт,
 (Тогда еще я не любила солнца),
 По скатерти бѣгущей пересвѣт —
 Разсыпанные, по бѣлу, червонцы...
 В концѣ стола — насупленный отец,
 Напротив — я, вся сжатая в комочек...
 Тоска... оторванность... когда-ж придет **конец**,
 Быть самой неудачливой из дочек?...
 Другая может подойти к отцу,
 Другая может... Я могу лишь **сжаться**...
 Я затаенная, да мнѣ и не к лицу
 Так просто взять и приласкаться!...
 Другой даны всѣ нужныя слова,
 Другой даны всѣ нужныя движенья...
 А я — перекаати-трава
 Назначенная на соженье...

— — — — —
 Плывучій день был благоден и синь;
 Гудѣл, воскресный, колокол собора;
 Сырая, испарялась, стынъ
 С вѣтвей проснувагося бора.
 Был день такой, какой, в мельканьи лѣт,
 Запоминается на жизнь, на смерть, на вѣки...
 И было Слово строго, как обѣт,
 Сквозь радость обжигающую вѣки.
 И сердце, слабый, тлѣющій маяк,
 Переросло, вдруг сразу, всѣ предѣлы...
 Я возвратившись, прилегла в гамак,
 Почти не ощущая тѣла...
 И я, и я нащупала причал...
 Нѣт! не причал, а силу! силу! силу!...
 Нѣт! не любовь, а первозданный вал,
 Нахлынуло, под'яло, подкосило...

Во мнѣ самой скрещенье всѣхъ дорог,
 Единое скрѣпляющее в мѣрѣ...
 Оно во мнѣ! я — жизнь! я — свѣт! я — Бог!
 Я — звук не разрѣшенный лирѣ!...
 Я познаю себя!... себя!... себя!...
 А не того, кто вызвал это чувство...
 Я обрѣла, любя!... любя!... любя!...
 Высокое и тайное Искусство.

— — — — —
 Я слышу зов... Я слышу гул высот... —
 (Вот ключ к судьбѣ, ко всѣмъ грядущимъ годам!...)
 ...Я прозѣваю в тайну хрупкихъ сот,
 Наполненныхъ тяжелымъ медом...
 Отнынѣ я — сіяющая твердь;
 Не утрашусь ни рока, ни злодѣя...
 Бог — здѣсь; во мнѣ; со мною; мной одѣян;
 Черезъ любовь я побѣдила смерть.

Татіана Остроумова.

Какъ можно спать, когда кругомъ война?
 Какъ можно лгать, надѣяться и вѣрить?
 Зѣдь безразличье — страшная вина...
 А дни мои — какой ихъ мѣрой мѣрить? —

Забота о себѣ, и нищета,
 Унылый труд, болѣзни, раздраженье...
 Какъ можно жить? Вѣдь это — пустота,
 Предѣльный мрак, слѣпое униженье,

Удѣл Червя, улитки... И к чему
 Все «высшее», все «гордое», всѣ строки..
 (Дождь. Капли глухо падаютъ во тьму.)

Но я живу. И воздухъ Твой жестокий
 Дыханію привыченъ моему.

Юрій Терапіано.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЛАСТИ

1

Послѣ окончанія Первой Мировой Войны могло казаться, что для всей Европы к западу от русской границы наступила эра торжества демократіи. Почти всѣ европейскія государства — и сохранившіяся от прошлаго и вновь возникшія — стали формально демократіями, т. е. получили демократическія конституціи. Побѣдоносное шествіе демократіи, полное торжество которой казалось предопредѣленным, было источником надежды для нас, русских демократов, с тоской думавших о своей неудавшейся попыткѣ создать демократическую Россію. Но увы! наш печальный опыт оказался не исключеніем, а скорѣе прообразом. Одно за другим послѣдовали в разных странах пораженія демократіи, уступавшей мѣсто различным формам современной олигархіи. А затѣм начался період германских завоеваній, всюду сопровождавшихся уничтоженіем демократіи в подпавших под германское господство странах.

Сейчас на европейском кладбищѣ лежат демократіи, убитыя ударами извнѣ, и демократіи, погибшія в результатѣ внутренняго развитія. Из демократій, основанных послѣ той войны, «естественной смертью», т. е. без удара извнѣ, умерли **всѣ** кромѣ двух — Чехо-Словакіи и Финляндіи, которая одна еще живет, хотя и с ущербленной независимостью. Наоборот, из демократій, выросших в ходѣ предшествовавшего той войнѣ развитія, **ни одна** не исчезла без смертельнаго удара извнѣ — военнаго пораженія и оккупации. Не говоря уже об Англіи, демократія сохранилась в нейтральных Швеціи и Швейцаріи. Как показали недавніе выборы, в Даніи демократія живет даже и под желѣзной германской пятой. В Норвегіи, Голландіи, Бельгіи и Франціи демократія была раздавлена германским завоеваніем. Отсюда прежде всего слѣдует, что судьба «новых» демократій еще не позволяет дѣлать выводы о судьбѣ демократій вообще. Положеніе о внутренней, имманентной нежизнеспособности демократій в ея прежних формах ни в одной

из «старых» демократій не является доказанным, а для нѣкоторых европейских стран его можно считать опровергнутым. Конечно, в нѣкоторых из этих стран наблюдались явления, которыя принято называть «кризисом демократіи». Существовавшая системы демократіи нуждались в глубоких реформах — в особенности во Франціи. Но по меньшей мѣрѣ является недоказанным, что кризис не мог бы быть преодолен средствами самой демократіи, и что какія-либо из этих «старых» демократій были поражены смертельной болѣзнью.

Вряд-ли нужно еще подчеркивать, что для создания и утверждения демократіи не достаточно введенія хотя бы и самой демократической конституціи, или, что выросшія и устоявшіяся демократіи болѣе жизнеспособны, чѣм «сдѣланныя» болѣе или менѣе внезапно. Тѣм не менѣе для объясненія судьбы «новых» демократій нельзя удовольствоваться общей формулой, что это была естественная судьба демократіи в странах, для нея не созрѣвших. Во-первых судьба демократіи не была одна и та же во всѣх этих странах, а во-вторых различіе политических, социальных, экономических, культурных условий в разных странах было так велико, что совсѣм не ясно, в чем же состояла общая им всѣм «незрѣлость». В частности, почему оказалась несозрѣвшей для демократіи Германія — страна фактически без неграмотных, с высоким средним уровнем образованности, уже в теченіе полувѣка имѣвшая демократическое избирательное право, стоявшая на очень высокой ступени индустриализаціи и с могучим рабочим движением? Для этого имѣются объясненія, заключающія в себѣ много вѣрнаго и все же оставляющія непонятным какой-то очень существенный остаток.

По отношенію к исторіи Европы между двумя войнами должна еще быть продѣлана очень нужная работа, которая должна состоять в тщательном изученіи всѣх имѣвших за это время случаев ликвидаціи демократіи не ударами извнѣ, а внутренними силами. На основаніи нѣкоторых «проб» я пришел к убѣжденію, что такое изслѣдованіе дало бы нам нѣсколько новых и очень существенных точек зрѣнія. И продѣлать эту работу было бы очень полезно еще до того, как по окончаніи войны начнется новое устроеніе Европы. К сожалѣнію, надежды на это очень мало. Изученіе исторических фактов недавняго прошлаго не в модѣ в наше время творимых легенд и предвзятых «любимых идей», позволяющих конструировать все что угодно, но мѣшающих реконструировать факты. Именно

предвзятыя идеи часто мѣшали увидѣть и понять явленія, казалось бы, очевидныя и прямо-таки поразительныя.

Могут ли сами народы быть против демократіи, т. е. против народоправства, против своих прав? И в особенности народы на высокой ступени развитія, хотѣвшіе демократіи, стремившіеся к ней и волей своей ее установившіе? Казалось бы немислимое предположеніе. А между тѣм именно в «новых» демократіях — но никогда не в «старых» — мы наблюдали случаи, когда **большинство** народа посылало в парламенты представителей, ожесточенно боровшихся против демократіи. Именно в Германіи, еще до прихода Гитлера к власти, в райхстагѣ имѣлось несомнѣнное и постоянно увеличивавшееся антидемократическое большинство, которое и лишило демократію возможности функционировать. Значит ли это, что большинство народа, дѣйствительно, **хотѣло** оказаться лишенным прав? Конечно, нѣтъ. Но антидемократическое большинство слагалось из нѣскольких различных меньшинств, не желавших подчиняться большинству, каждое готовое лишить прав другія группы и несогласное на компромиссы, необходимые для образованія правящих большинств. Если с одной стороны правяяя партіи, а с другой коммунисты, прямо или косвенно, но фактически и дѣйственно помогали націонал-соціалистам прійти к власти, то вовсе не потому, что тѣ и другіе хотѣли гитлеровской диктатуры, а потому, что они надѣялись, что наци разрушат демократію, но хозяевами государства не останутся. Коммунисты думали, что наци истощат себя в борьбѣ, хотя и побѣдоносной, против демократических сил, и послѣ побѣды смогут быть свергнуты коммунистической революціей. При этом они слѣпо подчинялись приказам Москвы, не понимая их дѣйствительнаго смысла, т. к. Москва ожидала послѣ отстраненія націонал-соціалистов не коммунистической революціи, а установленія господства дружественных ей консервативных реваншистских сил. Того же ожидали эти самыя силы, увѣренныя в том, что им удастся подчинить наци своему вліянію. Оба расчета оказались неправильными. Построенная же на них политика была глубоко антидемократической и оказалась смертельной для молодой германской демократіи. Не потому, что большинство народа не имѣло желанія вліять на власть, а наоборот, потому, что составлявшія это большинство разнородныя группы не хотѣли ограничивать это желаніе «правилами игры», обязательными для демократіи. Не потому, что это большинство не дорожило своими правами, а потому, что

каждая группа хотѣла именно только своих прав, но не признавала равных прав для всѣх, не хотѣла своего безправія, но хотѣла безправія других. Или — в менѣе заостренной формѣ — каждая группа хотѣла быть привилегированной и рассматривала равныя права других, как подлежащія уничтоженію привилегіи. Отношеніе диктаторскихъ группъ к власти напоминало политическое *sredo* тѣхъ прусскихъ магнатовъ, которые признавали абсолютную власть короля, творящаго ихъ волю:

Und der König absolut,
Wenn er unsern Willen tut.

Конечно, я далъ здѣсь лишь схему, нуждающуюся в большомъ количествѣ дополненій и оговорок. Много факторовъ содѣйствовало гибели германской демократіи, но я постарался выдѣлить то **условіе**, которое сдѣлало дѣйствіе этихъ факторовъ фатальнымъ для демократіи, т. е. приведшимъ к уничтоженію демократіи, а не к образованію власти какаго-то новаго большинства — націоналистическаго, реваншистскаго и т. д. Если идея, проводимая сначала активнымъ меньшинствомъ, затѣмъ увлекаетъ широкія массы народа, завоевываетъ себѣ его большинство, то она можетъ проводиться и демократическою властью. Англія не перестала быть демократіей отъ того, что огромное большинство англійскаго народа страстно увѣровало в необходимость сокрушить Гитлера, но Гитлеръ былъ совершенно послѣдователен, когда онъ, располагая коалиціоннымъ большинствомъ, не продолжалъ усилій завоевать демократическимъ путемъ большинство для своей партіи, а воспользовался властью, чтобы уничтожить демократію и сдѣлать невозможной смѣну большинства. Это вполне соответствовало именно той установкѣ в отношеніи к власти, которую я охарактеризовалъ, и которая привела к парадоксальному факту созданія антидемократическаго большинства в демократіи. Англія же даетъ классическій примѣръ другой установки, дающей демократіи прочную опору и являющейся общей для всѣхъ «англосаксонскихъ» странъ, включая Соединенные Штаты.

Наличность двухпартійной системы, облегчающая функционированіе демократическаго механизма, позволяетъ в то же время яснѣе различить существо дѣла. Большинство образуетъ правительство, которое держится у власти, пока сохраняется большинство. Каждое правительство, конечно, старается сохранить большинство и удержаться у власти, но ни одно не

пытается подавить оппозицію и искусственно увѣковѣчить свою власть. Меньшинство, являясь оппозиціей, ждет своей очереди — и не в терпѣливой пассивности, а именно дѣйствуя, как оппозиція — критикуя правительство, агитируя против него, словом борясь за то, чтобы стать большинством. Но оно мирится со своим положеніем в том смыслѣ, что оно никогда не пытается овладѣть властью, пока оно остается меньшинством. Оно «признает» правительство большинства, которое в свою очередь «признает» оппозицію. Таким образом всякое данное правительство является всенародно признанной или, по терминологии умершаго в прошлом году итальянскаго историка Ферреро, **легитимной** властью. Демократическая легитимность покоится на общем признаніи обязательным источником власти воли народа, как она выражается в общих выборах. Необходимыми признаками демократической легитимности Ферреро считает **свободу выборов и признаніе оппозиціи**. Мнѣ представляется кромѣ того существенной чертой демократическаго сознанія своего рода **относительность** в оцѣнкѣ государственной власти. Эта власть не представляется абсолютной цѣнностью, которую стремятся сохранить всѣми средствами. Эта относительность является наилучшей гарантеей против развитія тоталитарнаго этатизма. Она же способствует заключенію необходимых для функционирования демократіи компромиссов, значеніе которых особенно ясно видно в демократіях многопартийных, в которых правительства образуются коалиціонными большинствами.

2

То, как здѣсь только что было примѣнено понятіе **легитимности**, могло показаться неожиданным. Можно ли говорить о легитимности демократической? У большинства читателей со словом «легитимность», вѣроятно, связано воспоминаніе или о Талейранѣ и о восстановленіи легитимных монархій послѣ побѣды над Наполеоном, или же о двух вѣтвях французских монархистов — легитимистах и орлеанистах. Идя путем отличным от того, каким шел Ферреро, я пришел к тому же понятію «признанности» власти, которое как понятіе легитимности является у Ферреро ключом к познанію европейской исторіи послѣдних двух столѣтій. Ферреро же, как он сам это подчеркивает, слѣдует именно за Талейраном. В своей послѣдней, законченной им за нѣсколько мѣсяцев до

смерти, книгѣ «Власть» («Pouvoir»*) Ферреро вспоминает о том, как в ноябрѣ 1918 года он прочитал семь страниц в Мемуарах Талейрана, открывших ему существованіе принципов легитимности. «Это было рѣшающее откровеніе. С этого момента я начал ясно видѣть то, что происходит в исторіи міра»... (стр. 29). Но и сам Талейран вовсе не ограничивал примѣненіе принципа легитимности только к монархіи. В одном мѣстѣ он прямо писал: «Легитимное правительство, будь оно монархическое или республиканское, наследственное или выборное, аристократическое или демократическое»... По Талейрану легитимность создается временем, длинным рядом лѣт: «легитимность суверенной власти так же вытекает из давняго состоянія обладанія, как для частных лиц легитимность права собственности». Признавая значеніе времени, Ферреро подчеркивает **результат** развитія: «Правительство является легитимным, если передача власти и пользованіе ею находятся в согласіи с принципами и правилами, которыя без обсужденія принимаются тѣми, которые должны повиноваться» (стр. 150). Можно было бы сказать: которые представляются естественными, чѣм-то само собою разумѣющимся, что достигается, очевидно, лишь в теченіе извѣстнаго времени.

Я не намѣреваюсь разбирать, насколько состоятельна та теорія власти и легитимности, которую развивает и обосновывает Ферреро в своих послѣдних книгах. Для этого надо было бы пересмотрѣть и отчасти заново обслѣдовать большой историческій матеріал. Теорія Ферреро основана на большом, многолѣтнем изслѣдовательском трудѣ и на огромной, исключительно интенсивной, работѣ мысли. К тому же в данном случаѣ меня, как критика, вѣроятно, слѣдовало бы отвести вслѣдствіе предубѣжденности: как я расскажу дальше, мысли Ферреро во многом очень близки к выводам, к которым я пришел много лѣт тому назад, занимаясь проблемой власти. Но, даже если бы оказалось, что Ферреро грѣшит односторонностью и слишком далеко идущими обобщеніями, то и, несмотря на это, надо было бы признать, что он очень многое выяснил, вѣроятно, окончательнo и пролил яркій свѣтъ на игнорируемую до него область проблем. Отнынѣ, размышляя о власти, нельзя не считаться с мыслями и наблюденіями Фер-

*) В англійском переводѣ

“The Principles of Power,” G. P. Putnams Sons.

реро, в особенности относительно принципа легитимности. А размышлять о власти очень и очень нужно, так как в Европѣ послѣ Гитлера ее придется во многих странах заново организовать.

Литературная иллюстрація, может быть поможет составить болѣе ясное и живое представленіе о значеніи легитимности, как ее понимает Ферреро. Мы видѣли, что, слѣдуя за Талейраном, он придает принципу легитимности всеобщее значеніе, не ограничиваясь его примѣненіем к власти монархической. По классификаціи Ферреро существуют четыре принципа легитимности: аристо-монархическій, наследственный, избирательный и демократическій. В ходѣ исторіи эти четыре принципа частью соединяются, частью противопоставляются. Принцип аристо-монархическій не отдѣлим от принципа наследственного; принцип же демократическій несовмѣстим с принципом наследственным и неразрывно связан с принципом избирательным, а послѣдній в опредѣленных системах власти существует с принципом аристо-монархическим. Яркую картину сочетанія и столкновенія различных принципов легитимности мы находим в нашей литературѣ — а именно в пушкинском «Борисѣ Годуновѣ», гдѣ, конечно, не говорится о легитимной, но говорится о **законной** царской власти.

Первая сцена: Князя Шуйскій и Воротынскій разговаривают в кремлевских Палатах, в то время как патріарх, бояре и народ умоляют избраннаго царем Бориса принять избраніе.

Шуйскій. Какая честь для нас, для всей Руси!
Вчерашній раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душѣ палач,
Возьмет вѣнец и бармы Мономаха.

Воротынскій. Так родом он незнатен; мы знатнѣе.

«Вчерашній раб», «татарин», «зять палача», «родом он незнатен» — избраніе Бориса царем грубѣйшим образом нарушило аристо-монархическій принцип легитимности. Борис не принадлежал к наследственной аристократіи, «естественным» правом которой раньше было поставлять кандидатов на престол. Шуйскій и Воротынскій считают, что они по праву рожденія имѣют неизмѣримо больше прав на престол.

Воротынскій. Вѣдь Шуйскій, Воротынскій...
Легко сказать, природные князья.

Шуйский. Природные, и Рюриковской крови.

Воротынский. А слушай, князь, вѣдь мы б имѣли право
Наслѣдовать Феодору

Шуйский. Да, болѣ,
Чѣм Годунов.

Шуйский и Воротынский не сомнѣваются в своем правѣ. Но право это перестало быть естественным, обычным.

Воротынский. Народ отвык в нас видѣть древню отрасль
Воинственных властителей своих.
Уже давно лишились мы удѣлов,
Давно царям подручниками служим.

«Народ отвык»... В этом самое главное. Легитимность власти и притязаній на власть освящается временем, привычкой повиноваться данному кругу властителей, признавать данный принцип власти. Годунов не опирался на традиционное право, но старался завоевать себѣ право на власть.

Воротынский. А он умѣл и страхом и любовью
И славою народ очаровать.

Шуйский. Он смѣл, вот все...

Смѣлость узурпатора — авантюриста, сказал бы Ферреро. Но пока что успѣх на его сторонѣ. Его право на власть освящается новым принципом легитимности — избирательным и демократическим. Он сам ссылается на этот принцип, когда появляется призрак старой наслѣдственной легитимности — когда Шуйский приносит ему первую вѣсть о Самозванцѣ.

Шуйский. Так если сей невѣдомый бродяга
Литовскую границу перейдет,
К нему толпу безумцев привлечет
Димитрія воскреснувшее имя.

С воскреснувшим именем Димитрія воскресает и преданность обычному принципу легитимности. Борис защищает законность своей власти пред лицом этой угрозы.

Царь. Слышал ли ты когда,
Чтоб мертвые из гроба выходили
Допрашивать царей, царей **законных**,

Назначенных, избранных всенародно,
Увѣнчанных великим патриархом?

В этой борьбѣ побѣждает Самозванец, сумѣвший, хотя и обманно, мобилизовать в свою пользу самое естественное для того времени, самое обычное и самое безспорное, право прямого наслѣдованія.

Самозванец. Тѣнь Грознаго меня усыновила
Димитріем из гроба нарекла...

.

Царевич я.

Не будем приписывать Пушкину больше того, что он сдѣлал. «Борис Годунов» не является в чистом видѣ трагедіей оспоренной легитимности власти. Трагедія Бориса изображена прежде всего, как трагедія преступленіем уязвленной совѣсти. «Да, жалок тот, в ком совѣсть не чиста», говорит Борис еще до появленія Самозванца. И тѣм не менѣе очевидно, что Пушкин размышлял над проблемой легитимности власти. Проблема эта была в грандіозном масштабѣ поставлена Французской Революціей, отзвуки которой тогда далеко еще не замолкли и чувствовались в особенности в Россіи в то время, когда Пушкин писал «Бориса Годунова», законченнаго незадолго до возстанія декабристов. Возможно и то, что в кругах, освѣдомленных об окружавших власть тайнах, принцип легитимности царствовавшей династіи уже был поколеблен и опроверчен. Правда, Александр был царем по совершенно безспорному праву прямого наслѣдованія, но он взошел на трон через труп своего отца.

«Тѣнь Грознаго меня усыновила»... Но Самозванец опирался при этом именно на привычный и потому безспорный принцип власти, а не на обаяніе личности своего мнимаго отца, скорѣе даже несмотря на его страшную славу Ивана Грознаго. Пушкин дает это понятъ очень тонким приемом. — Самозванец говорит пришедшему к нему молодому Курбскому: «Вины отцов не должно вспоминать». «Отцы» — это оба: и Иван Грозный и возставшій против него старый Курбскій, «своих обид ожесточенный мститель». Сыновья примиряются — один мнимый, другой подлинный. Самозванец продолжает:

Не странно ли? сын Курбскаго ведет
На трон, кого? да — сына Іоанна!

По терминологии Ферреро, власть Бориса находилась в период «прелегитимности», когда она должна была завоевать себя безспорное признание. У Пушкина сам Борис говорит об этом:

Мнѣ счастья нѣтъ. Я думал свой народ
В довольствіи, во славу успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна.
Она любить умѣет только мертвых.

Власть мертвых, это — сила традиции, сила унаследованного, не требующего обсуждения, не вызывающего сомнений. Проблема власти возникает, когда власть перестает быть освященной этой силой и в особенности, когда новая «живая власть» начинает свое существование.

3

Я занимался проблемой власти в начале моей (недолговечной) академической карьеры, готовя на эту тему диссертацию. Моя работа, как я уже упомянул, привела меня к некоторым предварительным выводам, весьма сходным с идеями Ферреро. Понятием легитимности я тогда не пользовался, но обращал большое внимание на то обстоятельство, что в так называемые «нормальные» или «органические» периоды люди уже при рождении своем находят определенную систему власти, как нечто данное, и в массе своей вырастают, не задумываясь ни о происхождении этой власти, ни о ее праве быть тем, что она есть. Французская история 19-го века являлась, конечно, исключением. Было бы интересно восстановить «душевную историю» человека, который родился при Наполеоне, был мальчиком в момент реставрации, учился при легитимных королях, наблюдал июльские дни, а затем, прожив 18 лет при Луи-Филиппе, революцию 48-го года, затем прожил значительную часть своей зрелой жизни при 2-ой империи, видел Парижскую Коммуну и умер при 3-ей Республике. А были ведь и такие, которые дожили до 3-й Республики родившись еще во время Великой Революции или даже при Людовике XVI. А русский, англичанин, австриец или пруссак мог за то же время дожить до ста лет и видеть только непрерывную смену законных монархов. В таких условиях о том, что про-

исходит, если традиционная власть исчезает, можно было судить только на основании отдаленных исторических при- мѣров. Невольно приходилось жалѣть, что историческая наука лишена возможности производить эксперименты. Но дѣйстви- тельная исторія, прервав мою работу, в то же время заставила пережить событія, с точки зрѣнія познанія равноцѣнными самым искусным экспериментам.

Февральская революція застала меня за работой над проблемой власти, и революціонное время я прожил в свое- образном раздвоеніи личности. Активное участіе в событіях заполняло все мое время, и тѣм не менѣе я не переставал наблюдать событія с опредѣленной точки зрѣнія, ища отвѣта на занимавшіе меня еще до революціи вопросы. Помню, как во время Демократическаго Совѣщанія я разговорился с одним товарищем одновременно о самых злободневных вопросах и о предполагаемой темѣ моей диссертациі: по существу это было одно и то же. С первых же дней революціи меня мучил вопрос: как создать, укрѣпить и узаконить новую власть. Традиціонной власти больше не было: это было испол- неніем давних мечтаній, достиженіем цѣли многолѣтней борь- бы. Для создания и упроченія новой власти я видѣл **теорети- чески** три возможности. Во-первых религиозную санкцію, игравшую большую роль в опредѣленные эпохи, но в обжа- новкѣ 1917 года совершенно исключавшуюся. Затѣм, обра- зованіе власти, ощущаемой народом как выраженіе его воли, как его представительство. Это и представлялось единствен- ным желательным рѣшеніем. Третья возможность была утвер- жденіе новой власти путем насилія, что по моему убѣжденію, привело бы не к демократіи, а к террористической диктатурѣ, и чего я с самаго начала и больше всего боялся.

Созданіе новой власти, т. е. не просто правительства, а дѣйствительной власти, оказалось с самаго начала чрезвы- чайно трудной и, как я скоро в том убѣдился, неразрѣшимой задачей. Вспомним знаменитое «двоевластіе», которое было устранено только формально, но продолжало существовать фактически. Совѣты не переставали быть — или казаться! — органами власти, на мѣстах по большей части фактически единственными. Уже поэтому Временное Правительство и его органы не могли пріобрѣсти необходимый авторитет. Совѣты же, несмотря на пополненіе их крестьянскими депутатами, оставались чуждыми значительной части населенія и в то же время неуклонно теряли авторитет и у собственных избира-

телей. Пользуясь «правом отзыва», большевики вели кампанию против отдельных депутатов, стараясь скомпрометировать их и добиться их отзыва. Одни работали, другие агитировали. Часто отзывались лучшие работники, и качественный состав совѣтов, и раньше не блестящий, катастрофически ухудшался. Я работал в губернском городѣ и в теченіе нѣскольких мѣсяцев руководил мѣстным Совѣтом. Перед нами бушевало безмѣрное море за все время накопившегося горя и безисходной нужды. Мы были новой властью, от которой ожидали рѣшенія всѣх вопросов — вплоть до семейных конфликтов. Мы разрывались на части, чтобы хоть что-нибудь сдѣлать, помочь самой тяжелой нуждѣ, но большинство просивших и требовавших оставались неудовлетворенными. Мы не оказались той «властью», от которой ждали чудес. Но мы были обязаны творить чудеса, потому что мы были не **законной** властью, существующей и дѣйствующей по какому-либо **праву**, а тѣми, кто сами взяли себѣ власть. Если бы мы хотѣли примѣнять силу, нам пришлось бы стрѣлять и стрѣлять, тѣм болѣе, что мы имѣли перед собой не только безоружных просителей, но и вооруженных противников. Но мы не хотѣли идти путем, которым пошли тѣ, кто нас смѣнил.

Существовала ли возможность какого-либо выхода? Теоретически, да. Но его практическую осуществимость или неосуществимость доказать задним числом нельзя. Может быть, надо было бы как можно скорѣе и хотя бы по далеко не совершенной системѣ провести выборы, создать народное представительство и правительство, которое могло бы ссылаться на то, что оно уполномочено волей народа. Может быть, надо было начать с немедленных выборов новых органов самоуправления, хотя отнюдь неизвѣстно, удалось ли бы им отѣснить мѣстные совѣты. Нѣкоторые думали, что положеніе могло быть спасено выходом из войны. Но не было ли бы прекратившее войну правительство свергнуто большевиками именно за то, что оно заключило «похабный мир»? Обо всем этом можно спорить. Безспорно лишь то, что является фактом, а именно, что проблема власти рѣшена не была. Ее рѣшили только большевики — по крайней мѣрѣ в смыслѣ созданія реальной и сумѣвшей утвердиться власти.

Но как эта новая власть хотѣла быть **признанной**? Многим казалось просто комичным это постоянное, назойливое повтореніе вопроса: признаете ли вы Совѣтскую власть? Но за этим скрывалась глубокая трагедія, оплаченная безумно

дорогой цѣной множества человѣческих жизней — трагедія узурпаторской власти, **боящейся** своих подданных, своего народа. О террорѣ Великой Французской Революціи давно уже было сказано, что он являлся прежде всего реакціей **страха** революціонной власти. Об этом имѣются, между прочим, любопытныя замѣчанія в перепискѣ Маркса и Энгельса. Вопрос был затемнен легендой о том, что террор был необходим для спасенія революціи. Интереснѣйшій примѣръ полной слѣпоты к фактам под влияніем предвзятой идеи! Опять-таки задним числом нельзя доказать, что французская революція могла быть спасена без террора, но террор-то вѣдь ея не спас, потому что она вообще не была спасена. Относительно большевистской власти часто ставился вопрос: удержалась ли она **благодаря** террору или **несмотря** на него? В 1925 году Максим Горькій, жившій тогда в Сорренто и чувствовавшій себя свободным в своих сужденіях, отвѣчал на этот, поставленный ему мною вопрос, совешенно категорически: **несмотря** на террор. Имѣв возможность близко наблюдать многих совѣтских властителей, он настаивал на том, что террор был порожденіем именно того страха, в котором они постоянно жили. К сожалѣнію, мы не можем сейчас раздѣлять убѣжденіе, что террор обречен на безуспѣшность. Наполеон, подавляя всякую оппозицію, продержался 15 лѣт и был устранен не внутренними силами, а военным пораженіем. Но при этом огромное значеніе имѣли, конечно, его побѣды. Однако, за послѣднія двадцать пять лѣт мы должны были убѣдиться, что техника насилія достигла такого совершенства, что террористическіе **режимы** оказываются способными подавить дѣйствительно всякую оппозицію, и наибольшая заслуга в разработкѣ этой техники принадлежит, безспорно, Совѣтской власти. Мы знаем теперь, что террор может быть совершенно рациональной — даже научно организованной — системой. Но если такой рациональный террор позволяет власти удержаться, то постоянного страха власти он не устраняет.

У Ферреро этот момент представлен в очень широкой, почти что всеобъемлющей перспективѣ. Он изображает ту роль, которую страх играет в существованіи всѣх живых существ («животныя находятся всегда в состояніи настороженности», стр. 41), и которая пріобрѣтает особое значеніе для человѣка и для развитія человѣческой цивилизаціи. К тѣм страхам, которые имѣют естественный характер (включая страх смерти), человѣкъ добавляет создаваемыя им самим основанія для **страха**.

Ферреро характеризует власть, как «высшее выражение страха, который человек сам создает своими усилиями от страха избавиться» (стр. 43). Призванная защищать от различных опасностей, организация власти сама внушает страх, создает страх обоюдный: «люди боятся власти, которая может их поразить, а власть боится людей, которые могут возстать против нея... Вся история представляется цепью попыток возмущения или удавшихся возмущений против власти, и попыток власти помешать этим возмущениям... Всегда и везде власть живет в постоянном страхе своих подданных и того принуждения, к которому она должна прибегать, чтобы добиться повиновения, потому что она знает, что человечество везде и всегда находится в состоянии возмущения» (46-7). Заключение Ферреро гласит: «Власть осуждена жить в страхе, потому что, чтобы править, она применяет физическую силу и насилие; но, несмотря на ее страх, она всегда будет сильнее всех восстаний против нея, потому что и ее существование и ее страх соответствуют человеческой природе» (стр. 48). Это относится, конечно, к феномену власти вообще, а не к отдельным ее формам, которые часто оказываются слабее возникающих против них восстаний.

Но человечество постепенно выработало средство очень существенно смягчать это состояние обоюдного страха, делать его на более или менее продолжительное время латентным. Это средство есть легитимность, представляющая собою «молчаливое и подразумеваемое соглашение между Властью и ее подданными относительно известных принципов и правил, устанавливающих метод передачи власти и ее границы». Если бы удалось достигнуть в этом отношении решения, вполне удовлетворяющего и Власть и ее объект, то и сама Власть и те, кто подчиняются ей, освободились бы от вышеописанного обоюдного страха (302-3). Каждый господствующий в ту или иную эпоху принцип легитимности должен быть в гармонии «с нравами, культурой, наукой, религией, экономическими интересами данной эпохи» (159). Легитимность рыхляется, по мере того как власть перестает удовлетворять запросам времени, и тогда обоюдный страх проявляется все сильнее.

Перерыв легитимности является великим потрясением, новая — революционная — власть внушает ужас и сама живет в напряженном страхе, и обоюдный страх тем сильнее, чем больше насилия новая власть применяет для своего утверждения...

4

Отказавшись от критического разбора идей Ферреро, я могу ограничиться замѣчаніем, что его — к сожалѣнію, оставшаяся недостаточно развитой — теорія об обоюдном страхѣ, «всегда и вездѣ» сопровождающим отношенія между Властью и тѣми, кто ей подчиняются, представляется мнѣ болѣе спорной, чѣм тѣ замѣчательныя главы, которыя он посвятил страху, возникающему вслѣдствіе исчезновенія легитимной и возникновенія «узурпаторской» власти или вообще власти, еще не обрѣтшей легитимности. В этой связи имѣют особое значеніе тѣ тяжелые кризисы, которые возникают, когда один принцип легитимности уже утратил свою силу, а другой еще не может утвердиться. В этом была трагедія Великой Французской Революціи, которая «не могла ни примѣнить принцип народного суверенитета, ни отвергнуть его» (115). В этом же, согласно Ферреро, лежит глубокая причина европейскаго кризиса послѣ Первой Мировой Войны — кризиса, приведшаго к новой войнѣ. Ослабленная уже предшествовавшим развитіем, монархическая система была разрушена в Европѣ к концу войны 1914-1918 г.г. Народы Европы, за немногими исключеніями, внезапно оказались без власти, которая управляла ими в теченіи столѣтій. Они были вынуждены попытаться самостоятельно управлять собою. В Европѣ повторялась та же трагедія, которая произошла во Франціи в концѣ 18-го вѣка, когда французская монархія пала и французскій народ в первый раз попытался основать республику. Начиная с 1919 года, почти во всей Европѣ трудность организовать республику в средѣ, насыщенной монархическими традиціями, вызвала **всяческіе** беспорядки, которые привели к созданію революціонных правительств. Эти революціонныя правительства и развязали общую войну «по тѣм же причинам и методами, аналогичными методам Французской Революціи. Мы присутствуем при повтореніи на мировой аренѣ авантюры Наполеона: авантюры Наполеона, переведенной на нѣмецкій языкъ» (10-11).

Всякая формула, предназначенная для истолкованія историческаго процесса, неизбѣжно представляет собою очень большое упрощеніе, а стало-быть в какой-либо мѣрѣ искаженіе дѣйствительности. Историческая дѣйствительность безконечно сложна, и даже простое описаніе ея возможно лишь посредством **выбора** нѣкоторой доли фактов и нѣкоторых элементов

каждаго отдѣльнаго факта. Поэтому всякое описаніе является по необходимости неполным, а всякое об'ясненіе в какой-либо мѣрѣ невѣрным, или по меньшей мѣрѣ неточным. По отношенію к такой формулѣ, как только что переданная формула Ферреро, важно прежде всего, выдѣляет ли она существенный момент, необходимый для пониманія данной эпохи. Думаю, что на это нужно отвѣтить утвердительно, и обоснованіем для этого моего мнѣнія являются сдѣланныя выше замѣчанія о кризисѣ демократіи в Германіи и о русской революціи. Замѣчанія эти базировались на наблюденіях, сдѣланных задолго до появленія послѣдних работ Ферреро, а стало быть не подвергнувшихся вліянію его теоріи. В каждом отдѣльном случаѣ, т. е. в исторіи каждой отдѣльной страны, должны быть учтены, изучены и описаны многія явленія, стносящіяся к различным сторонам развитія. Но на основаніи всѣх своих наблюденій я давно пришел к убѣжденію, что **пониманіе** происшедшаго невозможно без анализа **проблемы санкціи власти**, как я это сформулировал, или **проблемы легитимности власти**, как она должна быть названа согласно опредѣленіям Ферреро. Если бы, напримѣр, в Германіи эта проблема была рѣшена, т. е. если бы демократическая система власти стала фактически общепризнанной («демократическій принцип легитимности») и создались бы политическія предпосылки функціонированія демократіи, то гитлеровская диктатура была бы немислима, так как демократія не была бы парализована наличностью «антидемократическаго большинства», и огромное большинство народа было бы в состояніи дать отпор антидемократическому движенію. Ни в одной из «старых» демократій, т. е. там, гдѣ утвердился принцип демократической легитимности, ни фашисты, ни коммунисты не стали большими силами. Во Франціи относительно значительный успѣх коммунизма стал возможен лишь тогда, когда коммунисты одѣли на себя демократическій костюм. Эти соображенія вовсе не **исключают** учета других факторов (напримѣр, в Германіи роли крупнаго землевладѣнія и организованнаго капитала, вліянія затяжнаго экономическаго кризиса и т. д.). Но мы видим, что тѣ же или аналогичные факторы дѣйствуют там, гдѣ существует устоявшаяся — «легитимированная» — система власти, иначе, чѣм там, гдѣ такой системы власти еще нѣтъ. Но болѣе подробное разсмотрѣніе этих вопросов приходится отложить до другого случая.

Эти размышленія, как и идеи Ферреро, становятся осо-

бенно актуальными в связи с проблемами, которыя неминуемо должны будут возникнуть в Европѣ послѣ окончанія настоящей войны. В большинствѣ европейских государств нужно будет заново организовывать государственную власть — как в странах, принадлежащих к враждебной коалиціи, так и во многих странах, павших жертвами «переведенной на нѣмецкій язык наполеоновской авантюры». Эта задача организациі власти, являющаяся необходимой предпосылкой для заключенія мира, для заключенія новых международных соглашеній и для созданія какой-либо международной организациі, представляется сопряженной с огромными трудностями. Если она будет рѣшена так, что Европа снова будет имѣть ряд государств, переживающих «кризис легитимности», если десятилѣтія, послѣдующія за этой войной, снова будут заполнены в разных европейских государствах судорогами власти, то не помогут ни самыя нужныя и разумныя внутреннія, экономическія и социальныя, преобразованія, ни какія-либо международныя соглашенія и организациі. Тогда мы должны будем считаться с ужасающей перспективой новых потрясеній, гражданских войн и затѣм новой международной войны. Вопрос вовсе не стоит так, **что** надо предпочесть: внутреннія социальныя реформы, международную организацию или установленіе «легитимной» в вышеуказанном смыслѣ власти. Все необходимо, одно обуславливает другое. Во многих странах власть сможет легитимировать себя, только если она осуществит необходимыя преобразованія. Процесс легитимизациі может быть облегчен и поддержан международной организацией. Но удовлетворительное рѣшеніе проблемы власти является первичным и основным условіем. Только при этом условіи внутреннія реформы смогут выполнить их назначеніе, только международныя соглашенія, заключенныя правительствами, пользующимися достаточно широким и прочным признаніем, смогут оказаться дѣйственными и жизнеспособными.

Свою предпослѣднюю работу «Reconstruction»*) Ферреро посвятил исторіи устроенія Европы послѣ наполеоновских войн и в извѣстном смыслѣ реабилитации пользовавшегося в либеральных кругах очень дурной славой Вѣнскаго Конгресса. Ферреро писал эту книгу еще до войны, но, несомнѣнно, думая и о надвигающейся, по его мнѣнію, неизбежной войнѣ, и

*) В англійском переводѣ

“The Reconstruction of Europe,” G. P. Putnam's Sons.

об еще раз предстоящей реконструкции Европы. Мир, заключенный в Вѣнѣ, представляется ему заслуживающим подражания образцом, а секрет его успѣха был в примѣненіи, хотя и с нѣкоторыми отклоненіями, принципа легитимности. Господствовавшій в то время аристо-монархическій принцип легитимности с тѣх пор безнадежно устарѣл, но это не значит, что примѣненный метод утратил свою правильность. Послѣдовавшее за Вѣнским Конгрессом столѣтіе оказалось самым мирным періодом европейской исторіи. Это, правда, часто отрицается вслѣдствіе распространеннаго предубѣжденія, будто капитализму особенно свойственно порождать войны. Но этому предубѣжденію противостоят факты, оспаривать которые невозможно. Достаточно сравнить каталог войн за время от 1815 года до начала 20 столѣтія с таким же каталогом войн за любой другой період такой же длительности, чтобы убѣдиться в правильности оцѣнки перваго періода, как необычно мирнаго в исторіи Европы. Мнѣніе Ферреро, навѣрное, должно быть исправлено в том смыслѣ, что характер заключеннаго в Вѣнѣ мира не был единственной причиной относительнаго спокойствія послѣдовавшаго за ним періода. Может быть, именно даже развитие капитализма способствовало сохраненію мира, а не возникновенію войн (что вовсе не оправдывало бы стремленія во что бы то ни стало сохранить капитализм и не исключало бы желанія создать еще болѣе мирную форму человеческого общежитія). Во всяком случаѣ очень многое говорит за то, чтобы при новом заключеніи мира был примѣнен — *mutatis mutandis* — метод, аналогичный примѣненному в 1814-15 г. г. В предисловіи к американскому изданію своей книги Ферреро высказывается именно за это, подчеркивая в то же время, что для западных народов теперь возможен только демократическій принцип легитимности. Может быть, точнѣе было бы сказать: почти для всѣх народов Западной Европы. Во всяком случаѣ мнѣ представляется существенным, что нельзя конструировать а priori один общій рецепт для всѣх европейских народов, а необходимо тщательное изученіе каждаго отдѣльнаго случая.

Тѣм не менѣе нѣкоторыя общія положенія могут быть установлены. Во-первых, демократія должна быть возстановлена вездѣ там, гдѣ она погибла не от внутренней болѣзни, а от удара извнѣ. Нѣтъ никаких признаков того, что в этих странах могла бы возникнуть какая-либо другая форма легитимной власти. Во-вторых, было бы не только на болѣе длительное

время безнадежным, но и очень опасным начинанием пытаться **навязать** демократію всѣм народам. Это значило бы **заранѣе** обречь на крушеніе развитіе соответствующих стран к демократіи, вызвав потрясенія, которыя навѣрняка привели бы к установленію разных форм тоталитаризма. Но — в-третьих — этим не исключается необходимость обезпечить извѣстный минимум демократизма для **перваго** волеизъявленія **каждаго** народа относительно организациі власти в его странѣ. Это означает конкретно гарантіи свободы выборов и допущенія оппозициі. Самым рѣшительным образом надо противодѣйствовать всѣм тенденціям к установленію во время переходнаго періода режимов «однопартийных», т. е. по существу диктаторіальных. А такія тенденціи уже проявляются (в частности у части французской эмиграциі и в нѣкоторых группах французскаго нелегальнаго движенія), прикрываясь намѣреніем подготовить новую, усовершенствованную форму демократіи. Это напоминает старую идею «воспитательной диктатуры». Но пора бы уже понять, что никакая диктатура «сама собой» в демократію превратиться не может. Наконец, Соединенныя Націи должны создать какой-то орган, своего рода «мандатную комиссію», имѣющую цѣлью устанавливать, что претендующія на участіе в заключеніи мира правительства не имѣют узурпаторскаго характера. Всего цѣлесообразнѣе — но, к сожалѣнію, вряд ли достижимо — было бы составить такой орган из демократических государств, принадлежащих к коалициі Соединенных Націй, и из нейтральных государств, сохранивших демократію.

Ю. Денике.

ЗАГАДКИ РОССИИ

Россия всегда была загадочной страной — и для европейцев и для своих собственных сынов. Иностранцы останавливались в недоумении перед ее противоречиями: варварство и утонченная культура, святость и буйный разгул, кротость и жестокость — все уживалось в этом скифском сфинксе. Русские не удивлялись этим противоречиям, они скорее гордились ими, но так же мало подчас понимали их происхождение. Основным их источником, хотя и не единственным, был культурный дуализм, в котором жила Россия с Петра: одновременно и западной культурой в своих общественных верхах и старой, Московской, в средних и низших слоях народа. Московское и европейское начала и боролись друг с другом и вступали в сложнейшие сочетания. Кто, на первый взгляд, угадал бы в православии Достоевского влияния католического гуманизма Франции 40-х годов?

Со времени революции загадочность России еще усилилась. Хотя революция объявила войну и Московской Руси и западной «буржуазной России», тем не менее они еще существуют. Рядом с ними, или, вернее, на их фоне выросла новая «советская» культура, рожденная в духе ленинского большевизма и современной индустриальной техники. Но и она прорезывается густыми прослойками пестрых культур пробужденного — в СССР и за его границами — Востока. Россия — кипящий котел противоречий. Родится ли в них новая цельность или они взорвут его еще крепкие стволы — кто может сказать? И что можно сказать, что можно увидеть отсюда, через десять тысяч разделяющих верст?

Газеты, журналы, книги доносят нам отрывочные вѣсти из России. Но как трудно вышелушить зерно истины из-под массивной, все покрывающей лжи. Никогда еще ложь не изготовлялась и не лилась в мир в таких пантагрюэлических количествах, как в современных тоталитарных странах. Ложь стала воздухом, которым там дышат, самой тканью культуры, производимой государством. Может-быть, там, в зоне угле-

кислоты, вырабатываются дыхательныя приспособленія организма, вродѣ способности видѣть в темнотѣ, — да и то, вѣроятно, у немногих. Большинство слѣпнет. А здѣсь расшифровка тоталитарных документов требует изощренной научной критики. И всякая эмоциональность, — а она неизбежна, — всякій энтузіазм — а сегодня он так естествен, — даже просто привычка, инерція пассивнаго чтенія дѣлают пониманіе невозможным.

Кажется, что для оцѣнки Россіи нѣтъ хуже положенія, чѣм эмиграція. Но это невѣрно. Положеніе иностранца гораздо хуже. Его беспомощность, его беззащитность перед культурой лжи вызывает жалость. Но многим ли лучше положеніе русских людей в самой Россіи? Там, гдѣ нѣтъ ни свободнаго слова, ни свободнаго общенія, люди живут кучками, каждый видит лишь то, что происходит в его углу. Заговорите с пріѣзжим из Россіи — нѣсколько лѣтъ тому назад такіе разговоры были еще возможны — о религіи, напримѣр. Если он вѣрующій, он расскажет вам о необычайном подѣмѣ ролигіознаго чувства. Он жил почти исключительно среди своих единовѣрцев, особенно если прошел сквозь тюрьмы и лагеря. Но спросите средняго совѣтскаго юношу — из вузовцев. — и он скажет вам, что никогда не встрѣчал вѣрующих в своей средѣ и не слышал о существованіи религіозных кружков.

Сейчас нас прежде всего интересует **международно-политическая** загадка Россіи. Чего хочет она, помимо обороны своей земли от нѣмецких завоевателей? С чѣм придет в послѣвоенную Европу, когда будут устанавливаться основы будущаго мира? Эти вопросы, волнующіе сейчас весь свѣтъ, обращены лишь отчасти к настоящему — к мыслям, мечтам и волѣ Россіи. Главным же образом они относятся к будущему, и здѣсь почва под ногами становится совсѣм зыбкой. Знает ли кто-нибудь в самой Россіи, чего она хочет от Европы. с какой программой перейдет, — если вообще перейдет — свои рубежи? Может быть, один человек в Россіи знает об этом, т. е. имѣет планы на будущее, но весьма вѣроятно, что он никого не посвящает в свои планы.

Всѣ мы — без различія взглядов и степени свѣдомленности — недавно совершили огромную ошибку. Никто не предполагал той изумившей мір способности к сопротивленію, которую обнаружила Россія. Говорили — даже ея друзья — что она будет разбита через три мѣсяца, если ей не придут на помощь. Оказалось, что она, если не сильнѣе Германіи,

то равный, или почти равный ей противник. До сих пор она одна почти выносит на себя весь натиск врага. Тѣ дивизии, которыя Германія держит на Западѣ и на африканском фронтах, замѣщены на русском, хотя и слабѣйшими дивизіями нѣмецких союзников. Русскій солдат не уступает по своей деблести германскому и японскому; и даже военная промышленность Россіи, несомнѣнно, менѣе развитая, чѣм в Германіи, не поражает опасным несоотвѣтствием. Вѣдь, и техническая помощь Англии и Америки до сих пор покрывала лишь малую часть русскаго военнаго потребленія.

Да, скажем откровенно: этого мы не ожидали... Ошибившись в этой, самой элементарной, оцѣнкѣ сил и возможностей Россіи, как рѣшиться на другую, гораздо болѣе сложную и трудную, оцѣнку — ея политической воли?

Кажется, единственный открытый сейчас путь — это анализ возможностей. Там, гдѣ матеріал наблюдений скуден или обманчив, дедукція получает право на существованіе. Конечно, при условіи скромности. Анализ шансов не дает возможности предвидѣть, какіе из них осуществляются. Но он может подготовить наблюдателя к болѣе вдумчивому воспріятію грядущих событій.

Тѣ политическія категоріи, в которых опредѣляется наше отношеніе к Россіи, отличаются упрощенностью. Мы загнипнотизированы одним образом, и не хотим видѣть ничего, что нарушает четкость его линий. Если нижеслѣдующія строки покажут всю сложность русской проблемы, не принеся никаких ея рѣшеній, онѣ не будут совершенно бесполезны.

**

Первая русская проблема, перед которой стоит сейчас мір, не задержит нас, несмотря на очевидную ея важность. Слишком мало элементов для ея рѣшенія в наших руках. Это проблема военная. Предоставим ея изслѣдованіе специалистам, хотя, по существу, не специалистам ее рѣшить. Чтобы рѣшить ее, нужно располагать таким исчерпывающим знаніем всѣх сил и возможностей обоих противников — Россіи и Германіи — каким никто не обладает. Вопрос может быть поставлен так: в каком положеніи будет русскій фронт к тому моменту, когда прерисойдет, наконец, вторженіе союзников в Европу — в условіях, означающих разгром Германіи?

Ограниченность нашего знанія обязывает **серьезно считать** со всѣми возможностями, даже допуская не одинаковую их вѣроятность. Эти три возможности суть: пораженіе

Россіи Германіей, поражение Германіи Россіей и равновѣсіе сил, означающее стабилизацию фронта, или медленное его передвиженіе в ту или другую сторону. Сейчас, когда мы наблюдаем именно эту третью ситуацию, она нам кажется наиболее вѣроятной и длительной. Это не помѣшает ей круто измѣниться в один прекрасный день.

Важно помнить, что стабилизация на русском фронтѣ, даже маловѣроятное поражение Россіи не означают проигрыша войны. Они, несомнѣнно, затянули бы ее, отягчили бы и без того не легкое положеніе западных демократій, но едва ли отвратили бы поражение Германіи. Возстановленіе Россіи было бы одним из первых результатов этого поражения. Даже сепаратный мір, который вынуждена была бы подписать Россія, не помѣшал бы ей воспользоваться, хотя и в болѣе ограниченной мѣрѣ, плодами демократической побѣды. Одно время, слѣдя за русскими успѣхами, западная печать спрашивала себя: остановится ли русская армія, гнавшая нѣмцев, на границах Россіи или будет продолжать войну на германской территоріи? Указывали на то, что в рѣчах Сталина постоянно звучит мотив отечественной войны: изгнаніе врага за предѣлы родины, и ни словом не упоминалось об общем заданіи — освобожденіи и организациі Европы. И в этой возможности, которая кое-кого пугала, нѣтъ ничего страшнаго. Германія, разбитая до отхода за свои рубежи, не сможет долго сопротивляться ударам с Запада. Быть может, такой исход был бы лучшим и для Европы и для Россіи.

Всѣ эти военныя возможности не ставят перед нами особо трудных политических проблем. Политическія проблемы связаны с послѣдней возможностью: русской побѣды. Недаром, один намек на нее, счастливая зимняя кампанія в Россіи выпала, как из рога изобилія, ряд чрезвычайно щекотливых вопросов, связанных с будущим восточной Европы. И, что всего важнѣе, всѣ эти вопросы поставлены самой Россіей, а не ея подозрительными критиками. Окрыленный успѣхом — или опьяненный им — Сталин измѣняет своей обычной сдержанности, и дѣлает ряд шагов и заявленій, которыя торопятся предрѣшить ряд восточно-европейских проблем. В свѣтѣ этих актов, заявленій — и воздержаній — Сталина ставится теперь мучительный вопрос: что несет Россіи освобожденной Европѣ? В данной исторической ситуации этот вопрос равносильен другому: чего хочет в Европѣ Сталин?

Пробѣгая послѣдніе акты и волеизъявленія Москвы —

русского правительства и русской печати, — трудно найти в них единую политическую мысль. Москва требует от Польши бѣлорусских и украинских земель, из которых первыя вошли в ея состав по Рижскому миру 1921 года, а послѣднія отчасти в 14-м столѣтіи. Москва считает окончательной аннексию трех лимитрофных республик: Эстоніи, Латвіи и Литвы. Москва протестует против образованія польско-чешской федераціи, и по слухам добилась от Бенеша отказа от нея. Москва отклоняет возможность мирных переговоров с Финляндіей, заявляя о том, что она считает финское правительство не правомочным говорить от имени своего народа. Такіе же намеки дѣлаются и относительно польскаго правительства в Лондонѣ. Всѣм памятно «кукольное» правительство Куусинена, выдвинутое в послѣдней финляндской войнѣ. Организация польской коммунистической группы в Москвѣ, издающей газету “*Volna Polska*”, указывает на угрозы в том же направленіи. В Москвѣ дѣйствует и новое, преимущественно коммунистическое, объединеніе славянских народов, с их органом «Славяне». И, наконец, в Югославіи уже с лѣта прошлаго года организовались коммунистическіе «партизаны» в противовѣс «буржуазному» и англофильскому четническому движению Дражи Михайловича, с которым они уже ведут братоубійственную гражданскую войну. В Польшѣ тоже дѣйствуют русскіе партизанскіе отряды, образованные против желанія польскаго правительства, но эти, по счастью, дерутся пока против нѣмцев. Как распутать весь этот клубок противорѣчій? Одни из требованій Москвы мотивируются интересами русскаго или украинскаго націонализма; другія — стратегическими соображеніями. В пред’явленіи «національных» требованій останавливает их поспѣшность и односторонность: Москва не хочет дѣлать их предметом мирных переговоров. Тѣм самым она выражает недовѣріе к будущим строителям Европы и хочет защищать сама свои интересы. Стратегическая защита ея границ на Балтійском морѣ неизвѣстно против кого направлена. Если Германія исчезнет послѣ войны как великая держава, то обороняться Москва думает, вѣроятно, не от нея, а от новых хозяев Европы. Запрет федерацій в Восточной Европѣ явно стремится к раз’единенію и ослабленію сосѣдей, из которых каждый порознь легко может стать в политическую зависимость от Москвы. Наконец, гражданская война в Югославіи может имѣть только одну цѣль: установленіе в странѣ коммунистическаго правительства послѣ побѣды. Может быть,

эта цѣль имѣется и в отношеніи Финляндіи и Польши, хотя там слова и даже акты могут имѣть значеніе простой угрозы.

Во всяком случаѣ, мы видим огромную политическую активность, простирающуюся на всю территорію Восточной Европы — особенно на славянскія земли. Если цѣли русской отечественной войны, в самом дѣлѣ, являются только оборонительными, то эта оборона явно требует политическаго закрѣпленія в формѣ господства на всей территоріи В. Европы.

Вся эта активность не случайно совпала с періодом успѣхов Красной Арміи. Вѣроятно, в Москвѣ царило настроеніе, которое можно было бы охарактеризовать, выражаясь по-сталински, как «головокруженіе от успѣхов». Переоцѣнка собственных сил связана с недооцѣнкой военных сил или политической серьезности союзников. Только этим можно об'яснить неожиданную дипломатическую откровенность Москвы. Она принадлежит к той же категоріи политических ошибок, как и убійство Эрлиха и Альтера: "hybris" говорили древніе греки; «головокруженіе» говорит Сталин.

На фонѣ этой экспансивности особенно выразительным является воздержаніе, молчаніе, уклоненіе во всем, что касается общей с союзниками политики войны и мира. Москва так и не послала своих представителей в Казабланку. Она не хочет себя связывать общими рѣшеніями. Она ведет свою собственную политику, свою собственную войну. Мы не сомнѣваемся, что эта политика есть то, что называется по-англійски power policy, чисто «реалистическая» политика силы, которая может использовать любыя средства, любые мотивы и фикціи мотивов для достиженія своих цѣлей. Но здѣсь и встает главный вопрос, рѣшеніе котораго не дается изученіем текущих политических событій: каковы послѣднія цѣли московской политики? гдѣ подлинная цѣль, гдѣ средства к ней, и гдѣ защитная дымовая завѣса? В поисках этой подлинной цѣли приходится исходить от старой дилеммы: интернаціональный коммунизм или національная государственность? Спѣшу заранѣе оговориться, что я считаю эту дилемму грубой, неточной, для Россіи 1943 г. устарѣлой. Но логически от нея неизбежно отправляться. Она все еще опредѣляет мысль большинства людей — русских и иностранцев — которые пишут и говорят о Россіи. Итак: интернаціонализм или націонализм?

В пользу интернаціонального коммунизма говорит старая революціонная традиція большевизма, существованіе во всѣх странах коммунистических партій, поддерживаемых Москвой,

— наконец, марксизм как официальная догма, все еще царящая в России. Сотни миллионов — вѣроятно, большинство человечества, видят в Москвѣ символ социальной революціи, миллионы работают активно для этой революціи, получая из Москвы деньги, литературу и политическія директивы. До самаго прихода Гитлера к власти Сталин поднимал нѣмецкій пролетаріат к возстанію против Веймарской республики. Третій Интернаціонал не распущен. Его резиденція в Москвѣ, его цѣли не подвергались пересмотру, при всей измѣнчивости его тактики. Русская интеллигенція по-прежнему обязана клясться Марксом, каким бы дѣлом она ни занималась. Книги, изданныя в началѣ 40-х годов по исторіи и литературѣ, даже авторами, не имѣющими ничего общаго с марксизмом, носят на себѣ марксистское клеймо. Старый русскій профессор, защищая свои взгляды на характер социального строя древней Руси, должен ссылаться на какія-то замѣтки Маркса по русской исторіи, найденныя в его черновиках.

Есть много серьезных и освѣдомленных людей, не ослѣпленных политическими страстями, которые раздѣляют этот взгляд. Для них Сталин все еще ученик Ленина, хотя и потерявшій окончательно вѣру в революціонную самодѣятельность масс. Война для него есть лучший метод революціи — не в ленинском только смыслѣ дезорганизации стараго міра, но и в прямом смыслѣ завоеванія ради организации коммунизма побѣдоносным СССР.

Сторонники національной гипотезы видят в Сталинѣ прежде всего самодержавнаго хозяина Россіи. Национализация русской революціи началась еще в ленинскую эпоху. Долгое время ея основой была крестьянская и бунтарская стихія, сильно проступившія в гражданской войнѣ. С крестьянством и его русским духом покончила первая пятилѣтка. Но она же вызвала к жизни новый правящій класс, не столько партійный, сколько хозяйственно-организаторскій. Сталин стал во главѣ новой индустриальной революціи, которая должна была укрѣпить «социализм в одной странѣ». Для этой новой конструктивной революціи понадобились другіе учителя, чѣм Маркс и Энгельс. Алексѣй Толстой в «Петрѣ I» рисовал портрет Сталина, какин: тот хотѣл бы войти в исторію. С пришествіем Гитлера к власти умирают надежды на революціонное движеніе в Европѣ. Растущая опасность со стороны Германии заставляет сосредоточить всѣ силы на оборонѣ страны. Начинается реабилитация русскаго патриотизма, русской исторіи. Один за

другим князья, цари, полководцы, — строители государства Российскаго — поднимаются из мусорной кучи, в которую их сбросила революція, и возводятся на старый карамзинскій пьедестал. Трактовка русской исторіи в учебниках порывает с либеральной традиціей 19 и 20 вѣков. Экспансія государства и строительство самодержавія становятся в центрѣ изученія как факты положительные. Наряду с этим сохраняется еще культ народных бунтов и их вождей. На скрещеніи этих линій стоит образ царя Пугачева, который, очевидно, и призван завершить историческое развитіе Россіи. Коммунизм остается как высшее достиженіе русской исторіи — конечно, в новом, сталинском его пониманіи. В Россіи под коммунизмом понимают націонализацию всей хозяйственной жизни в рамках тоталитарнаго государства. Если Ленин говорил полу-шутя: «соціализм есть совѣтская (= партійная) власть + электрофикація», то Сталин мог бы сказать: коммунизм есть самодержавіе с полным уничтоженіем личной собственности.

Всякая великая революція, в каких бы универсальных идеях она ни родилась, завершается націонализмом. Люди, отбившіе родину от классовых врагов, начинают по-настоящему чувствовать ее своей. Нельзя — даже чужестранцу — безнаказанно управлять двадцать лѣт страной, не срастаясь с ней — по крайней мѣрѣ, чувствами хозяина, собственника. В 18 вѣкѣ даже нѣмка на русском престолѣ вела русскую политику. И корсиканец, возглавившій французскую революцію, при всѣх своих универсальных планах, был прежде всего императором французов. Сталин из всѣх учеников Ленина больше всего годился для націонализации русской революціи. Он никогда не принимал участія в международном соціалистическом движеніи, никогда не интересовался и теоретическими проблемами марксизма. Практик и организатор, он цѣликом вложилъ в дѣло русской революціи, предоставив своим болѣе культурным и ненавистным ему товарищам работу в Интернаціоналѣ. Нынѣ он ликвидировал почти всѣх сподвижников Ленина. вмѣстѣ с ними разстрѣляны или удалены из партіи тысячи настоящих ленинистов, мѣста которых заняты новыми людьми, ничѣм не связанными с интернаціональным движеніем. Случайны ли всѣ эти чистки, московскіе процессы, смѣна почти всѣх дипломатов — в концѣ 30-х годов? Вряд ли они объясняются только личными столкновеніями между Сталиным и Ленинской гвардіей. Если же за ними

стоят идеологическія разногласія, то всего естественнѣе искать их в смѣнѣ вѣх: в торжествѣ новаго націонализма.

В этой смѣнѣ, происходящей по указкѣ сверху, проводимой невѣжественными людьми, много безвкусія; господствует полное смѣшеніе стилей. Отрывки из Коммунистическаго Манифеста подаются в одной окрошкѣ со славянофильством черносотенной окраски. Маркс и Александр Невскій в одной галлерей предков? Общее между ними пока найдено только в том, что Маркс назвал гдѣ-то собаками нѣмецких рыцарей, противников Александра.

В этом синкретизмѣ Марксу явно отведено почетное, но безвластное мѣсто учителя науки. Учителем жизни ставится Александр или его московскіе потомки. Сталин, вѣроятно, марксист в его собственном сознаніи. Это значит, у него не было ни времени ни сил производить теоретическую ревизию Маркса. Маркс, рядом с Дарвином, остается висѣть, как икона, в красном углу.

Коммунистическія партіи Запада? Онѣ поставлены на службу государственных интересов СССР. В зависимости от измѣнчивой 'кон'юнктуры московской международной политики, онѣ мѣняют фронт с поразительной легкостью: сегодня онѣ революціонны, завтра поддерживают національныя правительства, сегодня борются против войны, завтра — первые среди оборонцев. Онѣ покорно подчиняются противорѣчивым директивам Москвы, потому что за смѣной тактики вѣрят в постоянство цѣли: міровой революціи. С их точки зрѣнія, русская государственность — вещь очень цѣнная, но служебная. Русская армія выполнит свое назначеніе, когда принесет міру коммунизм на своих штыках.

Кто-нибудь здѣсь обманут: иностранные коммунисты или русскій народ. Чьи-то интересы приносятся в жертву.

На наших глазах Сталин разыграл и предал революціонную Испанію, когда поддержка ея стала грозить военной опасностью Россіи. Как будто обмануть Россію труднѣе, чѣм далеких и наивных товарищей. Партія в Россіи давно уже срослась с населеніем. Обманывать пришлось бы не одних подвластных, но и правителей. Новый націонализм, вливаемый в массы лошадиными порціями, воспитывающій цѣлое поколѣніе, может ли быть убран в один прекрасный день по манію Сталинской руки? Марксистов, воспитанных Лениным, пришлось перестрѣлять, — но их были тысячи. Как перестрѣлять миллионы новых сталинцев, молодых, крѣпким, увѣренных в

себѣ, строящих с такой жестокостью новую жизнь и с таким героизмом защищающих теперь свою Россію?

Признаемся, нам труднѣ осмыслить интернаціоналистическую концепцію сталинизма, чѣм націоналистическую. Но как, в дѣйствительности, велико расхождение между ними? Находятся ли онѣ в настоящем противорѣчии?

Почти всякій національный режим живет запасом сверхнаціональных идей и принципов. Во всяком случаѣ, это вѣрно в отношении народов христіанской культуры. Голый національный интерес чрезвычайно рѣдко осмѣливается утверждать свое единовластіе. Он любит облекаться в идеальныя одежды: то это защита церкви, католичества, православія, протестантизма; то защита свободы, демократіи или, наоборот, монархіи, тронов и алтарей, порядка и собственности, наконец, цивилизації как таковой. Все это, конечно, не простой обман или самообман. Иногда идеалистическіе мотивы в политикѣ на краткій срок — получают даже преобладаніе. Говоря вообще, они становятся мощными, когда получают подкрѣпленіе со стороны національных интересов. В наши дни Англія и Америка сражаются не только за свое существованіе (которому пока еще не угрожает непосредственная опасность), но в самом дѣлѣ — как это ни удивительно для циников — за торжество свободы. Англія серьезно увлекалась освобожденіем угнетенных народов в Европѣ 19 столѣтія, а императорская Россія дѣйствительно принимала к сердцу судьбу турецких христіан, а не одни свои военныя и экономическіе интересы на Черном морѣ. Солдаты Наполеона, даже порабошая народы, были увѣрены, что несут им освобожденіе, в чем, со своей стороны, был увѣрен и Александр I, добывая Наполеона за рубежами Россіи. С точки зрѣнія русских національных интересов кампанія 1813-1814 годов была безцѣльной — мнѣніе, кажется, раздѣляемое Тарле в наши дни. Но Александр освобождал Францію и возстановлял старый порядок в Европѣ не потому, что он был русским императором, а потому, что был добрым европейцем.

Почему же с революціонной Россіей это должно быть иначе? Она создала для себя строй, который она, или ея правящій слой, считает идеальным. Осуществленный — или осуществляемый — коммунизм наполняет ее чувством національной гордости, заставляет смотрѣть свысока на весь мір. Но она готова предложить всему міру свои «достиженія». Коммунизм — продукт русскаго историческаго процесса, но

он сверхнационален по своей формѣ. Совѣтскій человекъ хотѣлъ бы видѣть его повсюду в мѣрѣ, как англо-сакс — начала личной свободы и демократіи. Он, вѣроятно, готов принести для торжества коммунизма в мѣрѣ извѣстныя жертвы своей — и чужой — кровью. Но жертвовать для него своей родиной, только что открытой и любимой страстно и ревниво, — этого от него трудно ждать.

Таково как будто намѣчающееся рѣшеніе первой русской загадки: Россія готова нести міру коммунизм — добровольно или насильственно — но лишь постольку, поскольку это допускается ея національными интересами. Здѣсь, как и выше, мы употребляем слово «национальный» в смыслѣ государственном. Совпадает ли «национальное» для СССР с «русским», это вопрос дальнѣйшаго разсмотрѣнія.

Но первая проблема — коммунизма, который несет Россія — при національном ея рѣшеніи, принимает новую форму: является ли внѣшняя политика Совѣтской Россіи агрессивной или оборонительной? Конечно, оборонительный характер политики отнюдь не вытекает из націонализма. Германія, Японія, Италія тому свидѣтели. Но о міровой опасности коммунизма можно говорить только при агрессивности Россіи. Вопрос о мѣрѣ этой агрессивности для Европы сейчас важнѣе вопроса о том, насколько серьезно Россія принимает к сердцу дѣло коммунистической революціи.

По вопросу об агрессивности или миролюбіи Россіи не мѣшает заглянуть в ея прошлое. Так как СССР географически совпадает с императорской Россіей (за вычетом западной полосы), то в своей внѣшней политикѣ Союз является ея преемником. Один фактъ поражает нас на протяженіи всей русской исторіи: это отсутствіе у Россіи четких границ. Она не имѣет ни опредѣленных географических рубежей (рѣкъ, гор), ни рубежей этнографических. В этом отношеніи она совершенно не похожа на національныя государства Запада — Францію, Германію, Италію, гдѣ границы государства приблизительно совпадают с предѣлом этнографических національностей. Россія с 15 вѣка перестала быть чисто національным государством. Прежде, чѣм соединиться со своими южными и западными братьями, она перелилась через границу русской народности и потекла по необозримым равнинам Востока. Экспансія Россійской Имперіи продолжалась непрерывно до послѣдних ея дней, несмотря на тяжкій удар, нанесенный ей Японіей.

Но до столкновения с Японией Россия не встречала на Востокъ почти никакого отпора. Ея завоеванія носили поэтому характер колонизации. На Западъ Пруссія и Австрія стояли крѣпкой стѣной, и здѣсь, со времени раздѣлов Польши, русская граница была болѣе или менѣе неподвижной. Единственный пролом в этой стѣнѣ находился на югѣ, гдѣ слабость Турціи открывала сравнительно легкую дорогу на Балканы. Таким образом русская экспансія шла по линіи наименьшаго сопротивления (за исключеніем героических завоеваній Петра). Войны Россіи не требовали поэтому (кромѣ Отечественной) напряженія всѣх ея сил — а главное, всего политическаго вниманія. Народ не должен был вкладывать в них своей души, и оставался одним из самых миролюбивых народов Европы. В этом заключался главный парадокс русской имперіи. Она была агрессивной, не будучи воинственной, не бряца оружіем и не имѣя большого вкуса к военному дѣлу. Образ Россіи для вѣшняго міра и ея же образ для русскаго общества были совершенно различны. Общество почти не замѣчало военного характера государства. Этот парадокс может быть сопоставлен только с экспансіей Британской Имперіи, не нарушавшей глубоко цивильнаго характера націи.

Русская революція не могла не усилить имперіалистических тенденцій государства. Мы говорили выше о націоналистическом исходѣ всякой «великой» революціи. Но революціонный націонализм неизбѣжно принимает характер имперіализма. Взрыв насильственных чувств, направленных против внутренних врагов, не расходится безслѣдно послѣ побѣды. Он перерождается, обращаясь на врагов вѣшних. Ненависть к русским помѣщикам и буржуям переходит в ненависть к панам и лордам, к буржуям вообще. Любовь к революціонным символам, к демонстраціям, к жестам находит свое выраженіе в культѣ Красной Арміи, ея парадах, ея марсовых играх. Через сто лѣт послѣ Пушкина Россія снова пріучилась бряцать оружіем и грозить всему «капиталистическому», т. е. западному міру.

Вмѣстѣ с тѣм новая государственная форма Россіи, т. е. псевдо-федеративный СССР, оказывается чрезвычайно удобной для вѣшной экспансіи. СССР в принципѣ не имѣет никаких національных границ. Любой народ, любое государство, совершив социальную революцію русскаго типа, может войти в состав этой «федерации». Больше того, экспансія, при этих условіях, перестает быть имперіалистическим грѣхом, а ста-

новится революционной добродетелью. Завоевание считается освобождением. Как это происходит на практикѣ, мы видѣли на примѣрѣ трех балтійских республик.

В том же направленіи вліяет и принципиальный аморализм, положенный Лениным в основу коммунистической политики. Нравственные и правовые моменты всегда были слабой сдержкой для насилия в международных отношеніях. Но все-таки они существовали. Международное право развивалось, под его покровительством находилось мѣсто в Европѣ не одним великим державам, но и малым независимым народам. Макіавеллизм не означает непременно политики агрессии, но он развѣивает ее, когда она диктуется империалистическими интересами. «Война дворцам, мир хижинам», провозглашали идеалисты Французской революціи. «Мир сильным, война слабым» — таковы не лозунги, но принципы современного революціоннаго макіавеллизма.

И тѣм не менѣе, несмотря на всѣ благопріятныя условія для империалистической агрессии, Совѣтская Россія, с 1920 по 1939 год, отличалась безспорным миролюбіем. Россія непрестанно ковала оружіе, она подчинила военным задачам всю свою хозяйственную жизнь, истребила в голодовках миллионы своего населенія, но оружія не обнажала. 1920 год, показавшій военную слабость Красной Арміи, тогда еще слишком юной, не был забыт. Несмотря на обиды, нанесенныя Россіи Польшей, Румыніей — сравнительно слабыми ея сосѣдями, она не рѣшалась на реванш. Конечно, она выжидала новой міровой войны, когда возможно будет свести всѣ счеы со старым міром. Москва страстно ждала этой войны, в то же время боялась, чтобы первый удар с Запада не поразил ея. Отсюда всѣ ея усилія остаться в сторонѣ от конфликта. Сначала отсрочить его (женевскій — Литвиновскій період), потом выйти сухой из воды, хотя бы в качествѣ союзника Гитлера. Это говорит о чрезвычайной осторожности кремлевских вождей. Они легко играют с оружіем, любят грозить, но не любят риска. Они хотят играть навѣрняка (в 1939-40 годах им показалось, что время безпроигрышной игры наступило; в этом, правда, они жестоко ошиблись).

В осторожности и медлительности Москвы есть много общаго с политикой Петербурга («сѣверный медвѣдь»). Агрессивный или оборонительный характер ея зависит всецѣло от силы или слабости сопротивленія. Пока мощная Германія и Японія стерегли совѣтскіе рубежи, СССР не рѣшался

на войну по своему почину. Поражение Германии и Японии неизбежно открывает двери русской экспансии. Никакие естественные или национальные границы не остановят этой экспансии, пока она не встретит новой силы, замещающей давление старых империй. Но, встретив эту силу, она, возможно, с большой легкостью войдет в свои берега. В противоположность Германии, ее экспансия не слишком дерзка и не знает жестов отчаяния. Героическая оборона Сталинграда и Ленинский Брест-Литовск — оба вмещаются в линию одной и той же большевистской игры: всегда трезвой и чуждой самоубийственного мистицизма германских нибелунгов.

Встретив устойчивые границы и военную силу, стоящую на страже их, Россия, по всей вероятности, вернется к задачам внутреннего строительства, среди которых организация армии и вооружение ее будет занимать по-прежнему первое место.

Если же этого не произойдет, если крушение Германии и Японии оставит после себя хаос и безвластие на обоих окраинах России, то для ее экспансии открываются широкие перспективы. Следующий вопрос, встающий перед нами, это именно вопрос о возможных направлениях этой экспансии: на Запад или на Восток?

Почему вопрос ставится в форме дилеммы, это тоже вытекает из всей русской истории. При чудовищности расстояния между германским и китайским рубежами Россия не может вести одновременно войны на западе и на востоке и, следовательно, не может вести одинаково активной политики в Европе и в Азии. Она должна выбирать.

Представим себе, что она выбирает Запад, на что как будто указывают уже аннексии 1939-40 годов. При идеократическом строе СССР всякие аннексии возможны только в виде полной советизации по русскому образцу. Оставляя в неприкосновенности язык и национальную внешность культуры, Москва добивается полной унификации своих провинций — республик. Никакая финляндская конституция не мыслима в новом советском самодержавии. Вдумаемся конкретно, что означала бы при таких условиях советизация Германии или Франции. Коммунистические революции в этих странах после войны вполне возможны. Естественна была бы и тяга их коммунистических правительств к соединению с Москвой. С точки зрения национально-русской, аннексия Германии или Франции, конечно, абсурд. Но при гипотезе коммунистической экспан-

си, в Москвѣ многіе ощущали бы соблазн расширения СССР на всю Европу. Мечта Ленина, наконец, была бы осуществлена.

Может быть, для Ленина эта мечта и была бы осуществимой. Она не осуществима для Сталина с его концепціей коммунизма как абсолютнаго самодержавія. Что понадобилось бы для превращенія, напримѣр, Франціи в совѣтскую республику? Отрицательная часть программы хорошо известна. Разстрѣлять нѣсколько милліонов буржуазіи и интеллигенціи, выдержать огромное множество людей в тюрьмах и лагерях, это вполне мыслимая вещь. Но положительная часть — перевоспитаніе масс — встрѣтит огромныя препятствія. Начала личной свободы, как и личной собственности, во Франціи уходят в глубину вѣков. Буржуазный дух (в обоих смыслах) пропитывает глубоко и крестьянство и рабочій класс. В Москвѣ это знают и потому глубоко презирают западный пролетаріат. На кого же, на какую «бѣдноту» будет опираться Марат новой Франціи в дѣлѣ созданія новой расы рабов? Как ни велико могущество государственнаго насилія (мы то теперь это слишком хорошо знаем), оно нуждается в чем-то другом: в отвѣтном энтузіазмѣ меньшинства — по крайней мѣрѣ. В Россіи новое самодержавіе удалось потому, что оно пришло на смѣну старому. В Россіи коммунизм строят внуки крѣпостных рабов и дѣти отцов, которые сами пороли себя в волостных судах. Это необходимое условіе успѣха. Какой пролетарій во Франціи добровольно вернется в крѣпостной серваж?

В Германіи, гдѣ Гитлер расчистил наполовину дорогу коммунизму, другія трудности. Уровень ея технической культуры настолько превышает русскій, что ея спецы, военные и гражданскіе, в общем коммунистическом отечествѣ должны будут занять первыя мѣста. При необыкновенной способности Германіи к организации, ея коммунисты (вчерашніе наци) примутся за организацию СССР. Это было бы настоящим реваншем побѣжденных. Колонизація Россіи, предположенная Гитлером, осуществилась бы в формѣ иной идеологии. Эту опасность тоже должны понимать в Москвѣ, гдѣ к тому же горячая ненависть к врагу не позволит признать его «товарищем». Мечь, вѣроятно, слаще строительства мірового рабства.

Иное дѣло — восточная Европа. Мелкіе народы, особенно славянскіе, воспитанные в вѣковом турецком или мадыарском

гнетъ, представляют прекрасный матеріал для коммунизма. Буржуазія немногочисленна и легко может быть истреблена. Интеллигенція в значительной части теперь не окажет сопротивления — в Россіи видят освободительницу, — крестьянство потеряет не много. По всей видимости, Югославіи эта участь уже готовится. Коммунистическое панславянское движеніе как будто говорит об общей судьбѣ, ожидающей славянскіе народы. Едва ли для Румыніи будет сдѣлано исключеніе. В ожиданіи будущаго, скромная Молдавская автономная республика, входившая в состав Украины, теперь, расширенная Бессарабіей, стала республикой федеративной. Для совѣтской Румыніи уже готовы административныя рамки. Зато славянскія страны западной культурной традиціи, Чехословакія и Польша, представляют трудности того же порядка, что и Франція. В Польшѣ Москва еще может надѣяться на исконную классовую рознь между шляхтой и крестьянством. Но необычайная сила польскаго національнаго чувства, опыт царской Россіи, не сумѣвшей справиться с ним, как будто должны предостеречь от новаго поглощенія Польши.

Государства, которыя не войдут в состав СССР, могут сдѣлаться его вассалами. Чехословакія уже как будто примирилась заранѣе с этим положеніем. Москвѣ выгоднѣе имѣть послушнаго сосѣда, чѣм подданнаго-саботажника. За линіей вассалов начинается область народов чуждых и враждебных. Запад и сѣвер Европы не годятся для коммунизма. Они должны быть обезврежены, ослаблены, минированы внутри классовою борьбой и вовнѣ международным соперничеством. Здѣсь братскія коммунистическія партіи могут продолжать свою почтенную роль — пятой колонны Москвы.

Такова была бы политика Москвы, если бы она пожелала руководиться національными интересами в их грубом и агрессивном пониманіи. Если же правы сторонники коммунистической гипотезы (Сталин ученик Ленина), то попытка полной совѣтизации Европы, послѣ первых удач, может привести к разложенію Россіи. СССР является живым и жизненным как продолженіе Россіи. СССР, включившій всю Европу, перестает быть Россіей. Он вбирает в себя такія центробѣжныя силы, которыя должны будут привести к его распаду.

Иной характер имѣет экспансія на Восток. Революціонизировать Восток — материк угнетенных рас — чтобы бросить его, вмѣстѣ с пролетаріатом, на разрушеніе западнаго капитализма — было одной из любимых идей Ленина. Но в его

схемѣ Восток играл 'служебную роль. Позже соотношение перемѣнилось. Опыт насажденія коммунизма среди азиатских народов самой Россіи оказался очень удачен. В общем, восточные народы принимают совѣтскую культуру с 'гораздо большей легкостью, чѣм массы русскаго народа. Они никогда не знали свободы. Абсолютная власть и даже ея террористическіе методы кажутся им вполне естественными. Они легко принимали и старую русскую власть в эпоху завоеваній. Теперь же Москва несет им нѣчто весьма привлекательное: опьяняющее чувство національнаго и расоваго равенства с бѣлым человечеством и легкое пріобщеніе к современной технической цивилизаціи. Через совѣтскую политику неподвижно спавшія массы Востока впервые проснулись, увидѣли свѣтъ, получили книгу, пріобшились через нее к міровой культурѣ. Восток — это единственное мѣсто, куда совѣтская культура несет с собой нѣчто прогрессивное.

Осуществляется даже нѣкоторое подлинное — не политическое — освобожденіе: женщины ст власти мужа, рабочаго чловѣка от власти родовых старѣйшин, беков или ханов. Правда, одновременно происходит убійство старых традицій, уклада жизни, нравственных понятій, прежде всего религіи. Это по необходимости повлечет за собой оскудѣніе національных культур, которыя, утратив живописность фольклора и глубину духовной жизни, получают взаменъ лишь механическіе продукты цивилизаціи. Но до этого еще далеко. Пока Восток живет старыми запасами духовных сил, пробужденных к новой активности.

Народы тѣх же культур, часто тѣх же рас и языков, живут и за восточными рубежами Россіи. И среди них пропаганда коммунизма в его восточном изданіи — как национально-расоваго освобожденія — находила всегда благодарную почву. Здѣсь коммунистическій агитатор идет по слѣдам царскаго дипломата. Скрытая экспансія Россіи в Персіи, Монголіи, Китаѣ продолжается с большим успѣхом СССР. Монголія почти совсѣм совѣтская республика. Сѣверо-западные провинціи Китая сильно обрусѣли. Глубокое проникновеніе в Китай было остановлено только Японіей и национальным сопротивленіем Чан-Кай-Шека. Как и на Западѣ, русская экспансія останавливается перед угрозой настоящей, рискованной войны.

Возможный разгром Японіи открывает новыя перспективы. Уход англичан из Индіи, которая не в силах защищать

себя и даже не нашла своего національного единства, дѣлает вполнѣ реальной фантастическую сказку русской Индіи. Огромныя пустыни средней Азіи естественно продолжают русско-евразійскія пространства и не представляют для русской экспансіи никаких преград, кромѣ чисто технических.

Единственно серьезная сила в Азіи (послѣ гибели Японіи) это Китай. Но Китаю понадобится не мало лѣтъ, чтобы организовать свои огромныя возможности.

Что отличает восточную экспансію Россіи, это присутствіе в ней положительных и безкорыстных мотивов. Современная Россія любит Восток, увлекается им и хочет содѣйствовать его освобожденію. Для нея это не почва для насажденія своей русской культуры, не «жизненное пространство» для вытѣсненія чужих, низших рас. Это естественное расширеніе своего организма, не за счет иных, а в сліяніи с ними. Братаніе с народами Востока происходит на каждом шагу, в каждой политической и культурной демонстраціи совѣтской Россіи. В Россіи представителям меньшинств отводятся всюду почетныя мѣста. А меньшинства в Россіи почти всѣ на Востокѣ.

Какая огромная разница в отношеніи к Западу! Запад силен и опасен. От него СССР отгородился глухой стѣной. Двадцать пять лѣтъ стѣна раздѣляет новыя русскія поколѣнія от Западной Европы. Путешествіе туда для рядового гражданина невозможно. Общеніе с иностранцами опасно. Опасна даже переписка с заграницей. Двадцать цять лѣтъ печать окутывает Запад густым покровом лжи. Там капитализм и фашизм, там голод и вѣчная эксплуатація. Давно уже ничего не осталось от свободы. Над этим разлагающимся варварством СССР возвышается, как страна культуры и свободы. Вѣроятно, массы вѣрят в этот миф. У них нѣтъ других источников освѣдомленія. Этот миф к тому же тѣшит их молодую національную гордость. Запад перестал быть «страной святых чудес», мѣстом паломничеств, второй родиной. Он стал дантовским адом. Только далекая Америка, страна технических чудес, вызывает вниманіе и сочувствіе. Но в Америкѣ ищут лишь второе издание совѣтской Россіи.

Иное дѣло Восток. Чтобы видѣть его, нѣтъ надобности хлопотать о паспортѣ. Достаточно поѣхать в заволжскія губерніи (виноват, республики). Туркестан стал поэтической землей совѣтских писателей и художников — тѣм же, чѣм был Кавказ в эпоху романтизма. Никогда еще в Россіи так не

изучали Восток, научно и художественно, основательно и любовно. Востоку прощают и его средневековыя суевѣрія и варварскіе пережитки. Он не чужой, а свой. Он самое прекрасное, что есть в Россіи.

Быть может, не случайно, что во главѣ Россіи стоит не русскій, а кавказец. Марксизм не убил в нем національнаго грузинскаго чувства. Свои личные вкусы и національныя пристрастія он в силах навязать всей Россіи: грузинскую поэзію, грузинскую оперу. Не случайно, что учебники русской исторіи начинают ее с Урарту (Ванскаго царства), и отмѣчает судьбу Тифлиса при монгольском завоеваніи.

Сталин сам типичный человѣкъ Востока, который чувствовал бы себя не плохо на тронѣ персидских шахов или преемников Чингисхана. Он почти не бывал в Европѣ, явно не любит ея, презирует ея революціонное движеніе, даже ея коммунистическія партіи. Сейчас его Россія ведет свою вторую отечественную войну и, может быть, объективно, спасает Европу от германскаго завоеванія. Но можно ли представить себѣ Сталина новым Александром, освободителем и организатором Европы? Для Александра Европа была настоящей родиной (чужой была Россія). Александр читал даже Евангеліе по-французски. Для него спасеніе Европы было своим, насущным дѣлом. Но то же самое и для его преемников, даже для Николая I, даже для двух послѣдних славянофильствующих царей. Никто из них не мог представить себѣ Россіи внѣ круга европейских народов. Дѣло Петра Великаго оспариванію не подлежало.

Революція с этим покончила. Сталин не станет плакать о гибели Европы. Напротив, гибель, или упадок Европы, сняли бы с него тяжелое бремя тревоги, развязали бы руки для иного, куда болѣе интереснаго дѣла — на Востокѣ. Конечно, политика дѣло извилистое. Война с Германіей вовлекает Россію в цѣлый ряд европейских проблем. Так как русская экспансія ищет мѣста наименьшаго сопротивленія, то и западное направленіе ея нельзя считать исключенным. В своем развитіи она может снова перевернуть сложившееся в СССР равновѣсіе сил. Уже Балтійскія республики с Галиціей представляют для СССР серьезную политическую проблему. Но такая, какой она является сейчас, Россія мало заинтересована в судьбах Запада. Вѣрнѣе, заинтересована отрицательно. По существу, ея политика на Западѣ оборонительная, что не мѣшает ей быть во многих случаях разрушительной. Так древніе гер-

манцы, по Тациту, видѣли самую надежную защиту своих границ в пустых пространствах, их окружающих. На Востокъ Россія готова к иной экспансіи — завоевательной, агрессивной и в то же время культурно-творческой.

Это подводит нас к четвертой, послѣдней загадкѣ Россіи — уже не столько политической, сколько культурной и духовной. Что такое теперь сама Россія — с точки зрѣнія вѣчной тяжбы Запада и Востока. Россія родилась на свѣт со своей особой, греческо-византійско-славянской, темой, поставленная исторіей между христіанским Западом — и магометанским Востоком. В Кіевское время она дышала легко и свободно обоими легкими, не измѣняя себѣ и участвуя в культурном общеніи с Западом и Востоком. Ея дальнѣйшая исторія есть колебаніе между двумя мірами. В Москвѣ она создает восточное царство, наглухо отрѣзав себя от Запада. В Петербургѣ она возвращается на Запад не без забвенія своей собственной исторической темы, которую она мучительно ищет и находит в серединѣ 19 вѣка. Революція снова бросает ее на Восток. Падают даже та преграда от него, которая в старой Москвѣ дана была православной вѣрой. Сейчас измѣна Россіи ея исторической — греческой и христіанской — миссии очевиднѣе, чѣм когда-либо в эпоху московских и петербургских ея блужданій.

Сотни тысяч людей западнаго воспитанія, отчасти и крови, убиты или выброшены вон из Россіи. На смѣну им Восток шлет своих пробудившихся сынов, которые занимают все новыя культурныя позиціи. Сам русскій человекъ глубоко мѣняется — психологически и даже физически. В его сложном, славяно-восточном типѣ все больше проступают монгольскія черты. Достаточно взглянуть на лица красноармейцев, на портреты военных вождей. Конечно, перемѣна в русском типѣ, прежде всего, духовнаго порядка. Погасъ религіозный свѣт, который нѣкогда одухотворялъ и некрасивое русское лицо. Выросло поколѣніе, которое никогда не молилось, никогда не думало о вѣчности. Занятое звѣриной борьбой за существованіе, в лучшем случаѣ вопросами политики и материалистической науки, привыкшее считать злобу и безжалостность за добродѣтель воина и революціонера, это поколѣніе страшно огрубѣло. Преобладаніе физической природы сказалось внѣшне монголизацией. Для этого поколѣнія Восток — не Индія и Китай с их древними утонченными культурами — а ближній туранскій Восток оказывается своим, родным, болѣе

притягательным даже, чѣм великорусскій, почти вымершій фольклор.

И здѣсь Блок оказался пророком. В своих «Скифах» он дал новый образ Россіи, уже не славянской, а евразійской. Он вѣрно уловил отличіе русско-скифскаго типа от монгольскаго. Ложь его поэмы в другом. Идея скифов, открывающих путь монголам для разрушенія Европы, не соотвѣтствует никакой реальности. Въ Россіи уже нѣтъ никаких монголов, способных грозить христіанскому Западу. Всѣ боеспособные монголы — в рядах Красной Арміи.

Тенденція этого развитія явно указывают на перерождение русскаго національнаго сознанія в евразійское. Может быть, на наших глазах возникает новая нація, связанная с русским языком и территоріей, но столь же отличная от нея, как Византія от классической Греціи. Однако, этого может и не случиться. Рѣзкій оборот русскаго колеса на 90 градусов к Востоку еще может выпрямиться. Это зависит прежде всего от работы подсознательных духовных сил, дѣйствующих в самой Россіи, но зависит также, не в малой степени, и от Запада.

Сумѣет ли Запад заградиться (с очень малым напряженіем) от русской (не очень энергичной) экспансіи в Восточной Европѣ? Сумѣет ли он сам рѣшить свои собственныя — соціальныя и національныя проблемы, и, собрав во-едино свои, еще не малыя, духовныя силы, повѣрив опять в свою тысячелѣтнюю правду, начать новый культурный расцвѣтъ? Если да, то для него открыта возможность дружеских взаимоотношеній с Россіей, обмѣна культурными цѣнностями, которыя мало-по-малу способны будут преодолѣть русскій суевѣрный страх перед Западом и вывести Россію из ея вольной изоляціи. Тогда, видя, как Запад рѣшает свою соціальную проблему без попраиія личности и свободы, может быть, пошатнулась бы и русская вѣра в спасительность самодержавія. Открылись бы пути для эволюціи совѣтскаго строя в направленіи к новым формам демократіи.

Если же нѣтъ, если Европа не в состояніи преодолѣть своего хаоса или малодушія, тогда будущее ея мрачно. В гражданских и національных войнах она быстро скатывается к своему упадку и становится окраиной материковой Евразійской Имперіи.

Г. Федотов.

ВОЙНА И РЕЛИГИЯ В СОВѢТСКОЙ РОССИИ

Лѣтом 1942 года, в Москвѣ вышла книга под заглавіем «Правда о религіи в Россіи». Книга эта, заключающая в себѣ 457 страниц и богато иллюстрированная, напечатана в количествѣ 50,000 экземпляров; издана она редакціонной коллегіей под предсѣдательством митрополита Николая Кіевскаго и Галицкаго и официально освящена предисловіем митрополита Сергія, Мѣстоблюстителя московскаго патріаршаго престола, равно как помѣткой «Московская Патріархія» на заглавном листѣ.

Замѣчателен самый факт выхода книги: начиная с 1927 года, в Россіи невозможно было даже перепечатывать Библию, и лишь изрѣдка выходили тоненькія тетрадки Вѣстника Московской Патріархіи. И вдруг, роскошно изданная книга, рассчитанная на широкое распространеніе и, между прочим, присланная в Соединенные Штаты для перевода на англійскій язык. Ясно, религія понадобилась совѣтскому правительству.

Почему понадобилась? Не потѣму, конечно, что правительство отступило от своих безбожных позицій; оно не отступило и вряд ли отступит. Но потому, что за время войны оно окончательно убѣдилось в том, что в Россіи религія продолжает быть мощной социальной силой, способной сыграть существенную роль в титанической борьбѣ. Такую силу желательно было завербовать в союзники и во всяком случаѣ необходимо было вырвать из числа возможных пособников врага. Пришлось правительству окончательно убѣдиться и в том, что в союзных с Россіей демократіях, отношеніе общественнаго мнѣнія к полной и безоговорочной помощи Россіи в значительной мѣрѣ зависит от представленій об истинном положеніи религіи в Россіи.

Факты эти не были новыми для правительства: событія военнаго періода только подтвердили то, что в Кремлѣ было осознано в період лихорадочной подготовки к войнѣ. Поэтому, чтобы получить правильное представленіе о том, что произошло в Россіи с религіей за время войны, нужно отойти назад и установить нѣкоторую историческую перспективу.

Утвержденіе в Россіи коммунистической власти со внут-

ренней необходимостью вызвало конфликт между двумя вѣрами: православіем, которое в теченіе почти тысячи лѣтъ служило стержнем русской культуры, и воинствующим безбожіем новых правителей. Активная роль в конфликтѣ естественно выпала на долю коммунистической власти, и конфликт тѣм самым вылился в форму религиозных гоненій. Гоненія эти не прерывались в теченіе долгих лѣтъ. Трижды, в 1922-3, 1928-9 и 1937-8 годах, власть прибѣгала к мѣрам прямого насилія, заключая в тюрьмы, или ссылая, или разстрѣливая епископов, священников и активных мірян, силою закрывая церкви, оскверняя мощи и иконы. В остальные годы были примѣнены менѣ насильственные, но все же весьма энергичныя мѣры воздѣйствія. Церкви были лишены права владѣть какой бы то ни было собственностью; их служители были объявлены «нетрудящимися» и лишены возможности существовать в человѣческих условіях; церковно активныя міряне фактически не принимались на службу или работу в государственных учрежденіях и предпріятіях, что было тѣм существеннѣе, что все в странѣ было націонализировано, т. е. сдѣлано казенным; религиозное преподаваніе было запрещено, равно как и всѣ способы религиозной пропаганды внѣ церковных зданій; церквам было запрещено вести какую бы то ни было культурную или благотворительную работу. И вмѣстѣ с тѣм государство взяло на себя организацію, в грандіозном масштабѣ, антирелигиозной пропаганды, для чего был создан Союз Воинствующих Безбожников.

Для уясненія событій «на религиозном фронтѣ» за время войны, достаточно взять за исходную точку тот період относительной мягкости, каким были 1934-36 годы. За эти годы были упразднены такіе приемы антирелигиозной пропаганды, как анти-рождественскіе и анти-пасхальные карнавалы; была восстановлена продажа обручальных колец, равно как продуктов, необходимых для приготовленія куличей и пасок; было разрѣшено имѣть рождественское дерево, хотя и под названіем новогодняго. По сталинской конституціи, духовенство, вмѣстѣ с другими лишенцами, было восстановлено в политических правах; нѣсколько ранѣе, его дѣти, опять таки наряду с дѣтьми других лишенцев, получили доступ к среднему и высшему образованію. Культ національных героев, начавшійся с Петра Великаго, постепенно распространился и на тѣх дѣятелей, которых церковь признала святыми, в особенности на Владимира Святого и на Александра Невскаго. Но не спеці-

ально религіи дѣлались уступки, и антирелигіозная пропаганда не обнаруживала тенденціи к смягченію. Уступки дѣлались в видѣ составной части общей политики сближенія с отвергнутым было національным прошлым, в угоду національному чувству, в коем, в предвидѣніи войны, считавшейся весьма вѣроятной со времени польско-германскаго пакта (январь 1934 года), явилась потребность.

Во второй половинѣ 1937 года, полоса относительной мягкости оборвалась и уступила мѣсто жестокому приступу гоненій. Этот приступ слѣдует поставить в связь с обнаруженіем властью факта, о котором до того догадывались многіе. Несмотря на гоненія, вѣра в Россіи не погибла. Потеряв всѣх тѣх, кто принадлежал к ней только по паспорту, вѣра крѣпко сплотила тѣх, кто и раньше видѣл в ней величайшую цѣнность, равно как вновь к ней обращенных страданьями революціонной эпохи и кровью новых мучеников. Обнаружился этот факт при слѣдующих обстоятельствах.

6-го января 1937 года в Россіи была произведена перепись населенія, и один из вопросов касался религіозных убѣжденій. Затѣвая перепись, коммунистическая власть громогласно заявила, что перепись покажет гигантскіе успѣхи безбожія. Но прошло нѣсколько мѣсяцев, и вдруг было об'явлено, что перепись была искажена злостными контр-революціонерами, так что ея результаты не могут быть опубликованы. Когда, 17-го января 1939 года, была произведена новая перепись, вопроса о религіи поставлено не было; из этого с несомнѣнностью вытекает, что именно по вопросу о религіи произошло расхожденіе между ожиданьями власти и дѣйствительностью.

Гораздо раньше, еще в концѣ 1937 году, глава союза безбожников заявил, что отказалось от религіи двѣ трети взрослого городскаго и одна треть взрослого сельскаго населенія. Так как в настоящее время сельское населеніе Россіи составляет двѣ трети всего населенія, то из слов Ярославскаго можно вывести, что болѣе половины взрослого населенія сохранило вѣру. Есть всѣ основанія полагать, что Ярославскій воспользовался неопубликованными результатами переписи: около того же времени власть имущіе сдѣлали много выраженных в цифрах разных заявленій, иногда ссылаясь, иногда не ссылаясь на перепись.

Неожиданный для власти факт выживанія вѣры был тѣм тревожнѣе, что предстояли первые выборы в Верховный Совѣт по Сталинской конституціи. Как ни крѣпко держала власть в

руках всё нити избирательной кампании, все же явно проскользнуло опасение, как бы церковь, эта единственная сохранившаяся от прошлого сила, не провела неожиданный маневр и не внесла недопустимый для диктатуры разноты. В результате для церкви настали времена, едва ли не худшие за весь период ее жизни под Советской властью.

Новый приступ гонений оборвался так же внезапно, как начался. Случилось это поздней осенью 1938 года, когда советское правительство сознало крушение политики коллективной безопасности и вновь ощутило не только неизбежность, но даже близость войны, которую оно надлежало было предотвратить. Незаведомо в какой именно день, но не позднее половины декабря 1939 года, советское правительство (понимая под ним не совет народных комиссаров, а Сталина и его окружение) приняло «историческое решение», которое осталось неопубликованным, но отразилось во множестве последующих актов: было решено, что на данном отрезке истории разстановка классовых сил требует решительного смягчения антирелигиозной политики. Было создано соединенное заседание центрального комитета союза воюющих воинствующих безбожников и института истории Академии Наук, на котором были приняты тезисы профессора Рановича. Согласно тезисам, ошибочно полагать, будто христианство всегда и неизбежно враждебно прогрессу; в отличие от других религий, христианство может играть и прогрессивную роль, так как оно проповедует «культ абстрактного человека».

С января 1939 года, можно говорить о «новой религиозной политике», при которой насильственные приемы борьбы против религии больше не допускаются, и центр тяжести переносится на антирелигиозное воспитание в школе и на массовую антирелигиозную пропаганду, которая, однако, должна вестись в значительно более приличных тонах, нежели имело место в прежние годы. По иронии судьбы, надзор за недопущением административного нажима на религию был возложен на союз воинствующих безбожников. Постепенно было сделано несколько маленьких уступок, в ряде разрешений казенным мастерским реставрировать старья иконы, а казенным лавкам продавать лампадное масло. Было разъяснено, что не следует бороться против желания населения давать детям христианские имена. Летом 1939 года, в «Безбожник» появилось весьма почтительное интервью с грузинским патриархом Каллистратом. А когда в июне 1940 года пришлось вернуться к семи-

дневной недѣлѣ, отмѣненной было в 1929 году, то официальным днем отдыха опять было сдѣлано воскресенье, с прямой ссылкой на то, что только этот день приемлем для деревни.

Новая религиозная политика, проявившаяся в таких актах, была тѣм необходимѣе, что, по свѣдѣніям, приходившим из заграницы, в предстоящем походѣ на Россію Гитлер рѣшил сдѣлать ставку на недовольство широких масс русскаго населенія антирелигиозной политикой власти и придать ему характер «крестоваго похода».

Наличность таких намѣреній легко было вывести из демонстративных актов Гитлера по адресу русской православной церкви за рубежом. На его личныя средства был отстроен православный собор в Берлинѣ, а на ремонт 19 православных церквей в Германіи были отпущены средства из государственнаго казначейства. Сдѣлано это было правителем, который не постѣснялся вступить в конфликт и с католической, и с протестантской церковью на почвѣ своего стремленія «включить» эти церкви в состав тоталитарнаго государства. Различіе было слишком разительно, чтобы не быть подчеркнутым и подхваченным заинтересованными силами.

В числѣ этих сил оказался и заграничный синод русских епископов в Бѣлградѣ. Еще в 1938 году, его глава, митрополит Анастасій, объявил Гитлера борцом за христіанство. Благодарность не преминула послѣдовать: вслѣд за побѣдоносным шествіем германских армій, во всяком случаѣ до 1941 года, расширялась и юрисдикція заграничнаго синода. Митрополит Діонисій варшавскій, глава польской автокефальной церкви, был низложен и возстановлен в правах только послѣ признанія над собою верховенства архіепископа берлинскаго Серафима (Ладе), входящаго в бѣлградскую группу. В Чехословакіи и западной Европѣ, приходы, подчинявшіеся митрополиту Евлогію, чуждому бѣлградской политикѣ, были «перевключены» в юрисдикцію синода. Самого митрополита, видимо, не тронули, но реальной власти в церкви он несомнѣнно лишился.

Вторгаясь в Россію, Гитлер как будто исполнил свое обѣщанье: на весь мір он заявил, что его поход — это новый крестовый поход. В самом ли дѣлѣ рассчитывал Гитлер, что такое заявленіе благопріятно повліяет на отношеніе к нему папскаго престола и англо-саксонских демократій? Об этом скажут будущіе историки. Но на симпатію и помощь части русскаго народа он несомнѣнно надѣялся. Этот факт слѣдует сопоставить с тѣм, что, начиная с 1939 года, и совѣтское

правительство искало примирения с той же частью народа. Таким образом, вооруженная борьба осложнилась соперничеством за расположение русского православного народа, соперничеством, которое разыгралось между двумя антирелигиозными политическими силами, коммунизмом и национал-социализмом. Самый факт соперничества свидетельствует о том, что борющиеся силы в одном были между собой согласны: оба признавали, что в спорѣ есть и третья сила — сохранивший вѣру русский народ.

Неожиданно стойкое и единодушное сопротивление России не позволило Гитлеру примѣнить к занятым на востокѣ областям один из болѣе мягких вариантов его оккупационной политики, что требовалось фикцией крестового похода. «Крестоносцы» приступили к физическому истреблению русского народа и систематическому уничтоженію памятников русской культуры, в том числѣ русских святых. От всей программы крестового похода уцѣлѣло только то, что в занятых нѣмцами областях России было насаждено нѣсколько православных іерархій, сочувственно относящихся к завоевателю. Под власть митрополита Діонисія варшавскаго, поставленнаго в зависимость от Серафима берлинскаго, отдана православная Церковь в Галиціи, которая, как извѣстно, включена в польское «генерал-губернаторство». В Минскѣ учреждена бѣлорусская митрополія, коей подчинен епископ из Вильнѣ; о каноническом положеніи этой митрополіи ничего неизвѣстно. На Украинѣ, за вычетом Галиціи, произошел раскол. Архіепископ Алексій Волынской, подчинявшійся Сергію между сентябрем 1939 года и іюнем 1941 года, послѣ прихода нѣмцев созвал синод в Почаевской лаврѣ и попытался организовать церковь российской оріентаціи, но не всѣ епископы за ним послѣдовали. В то же время, с благословенія какого-то «украинскаго землячества», епископ Поликарп Владимиро-Волынской провозгласил себя архіепископом Луцким, главой автокефальной украинской церкви. В Киевѣ, неизвѣстно кѣм, посвящен в епископы Стефан Скрыпник, принявшій имя Мстислава. Между этими епископами началась борьба, осложненная еще тѣм, что и митрополит Діонисій пред'явил свои претензіи на возглавленіе православной церкви на Украинѣ, хотя бы предѣлах до польской границы 1939 года.

В началѣ 1942 года, надо думать, не без нѣмецкаго давленія, Алексій перемѣнил оріентацію. Он стал обличать «безбожных большевиков» и стал заявлять, что «Господь

послал нам милость и свободу, принесенную великим вождем германскаго народа». Это однако не привело к примиренію, так как и Алексій, и Поликарп претендовали на главенство. Вражда достигла такой степени, что нѣмцы сочли нужным вмѣшаться. 4-го мая 1942 года, под их эгидой, состоялось совѣщаніе возглавителей украинской автокефаліи. Нѣмцы не потребовали слиянія, но запретили дальнѣшія публичныя разногласія. При этом они проявили свое истинное лицо: іерархам было предписано прекратить побои с вѣрующих (это — точное воспроизведеніе совѣтскаго декрета 8-го апрѣля 1929 года), а также прекратить преподаваніе Закона Божія внѣ церковной ограды: о преподаваніи Закона Божія в школах нѣмцы обѣщали «позаботиться» сами, через поставленных ими свѣтских преподавателей, и очевидно в желательном духѣ.

Весьма существенно было бы знать, как относятся к происходящему вѣрующіе. К сожалѣнію, на этот счет имѣются лишь отрывочныя данныя. 1-го іюля 1942 года, в выходящей в Прагѣ украинской газетѣ, нѣкій архимандрит Корнейчук заявил, что масса вѣрующих стоит совершенно в сторонѣ от событій; в частности, в украинизаціи церкви заинтересована только одна интеллигенція. Кажется, только один раз попало в телеграммы из Стокгольма сообщеніе об открытіи нѣмцами церкви, гдѣ-то под Смоленском. А глухія сообщенія о дѣятельности анти-совѣтских іерархов в оккупированных областях сопровождаются заявленіями, что успѣх покровительствуемаго нѣмцами духовенства далек от ожиданій. Показательно отсутствіе сообщеній с нѣмецкой стороны: если бы успѣх был, нѣмцы, конечно, трубили бы о нем на весь мір, ибо это означало бы, что в западной Россіи им удалось то, что не удалось нигдѣ: примиреніе завоеваннаго народа с завоевателем. Насколько можно судить, народ так же провалил затѣю союзной с нѣмцами церкви, как провалил он в свое время большевицкую затѣю с Живой Церковью; видимо, в обоих случаях соблазнились нѣкоторые епископы и священники, но не пошел за ними церковный народ.

Нѣтъ извѣстій и о том, в какой мѣрѣ удовлетворен происходящим заграничный синод. Извѣстно однако, что 16-го іюня 1942 года он возвел Серафима Берлинскаго в званіе митрополита средне-европейскаго, с подчиненіем ему православных церквей в Германіи, Бельгіи, Люксембургѣ, Даніи, Богемо-Моравском протекторатѣ и Словакіи. Умолчаніе о польском генерал-губернаторствѣ и минской митрополіи за-

ставляет предположить, что в какой то момент Діонисій был вновь из'ят из подчиненія Серафиму, и что минскій митрополит также стоит особняком. Если, как передают, бѣлградскій синод льстил себя надеждой на восстановление из за рубежа російской патріархіи при помощи нѣмцев, то этим мечтам не суждено было сбыться.

Что же произошло по другую сторону фронта? Митрополит Сергій в первый же день войны опубликовал посланіе, в котором призывал вѣрующих внести в общій подвиг свою долю. «Православная наша Церковь, писал он, всегда раздѣляла судьбу народа. Вмѣстѣ с ним она и испытанія несла, и утѣшалась его успѣхами. Не оставит она своего народа и теперь. Благословляет она небесным благословеніем и предстоящій всенародный подвиг». Предвидя пристальное и подозрительное вниманіе к возможным шагам церковных дѣятелей со стороны власти, митрополит продолжал: «Нам, пастырям церкви, в такое время недостойно будет лишь молчаливо поглядывать на то, что кругом дѣлается. А если молчаливость пастыря объясняется еще и лукавыми соображеніями на счет возможных выгод на той сторонѣ границы, то это будет прямая измѣна родинѣ и своему пастырскому долгу». И кончил он свое посланіе словами: «Церковь Христова благословляет всѣх православных на защиту священных границ нашей родины».

Совѣтское правительство позволило придать этому посланію широкую гласность. Оно было неоднократно прочитано с амвона, и в печатной формѣ было выставлено в церквах на видных мѣстах, в назиданіе вѣрующим. 26-го іюня, в Богоявленском кафедральном соборѣ, в Елоховѣ, состоялось торжественное богослуженіе, на котором, в присутствіи 12,000 человек, митрополит Сергій произнес горячую проповѣдь, с призывом не пощадить ничего для обороны. Еще через нѣскольکو дней в «Безбожникѣ» было заявлено, что не слѣдует умалять значенія призывов церкви к борьбѣ против фашизма. Это было одним из послѣдних заявленій, появившихся в органѣ союза воинствующих безбожников, ибо в концѣ сентября 1941 года его изданіе было пріостановлено, «из-за недостатка бумаги». В началѣ октября, та же судьба постигла ежемѣсячник союза, «Антирелигіозник»; имѣтса данныя, что вообще печатанье антирелигіозной литературы прекращено. Закрылись антирелигіозные музеи, которые, по словам иностранных корреспондентов, за послѣдніе годы очень плохо посѣ-

щались. Со слов митрополита Сергія мы знаем, что в настоящее время совѣтское правительство благосклонно относится к ходатайствам о пониженіи налогов, падающих на религиозныя общества.

Еще 22-го августа 1941 года, московское радио обратилось с призывом к богобоязненным жителям оккупированных нѣмцами земель — возстать на защиту своей религиозной свободы; націонал-соціализму было брошено обвиненіе в том, что он угрожает самому существованію христіанства и стремится замѣнить его своим «мифом двадцатаго столѣтія». По мѣрѣ развитія перваго зимняго наступленія красной арміи (дек. 1941 г. — февр. 1942 г.), в совѣтской печати стали появляться негодующія статьи о вандализмѣ германских армій, оскверняющих и мѣстами разрушающих русскія святыни. В Куйбышевѣ (Самарѣ), на Рождество 1941-42 г. г., состоялся дѣтскій праздник, на котором не проступило ни одной анти-религиозной нотки. Около того же времени, корреспонденту Ассошіэйтед Пресс была предоставлена возможность побесѣдовать с архіепископом Саратовским Андреем, который подтвердил, что церковь усиленно молится о побѣдѣ русскаго воинства и воинства дружественных держав, службы, по его словам, привлекают большое число вѣрующих. На Пасху 1942 года, комендант Москвы разрѣшил свободное движеніе по улицам в течение всей ночи, конечно, без всяких отступленій от правил о затемнѣніи. В книгѣ московской патріархіи можно найти немало радостных откликов на эту неожиданную льготу.

Этим благосклонное отношеніе совѣтскаго правительства к религіи не исчерпывается. По проникшим в Лондон свѣдѣніям, православные священники призываются в армію на общем основаніи, но власти не препятствуют им совершать богослуженіе, а красноармейцам на нем присутствовать. По сообщенію одного американскаго корреспондента, постѣтвишаго Россію во время войны, власть предоставляет священникам возможность уходить в тыл при эвакуаціи. Можно, правда, допустить, что совѣтское правительство руководствуется опасеніем, как бы оставшіеся священники не попали под власть пришедших вслѣд за Гитлером іерархов. Но вот факт, значеніе котораго совершенно ясно. Когда, в ноябрѣ 1942 г., был образован комитет по регистраціи нѣмецких звѣрств, в его состав был включен митрополит Николай Кіевскій. Знаменательно, что включен представитель патріаршей, а не обновленческой церкви. Эта послѣдняя продолжает существовать,

но власть не обращает на нее вниманія. Церковь интересуется власть, как мощное орудіе воздѣйствія на людей, а, как знают на совѣтском верху, вѣрующіе пошли за патриархом Тихоном и его преемниками, а не за живоцерковниками и обновленцами.

Всего знаменательнѣе, однако, фактъ, упомянутый в самом началѣ: выход книги под заглавіем «Правда о религіи в Россіи». В книгѣ проводятся три тезиса: 1) совѣтская власть не стѣсняет религіозной свободы вѣрующих; 2) церковь за-одно с властью и народом в борьбѣ с нѣмцами и 3) гитлеровскія полчища повинны не только в многочисленных звѣрствах и разрушеніях, но и в актах антирелигіознаго характера.

По поводу перваго положенія слѣдует припомнить, что еще в 1930 году, в разгар кампаніи по массовому закрытію церквей, митрополит Сергій, бесѣдуя с иностранными корреспондентами, отрицал наличность религіознаго гоненія. Уже тогда было ясно, что митрополит, по соображеніям церковной политики, отождествил отсутствіе гоненій с допущеніем выполненія церковью всѣх установленных таинствъ и обрядов. Его тогдашнія слова почти буквально повторяются в книгѣ, и это свидѣтельствует, что по этому вопросу с тѣх пор существенных перемѣн не произошло. Интересно однако отмѣтить, что, как заявлено в книгѣ, «Православная Церковь огорчена тѣм, что антирелигіозная идеологія является официальной идеологіей коммунистической партіи». В упомянутой выше босѣдѣ, архіепископ Саратовскій сдѣлал слѣдующее дополнительное раз'ясненіе: «Для правильнаго пониманія полсженія вещей нужно строго разграничивать отношеніе к религіи со стороны государственной власти и со стороны разных общественных организаций, как напримѣр союз воинствующих безбожников».

По второму вопросу, митрополит Сергій, повторяя свое посланіе, говорит в предисловіи: «Мы, представители церкви, даже и на мгновеніе не можем допустить мысли о возможности принять из рук врага какія-либо выгоды. Ясно, что церковь раз навсегда должна соединить свою судьбу с судьбою паствы на жизнь и на смерть». Появленіе, по ту сторону фронта, сочувствующей нѣмцам іерархіи, и вызванная тѣм тревога ярко проступают в книгѣ. В ней перепечатано пастырское посланіе митрополита Сергія от января 1942 года. В этом посланіи православным людям оккупированной нѣмцами территоріи рекомендуется не забывать, что они русскіе, и они предостерегаются от того, чтобы, сознательно или по недомыслію, они

не оказались врагами родины. Цѣлый отдѣл книги посвящен самочинным дѣйствіям епископа Поликарпа, ранѣе упомянутым. О других іерархах, дѣйствующих в оккупированных нѣмцами областях, если не считать митрополита Діонисія, упомянаній нѣтъ. Из книги обнаруживается, что дѣйствія митрополита Сергія и епископа Поликарпа становятся взаимно извѣстными через посредство иностранной печати.

По третьему вопросу, о нѣмецком вандализмѣ, в книгѣ собрано много убѣдительнаго матеріала. Из нея видно, что власть обратила большое вниманіе на антирелигіозныя безчинства нѣмцев и что двум епископам и двум московским протоіереям было поручено об'ѣздить оставленные нѣмцами мѣста, составить доклад о видѣнном, снять фотографіи с разрушенных храмов, монастырей и т. д. Власть как будто желала опереться на авторитет, у многих вызывающій больше довѣрія, чѣм она сама.

Есть, однако, в книгѣ отдѣлы, которые стоят внѣ ея политическаго заданія: в цѣлом рядѣ статей дается как бы краткій очерк истории русской церкви, с подчеркиваніем ея національно-патріотической роли, от святого Владиміра до войны 1914-17 г. г. В других статьях описывается пасхальное богослуженіе и дѣлается попытка передать читателю настроеніе, им вызываемое. Невольно приходит в голову мысль: воздав должное Кесарю, иными словами, осуществив извѣстное политическое заданье, московская патріархія воспользовалась небывалым случаем, воздать должное и Богу, а именно преподнести широкому кругу вѣрующих свѣдѣнія, которыя им почти неоткуда почерпнуть.

Против такой догадки, однако, говорит одно сообщеніе, дошедшее до нас кружным путем. Издающаяся во Фрибургѣ (Швейцарія) газета «Либерте» помѣстила посвященную книгѣ длинную статью, в которой, между прочим, заявляется, что книга издана исключительно в цѣлях пропаганды за границей, тогда как в Россіи она запрещена к распространенію, так что никто, кромѣ близко стоящих к власти, ея не видѣл. Сообщеніе это идет из источника, вообще говоря, хорошо освѣдомленнаго: Фрибур — один из разсадников католическаго просвѣщенія в Европѣ, и там за дѣлами русской православной церкви слѣдят внимательно. Но статья дошла до нас в англійском переводѣ с португальскаго перевода французскаго текста (что, между прочим, сказалось в транскрипціи нѣкоторых имен), и в ней можно подмѣтить немало фактических неточ-

ностей. К настоящему вопросу неточности не имѣют прямого отношенія, но их наличность заставляет усумниться в точности информации автора, который, повидимому, не освѣдомлен и о поворотѣ религіозной политики Совѣтов в 1939 году. И по существу сообщеніе маловѣроятно. Для пропаганды за границей, слѣдовало издать книгу по-англійски и при том иного содержанія: так, как она составлена, она может только утомить англійскаго или американскаго читателя, в виду обильных повтореній. Не забудем, однако, что экземпляр ея уже преподнесен, в торжественной обстановкѣ, президенту Соединенных Штатов, и что принимаются мѣры к ея переводу и распространенію в этой странѣ.

Все же. внутреннее вѣроятіе говорит за то, что книга предназначена не только для пропаганды за границей. Она непонятна тому, кто лишь поверхностно освѣдомлен об этапах религіозной политики совѣтскаго правительства. Но на фонѣ послѣдних ея зигзагов, понятен и факт появленія книги, понятно и ея содержаніе. Понятен и тон обращеній патріаршаго блюстителя, приспособленный к совѣтской обстановкѣ и поэтому кажущійся непривычным в устах іерарха, понятно и то смѣшеніе стилей, каким является воспроизведеніе слов славянскими буквами, но по новой орфографіи. Понятно и одностороннее освѣщеніе, даваемое отходу эмигрантскихъ церквей от митрополита Сергія: в книгѣ оно цѣликомъ объясняется реставраціонно-монархическими настроеніями и тоской по прежнему привилегированному положенію духовенства, что во всяком случаѣ несправедливо по отношенію к митрополитамъ Евлогію и Платону. Понятно и приписываніе «феофилитамъ», т. е. русской православной церкви в Америкѣ, политическихъ настроеній, им чуждых: в изданной в Москвѣ книгѣ нельзя было, конечно, различать между каноническимъ подчиненіемъ заграничному синоду и политическимъ единомысліемъ с ним.

Если книга не предназначена просто для пропаганды, весьма цѣнными представляются заключающіяся в ней свѣдѣнія о религіозной жизни в Россіи в дни войны. Среди напечатанных в ней матеріаловъ есть письма от прихожан и причта или «вѣрующихъ села такого-то», инокинь и даже «сестры Бородинскаго монастыря, нынѣ сторожихи храма»; есть статьи профессоров, докторов, артистов, свидѣтельствующія о живомъ интересѣ к религіи на культурныхъ верхахъ. В одной из своихъ проповѣдей, митрополитъ Сергій отмѣтилъ «нѣкоторые знаки оздоровленія» и «множество народа», собравшагося в храмѣ.

В книгѣ упоминается, что «в нынѣшнем, как и в прошлом году, московскіе храмы были переполнены богомольцами, особенно же говѣвшими перед Пасхой. В посту по субботам народа набиралось так много, что служба начиналась в 6½ час. утра, а заканчивалась в 4—5 часам дня». Картина знакомая тѣм, кто участвовал в церковной жизни Россіи в первые годы коммунизма.

В книгѣ есть слѣдующая цитата из проповѣди, произнесенной в Ульяновскѣ (Симбирскѣ): «Будем вѣрить, что послѣ дней страданія за правду придет и день воскресенья этой правды и в нашей странѣ, и во всем мірѣ». Не свидѣтельствууют ли эти слова и о минувших гоненіях, и о надеждѣ на окончаніе періода официального безбожія?

Из книги, к сожалѣнію, нельзя почерпнуть свѣдѣній о числѣ дѣйствующих в Россіи церквей. Но вот составленный на ея основаніи, вѣроятно не исчерпывающій список церквей, продолжающих быть открытыми в Москвѣ: Богоявленскій кафедральный собор в Елоховѣ; церковь св. Іоанна Воина на Б. Якиманкѣ, Успенская церковь в Гончарах, Даниловская кладбищенская церковь, церковь св. Іоанна Предтечи на Преснѣ, церковь св. Николая в Хамовниках, церковь Нечаянной Радости в Марьиной Рощѣ, Никольская церковь на Кузнецях, церковь св. Ильи Обыденнаго, св. Петра и Павла у Яузских ворот, тѣх же святых на Преображенской площади, Воскресенская на Филипповском переулкѣ, другая Воскресенская церковь на Брюсовом переулкѣ, Ризоположенская церковь, церковь св. Николая на Вишняковском переулкѣ и Ильинская церковь в Черкизовѣ.

Информация, почерпнутая из книги московской патріархіи, может быть восполнена из сообщеній иностранных корреспондентов, недавно посѣтивших Россію. Один из них, В. Карроль, бесѣдовал с митрополитом Сергіем. Тот повторил ему свои обычныя слова об отсутствіи в Россіи религиозных преслѣдованій, но сдѣлал нѣсколько интересных добавленій.

— Высшая церковная власть сказал он, пользуется новой конституціей, чтобы обращаться к центральной власти с ходатайствами об устраненіи препятствій, чинимых мѣстными властями, и центральная власть к этим ходатайствам прислушивается.

Объяснил митрополит и то, каким способом восполняются кадры духовенства, при отсутствіи семинарій и академій. Молодые люди, чувствующіе влеченіе к священству, обращаются

в епархію; епархія дает им программу занятій и книги, которых иначе негдѣ достать. По окончаніи работы по книгам, молодые люди подвергаются экзамену в присутствіи епископа и, если его выдерживают и оказываются подходящими по нравственным качествам, посвящаются в дьяконы, а потом и священники. К этому, из другого источника, можно добавить, что за послѣднее время патріархія добилась возможности размножать курсы, необходимые при такой подготовкѣ, вѣроятно, в порядкѣ мимеографіи.

Митрополит закончил бесѣду с Карролом выраженіем надежды на значительное улучшеніе в положеніи религіи, так как крайнія антирелигіозныя теченія сходят на-нѣтъ, и по всему совѣтскому союзу вражда к церкви уменьшается. С начала войны, по его словам, посѣщаемость церковей увеличилась. Церкви располагают достаточными средствами, так как вѣрующіе щедры; многія церкви имѣют в сберегательных кассах на счетах по нѣсколько сот тысяч рублей.

Другой корреспондент, Р. Ингерсолъ, посѣтившій одну из московских церковей, был удивлен, увидѣвъ среди молящихся много молодежи. Как и в старой Россіи, на паперти стояли нищіе и просили подаенія. Однако, признаков религіознаго под'ема он не нашел.

Третій корреспондент, г-жа М. Берк-Уайт, посѣтив кафедральный собор в Москвѣ, нашла в нем около двѣнадцати тысяч молящихся. Выстроилась очередь из матерей желавших крестить своих дѣтей. Двѣ другія очереди образовались из вѣрующих, желавших приложиться к чудотворным иконам. Вѣрующіе, по ея словам, собираются из далеких концов Москвы; нѣкоторые пріѣзжают на автомобилях, а это свидѣтельствуеет о том, что вѣрующіе имѣются и на совѣтском верху. Г-жа Берк-Уайт пишет, что у кафедрального собора на счету около полутора милліона рублей; митрополит Сергій имѣет свой автомобиль, подаренный ему вѣрующими.

Кажущіяся почти невѣроятными свѣдѣнія о значительных средствах религіозных обществ вполне подтверждаются книгой московской патріархін: она полна сообщеній о многотысячных, даже милліонных взносах приходов в фонд обороны и о щедрых дарах натурой на помощь бойцам. Благословеніем на подвиг и матеріальными средствами поддерживает православная церковь вооруженный народ в борьбѣ против нѣмцев. А отдѣльные пастыри, возобновляя традицію 1812 года, оказываются участниками и даже руководителями партизанских

отрядов. В книгѣ А. Р. Вилліамса, скорѣе враждебно настроеннаго к церкви, можно найти такой разсказ.

В одном из сел, занятых нѣмцами, священствовал о. Андрей. В теченіе мѣсяца послѣ оккупации он продолжал свое служеніе. Затѣм пришлось бѣжать: нѣмцы расхитили и осквернили церковь. Бѣжал о. Андрей в лѣс и наткнулся на группу партизан. Тѣ сначала приняли его с недовѣріем: как никак, в теченіе мѣсяца он поддерживал связь с нѣмцами. Но постепенно он заслужил довѣріе и любовь: он не только хорошо владѣл винтовкой, но отлично знал всѣ тропинки через трясину и лѣсныя чащи. И вот, когда начальник отряда был убит, партизаны выбрали на его мѣсто о. Андрея. Под его водительством, отряд совершил много славных подвигов. Понемногу военная обстановка измѣнилась, и начальник отряда был вызван к генералу для награжденія орденом. Бесѣдуя со славным партизаном, генерал посовѣтовал ему сбрить длинную бороду.

— Это невозможно, — отвѣтил партизан; — по окончаніи войны я собираюсь вернуться к прежней профессіи. — А какова она? — Я — священник.

Не слѣдует однако представлять себѣ религіозную жизнь в Россіи в розовом свѣтѣ, несмотря на значительную переѣму к лучшему, произошедшую за послѣдніе годы. Автор только что вышедшей книгѣ о Россіи, В. Гребнер, посѣтившій ее в 1942 году, удостовѣряет, что религія не умерла в Россіи, что есть там церкви и священники. Но религіозной свободы там нѣтъ, и священники работают в крайне трудной и нездоровой обстановкѣ. В чем она заключается, можно судить по другим источникам. Так, напримѣр, к началу войны в Россіи было около тридцати тысяч религіозных обществ (приходов), но только восемь тысяч имѣли в своем распоряженіи храмы; остальные собирались по частным квартирам, куда их загнали отчасти принудительное закрытіе церквей в період острых гоненій, отчасти непосильные налоги. И вообще положеніе религіи в Россіи весьма далеко от того, что называется религіозной свободой. И теперь преподаваніе Закона Божія запрещено. И теперь невозможно издавать религіозныя книги: выход книги московской патріархіи — исключеніе, подтверждающее правило. Епископы и священники, в свое время сосланные, не возвращены паствѣ. Церковь православная вот уже 18 лѣтъ как без Патріарха, так как правительство не позволяет созвать Церковный собор.

И все же эти тягости не привели к тому, на что рассчитывал Гитлер по русскую сторону фронта: не произошло раскола нации, который ожидался как раз на почвѣ недовольства антирелигіозной политикой власти. Новая религіозная политика, заостренная за годы войны, оправдала себя.

Что же будет с церковью и вѣрой в Россіи послѣ побѣды? Об этом можно строить только предположенія. Но при их формулировкѣ нужно считаться с тремя фактами: 1) вѣра в Россіи выжила, претерпѣв свыше 20 лѣт систематическаго гоненія; 2) за годы войны, церковь на дѣлѣ проявила свою способность и волю приспособиться к такому укладу жизни, который еще недавно казался несомвѣстимым с ея бытіем; 3) относительное миролюбіе совѣтскаго правительства отнюдь не свидѣтельствует о перемѣнѣ внутренняго отношенія к вѣрѣ и церкви: такое миролюбіе явно необходимо, пока идет война, но может оказаться и ненужным по ея окончаніи.

Из этого, однако, отнюдь не вытекает, что черные дни 1937-38 г. г. непремѣнно должны вернуться. Если, в процессѣ войны, произойдет хотя бы нѣкоторое внутреннее сближеніе Россіи с ея демократическими союзниками; если, как это всегда бывало в русской исторіи, великая война, хотя бы и побѣдоносная, приведет к существенным перемѣнам внутри; если продолжится тяга к сочетанію національно-исторической традиціи с коммунистическим планом общественнаго переустройства, — то завоеванія, сдѣланныя вѣрой и церковью за время войны могут пережить военную грозу. В таком случаѣ по минованіи грозы, Россія явит міру новый просвѣтленный лик.

Н. С. Тимашев.

СОВѢТСКО-ЯПОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1925 ГОДА (Из очерков по исторіи внѣшней политики Москвы)

Отношенія между Сов. Россіей и Японіей, это — один из наиболѣ темных раздѣлов в исторіи внѣшней политики Москвы, которая и вообще то далеко не отличается прозрачной ясностью. Понять эти отношенія можно только прослѣживая их чуть ли не день за днем, — во всѣх их сложных изгибах и противорѣчійх. Это вынуждает меня выдѣлить этот раздѣл в самостоятельные очерки, — обстоятельство тем болѣе необходимо, что рѣдкій выход книг «Новаго Журнала» вообще требует превращенія каждаго очерка в самостоятельное цѣлое. Внутренняя связанность всѣх очерков «внѣшней политики Москвы», — мнѣ думается, — все же остается достаточно ясной для читателя. Мнѣ думается также, что важность совѣтско-японских отношеній в исторіи наших дней оправдывает болѣе пристальный разбор их и для прошлаго...

Необходима еще одна оговорка: политика Сталина выдѣляется необычной послѣдовательностью в стремленіи к поставленным цѣлям, — но она, в то же время, обладает и исключительной маневренной гибкостью. Сталину совершенно чуждо прямолинейное доктринерство, — поэтому необходимо избавиться от доктринерства и в подходѣ к его политикѣ. Печатаемая ниже статья охватывает період до 1925 года; — тенденціи, которыя были характерны для этого періода, не слѣдует м е х а н и ч е с к и переносить и на послѣдующіе годы.

В литературѣ, — особенно русской, — довольно широко распространено представленіе об Японіи, как о своего рода «наслѣдственном врагѣ» Россіи. Ея политика нерѣдко изображается в видѣ едва ли не прямой линіи борьбы против «русскаго медвѣдя», — особенно с того момента, когда этаго медвѣдя перекрасили в красные цвѣта. Достаточно хотя бы немного знать дѣйствительную исторію русско-японских отно-

шеній, чтобы понять, насколько неправильно подобное изображеніе.

Поскольку рѣчь идет о періодѣ до революціи 1917 года, политику Японіи вообще правильнѣе всего будет изображать, как политику, продиктованную стремленіем не бороться против Россіи, а сговориться с ней путем раздѣла «сфер вліянія» на Дальнем Востокѣ. Конечно, в Японіи имѣлись сторонники и иных политических линій, — и временами такіе сторонники играли большую роль. Внѣшняя политика Японіи шла далеко не идеально прямой линіей, а дѣлала не мало зигзагов. Но она неизмѣнно возвращалась именно к указанной основѣ. Стремленіе сговориться с Россіей было опредѣляющим для внѣшней политики Японіи, — начиная с тѣх переговоров, которые во время коронаціи Николая II велись в Москвѣ между Витте и Ямагата. Только упорное нежеланіе Россіи пойти на такой сговор (она считала себя достаточно сильной, чтобы вести свою политику в Китаѣ и Корей, не выдѣляя доли добычи Японіи, которую склонна была третировать) вынудило Японію пойти на союз с Англіей в 1902 году и затѣм на войну 1904-1905 годов.

Эта война была выиграна Японіей, — но теперь мы знаем, как тяжело дался ей этот выигрыш и как близка она была к катастрофѣ. Нѣтъ сомнѣній, если бы Россія в то время не переживала столь остраго внутренняго кризиса и если бы ее правительство и командованіе были хотя-бы немного лучшими, то война обязательно закончилась бы самым жестоким разгромом Японіи. В послѣдней это превосходно понимали, — и именно поэтому Японія подписала в Портсмутѣ мирныя условія, формально столь несоотвѣтствовавшія размѣрам ея побѣд: Японія не только боялась продолженія войны, — еще больше она боялась создать в Россіи настроенія реванша. Несмотря на войну она продолжала стремиться к превращенію Россіи в своего союзника и друга.

Работа в этом направленіи ею была начата немедленно же вслѣд за подписаніем мирнаго договора, — уже в ходѣ дополнительных переговоров. Первое соглашеніе частнаго характера, шедшее в направленіи разграниченія сфер вліянія, было подписано 30-го іюля 1907 года. За ним послѣдовали дополнительные соглашенія 4 іюля 1910 и 8 августа 1912 г.г., — в результатѣ чего к началу войны 1914-1918 годов Россія уже имѣла цѣлую серію соглашеній с Японіей. Если брать их всѣ в цѣлом и изучать исторію их подписанія, то вполне от-

четливо выступает их основное значение: они не только разграничивали «сферы влияния» договаривающихся сторон, устраняя тем самым возможность конфликта между ними, но и преследовали задачу недопущения в северных провинциях Китая американских капиталов... Русско-японский союз и во времена Николая II рождался в борьбе против «американского империализма», — хотя терминология была тогда, конечно, иной.

Во время войны 1914-18 годов был сделан и еще один шаг в этом же направлении: секретный русско-японский договор 3-го июня 1916 года был договором о военном союзе прежде всего против Америки. В нем речь шла о неопределенной «третьей державе», которая может сделать попытку установить свое «владычество» над Китаем, — но это были фразы, никого не обманывавшие. На самом деле договор был заключен в непосредственной близости от момента предъявления Японией к Китаю его знаменитых 21 требования, которые были ничем иным, как попыткой установить японский протекторат над Китаем. Стремлением установить «владычество» над Китаем Япония объявляла все попытки «третьих держав» защитить интересы Китая против Японии, а так как наибольшую активность в этом направлении проявляла Америка, то именно она имела больше всего шансов быть рассматриваемой в качестве той «третьей державы», против которой в первую очередь должен быть применен пункт о военной помощи...

Таким образом стремление Японии к соглашению с Россией имело свою длинную историю. По существу, у Японии нет другой разумной с ее точки зрения политики, как жить в мире и согласии с Россией. Последняя — единственная страна (пока Китай внутренне дезорганизован), которая имеет сравнительно легкую возможность наносить Японии крайне опасные, даже смертельные удары, — сама оставаясь почти неуязвимой. Япония, конечно, может вести войну против России, но если бы даже она и одержала ряд побед, это ничего ей не дало бы: Россия имеет возможность по-истине безграничного отступления при полном сохранении своей боеспособности. Блокада, временная потеря территорий и т. д. для России большой опасности не представляют. Она может вести борьбу без конца, — все время оставаться в более выгодном положении, чем Япония. К тому же и выгода победы над Россией для Японии принесет очень мало: русская земля на Дальнем Востоке для японской колонизации не пригодна (слишком суровый климат,

котораго японцы не переносят); рыбныя промысла, как они ни важны, сами по себѣ никакую войну оправдать не могут, и т. д., и т. д.

Для Японіи во всѣхъ отношеніяхъ несравненно болѣе интересенъ югъ, — область Южныхъ Морей (такъ японцы называютъ воды Зондскаго архипелага, Полинезіи и Австраліи), гдѣ имѣется масса сырья, столь необходимаго для японской промышленности и гдѣ климатъ какъ будто нарочно созданъ по вкусамъ японскихъ колонистовъ... Но итти туда Японія можетъ только при наличіи прочнаго соглашенія съ Россіей: движеніе на югъ неизбежно связано съ войной противъ Америки и Англіи, — а японская военная доктрина въ качествѣ непреложной аксіомы устанавливала невозможность для Японіи вести войну одновременно на два фронта, т. е. и противъ Россіи, и противъ Америки. Необходимо нужно было сдѣлать выборъ. Враждебныя отношенія съ Россіей обязывали Японію къ дружбѣ съ Соед. Штатами и къ отказу отъ мечтаній объ Южныхъ моряхъ. Желаніе двигаться въ направленіи этихъ послѣднихъ обязывало къ соглашенію съ Россіей. Соглашеніе же Россіи съ Соед. Штатами, — особенно, если б оно было поддержано Англіей, — неизбежно вынудило бы Японію къ отказу отъ агрессивной политики вообще и заставило бы ее рѣшенія своихъ внутреннихъ проблемъ искать на путяхъ реформ... Русско-японскій договоръ 3-го іюля 1916 г. показываетъ, что тогда Японія склонилась къ рѣшенію о прочномъ соглашеніи съ Россіей и слѣдовательно къ рѣшенію о движеніи на югъ. Если внѣшняя политика Японіи и знала какаго-нибудь «наслѣдственнаго врага», то имъ уже въ тѣ годы были Соед. Штаты, въ борьбѣ противъ которыхъ она и хотѣла имѣть Россію своей союзницей.

Что касается до Россіи, то и для послѣдней политика соглашенія съ Японіей была только звеномъ большой и цѣльной внѣшне-политической концепціи. Законченнаго своего выявленія въ до-революціонную эпоху (а въ настоящее время рѣчь идетъ только о ней) эта концепція, повидимому, не нашла. Но имѣется весьма любопытный документъ, показывающій, въ какомъ направленіи работала мысль опредѣленной группы русскихъ дипломатовъ, имѣвшихъ непосредственное отношеніе къ проведенію политики соглашеній съ Японіей: рѣчь идетъ о «Мемуарѣ о внѣшней политикѣ», который былъ составленъ въ 1912 году бывшимъ русскимъ посломъ въ Токио, бар. Розенъ. Основная задача этого «мемуара» предостеречь правительство отъ политики, ориентированной на конфликты съ Германіей и Ав-

стріей (в этом отношении он сближается с известным меморандумом П. Н. Дурново), и убедить его «вернуться в Азію», — для того, чтобы

«завершить свою великую историческую миссію на этих безграничных территориях».

«Россія, — говорилось в этом мемуарѣ, — болѣе азиатская держава, чѣм европейская. Она должна перестать интересоваться вопросами соперничества между европейскими державами, не становиться поперек дороги Германіи и Австріи, чтобы получить таким образом полную свободу дѣйствій в Азіи и осуществить свою великую азиатскую миссію».

В концепціи бар. Розена обязательной составной частью входило соглашение и с Японіей, как единственной азиатской державой, соглашение с которой необходимо для получения свободы дѣйствій в Азіи. В качестве основного направления для движенія в этой послѣдней «мемуар» предусматривает пути из Средней Азіи на юг (1). Иными словами для бар. Розена политика соглашеній с Японіей была составной частью политики, которая ставила задачей сближеніе, с одной стороны, с Германіей и Австріей, а, с другой, с Японіей, — и, в то же время, вполне опредѣленно и сознательно была заострена против Англій.

Концепцію бар. Розена, конечно, нельзя разсматривать, как концепцію, принятую русским правительством тѣх лѣтъ. Но если в этом правительствѣ имѣлись люди с широким политическим горизонтом, то они не могли не понимать, куда их должна привести логика военнаго союза с Японіей против «третьей державы». Нѣтъ никакого сомнѣнія: если б не разразилась революція, сбросившая с политической арены русских авторов русско-японскаго договора іюня 1916 года, то политическія идеи бар. Розена еще стали бы играть весьма значительную роль (2).

Необходимо добавить еще, что руководящую роль в проведеніи этой политики в Японіи играла германофильская партія, имѣвшая большое вліяніе при дворѣ микадо, в Генро и в руководящих кругах арміи и флота. Именно она была вдохновительницей анти-британской и анти-американской пропаганды в Японіи; именно через нее в 1916 году было передано в Петербург нѣмецкое предложеніе о заключеніи сепаратнаго мира; именно к ней тянулись и нити тѣх секретных переговоров Япо-

ни с Мексикой, которые в 1916-17 годах едва не привели к открытому конфликту между Соед. Штатами и Мексикой... В Токио был завязан очень сложный, запутанный узел, — от котораго ряд концов тянулся прямо до Берлина.

2.

Русская революція, конечно, не могла не внести ряд весьма важных измѣненій в русско-японскія отношенія, — и при том с обоих концов: и с русскаго, и с японскаго.

Что касается до Сов. Россіи (о періодѣ Врем. Прав., как кратковременном, можно не говорить), то ея внѣшняя политика за первые годы была особенно заострена против Японіи. Ленин был склонен разсматривать послѣднюю, как наиболѣе опаснаго врага совѣтской революціи:

«Германскій имперіализм, — говорил он на 7-ом с'ѣздѣ большевиков (начало марта 1918 года), — увязнет на Украинѣ (распутица и пр.), в Финляндіи и во Франціи. Страшнѣ японскій имперіализм» (3).

Если мы вспомним, что эти фразы были произнесены приблизительно за мѣсяц до высадки японцами перваго (совсѣм незначительнаго) отряда во Владивостокѣ, — то нам будет ясно, что оцѣнка Ленина была результатом его общаго исключительно настроеннаго отношенія к Японіи. В большевистских кругах его мнѣнія раздѣляли очень многіе, — и идея соглашенія с Соед. Штатами для обеспечения мира на Дальнем Востокѣ носилась в воздухѣ уже в Смольном, до переѣзда большевистскаго правительства в Москву. Радек и Ларин выступали в роли пионеров-пропагандистов плана передачи Камчатки Соед. Штатам: чтобы таким путем «вогнать клин между Америкой и Японіей». Свѣдѣнія об этих планах проникли даже в печать, — и консул Соед. Штатов явился в какое-то совѣтское учрежденіе для предварительных переговоров (4). В болѣе крупном масштабѣ попытка переговоров на этой базѣ была повторена самим Лениным в 1920 году (его переговоры с Вандерлипом) (5). Даже такіе представители совѣтскаго правительства за первый період его существованія, которое, как напримѣр, Чичерин, были настроены особенно рѣзко против Англій и потому стояли за политику самых головоломных антибританских авантюръ в Азіи (6), совсѣм не были склонны это свое отношеніе распространять и на Соед. Штаты: несмотря

на всѣ полемическія «ноты» против Вильсона, и они по существу только и мечтали о соглашеніи с Америкой (7).

Руководителям внѣшней политики Японіи существованіе подобных настроеній в Москвѣ было, конечно, хорошо извѣстно, — и оно не могло не внушать им самых серьезных опасеній за будущее. Японія в эти годы вела чрезвычайно агрессивную политику на русском Дальнем Востокѣ. Ослабленіе Россіи в результатѣ революціи и гражданской войны усилило позиціи тѣх японских политических групп, которыя, не зарекаясь от возможности соглашенія с Россіей в будущем, условіем такого соглашенія выдвигали ослабленіе позицій Россіи на русском Дальнем Востокѣ. По настоянію политиков этого лагеря Японія зимою 1918-19 годов послала в Приморье, Приамурье и Забайкалье оккупационную армію, которая быстро втянулась в беспощадную вооруженную борьбу против гражданского населенія.

Перспективы этой борьбы с точки зрѣнія Японіи были тѣм менѣе отрадными, что руководители ее политики едва ли когда-либо питали серьезную надежду на прямое присоединеніе русскаго Приморья к Японіи. Во всяком случаѣ для весьма значительной части этих руководителей задачей интервенціи было востановленіе старой Россіи, которая вернулась бы к русско-японскому союзу 1916 года. Имѣется один в высшей степени любопытный документ, который показывает, что мысль германофильской группы японских политиков работала именно в этом направленіи: я имѣю в виду проект германо-японскаго соглашенія, который был разработан в Стокгольмѣ нѣмецким послом, извѣстным Люціусом и чрезвычайным уполномоченным Японіи г. Ода. Этот проект задачей соглашенія выдвигал очищеніе Россіи от большевиков и созданіе прочнаго союза Германіи-Японіи-Россіи в цѣлях установленія полной гегемоніи этого союза над старым континентом, а затѣм и над всѣм міром. «Очищенная от большевиков» Россія должна была получить поддержку от Германіи и Японіи для того, чтобы «подняться снова до положенія великой державы», — в обмѣн на что она должна, с одной стороны, открыть Германіи доступ в Центральную Азію, и, с другой, помочь Японіи в установленіи гегемоніи послѣдней над Тихим Океаном (борьба против Англии и Америки мыслилась, как процесс, рассчитанный на долгій період) (8).

В свое время подлинность этого документа была оспорена и вокруг него разгорѣлась полемика; но в центрѣ этой полемики

стоял вопрос о том, был ли этот проект в какой-либо мѣрѣ официальным документом. То, что подобная идея тогда носилась в воздухѣ и в Японіи, и в Германіи, безспорно для каждаго, кто знаком с литературой; извѣстно также, что именно в этом направленіи работал официальный представитель Японіи в Стокгольмѣ, г. Фукуда. Идея новаго «тройственного союза» Германіи, Россіи и Японіи в этот момент приобрѣла большую популярность и породила цѣлую литературу, как в Германіи, так и в Японіи.

В виду всего этого нельзя не признать, что и для этого періода в основѣ было правильно то опредѣленіе внѣшней политики Японіи, которое дал ей К. Гаусгофер:

«Японской дѣятельностью на сѣверо-западѣ (т. е. в русском Приморьѣ) руководило не желаніе захватов, а глубокое стремленіе распространить свое покровительство на незаселенныя области и удержать в сторонѣ от них жаждущія захватов мощныя капиталистическія англосаксонскія державы. Эти народныя чувства и формирующаяся по мѣрѣ демократизации государственнаго строя національная воля во внѣшней политикѣ, конечно, всегда будут имѣть и оборотную сторону, — «*Ura Nippon*», — расчет на большую выгоду окружить Японію беззащитными и зависящими от нее буферными государствами или безсильным на морѣ в хозяйственном и политическом отношеніи сосѣдом. Но лицевая сторона этого народнаго духа, — «*Omotte Nippon*», — обращается в сторону Тихаго Океана. Народный инстинкт не дает искусственно отвлечь себя в сторону наименьшаго сопротивленія, а толкает и манит политику государства в сторону юга и островов» (9).

К. Гаусгофер, конечно, старается облагородить мотивы поведенія Японіи, в котором на дѣлѣ не было даже атома благородства. Желаніе захватить русское Приморье у японцев-организаторов интервенціи, конечно, имѣлось. Но в основѣ Гаусгофер все же прав: проводя политику захватов в русском Приморьѣ, японскіе политики внутренне были неуверены в ея правильности. По мѣрѣ хода событій логика борьбы толкала их экспедиціонныя отряды все дальше и дальше по пути репрессій, переходивших в «неслыханное звѣрство, соединяющее всѣ новѣйшія достиженія техники и пытки чисто азіатскія» (Ленин). Но в то же время руководители этой политики все

больше сомнѣвались в правильности взятаго ими пути. Командиры оккупационных отрядов сжигали заживо плѣнных большевиков, — а дипломаты из Токио систематически дѣлали попытки выяснить, не согласятся ли товарищи этих заживо сожженных вернуться на рельсы той политики союза с Японіей, на которые вступило правительство Николая II незадолго до революціи.

Впервые открыто этот вопрос был поставлен японцами уже на конференціи в Дайренѣ (открылась 26 авг. 1921 г.), причем японцы добивались, чтобы Дальне-Восточная Республика (под этим псевдонимом на конференціи выступали большевики) дала обязательство «в случаѣ вооруженнаго конфликта между Японіей и третьей державой» соблюдать «строгій нейтралитет» (10). Предложеніе это большевиками было отклонено, что не помѣшало японцам повторить его на слѣдующей конференціи, в Чан-Чунѣ (21-25 сент. 1922 г.), — с тѣм же отсутствіем успѣха.

Для пониманія тогдашней позиціи большевиков в высшей степени характерна статья К. Радека: «Разрыв мирных переговоров с Японіей», в которой он, подводя итоги неудавшейся конференціи в Чан-Чунѣ, дает и общую характеристику положенія на Тихом Океанѣ. Это положеніе он расцѣнивает, как положеніе кануна вооруженнаго столкновенія, и убѣждает Америку в необходимости для нея соглашенія с Россіей, так как без помощи послѣдней даже соединенные флоты Америки и Англій не смогут нанести Японіи рѣшающаго удара, так как стратегическое положеніе послѣдней крайне благопріятно для обороны. Одновременно он убѣждает Соед. Штаты в необходимости самой рѣшительной поддержки національно-освободительнаго движенія в Китаѣ, — оперируя при этом тѣми же анти-японскими аргументами: «усиленіе Китая, — пишет он, — есть лучшее средство давленія Америки на Японію» (11).

3.

Сопоставленіе всѣх этих матеріалов с рядом других высказываній того времени не оставляет мѣста для сомненія в том, что в основѣ их тогдашняго отношенія к Соед. Штатам лежало не простое стремленіе использовать одну «капиталистическую акулу» против другой. Такого рода формулировки часто давались самими большевиками; ими не брезгал даже Ленин, который не только глубже других всматривался в

существо вопросов, но и смѣлѣ других высказывал результаты своего анализа. Но ближайшее знакомство и с сочиненіями Ленина, и с политикой совѣтскаго правительства убѣждает, что «акулы» нужны были больше «для галерки». В больших расчетах Ленина, конечно, имѣлось стремленіе использовать конфликты Америки с Японіей в интересах защиты русскаго Дальняго Востока, — но возможность такого «использованія» опредѣлялась той общей оцѣнкой внѣшней политики Соед. Штатов, наличие которой у Ленина я отвѣтил в предыдущей статьѣ: он считал Соед. Штаты страной, когорая, конечно, эксплуатирует отсталыя страны, но предпочитает это делать, не прибѣгая к примѣненію (или во всяком случаѣ ограничивая примѣненіе) методов внѣ-хозяйственнаго насилія, т. е. не покушаясь на политическую независимость отсталых стран. Роль, которую Соед. Штаты сыграли в судьбах русскаго Дальняго Востока в 1918-22 годах, когда они провели рѣшительную борьбу с аннексіонистскими поползновеніями Японіи (12), конечно, не могла не укрѣпить Ленина в этой оцѣнкѣ. Именно она заставляла Ленина ставить Соединенные Штаты (конечно, только в извѣстной мѣрѣ) на особое мѣсто среди всѣх остальных капиталистических стран, — и заставляла его предпочитать имѣть дѣло с Соед. Штатами не только в вопросах, касающихся Дальняго Востока.

Другими мотивами, по которым Ленин мечтал имѣть дѣло именно с Соединенными Штатами, были отношенія хозяйственныя: встав на путь НЭП'а, Сов. Россія в 1921-24 годах крайне нуждалась в иностранных капиталах. Переговоры о привлеченіи таковых, — в формѣ ли займов или концессій, — велись в разных направленіях, причем большевиков особенно пугало, что иностранный капитал, придя в Россію, будет оказывать вліяніе на внутренней режим в странѣ. Соед. Штаты с указанной особенностью их политики, казались большевикам особенно желательным контрагентом. Как раз зимою 1922-23 годов переговоры по этому вопросу велись с особенной напряженностью. В Соед. Штатах, которые только что перед тѣм провели широкую кампанію помощи голодающим в Россіи (дѣятельность комиссіи Гувера), симпатіи к Россіи вообще, — независимо от режима, который в ней господствовал, — были очень широко распространены. Было много шансов, что Россія будет официально признана, а это открывало широчайшія перспективы в области сношеній экономических. В этой обстановкѣ статья Радека звучала особенно показательно. Нѣтъ

никакого сомнѣнія: ее нужно разсматривать, как свидѣтельство, что большевики тогда были готовы пойти на большое внѣшне-политическое соглашеніе с Соед. Штатами для Тихаго Океана. В тот момент заключить такое соглашеніе Соедин. Штаты могли, — другой вопрос, насколько прочным оно оказалось бы. Они предложеніе это отвергли, — по соображеніям, которыя с тихоокеанскими проблемами ничего общаго не имѣли... (13).

Необходимо добавить, что эта позиція большевиков в области тихоокеанских отношеній, была несомнѣнно «увязана» и с общей тогдашней стратегіей Коминтерна. В центрѣ вниманія этого послѣдняго тогда стояли вопросы **европейской** революціи, — в первую очередь революціи в Германіи. Шансы этой революціи были бы ослаблены, если б Соед. Штаты приняли активное участіе в европейских дѣлах и при помощи кредитов помогли бы Германіи и Франціи преодолѣть кризис. Америка дѣлать этого не хочет; она оставляет Европу на «произвол судьбы». Таким образом она не мѣшает развертыванію конфликтов, подготовляющих европейскую революцію; что же касается до Тихаго Океана, куда она ушла и гдѣ она «пытается создать собственное колоніальное государство», то и там не она является страной, возбуждающей против себя больше всего ненависти. Таковая направляется против двух других стран, — Англии и Японіи (14), т. е. против стран, которыя склонны хозяйственную эксплуатацію отсталых стран проводить при помощи политическаго насилія.

В своей основѣ эта стратегическая концепція содержала отрицаніе единства развертывающагося процесса міровой революціи: в то время, как на Западѣ, в странах, прилегающих к Атлантическому океану, она должна была, — по мнѣнію руководителей Коминтерна, — носить характер немедленнаго социалистическаго (или коммунистическаго) преобразования, — на Востокѣ, в странах Тихаго Океана, она мыслилась, как революція проходящая в рамках преобразованій буржуазно-демократических. Если оперировать терминами, которые были приняты в коммунистической литературѣ, то Коминтерн тогда готовил на Западѣ октябрь 1917 года, а на Востокѣ — октябрь 1905 года.

В соотвѣтствіи с этим стояло и отношеніе к движеніям народов Азіи. Такого рода движенія Коминтерн, конечно, всегда поощрял: они были тараном против зап.-европ. имперіализма. Но предѣлы возможнаго в области социальных преоб-

разованій для них отводились весьма скромные. У Ленина, правда, встрѣчаются замѣчанія относительно возможности некапиталистическаго развитія отсталых стран, но эти замѣчанія носят теоретическій характер. На практическую политику они почти не оказывали вліянія. В своих обращеніях к «народам Востока» он подчеркивал, что «настоящій коммунизм может имѣть успѣх пока только на Западѣ» (15), что руководящую роль в колониальных и полу-колониальных странах предстоит играть «буржуазно-демократическим» движеніям (16). Коммунистам в этих странах отводилась роль пропагандистских ячеек, «воспитываемых в сознаніи своих особых задач, задач борьбы с буржуазно-демократическими движеніями внутри их націй». В тѣсной связи с этим стояло настороженно-недовѣрчивое отношеніе к различного рода паннационалистическим движеніям «народов Востока»: 2-й конгресс Коминтерна настоятельно рекомендовал коммунистам вести

«борьбу с пан-исламом, пан-азіатским движеніем и подобными теченіями, пытающимися соединить освободительную борьбу против европейскаго и американскаго империализма, с усиленіем мощи турецкаго и японскаго империализма, дворянства, крупных землевладѣльцев, духовенства и т. д.» (17).

Это были попытки намѣтить границы возможнаго сотрудничества с націоналистическими движеніями на Востокѣ, — попытки, свидѣтельствовавшія о боязни из силы, использующей эти движенія, превратиться в силу, ставшую на услуженіе послѣдним.

4.

На фонѣ этой «пред-исторіи» особенно значительным становится совѣтско-японскій договор 20 января 1925 года. Он шел дальше, чѣм того хотѣли японцы во время конференціи в Чан-Чунѣ, — и гарантировал не только нейтралитет Совѣтской Россіи на случай конфликта Японіи с какой-либо «третьей державой», но и поставку нефти для японскаго флота во время такого конфликта: этот послѣдній вопрос особенно беспокоил руководителей японской внѣшней политики, так как своей нефти у них не было, и возможность в момент конфликта остаться без топлива для военнаго флота висѣла над японцами, как одна из самых страшных угроз.

Вполнѣ естественно, что этот договор вызвал большую тревогу и в Соед. Штатах, и в Англии, и во Франціи. «Дэйли Телеграф» писал:

«Всѣ 7 пунктов соглашения чреваты огромной важности послѣдствіями, как политическаго и стратегическаго, так и экономическаго свойства. Странно, что Японія, господствующіе классы которой должны относиться к большевизму еще с большим ужасом, чѣм тѣ же классы Америки и главных европейских стран, пошли на соглашение с СССР раньше других. Правда, на это имѣются экономическія основанія, из которых на первом мѣстѣ стоит сахалинская нефть, предмет стремлений японскаго адмиралтейства. Комбинація японской предприимчивости, японской промышленности и науки, с одной стороны, и естественных богатств Сибири с другой, создаст поразительный эффект, а если к ним присоединить еще политическое соглашение, предусматривающее пересмотр всѣх прежних русско-японских договоров, то равновѣсіе сил и вліяній в Китаѣ и на всем Дальнем Востокаѣ вообще коренным образом измѣнится» (от 21 января 1925 года).

Едва ли не большая тревога звучала в статьях «Нью-Йорк Таймс» и других органов американской прессы; что же касается до обозрѣвателя «Эко-де-Пари» (орган французскаго штаба), то ему за новым договором уже ясно виднѣлись контуры большого союза Японіи-Китая-Россіи-Германи. Американская пресса ставила специальный вопрос: означает ли новый договор, что Россія взяла на себя обязательство не заключать договоров о союзах с «третьими державами»? Здѣсь теперь, повидимому жалѣли об «упущенных возможностях» 1921-23 годов. Отвѣт совѣтских комментаторов звучал весьма неутѣшительно. Б. Семенов (он был тогда директором Дальне-Восточнаго отдѣла НКВД и его статьи в «Новом Востокаѣ» и в «Международной Жизни» можно считать официальными откликами НКВД), заявляя, что в договорѣ не имѣется подобнаго обязательства, прибавлял оговорку, которая сводила на нѣтъ значеніе самого заявленія.

«Что касается, — писал он, — заключенія таких договоров в будущем, то само собою разумѣется, что, поскольку заключеніе такого договора является явно недружелюбным актом (в отношеніи Японіи), договор же 20 января

заключен для того, чтобы оба государства могли мирно развивать свои отношенія, то, конечно, ни СССР, ни Японія, не войдут с какой-либо третьей стороной в такое соглашеніе, — тѣм болѣе, что СССР и вообще не собирается заключать таких оборонительных или наступательных соглашеній с какими-либо капиталистическими государствами» (18).

Если мы прибавим, что к официально опубликованному договору было приложено какое-то секретное добавленіе (19), то нам будет понятно, каким по-истинѣ революціонным поворотом всей внѣшней политики Сов. Россіи был договор 20 января 1925 года. Осенью 1922 года совѣтское правительство рвало с самыми основами дальне-восточной политики правительства Николая II, — теперь оно именно к этим основам возвращалось. Тѣм важнѣе понять, какого рода соображенія продиктовали этот поворот.

5.

Очень поздно вступившая на путь капиталистическаго развитія и не доведшая до конца процесса ликвидаціи до-капиталистических отношеній, Японія начала 1920-х годов открывала перед наблюдателем картину причудливаго сочетанія ультра-новаго с архи-старым. Нѣкоторыя из владѣтельных семей старой Японіи, раньше других примкнувшія к реформаторскому движенію 1860-х годов, стали во главѣ молодых тогда промышленности и торговли и, пользуясь импортированной техникой, создали мощные финансовые концерны, построенные по послѣднему слову организаціонной науки современнаго капитализма, и подчинили своему контролю почти всю японскую промышленность, всѣ ея банки, всю внѣшнюю торговлю. Остатки феодально-клановых отношеній в деревнѣ только помогали закрѣпленію власти этих концернов, которые цѣликом контролировали обѣ «старыя» политическія партіи Японіи и тѣсно срослись с правительственным аппаратом.

Этот симбіоз правительственнаго аппарата и политических партій с концернами постоянно порождал финансовые скандалы, которых в исторіи японскаго капитализма, быть может, больше, чѣм в какой-либо другой. Особенно много их выплыло наружу за первые годы послѣ мировой войны. Для Японіи эти годы были годами жесточайшаго хозяйственнаго

кризиса. Катастрофическое обнищание крестьянства переплеталось с застоём в промышленности и торговлѣ. Угрожающіе размѣры приняла безработица. В стремительных темпах проходило разореніе средних слоев. Все это создавало как нельзя болѣе благодатную почву для роста примитивных антикапиталистических настроеній. Мы знаем, эти настроенія не были специально японским явленіем, но особенности историческаго развитія и социальной структуры Японіи повели к тому, что в ней формированіе этих настроеній пошло по своеобразным, специфически японским путям.

Единственной силой, которая в старой Японіи сохраняла большую долю самостоятельности и от правительственнаго аппарата, и от аппарата концернов, была армія вмѣстѣ с флотом. Окруженные ореолом побѣд 1894-95 и 1904-05 годов, они стали предметами настоящаго національнаго культа. Скандальныя разоблаченія, которых было так много в послѣвоенные годы, их почти не касались. В результатѣ, на фонѣ общей разрухи и кризиса, армія и флот становились огромной социальной силой. Колоссальные бюджеты, которыми они располагали, конечно, только содѣйствовали повышенію их значенія.

Офицерскіе кадры до войны 1914-18 годов формировались исключительно из среды самураев, — помѣстнаго дворянства. Правило это соблюдалось настолько строго, что от него не отступили даже в 1904-05 годах, когда в результатѣ потерь на войнѣ, в офицерах ощущался острый недостаток. В 1918 году это ограниченіе было отмѣнено, — и в военныя училища массами хлынула молодежь из мелко-буржуазных семей. По статистическим подсчетам, в 1920-27 годах эта послѣдняя группа поставила 30% общаго числа воспитанников военных школ (20), — позднѣе количество их еще больше выросло. Для них для всѣх армія становилась не только послѣдним якорем их личнаго спасенія, но и идейно-политическим центром, вокруг котораго должно итти собираніе сил національнаго возрожденія.

Эта среда была как нельзя болѣе воспріимчива к проповѣди, с одной стороны, примитивных анти-капиталистических идей и, с другой, идей крайняго воинствующаго национализма. Начало 1920-х годов было полно попытками созданія идеологии, которая сочетала бы эти два элемента. Пionером можно считать нѣкоего Кита Икки, который в 1918-19 годах выпустил «Законопроект переустройства Японіи», направленный против вла-

сти финансовых концернов. По его слѣдам шел ряд других авторов, пытавшихся новую идеологию строить путем сочетанія то монархизма с госкапитализмом ((Амадзи), то социализма с фашизмом (Такабатаке, быв. переводчик «Капитала» на японскій язык). Всѣ они были пан-азиатами, — с той или иной степенью агрессивности.

Пан-азиатская пропаганда Японіи, это — совсѣм особая, в высшей степени интересная и крайне мало извѣстная глава из исторіи дальне-восточных отношеній. Я касаюсь ея лишь постольку, поскольку это имѣет непосредственное отношеніе к моей темѣ.

Вся работа Японіи в этой области шла под контролем военнаго министерства, но под флагом особых обществ, из которых наиболѣе крупную роль играло «общество Чернаго Дракона», созданное в 1901 году пионерами японскаго пан-азиатскаго движенія. На слѣды работы этого общества мы натываемся в самых неожиданных мѣстах. Это были агенты «Чернаго Дракона», тѣ японцы, которые в 1904-05 годах поддерживали сношенія с Азефом, — и в то же время это был агент «Чернаго Дракона» тот индус Протап, который был посредником в установленіи сношеній Амманулы Хана (афганскаго) с Москвой... Для нас сейчас особенно важно отмѣтить самую тѣсную связь, которая существовала между «Черным Драконом» и извѣстным «отцом китайской революціи» Сунь-Ят-Сеном. Послѣдній в теченіи многих лѣтъ работал вмѣстѣ с «Черным Драконом»; в частности, для помощи Сунь-Ят-Сену и революціонному движенію в Китаѣ «Черный Дракон» в 1911 году создал спеціальное общество «Юринкай»; в годы первой міровой войны Сунь-Ят-Сен находился в постоянной связи с Кита Икки, о книгѣ котораго мы только что упомянули (он играл тогда видную роль в японской развѣдкѣ в Китаѣ), и т. д.

Едва ли нужно доказывать, что для Сунь-Ят-Сена эта связь с «Черным Драконом» совсѣм не означала простую работу по порученіям послѣдняго. Он, конечно, имѣл свою вполне определенную концепцію путей борьбы за національное возрожденіе Китая. Тѣм болѣе важно, что эта его большая концепція включала в себя сотрудничество с пан-азиатским движеніем, руководимым Японіей, — и притом в годы особенно острой японской агрессіи против Китая: его связи с Кита Икки относятся к тѣм годам, когда Японія предъявила Китаю знаменитыя «21 требованіе». Мы едва ли ошибемся, если скажем, что анти-капиталистическія теоріи Кита Икки, в какой-то

мѣрѣ складывались под влияніем Сунь-Ят-Сена; — но, с другой стороны, едва ли может быть сомнѣніе и в том, что Кита Икки, глава японской развѣдки в Шанхаѣ в 1915-17 годах, свои сношенія с Сунь-Ят-Сеном поддерживал все же не только для того, чтобы изучать теоретическія воззрѣнія послѣдняго... (21).

Сотрудничество Сунь-Ят-Сена с «Черным Драконом» носило политическій характер и возможным оно стало потому, что между взглядами Сунь-Ят-Сена на задачи и характер революціи в Китаѣ и соотвѣтствующими взглядами японских пан-азиатов имѣлось много точек соприкосновенія: и Сунь-Ят-Сен, и «Черный Дракон» одинаково стремились к изгнанію из Азіи всѣх европейцев и американцев. В біографіях Сунь-Ят-Сена, написанных для американско-европейскаго читателя, эту сторону его взглядов обычно затушевывают, но для самого Сунь-Ят-Сена она была опредѣляющей. В этом отношеніи очень важно его письмо к Инукаи (видный японскій дѣятель, сначала демократ, затѣм умѣренный консерватор, но все время сторонник японской экспансіи на юг; был близким другом Сунь-Ят-Сена), посланное в самом началѣ войны 1914 года: в этом письмѣ он убѣждает своего адресата, что Японія, если ей придется войти в войну, должна сражаться не на сторонѣ Англіи, а против нея (22), — причем в этом послѣднем случаѣ Сунь-Ят-Сен обѣщал Японіи активную помощь со стороны «молодого Китая». Аналогичное письмо было послано им и графу Окума, тогдашнему японскому премьер-министру, о котором извѣстно, что он в началѣ войны занимал германо-фильскую позицію (23).

Противник «англо-саксов», сторонник соглашения с Германіей, человек, готовый признать руководящую роль Японіи в пан-азиатском движеніи, — Сунь-Ят-Сен проводил соотвѣтствующую политическую линію и послѣ окончанія міровой войны. В началѣ он, правда, сдѣлал попытку работать вмѣстѣ с англо-саксами и выдвинул проект созданія грандіознаго консорціума для развитія жел.-дорожн. строительства в Китаѣ. Этот план не был реализован, — повидимому, в значительной мѣрѣ потому, что Сунь-Ят-Сен одновременно продолжал свою игру на японскую карту: так, в 1921-22 г.г. он заключил союз с Чжан-Цзо-Лином для совмѣстных боевых операцій против У-Пей-Фу, котораго поддерживали англичане и американцы (24). Чжан-Цзо-Лин в это время был вполне послушным исполнителем японских порученій и в качествѣ такового, между

прочим, вел решительную борьбу против Сов. Россіи. Это ни в малой степени не помѣшало Сунь-Ят-Сену работать в самом тѣсном контактѣ с ним. Значительных про-совѣтских симпатій у Сунь-Ят-Сена в это время найти нѣтъ возможности.

Измѣненія в позиціи Сунь-Ят-Сена по этому вопросу относятся к зимѣ 1922-23 годов, когда он, потерпѣвъ неудачу в борьбѣ против У-Пей-Фу, вынужден был бѣжать из Кантона и, проживая в Шанхаѣ «изучал опыт русской октябрьской революціи» и «встрѣчался с совѣтскими работниками» (25).

Один из этих «совѣтских работников», А. Е. Ходоров в своей статьѣ о Сунь-Ят-Сенѣ («Междун. Жизнь», 1925, № 2, стр. 124), пишет: «В этот період Сунь-Ят-Сен отчетливо понимает, что предложеніе о заключеніи коммерческой сдѣлки с міровым капитализмом должно смѣниться борьбою против мірового капитала».

Именно в это время он пересматривает стратегическую концепцію пан-азиатскаго движенія и становится сторонником тѣснаго сотрудничества с Сов. Россіей. Интервью, которое он дал в ноябрѣ 1922 года представителям японской прессы, интересно не только по своему содержанию, не только тѣм, что оно позволяет установить преемственную связанность этой новой концепціи с концепціей старой. Будучи обращено к японцам, оно важно и как документ, отмѣчающій важный для нас момент в развитіи японскаго пан-азиатскаго движенія. Вот существенныя части этого интервью:

«Когда Японія приняла участіе в міровой войнѣ на сторонѣ союзников, она упустила случай, использовать золотую возможность, чтобы создать Азію исключительно для азіатов. Подобная Азія могла бы быть противовѣсом бѣлым, — особенно англо-саксам. Около начала войны я писал Инукаи, вождю японской народной партіи, и настаивал на том, что Японія должна поддержать тевтонскія страны, чтобы таким путем сгладить относительный перевѣс англо-саксов и этим сохранить міровое равновѣсіе. Результатом подобной ситуаціи явилось бы занятіе Японіей мѣста дѣйствительнаго вождя всѣх Азіатов. Но Японія не послѣдовала моему совѣту, — который все же был совѣтом третьей части всего Китая! — и пропустила посланный небом случай стать вождем Востока».

Если б Японія поняла, в чем состоит большая политика, и была бы достаточно смѣла, чтобы объявить войну союзникам, то прежде всего поднялись бы с оружіем в

руках Аннам и Сингапур против Франціи и Англіи. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что потом поднялась бы против англичан и Индія, что воскресло бы національное чувство у турок и у китайцев, и они поддержали бы Японію в ея стремленіи об'единить Азію.

В дѣйствительности, Японія приняла участіе в войнѣ на сторонѣ союзников, — в результатѣ чего осуществленіе пан-азиатской идеи отодвинуто на необозримое время. Так как Японія показала себя неспособной воспользоваться случаем, миссія спасенія Азіи для Азіатов в будущем перейдет на Китай.

И все же для Японіи еще не поздно исправить то, что по слѣпотѣ было упущено в годы войны. Если Японія дѣйствительно хочет, чтобы судьба Азіи была рѣшена Азіатами, она должна наладить свои отношенія с Россіей. Русскіе тоже азіаты. В их венах течет кровь азіатов. Японія должна вмѣстѣ с Россіей защищать общее дѣло против преобладанія англо-саксов. Если она примет руку Россіи в дѣлѣ защиты прав Азіатов, то в этом, — и только в этом, — надежда на спасеніе, на избавленіе от катастрофы, в которую Японія и другія страны Востока будут загнаны ненасытным честолюбіем и жадностью англо-саксов» (26).

Это говорилось в тѣ самые дни, когда Коминтерн устами японскаго коммуниста Катайямы выдвигал лозунг созданія «единого фронта японских, китайских и корейских коммунистов против японскаго империализма» (27), а «Правда» стояла на позиціи соглашенія Сов. Россіи с Америкой... Сунь-Ят-Сен, — надо признать, — имѣл смѣлость прогноза. Впрочем, он, — повидимому, — был в курсѣ настроеній «совѣтских работников» в Шанхаѣ, которые уже зимою 1922-23 года завязывали первыя нити связей с Японіей и подготавливали первую поѣздку туда Юффе, тогда совѣтскаго представителя в Китаѣ. Во всѣх деталях закулисной работы и закулисных связей будет можно разобратъ только позднѣе...

6.

Зимой 1922-23 года призывы Сунь-Ят-Сена не оказали непосредственнаго вліянія на политику Японіи. У власти там стояли тѣ группы ея господствующих классов, для которых

соціальный ужас перед большевизмом (беру выраженіе цитированной выше статьи «Дэйли Телеграф»), с одной стороны, и хозяйственныя связи с Америкой и Англійей, с другой, — дѣлали невозможным переход к политикѣ далеко идущаго сотрудничества с Сов. Россіей. Это были и экономически, и соціально наиболѣе консервативные элементы...

Но призыв Сунь-Ят-Сена не остался и «гласом вопіющаго в пустынѣ». В литературѣ разбросано достаточно данных, чтобы наблюдатель, даже не владѣющій японским языком, мог прослѣдить, как росли настроенія, окрашивавшія японское пан-азиатское движеніе в совѣтофильскіе цвѣта. Главные очаги такого рода настроеній создавались в кругах молодежи, — преимущественно военной, — гдѣ они болѣе или менѣе прочно сплетались с настроеніями вульгарнаго анти-капитализма: здѣсь формировались кадры будущих «штурмовых отрядов» пан-азиатскаго фашизма.

Но внѣшне-политическая концепція Сунь-Ят-сена пробиwała себѣ дорогу и во вліятельные круги старых политиков. «Хоци», — вліятельнѣйшій орган умѣренно-либеральной партіи японской торгово-промышленной буржуазіи, который и в прежніе годы стоял за политику соглашенія с Россіей, — теперь превращается в главный орган групп, которыя добиваются радикальной смѣны внѣшне-политическаго курса. Логикой борьбы программа внѣшне-политической переориентировки Японіи оказывается связанной с программой либеральных внутренних реформ, — и Гото, один из наиболѣе послѣдовательных сторонников сближенія с Россіей, становится знаменосцем идеи введенія всеобщаго избирательнаго права.

Страшная катастрофа, обрушившаяся на Японію в сентябрѣ 1923 году, когда в нѣсколько часов Японія потеряла от землетрясенія не меньше 7% всего своего національнаго достоянія, приблизила побѣду сторонников реформ. Выборы в маѣ 1924 года дали им огромное большинство. Правительство стараго реакціонера Кіоура пало, — на смѣну ему пришло либеральное правительство Като Комей, в состав котораго вошел ряд опредѣленных сторонников внѣшне-политической ориентаціи Сунь-Ят-Сена.

Результаты начали сказываться очень быстро.

Весною 1924 года основныя господствующія позиціи в Китаѣ были в руках группировок, ориентировавшихся на «англо-саксов». Президентом республики был Цао-Жунь, глав-

нокомандующим вооруженными силами — маршал У-Пей-Фу, — оба плившие в форватеръ англо-американской политики. Соответствующим образом было составлено и обще-китайское правительство. 10-го марта это правительство потребовало от Японіи аннулированія «21 требованія», возвращенія Китаю Порт-Артура и Дальняго и т. д.: это был переход в рѣшительное наступленіе на главныя японскія позиціи в Китаѣ. 30-го марта Соед. Штаты, поддерживая Китай, аннулировали американо-японское соглашеніе 1917 года о признаніи «спеціальныхъ правъ» Японіи в Китаѣ.

В эти же дни пекинское правительство аннулировало русско-китайское соглашеніе, подготовка котораго велась в теченіи нѣсколькихъ лѣтъ и в основу котораго был положен отказ Сов. Россіи от права экстерриториальности и всѣхъ другихъ особыхъ привилегій. Это аннулированіе вызвало широкое движеніе протеста, но рѣшающую роль сыграл, повидимому, другой фактор: комментируя событія К. Гаусхофер, который внимательно слѣдил за Дальнимъ Востоком и имѣл очень хорошую информацію, как с японской, так и с русской стороны, писал, что перерыв русско-китайскихъ переговоровъ былъ сдѣланъ под давленіемъ Америки и Франціи, а возобновленіе ихъ явилось результатомъ тайнаго японскаго требованія... (28). Если это сообщеніе вѣрно (а историку часто приходится убѣждаться, что информація Гаусгофера о закулисныхъ событіяхъ обычно стоитъ на большой высотѣ), то рѣшеніе японскаго правительства начать играть на русскую карту было принято еще до прихода къ власти новаго либеральнаго правительства: правительство Като вступило в исполненіе обязанностей 11 іюня, а русско-китайскіе переговоры возобновились около 20 мая. Велась она в величайшемъ секретѣ. Караханъ встрѣчался с Веллингтономъ Ку по ночам, на нейтральныхъ квартирахъ. Были приняты всѣ мѣры, чтобы тайна переговоровъ не была вскрыта раньше времени.

Сообщеніе о подписаніи русско-китайскаго договора появилось в газетахъ 31 мая, и было дѣйствительно сенсациейъ даже для очень освѣдомленныхъ людей, — но оно было только предисловіемъ к другимъ сенсациямъ, еще болѣе неожиданнымъ. Не лишне добавитъ, что именно к этому времени **относится** начало частыхъ встрѣчъ Карахана и с тѣмъ самымъ Юсизава, японскимъ посломъ в Пекинѣ, подпись котораго под договоромъ 20 января 1925 года стоитъ рядомъ с подписью Карахана...

Подробностей этих переговоров мы не знаем, — но общий ход событий показывает, что формальному подписанию договора все же предшествовали еще 8 мѣсяцев сложной игры, — не дипломатической только: это происходила повѣрка на практикѣ, насколько полезным может быть сотрудничество всѣх тѣх, у кого в венах течет азіатская кровь.

7 сентября маршал Чжан-Цзо-Лин в Мукденѣ (тогда чисто японская оріентація) об'явилъ войну всекитайскому правительству в Пекинѣ (оріентація «англо-саксонская»). 20 сентября при японском посредничествѣ он в срочном порядкѣ подписалъ соглашеніе с совѣтским правительством о Вост.-Кит. желѣзной дорогѣ, — вопрос, сговориться по которому не удавалось в теченіи ряда лѣт. Теперь событія шли бѣшенным темпом, и уже 3 октября на основаніи этого соглашенія дорога перешла в совмѣстное совѣто-манчжурское управленіе.

Тѣм временемъ арміи пекинскаго правительства под командой маршала У-Пей-Фу собирались на границах Манчжурии. И по численности, и по вооруженію онѣ значительно превосходили арміи Чжан-Цзо-Лина, и побѣда Пекина казалась предрѣшенной. Лѣвымъ флангомъ командовалъ «христіанскій генералъ» Фын-Юй-Сян, тот самый, который даже среди китайскихъ «милитаристовъ» сумѣлъ заслужить прозвище: «отецъ измѣны» (он всегда оріентировался на того, кто в данный моментъ лучше платилъ). Передъ походомъ на Чжан-Цзо-Лина онъ бралъ много денегъ отъ «англо-саксовъ»; пригласилъ в свои арміи американскихъ миссіонеровъ, которые раздавали солдатамъ Библію и говорили о Нагорной Проповѣди, — и считался надежной опорой тѣх, кто поддерживалъ Пекинское правительство. Но... свои арміи передъ тѣмъ онъ формировалъ на границахъ Внутренней Монголіи. Постройка шоссе изъ Сов. Россіи еще не была закончена. Между территоріями, контролируемыми Россіей, и территоріями, гдѣ обиталъ «христіанскій генералъ», лежала не только знаменитая Китайская Стѣна, но и пустыня Гоби. Но многовѣковая китайская мудрость учитъ: нѣтъ такой стѣны, черезъ которую не перелѣзъ бы оселъ, нагруженный золотомъ. Онъ подавно проберется и черезъ пустыню...

Въ этотъ самый моментъ, когда арміи У-Пей-Фу заняли исходныя позиціи для рѣшающаго наступленія, «христіанскій генералъ» повернулъ свои арміи и, оставивъ обнаженнымъ флангъ У-Пей-Фу, вмѣсто Мукдена ускореннымъ маршемъ пошелъ на Пекин, который и былъ имъ занятъ 23 октября. Всѣ члены правительства или были арестованы, или бѣжали; президентъ Цао-

Кунь отрекся, — а 3 ноября закончился разгром и армій У-Пей-Фу, который сам с большим трудом спасся на англійской канонеркѣ...

Все зданіе Китая, ориентирющагося на «англо-саксов», которое эти послѣдніе воздвигали с таким стараніем (хотя и не без взаимнаго подсиживания) в теченіи трех лѣтъ, — рассыпалось за два мѣсяца, как карточный домик. Правительство в Пекинѣ было создано под контролем Чжан-Цзо-Лина, — а «христіанскій генерал», пограбив китайскіе кварталы, отошел к Калгану, куда срочно достраивали совѣтскій тракт, для очереднаго переформирования своих армій, которыя отнынѣ стали именоваться «народными». Американских миссіонеров при них уже не было; о Нагорной Проповѣди уже не говорили; но в Берлинѣ К. Гаусгофер получил право поучать свою геополитическую аудиторію, что теперь

«У-Пей-Фу... должен так же хорошо познакомиться со всею ненадежностью американской поддержки, как с нею познакомилась Корея. Горе тому... (29).

...6 апрѣля 1927 года, когда китайская полиція произвела обыск в совѣтском посольствѣ в Пекинѣ, были найдены документы: «христіанскій Генерал» получил 11 миллионв рублей золотом... (30). «Осел» который перебрался через Китайскую Стѣну, был нагружен не плохо!

Немедленно же по полученіи извѣстія об этих событіях, 13 ноября, Сунь-Ят-Сен пустился в далекое путешествіе: из Кантона в Пекин, — на совѣщаніе по вопросу об организаціи обще-китайской власти. Путь он выбрал не самый короткій: через Японію, — Кобе и Нагасаки. Но Гаусгофер этот маршрут весьма одобрил: «мудрое путешествіе», — комментировал он.

Ван-Цзин-Вей, один из ближайших сотрудников Сунь-Ят-Сена, послѣ того, как он измѣнил Чан-Кай-Шеку и в 1938 году перешел на сторону Японіи, — издал в Шанхаѣ том политических рѣчей Сунь-Ят-Сена, старыми словами котораго он пытался оправдать свое собственное выступленіе в роли «тушинскаго перелета». В этот том он включил и рѣчи, произнесенныя Синь-Ят-Сеном в ноябрѣ 1924 года на разных банкетах, которыми его чествовала «японская общественность». Нельзя не признать, расчет Ван-Цзин-Вея не был совѣм безосновательным: эти рѣчи Сунь-Ят-Сена могут и теперь сѣять смущеніе в умах читателей-китайцев, несмотря на то,

что они вот уже 6 лѣтъ ведут непрерывную войну против японцев, — их «братьев» по азіатской крови... (31). Эти рѣчи не оставляют мѣста для сомнѣнія, что большой стратегической цѣлью политики Сунь-Ят-Сена была та самая цѣль, которую как раз в тѣ дни сжато и выпукло сформулировал все тот же гео-политическій генерал К. Гаусгофер:

«Если какая-либо группировка в Восточной Азіи и способна взяться за проведеніе восточной стороны евразійской континентальной политики с морской державой (Японія!) в видѣ флангового прикрытія, то это только совмѣстная работа Сунь-Ят-Сена с Чжан-Цзо-Лином и Като, на одной сторонѣ, и Караханом, на другой...» (32).

Совѣщанія этой группировки в Тяньцзинь и Пекинъ показали, что почва для проведенія в жизнь этой программы-максимум «восточной стороны евразійской континентальной политики» (в развернутом видѣ концепція Гаусгофера имѣла так же и западную сторону, — с другим «фланговым прикрытіем»!) еще не достаточно подготовлена: интересы политики внутренней и на этот раз перекрестили дорогу интересам политики внѣшней, — и свели почти на нѣтъ результаты столь блестящей побѣды, одержанной на полях битв дипломатических... Но русско-японскій договор все же был подписан, — вмѣстѣ с секретным к нему приложеніем, подлинный текст котораго нам до сих пор неизвѣстен.

7

Всѣ эти событія, — если на них смотрѣть из Москвы, — имѣли и иную причинную связанность.

Крушеніе надежд на пролетарскую революцію в Германіи вызвало растерянность. 1924 год — год потери старой ориентировки всей большой внѣшне-политической стратегіи Москвы. В 1921-23 годах эта стратегія, как мы видѣли, разрывала мір на двѣ обособленных половинки: Запад и Восток, — Европа и Тихо-Океанское пространство. Для каждой из этих половинок она не только предписывала различныя тактики, но и ставила различныя стратегическія задачи. Посылкой, дѣлавшей возможным этот разрыв, был «уход Америки из Европы»: отказавшись принять участіе в налаживаніи послѣ-военной Европы, уклоняясь от финансированія послѣдней для преодоленія кризиса, Америка позволяла «прямую атаку» на европейскія

твердыни капитализма в извѣстной мѣрѣ замыкать в рамки только европейской революціи. Линія горизонтальнаго дѣленія на различные соціальные классы, конечно, проходила повсюду; конечно, повсюду же ее пересекали и линіи дѣленія вертикальнаго: на страны эксплуатируемыя и страны эксплуатирующія. Но настоящаго **монизма** в міровой стратегіи Москвы еще не было: концепція главнаго врага не была проработана до **конечных** логических выводов, и в соотвѣтствіи с этим **единая стратегическая цѣль** еще не была поставлена.

1924 год измѣнил обстановку как раз в этом центральном пунктѣ: «Америка вновь повернулась лицом к Европѣ», — провозгласил Зиновьев и это событіе «міроваго значенія» положил в основу всего своего анализа международной обстановки на 5-ом пленумѣ Исп. Ком. Коминтерна (33). Америка стала в центрѣ общаго вниманія. «Лучшія головы» ВКП и Коминтерна принялись изучать совершающееся. Сталин по своей привычкѣ ставил вопрос «конкретно». «В чем выразилась конкретно стабилизация капитализма?» — спрашивал он и тотчас же давал отвѣт: «Во-первых в том, что Америкѣ, Англии и Франціи удалось сговориться временно о способах и размѣрах ограбленія Германіи» (34).

Но Германія была в центрѣ вниманія предшествовавшаго періода боев за міровую революцію на «западной сторонѣ». Невмѣстательство именно в германскія событія дѣлало Америку нейтральной для этой «стороны», гдѣ шла борьба за пролетарскую революцію, и это позволяло ея міровую роль разцѣпывать прежде всего под углом ея значенія для событій на «восточной сторонѣ», гдѣ дѣло шло о революціи буржуазно-демократической, которая по концепціи тѣх лѣт не только допускала возможность проникновенія иностраннаго капитала в страну, совершившую революцію, но и дѣлала такое проникновеніе желательным. Теперешній переход Америки в лагерь стран, которые своими дѣйствіями препятствуют росту пролетарской революціи на Западѣ, заставлял к ея общей дѣятельности подходить с критеріем революціи пролетарской. А так как одновременно шел процесс все большаго и большаго превращенія Америки в «центр финансовой эксплуатаціи всего міра» (Сталин на XIV партійном с'ѣздѣ), — то политическая мысль коммунистов в 1924-25 годах быстрым темпом эволюционировала к той оцѣнкѣ Соед. Штатов, которая была дана Мануилским в декабрѣ 1926 года, когда он объявил их «самым страшным, самым хитрым, самым сильным» врагом. **Монизм**

стратегической цѣли для обоих полушарій достигался тѣм, что «врагом № 1» становились Соед. Штаты, дѣйствовавшіе на обоих этих полушаріях.

Параллельно шла и «реабилитация» Японіи. Экономически она и прежде рассматривалась, как сила не самостоятельная, — играющая роль главным образом в качествѣ приложения к другим, хозяйственно болѣе мощным странам. Теперь началась ея реабилитация и по политической линіи. Движеніе 1923-24 годов, в котором, как мы видѣли, элементы политическаго реформаторства и примитивнаго, вульгарнаго анти-капитализма особенно пышным цвѣтом распускались при оплодотвореніи их пыльцѣй демагогическаго пан-азиатизма, было об'явлено движеніем, «кое в чем живо напоминающим эпоху 1905 года» в Россіи, — т. е. эпоху буржуазно-демократической революціи:

«Буржуазный переворот стучится в двери Японіи, — говорил Зиновьев в своем докладѣ 25 марта 1925 года. — А такого рода переворот в нашу эпоху безусловно должен ускорить освободительное движеніе на Восток и тѣм самым приблизить мировую пролетарскую революцію».

Иными словами: из страны, имперіалистическая политика которой побивала всѣ рекорды жестокости и хищнической эксплоатации поработенных народов, Японія становилась **положительным** фактором революціоннаго развитія на Востокѣ и, как слѣдствіе, фактором содѣйствующим нарастанію «мировой пролетарской революціи». И в то же самое время Соед. Штаты, которые раньше рассматривались, как фактор почти нейтральный с точки зрѣнія развертыванія «пролетарской революціи» в Зап. Европѣ и объективно положительный с точки зрѣнія развертыванія революціи буржуазно-демократической на Востокѣ, превратились во «врага № 1».

В этих условіях, конечно, не могло быть и рѣчи о продолженіи политики, которую защищал Радек в сентябрѣ 1922 г. для Тихо-Океанскаго пространства: с Китаем и Соед. Штатами (а при нуждѣ и с Англіей) против Японіи. Указанная оцѣнка ситуации обязывала к политикѣ прямо противоположной: с Японіей и Китаем против Соед. Штатов и всѣх тѣх, кто пойдет с послѣдними. Союз «Сунь-Ят-Сена с Чжан-Цзо-Лином и Като, на одной сторонѣ, и Караханом, на другой», который в декабрѣ 1924 года так настойчиво рекомендовал Гаусгофер для «восточной стороны евразійской континентальной политики»

не только на практикѣ осуществлялся в это время совѣтскими дипломатами на берегах Тихаго Океана, но был и «теоретически» обоснован в рѣчах Зиновьева-Сталина по линіи партіи и Коминтерна. Он становился стержнем мировой политики Москвы на Востокѣ.

8.

Сталин в это время еще только начинал выступать в качествѣ дѣйствительнаго руководителя внѣшней политики Москвы. Тѣм характернѣе, что в дальне-восточную часть этой политики он счел нужным вмѣшаться весьма многозначущим образом: таким вмѣшательством было то интервью, данное им японскому журналисту Фусе, о котором нам уже приходилось говорить в предыдущих **статьях**.

Об'явив японскій народ «самым передовым из народов Востока», Сталин доказывал своему собесѣднику, что

«союз японскаго народа с народами Совѣтскаго Союза был бы рѣшающим шагом в дѣлѣ освобожденія народов Востока. Такой союз означал бы начало конца великих колониальных имперій, начало конца мирового империализма. Этот союз был бы непобѣдим.

Цѣли совѣто-японскаго союза здѣсь формулируются с такой прямотой и откровенностью, как ни в одном другом документѣ, исходящем от отвѣтственных представителей совѣтскаго правительства: тот факт, что Сталин в то время формально занимал пост только генеральнаго секретаря партіи, позволял ему говорить с большей прямотой, чѣм это дѣлали официальные представители правительства.

Но Сталин в своем интервью не ограничивается этой общей формулировкой, — он идет и дальше, позволяя нам лучше разобраться в его программѣ дѣйствій: он опредѣляет свое отношеніе не только к Японіи и японскому народу, но и к пан-азиатскому движенію. Я уже отмѣтил выше, что 2-й конгресс Коминтерна в 1920 году по предложенію Ленина, опредѣлил пан-азиатское движеніе, как движеніе, которое «освободительную борьбу против европейскаго и американскаго империализма» пытается соединить «с усиленіем мощи... японскаго империализма», а потому обязал всѣх коммунистов вести борьбу с этим движеніем. Пренія на конгрессѣ, которыя можно разсматривать, как комментаріи к цитированной резолюціи,

только усиливают ея анти-японскій характер. Особенно интересна рѣчь китайскаго делегата, — перваго китайскаго коммуниста, появившагося на конгрессах Коминтерна, — которая цѣликом заострена против «алчнаго японскаго имперіализма, пустившаго глубокіе корни в Азіи»: в его словах ясно звучал непосредственный отклик настроеній, господствовавших в широких массах китайскаго народа.

К 1925 году пан-азиатское движеніе отнюдь не утратило тѣх черт, которыя отмѣчает конгресс Коминтерна. Оно завоевало ряд новых позицій, пустило корни в Индіи, Индонезіи и т. д., — но только для того, чтобы с еще большим усердіем служить дѣлу «усиленія мощи... японскаго имперіализма», — того самаго, который, как мы знаем от Ленина, выдѣляется «неслыханным звѣрством, соединяющим всѣ новѣйшія изобрѣтенія техники и пытки чисто азіатскія». В его политической позиціи было нѣсколько новых моментов, — в том числѣ все болѣе и болѣе отчетливая оріентація на союз с нѣмецким милитаризмом (35). Но эти моменты ни в какой мѣрѣ не позволяли говорить об измѣненіи этого движенія в его основах. Скорѣе наоборот! И тѣм не менѣе Сталин откровенно об'являет пан-азиатское движеніе — движеніем, которое имѣет общій язык и с русским большевизмом, и с Коминтерном. У него в интервью, конечно, имѣется ряд оговорок, чтобы не дать основанія обвинить его в прямом нарушеніи резолюцій Коминтерна: он достаточно осторожный и осмотрительный человек, чтобы не попадаться в такія элементарныя ловушки. Но остріе его заявленій направлено в прямо противоположную сторону, чѣм остріе резолюціи Коминтерна: этот послѣдній, отмѣтив нѣкоторую общность цѣли, центр вниманія переносит на доказательство необходимости борьбы против пан-азиатскаго движенія, — а Сталин доказывает возможность совмѣстной работы с послѣдним, несмотря на наличие в этом движеніи нѣкоторых недостатков. И притом эту возможность совмѣстной работы с пан-азиатами Сталин видит как раз в том, что составляет основу боеваго пан-азиатизма: **в оріентаціи на войну, как на средство освобожденія Азіи от «имперіалистов Запада»:**

«Поскольку лозунг: «Азія для Азіатов», — заявляет он, — означает призыв к революціонной войнѣ с имперіализмом Запада, постольку, — но только постольку, — общность тут (т. е. между коммунистами и пан-азиатами Б. Н.) несомнѣнно имѣется».

Иными словами: соглашаясь на союз для «революционной войны с империалистами Запада», Сталин оставляет за Коминтерном право критики пан-азиатизма...

То же интервью дает нам представление и о том, в каком направлении он намѣревался эту критику вести. Отвѣчая на один из вопросов бесѣдовавшего с ним японскаго журналиста, Сталин коснулся вопроса о том, что «государственный и социальный строй Японіи толкает японскій народ на путь империализма», — и в слѣдующую формулу облек свой совет японским пан-азиатам по вопросу о внутренних преобразованиях в Японіи:

«Вы спрашиваете, — заявил он, — как выйти из этого противорѣчія между интересами японскаго народа, с одной стороны, и государственным и социальным строем Японіи, с другой? Выход один: измѣнить государственный и социальный строй Японіи по образу и подобию коренных интересов японскаго народа».

Эта формула настолько неопредѣленна и даже двусмысленна; она так мало похожа на тѣ дѣйствительно четкія формулы, которыя обычно дает автор «Вопросов ленинизма», — что читателю нелегко понять ее дѣйствительный смысл. На самом дѣлѣ: про какія именно перемѣны в государственном и социальном строѣ той или иной страны ученик Ленина, — который свои программы строил, разлагая общество на классы и противорѣчія между интересами послѣдних рассматривая, как движущую силу развитія страны, — имеет право сказать, что эти перемѣны будут стоять в соотвѣтствіи с «образом и подобіем» (язык «Книги Бытія»!) «коренных интересов» всего народа этой страны? И болѣе конкретно: какое именно содержаніе вкладывал, — мог вкладывать, — Сталин в эту формулу примѣнительно к тогдашней Японіи?

Отвѣтить на этот вопрос мы сможем только в том случаѣ, если забудем про Маркса и Ленина, — и вспомним о формулах тѣх японских пан-азиатов, которые в описываемое время, — как мы видѣли, — дѣлали попытки свои пан-азиатскіе идеалы связать с задачами социального переустройства. Для них для всѣх общим было отталкиваніе от «капиталистическаго», «плутократическаго», «империалистическаго» и т. д. государственнаго и социальнаго строя Зап. Европы и Америки, — но едва ли не еще болѣе сильным было отталкиваніе от социалистических идеалов Запада. По существу, им была чужда и антипатична

вся европейская культура в ея цѣлом, — и они стремились не только к ликвидации **хозяйственнаго** господства «бѣлых», но к ликвидации и идейной гегемоніи послѣдних. «Хатабатцу», «бѣлая опасность», о которой надрывисто кричали пан-азіаты, включает в себя и экономику, и политику, и всю культуру европейско-американскаго міра в его цѣлом. Поэтому то всѣм группам и группкам пан-азіатов было обще стремленіе думать такими категоріями, как «коренные интересы японскаго народа» и в прошлом Японіи искать рецепты для «чисто японских» социальнo-политических экспериментов над современностью. Совсѣм не случайно пан-азіатское движеніе в Японіи означеннаго періода начали называть так же и «японизмом»!

Многовѣковая и своеобразная исторія Японіи была дѣйствительно богата всевозможными поучительными примѣрами. Имѣлась в ней и попытка государственной организаціи хозяйства: так называемыя реформы Тайква или Тайка, начатыя ровно 1300 лѣтъ тому назад, в 645 году нашей эры. К. Гаусгофер называет эти реформы попыткой построить «государственно-соціалистическій чиновничій строй», — но примѣнять термин «соціализм» к тогдашней попыткѣ можно только при полном непониманіи органической связанности современнаго социализма не только с опредѣленным уровнем развитія производительных сил, но и со всею сложною традиціей гуманистической культуры высвобожденія человѣческой личности из под деспотической власти примитивно-родовых отношеній. Ничего **соціалистическаго** в реформах Тайка не было: они были эпизодом в исторіи формированія централизованнаго государства, которое в лицѣ императора экспроприировало всѣ земли в странѣ, бывшія до того собственностью многочисленных родов, и распредѣляло их затѣм на опредѣленных основах. Японским пан-азіатам эти реформы казались національно-японской формой «экспроприаціи экспроприаторов», — и они, неизмѣнно смѣшивавшіе социализм с элитизмом (36), рѣшенія социальних проблем искали на пути безграничнаго увеличенія власти императора и предоставленія ему права принудительнаго отчужденія частной собственности. Их мысль работала в совсѣм иных плоскостях, шла в направленіи совсѣм иных перспектив, чѣм перспектива социализма, как формы наиболѣе полнаго освобожденія человѣческой личности, — и для многих из них настроенія примитивнаго элитиста VII вѣка были дѣйствительно болѣе близкими, чѣм настроенія европейско-американскаго социалиста начала XX вѣка. Их «государственный

соціализм» был ничѣм иным, как средством подготовки страны к тотальной войнѣ: термина этого в тѣ годы еще не существовало, — но выработка содержания этого понятія уже шла не в одной только Японіи.

О. Танин и Юган, — цитированные выше совѣтскіе изслѣдователи, особенно тщательно изучившіе японскія военно-фашистскія группировки, — свой анализ программы одной из наиболѣе значительных групп этого лагеря (а именно организации «Юдзонся», одним из руководителей которой был упомянутый выше Кита Икки) заключают слѣдующим выводом:

«от до-военных пан-азійских теорій программа «Юдзонся» отличается тѣм, что она обуславливала успѣх внѣшней агрессии устраненіем раскола в японской націи, об'единеніем всего японскаго народа вокруг императора. А для этого должна быть 'улучшена' организациа самого государства японскаго. В качествѣ своей цѣли в соотвѣтствіи с этим общество 'Юдзонся' выступало за 'созданіе революціонной Японіи' вмѣсто нынѣшней 'тѣсной и замкнутой Японіи'. Должен быть дан 'простор японскому народному духу и создана великая революціонная Имперія, в которой будут совмѣстно править император и народ' и которая 'превратит в рай всю Восточную Азію'» (стр. 74-75).

Внимательному читателю, конечно, бросилось в глаза, что всѣ эти программныя задачи японской военно-фашистской организации (а «Юдзонся» только давала наиболѣе яркую формулировку тем настроеніям, которыя бродили в широких слоях военно-фашистской молодежи) цѣликом и полностью могут быть согласованы с формулировкой, которую дал Сталин в своем интервью: в послѣднем нѣтъ ничего, под чем не мог бы подписаться автор программы «Юдзонся»...

Это, конечно, не было случайным совпаденіем. Сталин был превосходно ориентирован в обстановкѣ, и нѣтъ никакого сомненія в том, что он обращался именно к этой части японской аудиторіи (37) и тогда, когда говорил о «революціонной войнѣ с имперіалистами Запада», и тогда, когда в интересах именно этой войны рекомендовал перестроить Японію «по образу и подобию коренных интересов японскаго народа». Именно эти группы пан-азіатов были для него наиболѣе желательными партнерами в той большой игрѣ, которую он мечтал начать на Тихом Океанѣ и которую Гаусгофер алебраически точно называл «восточной стороной

евразійской континентальной политики». Его интервью — было ничѣм иным, как открытым предложением официальный договор между Сов. Россіей и Японіей, как двумя государствами, подписанный в Пекинѣ 20 января 1925 года, дополнить еще политическим договором между Коминтерном и пан-азиатским движением указанного типа... Он рассчитывал на долго вперед. Для политики сегодняшнего дня был достаточен договор 20 января. Но для будущего Сталин хотѣл имѣть союзника болѣе вѣрнаго и прочнаго, чѣм торгово-промышленная буржуазія Японіи. «Пан-азиаты» ему казались наиболѣе подходящими кандидатами для этого...

Нѣсколько деталей показывают, какое большое значение Сталин придавал этому договору и на какія политическія концессіи он был готов пойти, чтобы имѣть своими партнерами, как всю Японію в цѣлом, так и вышеупомянутыя группы пан-азиатов, в особенности.

Как мы уже знаем из цитированной выше статьи «Дэйли Экспресс», «англо-саксы» значительную часть своих надежд возлагали на социальный страх правящих классов Японіи, которые должны оказать противодѣйствіе соглашенію с Сов. Россіей из опасенія проникновенія большевизма в Японію. Эти послѣднія опасенія в свое время дѣйствительно играли большую роль, — и не в одной только Японіи. Условіе отказа от коммунистической пропаганды большевикам ставили не раз и во многих странах, — и неизмѣнно без успѣха (во всяком случѣ без успѣха поскольку рѣчь шла о странах демократических): Москва никогда не брала на себя обязательств принять какія-либо мѣры по ликвидаціи коммунистической агитаціи, ссылаясь на формальную несвязанность Коминтерна с совѣтским правительством. Японія была страной, гдѣ Москва поступила иначе, для нея она в 1924-25 годах приняла вполне дѣйствительныя мѣры, чтобы свести на нѣтъ коммунистическую пропаганду. Один из наиболѣе видных нѣмецких геополитиков, проф. Эрих Обст, коллега К. Гаусгофера по редакціи «Цайт-шрифт фюр Геополитик», в концѣ 1924 года совершил поѣздку по Россіи, посѣтил ряд городов, вел бесѣды с рядом виднѣйших коммунистов. Как и полагается геополитику, он особенно интересовался проблемами внѣшней политики, — и его сжатое резюме наблюденій в этой области принадлежит к числу наиболѣе интересных документов того времени. Из этого резюме мы узнаем, что Сов. Россія «соблюдает крайнюю сдержанность в отношеніи японскаго пролетаріата», что она активно под-

держивает «японо-китайское сближение» и в добавление ко всему «отозвала большинство специальных эмиссаров из Кореи» (38). Если мы прибавим, что именно в это время (весною 1924 года) была **формально**, по рѣшенію ея собственного Центрального Комитета, распущена японская коммунистическая партія, то для нас станет вполне понятна картина планомерно проведенной ликвидации коммунистической пропаганды. В официальной коммунистической литературѣ рѣшеніе о ликвидации коммунистической партіи приписывается интригам тогдашняго лидера Ямакава и подчеркивается, что оно проведено «без созыва партійнаго с'ѣзда или хотя бы конференціи, без спроса хотя бы партійнаго актива, без вѣдома Коминтерна и вопреки волѣ рядовых членов партіи» (39). Но точное совпаденіе во времени этой ликвидации с общим поворотом совѣтской политики в отношеніи Японіи заставляет к этим утвержденіям относиться без особеннаго довѣрія. Вполне возможно, что на мѣстѣ пошли нѣсколько дальше, чѣм того хотѣл центр. Но несомнѣнно, что они шли как раз в том направленіи, в каком центр хотѣл, чтобы они шли...

9

Договор 20 января 1925 года и интервью Сталина от 4 июля того же года, — это два основных документа, отмѣтивших в высшей степени важный этап в развитіи совѣтской внѣшней политики на Дальнем Востока: этап, который правильнѣе всего будет назвать первой попыткой установить смычку между совѣтской внѣшней политикой и пан-азиатским движеніем.

В дальнѣйшем развитіе пошло далеко не по прямой линіи. В своей рѣчи в ЦИК СССР 29 декабря 1933 года Литвинов говорил, что

«со времени заключенія пекинскаго соглашения вплоть до конца 1931 года между нами и Японіей существовали наилучшія добрососѣдскія отношенія. Не было никаких конфликтов, никаких крупных недоразумѣній, а если таковыя возникали, то разрѣшались мирным дипломатическим путем» (40).

Это заявленіе правильно только в том случаѣ, если к вопросу подходит исключительно с формальной стороны. В

дѣйствительности, и 1925-31 годы в русско-японских отношениях были полны напряженной закулисной борьбы, когда не раз вставал вопрос даже об открытом вооруженном конфликтѣ. Закрѣпить и удержать «единый фронт» Сов. Россіи с пан-азиатским движеніем оказалось дѣлом значительно болѣе трудным, чѣм это, повидимому, предполагали авторы договора 20 января 1925 года, — хотя они, как это видно из интервью Сталина, в достаточной мѣрѣ хорошо понимали всю сложность предпринимаемаго ими маневра. Японо-совѣтскія отношенія много раз висѣли на волоскѣ, — особенно, послѣ выступленія японских армій в Манчжуріи. На фонѣ всей этой сложной борьбы особенно очевидным становится, что стремленіе к установленію указаннаго «единаго фронта» совѣм не было случайным зигзагом ни в политикѣ Сов. Россіи, ни в политикѣ Японіи. В обѣих этих странах существовали вліятельныя группировки, которыя, несмотря на всѣ трудности, вели работу по подготовкѣ условій, необходимых для возвращенія их стран на рельсы политики «пан-азиатскаго фронта». Вопрос внѣшне-политическій при этом неразрывно сплетался с рядом вопросов внутренне-политических, — и может быть правильно понят только на фонѣ этих послѣдних.

Внѣшне политика, связанная с договором 20 января 1925 года, сильно напоминает политику правительства Николая II в 1916 году. Но это внѣшнее сходство скрывает цѣлый ряд важных моментов отличія по существу. Если пользоваться любимыми выраженіями Ленина, то можно сказать, что в 1925 году политика совѣтскаго правительства дѣйствительно возвратилась к политикѣ до-революціоннаго правительства в 1916 году, — но уже на новой «высшей ступени развитія».

Политика 1916 года была обычной имперіалистической политикой стараго классическаго типа с раздѣлом «сфер вліянія», со спорами о концессіях и т. д. Она, конечно, была агрессивной, — не столько, впрочем, со стороны Россіи (41), сколько со стороны Японіи, поддерживать которую Россія обязывалась. Но возможные размѣры такого рода агрессіи даже для Японіи тогда были введены в относительно тѣсныя рамки войн «викторіанской эпохи».

Совѣм: иначе обстоит дѣло с политикой 1925 года; она содержит в себѣ совершенно новые элементы, которых не было и в намекѣ в политикѣ 1916 года. Особенно ясно их подчеркивает интервью Сталина. Это не только **количественный** максимализм территориальных задач, выдвигаемых политикой

1925 года, — хотя и он весьма важен: распространение соглашения на всю борьбу против «англо-саксов» во имя «Азии для азиатов» превращает это соглашение в соглашение для борьбы, имѣющей по-истинѣ «планетарный характер». Но еще болѣе важно, что у Сталина военно-политическая борьба против «англо-саксов» неразрывно связана с борьбой социаль-но-экономической против «империализма»:

«Колониальные страны, — говорит он, — есть основной тыл империализма. Революционирование этого тыла не может не подорвать империализма не только в том смыслѣ, что империализм будет оставлен без тыла, но и в том, что революционирование Востока должно дать рѣшающий толчек к обостренію кризиса на Западѣ. Атакованный с двух сторон, — и с тыла, и с фронта, — империализм должен будет признать себя побѣжденным».

Наличіе этих двух элементов, — территориального максимализма, с одной стороны, и стремленія к мировой революціи, с другой, — не только проводит рѣзкую грань между политикой 1916 и политикой 1925 годов, совершенно исключая возможность объяснять политику 1925 года чѣм либо вродѣ возвращенія ея «на рельсы національной русской политики». Сходство имѣется только чисто формальное, внѣшнее; существо политики рѣзко отлично.

Но в этой политикѣ имѣется и другая, не менѣ интересная сторона: формулировки Сталина позволяют установить наличіе существеннаго расхожденія между основами его политики 1925 года и основами внѣшней политики Ленина. Правда, так же, как и во времена Ленина, она построена на связанности социаль-но-политических движеній с движеніями национально-революционными, но взаимоотношеніе между этими элементами совсѣм не тѣ, что во времена Ленина. Если мы всмотримся в постановку этой проблемы в разные періоды развитія ленинской концепціи мировой революціи, то мы увидим слѣдующую схему развитія.

Так называемый «революционный социализм» стараго типа, — эпохи «на рубежѣ двух столѣтій», — удѣлял мало вниманія проблемам национально-революционных движеній. Единственное, что ему казалось достойным вниманія, было дѣленіе общества горизонтальными линиями, — на социальные классы. Революционный процесс, это — процесс борьбы исключительно между различными социальными классами. Едва ли не всѣ

теоретики этого лагеря проблематику національной борьбы относят к периоду борьбы за буржуазно-демократическое раскрепощение общества. Революция социалистической, по их мнѣнію, с такого рода проблемами имѣть дѣла не придется. Такие видные представители крайняго лѣваго социализма, как Роза Люксембург, можно сказать выросли и сложились на борьбу против привнесения національно-революционных мотивов в социалистическое движение.

Ленин уже очень рано, — под впечатлѣніем «русского опыта» революции 1905 года, поставил вопрос об отношеніи проблематики національно-революционных движений к проблематикѣ социальных революцій. Основная идея, к которой он в этой области склонялся, это мысль о возможности полного разрѣшенія национальных проблем только послѣ социалистической революции. И, конечно, совѣм не случаен тот факт, что из всѣх учеников Ленина наиболѣе прямолинейно-последовательно эту идею еще в 1912-13 годах развивал Сталин («Марксизм и национальный вопрос»).

Поэтому отнюдь не случайна была позиція, занятая Лениным в период первой войны, когда подчеркиваніе связанности революционно-социалистическаго и национально-революціоннаго движений стало одним из основных положеній ленинской стратегии міровой революции. Мір раздѣлен не только по горизонтальным линіям, на различные социальные классы. Мір раздѣлен так же по вертикальным линіям: между различными национальностями, из которых однѣ, как цѣлое, являются націями эксплуататорами, другіе, — тоже как цѣлое, — націями эксплуатируемыми. Соединить движение націй эксплуатируемых с движением эксплуатируемых классов в борьбу за общую цѣль, — разрушеніе современнаго общества, — это одно из важнѣйших условий побѣды міровой революции. «Дьявольски ловкая идея», — писал о ней один из нѣмецких гео-политиков (42).

Но у Ленина имѣется два ограниченія, которыя он вводит в свою концепцію взаимоотношеній двух указанных движений: для него прежде всего первенствующую роль все время играют интересы революции социальной, 'вырастающей из рабочаго движения, — и, затѣм, национально-революционными движениями он склонен считать только движения демократических слоев соотвѣтствующих націй.

Правда, в позднѣйшіе годы, послѣ окончанія войны, у Ленина и в особенности у его ближайших сотрудников, появ-

ляется новый элемент в трактовкѣ проблемы: поскольку данная нація, как цѣлое, относится к группѣ угнетенных и эксплуатируемых, постольку объективно прогрессивной является и борьба данной національно-государственной единицы, как цѣлага, — независимо от того, какая социальная группа или политическая партія стоит в ней у кормила правленія. В этом — идеологическая посылка для первых попыток сговора с нѣмецкими националистами и нѣмецким рейхсвером в 1919-23 г.г. Но всѣ эти попытки для Ленина возможными становятся только тогда, когда общая оцѣнка обстановки приводит к выводу об угнетенном и эксплуатируемом положеніи этой національно-государственной единицы. К тому же указанные соглашения все время рассматриваются, как в высшей степени кратковременная мѣра, отнюдь не отмѣняющая продолженія борьбы внутри данной національно-государственной единицы по линии социальнo-политической.

Сталин в своем отношеніи к Японіи дѣлает первые шаги в направленіи полного пересмотра самага существа этой прежней позиціи.

Он не пытается доказывать, что Японія является страной угнетаемой и эксплуатируемой. Он знает, как Ленин оцѣнивал Японію, — и почти не пытается спорить против этих оцѣнок. Его позиція обусловлена совсѣм иными мотивами.

Зимой 1924-25 г.г. отношенія между Японіей и Соед. Штатами достигли высокой степени напряженности. Над Тихим Океаном запахло порохом. Было похоже, что мір вступает здѣсь в полосу тѣх самых «конфликтов и войн между нашими врагами», которые Сталин как раз в это время открыто об'являл «нашим величайшим союзником» (43). Он хочет посодѣйствовать этим «родам исторіи», — и со свойственной ему смѣлостью вывода он дѣлает первые шаги по пути созданія по существу совершенно новой политической концепціи, — правда, в рядѣ моментов несомнѣнно смыкающейся со старыми послылками Ленина.

Борьбу на Тихом океанѣ он рассматривает, как цѣлое, — и видит в ней борьбу двух основных сил: угнетенных народов Азіи, с одной стороны, и угнетающих народов «англо-саксонских», с другой. Нѣтъ нужды, что сама Японія никак не может быть отнесена к категоріи «угнетенных»; важно, что она **«заинтересована** в успѣхах освободительнаго движенія угнетенных народов».

Наиболѣе смѣл его вывод в плоскости социальнo-полити-

ческой. Он не довольствуется той «половинчатой» схемой, которую большевики развертывали в отношеніи Германіи. В примѣненіи к Японіи он вообще выбрасывает за борт старую социальную-политическую стратегію. Рабочаго класса Японіи для него не существует, — равно как не существует там внутренних демократических сил вообще. Его подход к японским дѣлам возможно понять только в одном случаѣ: если мы поймем, что его интересует только увеличеніе боеспособности Японіи в грядущей борьбѣ. Он превосходно знает, что внутренние социальные конфликты ослабляют боеспособность страны; с другой стороны, он знает, что элементы государственной организациі хозяйства для войны и во время войны необходимы. К внутри-японским отношеніям он подходит исключительно с этими двумя критеріями и ищет там силу, которая не расщепляла бы страну по линіям горизонтальнаго дѣленія, на социальные классы и группы, а собирала бы ее и сплавивала в рамках дѣленія вертикальнаго, в рамках національных, в то же время содѣйствуя укрѣпленію в странѣ элементов госхозяйства и социальной спайки. Такую силу он находит в лицѣ военно-этатистской молодежи, обращеніем к которой, — как показано выше, — и было все его «японское» интервью. Тот факт, что в это же самое время в отношеніи других стран Сталин стоит на позиціи непримиримой классовой борьбы в классическом ленинском смыслѣ, отнюдь не свидѣтельствует об его непослѣдовательности: в этих странах он вовсе не стремился к повышенію их боеспособности, — наоборот, он опредѣленно хотѣлъ ослабленія таковой. И в отношеніи Японіи Сталин не все время остается на этой позиціи: когда отношенія с Японіей ухудшились, Коминтерн возстановил компартію в Японіи, — а позднѣе, в особенно острые моменты, вел там рѣзкую анти-милитаристическую кампанію. Во всем этом нѣтъ и намека на непослѣдовательность; наоборот: по степени напряженности работы Коминтерна над обостреніем конфликтов внутри той или иной страны можно с большою мѣрой увѣренности судить, находится ли эта страна внѣшне-политически в лагерѣ друзей или противников Сталина.

Для Японіи зимы 1924-25 г.г. линіи дѣленія горизонтальнаго были забыты. В большой стратегіи для «восточной стороны евразійской континентальной политики» доминирующее значеніе стали играть линіи дѣленія вертикальнаго, на націи, — за которыми порою явственно вырисовывался призрак дѣленія расоваго: «народы желтой расы» против «англо-саксов» (45).

П Р И М Ъ Ч А Н І Я

(1) Был ли этот «мемуар» опубликован полностью, мнѣ неизвѣстно (в свое время он был составлен, конечно, как секретный). Обширныя выдержки из него напечатаны М. Павловичем-Вельтманом: «Годовщина русско-японской войны» («Новый Восток», 1925 года, т. 7, стр. 16 и др.).

(2) Здѣсь не лишне будет отмѣтить, что этот бар. Розен сдѣлал попытку выйти на большую политическую арену и послѣ революціи: ему принадлежал план заключенія сепаратнаго мира с Германіей, который циркулировал в демократических кругах Петербурга осенью 1917 года. Он настойчиво пропагандировал свои идеи, добивался аудіенціи у крупных лидеров демократических и социалистических партій и т. д. В журналистских кругах о нем даже говорили, как о возможном кандидатѣ на пост министра ин. дѣл на случай, если придется все же пойти на сепаратный мир.

(3) В официальных протоколах с'ѣзда и в Сочиненіях Ленина этих фраз не имѣется; цитирую их по воспоминаніям Дингельштедта: «Из воспоминаній агитатора Петербургскаго Комитета» («Красная Лѣтопись», Ленинград, № 1 за 1928 год, стр. 67), который восстанавливает ряд подробностей об указанном с'ѣздѣ на основаніи своих тогдашних записей.

(4) Ю. Ларин: «У колыбели (воспоминанія)». «Нар. Хоз.» за ноябрь 1918 года, стр. 20.

(5) Ленин, XXV, 502 и др.

(6) Эти настроенія Чичерина легко восстановить по его статьям в «Вѣстникѣ Народн. Комиссаріата Иностр. Дѣл», которыя печатались сначала за его настоящим именем, а позднѣе под псевдонимом «Постскриптум». Особенно любопытна под этим углом зрѣнія статья Чичерина: «Россія и азіатскіе народы» («ВНКИД», № 2 от 13 авг. 1919 года), в которой Чичерин с явным сожалѣніем вспоминает о неиспользованных возможностях послѣдних годов жизни Александра III, когда «русскіе полковники уже овладѣли вершинами Гинду-Куша и долинами, открывавшими доступ в страны, которыя входили в состав Индостанской географической системы» (стр. 5), но не смогли довести до конца намѣченных планов, так как принцу Уэльскому во время похорон Александра III удалось «обойти» молодого Николая. «Мы отброшены на 30 лѣт назад, — говорили тогда в Азіатском департаментѣ», — прибавляет Чичерин, вскрывая тѣм самым генеологию своей англофобіи: в НКИД он ее перенес непосредственно из Азіатскаго Департамента, гдѣ за четверть вѣка перед тѣм он начинал свою дипломатическую карьеру. Из других статей

Чичерина (особенно: «Воспоминанія» за подписью «Постскриптум» в № 4-5 «Международной Жизни» за 1925 г.) видно, что он считал роковым для исторіи Европы разрыв русско-нѣмецкаго союза в 1890 году. Иными словами, руководитель совѣтской дипломатіи Чичерин обѣими ногами стоял на почвѣ внѣшне-политической концепціи союза трех императоров!

(7) См., напр., рѣчь Чичерина в засѣданіи ВЦИК, 17 іюня 1920 г.

(8) Опубликованный послѣ нѣмецкой революціи в крайней лѣвой нѣмецкой печати, этот договор и об'яснительная к нему записка перепечатаны в «Извѣстіях» от 22 ноября 1918 года.

(9) К. Haushofer: "Japan and Japaner," Berlin, 1923, p. 121.

(10) «Новый Восток», т. 2, стр. 34.

(11) «Правда» от 27 сентября 1922 года.

(12) В достаточной мѣрѣ извѣстно, что уйти из Приморья Японія оказалась вынужденной не столько в результатѣ побѣд Красной арміи, сколько под давленіем Соед. Штатов, которые на Вашингтонской конференціи в январѣ 1922 года вынудили Японію дать торжественное обязательство «как можно скорѣе» уйти из Владивостока.

(13) Вокруг этих переговоров в Соед. Штатах шла сложная борьба интересов. Я не могу дать здѣсь анализа дѣйствующих сил. Несомнѣнно, однако, что в отрицательном рѣшеніи вопроса в послѣдній момент большую роль сыграл момент идеологическаго характера, — а именно разстрѣл в Москвѣ католическаго епископа Буткевича: этот разстрѣл вызвал в Соед. Штатах такую бурю возмущенія, что послѣ него о признаніи правительства, этот разстрѣл совершившаго, стало невозможным и говорить.

(14) «IV Всемирный конгресс Коммунистическ. Интернаціонала. 5 ноября — 3 декабря 1922 года. Избранные доклады и т. д.». Москва, 1923 года, стр. 411-417.

(15) Слова Ленина, сказанныя им в 1920 году в бесѣдѣ с г. Фусе, корреспондентом японской газеты «Ничи-Ничи» (тѣм самым, который в 1925 году бесѣдовал со Сталиным). Об этой бесѣдѣ Ленина в литературѣ нѣтъ никаких свѣдѣній (в Сочиненія Ленина о ней даже не упоминается, хотя там регистрируются всѣ даже самыя мелкія выступленія Ленина). О ней упоминает и указанныя слова Ленина приводит г. Фусе в тѣх вопросах, которые он задавал Сталину («Правда» от 4 іюля 1925 года).

(16) Ленин, XXV, 289 и др. — Характерно, что в первоначальном наброскѣ тезисов по колониальному вопросу Ленин употребляет именно этот термин, подчеркивающей, — согласно старой традиціи русскаго марксизма, — предѣлы **объективно-возможнаго** для такого рода движеній. В колониальной комиссіи конгресса термин этот

был заменен другим: «национально-освободительныя», в котором указанного подчеркивания уже нѣтъ.

(17) «2-ой конгресс Коммунистическаго Интернаціонала. Стенографическій Отчет». Изданіе Коммунистическаго Интернаціонала. Петроград. 1921 г., стр. 601.

(18) Б. Семенов: «Японо-совѣтское соглашеніе», — «Новый Восток», 1925 г., т. 7, стр. 44. В этой же статьѣ собраны отклики иностранной прессы на договор 20 января, — оттуда берем их и мы,

(19) О существованіи такого секретнаго прибавленія прямо говорит Бесѣдовскій: «На путях к термидору»; о нем многократно упоминает К. Гаусгофер (см. его книгу: “Japan’s Reichserneuerung” Лейпциг, 1920 г., стр. 20 и др.; ср. также П. Милуков: «Внѣшняя политика совѣтов» (франц. изд., Париж, 1936 г., стр. 235). Послѣдній автор утверждает, что особый секретный протокол подтверждал «всѣ договоры и соглашенія, которые вытекали из Портсмутскаго трактата», т. е. договоры 1907, 1910, 1912 и даже 1916 годов!

(20) Е. Юлк: «Японская военщина в борьбѣ за власть», — «Тихій Океан», № 2 за 1936 г., стр. 13.

(21) Основныя из приведенных выше свѣдѣній взяты из книги О. Танин и Е. Юган: «Военно-фашистское движеніе в Японіи», Москва, 1933 г.

(22) К исторіи этого письма многократно возвращается К. Гаусгофер («Цайтшрифт фюр Геополитик», 1924 г., стр. 820; 1925 г., стр. 86; 1928 г., стр. 608 и др.).

(23) О германофильствѣ гр. Окума см. Е. Жуков: «Исторія Японіи», Москва, 1939 г., стр. 165.

(24) О позиціи Сунь-Ят-Сена в это время см. И. Майскій: «Китай и его борьба», — «Правда» от 28 іюля 1922 г.

(25) М. Барановскій и С Шварсалон: «Что нужно знать о Китаѣ». Москва, 3 изд. 1928 г., стр. 200.

(26) Цитирую по К. Гаусгоферу: “Japan’s Reichserneuerung” стр. 19-20.

(27) «IV Всемирный конгресс Коммун. Интерн.», стр. 273.

(28) «Цайтшрифт фюр Геополитик» от іюля 1924, стр. 450.

(29) «Цайтшрифт фюр Геополитик», ноябрь 1924 г., стр. 733.

(30) P. Milukov: “La politique extérieure des Soviets,” Paris, 1936. p. 272.

(31) “China and Japan. Natural Friends—unnatural Enemies. A guide for China’s Foreign Policy. By Sun-Yat-Sen. With a Foreword by President Wang-Ching-Wei,” Shanghai, 1941. — См. особенно рѣчь о «пан-азіанизмѣ», произнесенную Сунь-Ят-Сеном 28 ноября 1924 года в Кобе.

(32) «Цайтшрифт фюр Геополитик», декабрь 1924 г., стр. 820.

(33) «Расширенный пленум Исполкома Коммунистического Интернационала (Протоколы засѣданій) 25 марта—6 апрѣля 1925 года». Гос. Изд. 1925 г., стр. 40.

(34) Сталин: «Вопросы ленинизма», изд. 3, стр. 213.

(35) С этой точки зрѣнія очень интересна позиція такого крупнаго представителя индійскаго національнаго движенія, каким является Таракмат Дас. В периодѣ, о котором сейчас идет рѣчь он вел систематическую пропаганду в печати за созданіе пан-азиатскаго блока под руководством Японіи и в тѣсном союзѣ с Германіей. Так, напр., его статья "For Japan," напечатанная в "The People," (орган сварай партіи в Лагорѣ, — цит. по перепечаткѣ в «Цайтшрифт фюр Геополитик», ноябрь 1925 г., стр. 873), пестрит фразами вродѣ слѣд.: «только Японія может провести освобожденіе Азіи»; «Японія, это — единственная надежда Азіи»; «Японія должна еще болѣе тщательно слѣдить за нѣмецкой политикой и заботиться о дружбѣ с Германіей» и т. д. — Т. Дас был связан с нѣмецкими гео-политиками и непосредственно, — и в органѣ их появился ряд его оригинальных статей.

(36) Для них очень характерна теза, выставленная Такабатаке: «истинный этатист не может не быть социалистом, а истинный социалист не может не быть этатистом» (О. Танин и Е. Юган, цит. труд, стр. 72).

(37) «Ничи-Ничи» — одна из наиболѣе распространенных японских газет с тиражем около 2 милл. «Больш. Сов. Энцикл.» так опредѣляет ее политическую позицію: «рупор осакской буржуазіи, которая не допускает чрезмѣрнаго либеральничанія ни во внутренней, ни в особенности во внѣшней политикѣ» (т. 65, стр. 673).

(38) "Sowjetrussische Aussenpolitik," "Zeitschrift für Geopolitik," Januar 1925.

(39) У. Хаяма: «Рабочее движеніе в Японіи». Москва, 1937, стр. 138. — Ср. так же другую работу того же автора: «Борьба за генеральную линію в японской компартіи», — в сборникѣ «Современная Японія», том. 1, Москва, 1934 г., изд. Коммунистической Академіи, стр. 107-08.

(40) Цитировано у Е. А. Коровина: «Японія и международное право», Москва, 1936 г., стр. 193.

(41) Как видно из матеріалов, опубликованных В. Авариним: «Имперіализм и Манчжурія» (Москва, 1931, стр. 144-150), Россія на соглашеніе 1916 г. шла не воплиѣ по доброй волѣ (ср. Ю. Ключников и А. Сабанин: «Международная политика новѣйшаго времени»). Договор 3 іюля 1916 г. родился в обстановкѣ, сильно схожей с об-

становкой, в которой было заключено англо-японское соглашение о Шандунѣ 21 февраля 1917 г.

(42) И. фон Бюлов в «Цайтшрифт фюр Геополитик», 1927 г., стр. 376.

(43) «Правда» от 30 января 1925 г.

(44) Я не имѣю возможности разсматривать здѣсь этот вопрос со всею полнотою, но не могу не отмѣтить, что развитіе внѣшне-политических концепцій Сталина шло вполнѣ опредѣленно в направленіи от ленинизма к геополитицизму, — в интерпретаціи послѣдняго К. Гаусгофером.

Б. Николаевскій.

НА РОДИНЪ — НА ЧУЖБИНЪ (Quo Vadis?)

В предвидѣніи третьей войны. — В центрѣ мірового вниманія. — Почему не удалась коллективная безопасность? — Как она может удалась? — Каким хотят видѣть и как изображают СССР? — Что есть тоталитаризм? — Возвращеніе к раздѣлу вліяній и равновѣсію сил. — Региональныя об'единенія и об'единенія Демократій. — Правда о Россіи и общность судьбы.

Мы присутствуем при поразительном парадоксѣ. В самый разгар войны тѣ, кто имѣют всѣ основанія рассчитывать на свою побѣду, открыто заявляют о возможности вслѣд за текущей, «рутинной» войной, — новой. И о такой возможности говорят не безответственные журналисты и политики, а — второе лицо в Соединенных Штатах, вице-президент Генри Уоллес; или столь выдающийся мыслитель, как Бертран Рэссел.

На совѣщаніи о христіанских основах мірового порядка в Делаварѣ 8 марта Уоллес сказал: «Если западныя демократіи и Россія не придут до окончанія войны к удовлетворительному соглашенію, я очень опасаюсь, что станет неизбежна міровая война № 3». Чтобы сильнѣе подчеркнуть необходимость такого соглашенія, вице-президент намѣтил двѣ перспективы — угрожающую и соблазняющую. «Без того, чтобы установлен был тѣсный и внушающій довѣріе сговор между Россіей и Соединенными Штатами, имѣется серьезное вѣроятіе, что Россія раньше или позже стакнется с Германіей». Зато будущее значительно выиграет, по убѣжденію Уоллеса, если «чрезмѣрная» политическая демократія в Соединенных Штатах исполнится «экономической демократіей», якобы уже осуществленной в СССР. «Не обойти (double cross) Россію» и самим «приспособиться к условіям 20-го вѣка, — таково предостереженіе и поученіе вице-президента своим согражданам.

Это мнѣніе очень характерно и весьма распространено. Его в разных вариантах повторяют и в Америкѣ, и в Англии. Необходимость полного сговора с Россіей является одним из лейтмотивов новѣйшей политики Вилки, почему-то противо-

полагаемой им политикъ Рузвельта. — «Мы желаем амальгамировать русскую экономическую систему с нашей собственной политической демократией», — провозгласил и основатель новой партіи (Commonwealth), одержавшей неожиданную побѣду на выборах в Англіи, сэръ Ричард Экланд.

Большинство планов устройства будущаго міра исходят из роли, которую придется при этом играть Россіи, — или сталкиваются съ тѣм, что выпадет на ея долю. Это естественно и понятно. Россія удивила міръ своим героическим сопротивленіем, и міръ не может не преклониться пред нею — отчасти из признательности, отчасти в предвидѣніи возможности новых «сюрпризов». Россія сейчас в фокусъ мірового вниманія и признанія. К ней прикованы всѣ взоры: у одних — с надеждой и упованіем; у других — со страхом и опасеніем; у третьих — со смѣшанными чувствами: «вѣрую, помоги моему невѣрію!»; все возможно, пока и в станѣ борцовъ съ «Осю» имѣется своя диктатура!...

С русской точки зрѣнія можно, конечно, только привѣтствовать повышенное вниманіе къ Россіи, стремленіе ее постичь и съ нею сговориться. Это особенно должны привѣтствовать тѣ слои русской общественности, которые одну из причин разразившейся новой войны видят в преступном уводѣ Россіи из Европы и міра капитализма и демократіи, а, с другой стороны, — в равнодушном отношеніи этого міра не столько къ террористической власти в Россіи, сколько къ Россіи как таковой. Кто будущее Россіи хочет строить не на изоляціи или самоизоляции, а на возможно болѣе тѣсном приобщеніи къ западной культурѣ и сплоченіи Запада съ Востоком, тот, естественно, переменѣну отношенія къ Россіи расцѣнивает как фактъ положительный и отрадный.

Чтобы личное эмоціональное удовлетвореніе стало, однако, фактором политики плодотворной и положительной, мало одного стремленія постичь Россію и сговориться съ ней. Необходимо и болѣе или менѣе ясное представленіе об организаціи будущаго міра, и, главное, — представленіе не о надуманной и мнимой Россіи, а о Россіи подлинной.

**
*

Международную организацію, задуманную для осуществленія послѣ прошлой міровой войны, Вильсон считал «абсолютнымъ переворотомъ в исторіи», «революціей в международныхъ отношеніяхъ». Не в созданіи Лиги Націй заключался пере-

ворот, сама Лига Націй была лишь техническим орудіем для осуществленія новой системы международных взаимоотношеній на основѣ общей, или **коллективной безопасности**. Переворот и революція выражались в **средствах и методах**, коими должен был быть отнынѣ обезпечен мир.

Коллективной безопасности предстояло стать на мѣсто гегемоніи в международных отношеніях и, так называемой, системы равновѣсія сил, или системы соревнованія, приводившей неизмѣнно к столкновенію и войнѣ — одной группы держав с другой, ее уравнивающей. Коллективная безопасность покоилась на рядѣ предпосылок — логическаго, психологическаго, историческаго и политико-правового характера. Онѣ сводились к признанію, что в 20-м вѣкѣ нѣтъ возможности «локализовать» конфликт и войну, как в былыя эпохи. Всѣ конфликты неминуемо приобрѣтают болѣе общій и универсальный характер в интернационализированном — религіей, наукой, искусством, культурой, транспортом, авіоном, радіо — обществѣ. Сейчас **все касается всѣх**, и отрицаніем этого факта самый факт не упраздняется.

Международная взаимозависимость продолжает дѣйствовать и тогда, когда ее отвергают. За годы, раздѣляющие міровыя войны, опыт Россіи и Соединенных Штатов доказал это неопровержимо. То и другое государство по разным основаніям отвернулись от системы коллективной безопасности и Лиги Націй. Оба сознательно и рѣшительно стали на путь изоляціонизма. А чѣм кончили?

СССР в 1929 году подписал пакт Бриана-Келлога и послѣ полуофициальнаго участія в рядѣ Конференцій и Комиссій Лиги, формально вступил 18 сентября 1934 года в «переименовавшую себя» из «шайки разбойников» и «синдиката побѣдителей» Лигу Націй. Не болѣе послѣдовательной, хотя и иной, была и судьба Соединенных Штатов. Начали они с отказа получать от Лиги даже матеріалы и письма, и сношенія с Женевой шли чрез посредство американских представителей в Бернѣ, Гаагѣ и Парижѣ. Смѣнилось же это самым активным участіем во всѣх «не-политических» дѣлах и учрежденіях Лиги, в финансированіи ея дѣятельности, в обсужденіи проблем, в руководствѣ другими. И кончилось — не только подписаніем ряда международных конвенцій под эгидой Лиги Націй, но и участіем в засѣданіях политическаго руководства Лиги, ея Совѣта, в разборѣ конфликтов, затрагивающих непосредственно политическіе интересы Соединенных Штатов. 14-го

октября 1931 года, послѣ нападенія Японіи на Китай, в засѣданіи Совѣта Лиги появился представитель Соед. Штатов, — и миф об участіи Соед. Штатов лишь в гуманитарной, соціальной и экономической дѣятельности Лиги приказал долго жить. Соед. Штаты и не входя в Лигу официально — или с передняго крыльца, — участвовали в ней и раньше (за кулисами), и позже — открыто: с 1931 года Соед. Штаты участвовали в разборѣ не только японо-китайскаго конфликта, но и боливопарагвайскаго и перу-колумбійскаго.

Все касается всѣх и в то же время — никто не может быть судьей в собственном дѣлѣ.

Для каждаго мало-мальски развитога правовога сознанія это — самоочевидная истина. Во внутри-государственном быту вряд ли кто, внѣ тоталитарнаго уклона мышленія, рискнет оспаривать это элементарное положеніе — первое достиженіе правовой культуры. Но во внѣшне-политической области мотивы государственнаго «престижа», «суверенитета», «жизненных» интересов, достоинства и чести, и т. д. до созданія Лиги Націй — и позднѣе, невзирая на обязательства, принятыя государствами по Ковенанту Лиги, — продолжали довлѣть себѣ.

«Революція», которую произвел Ковенант Лиги, заключалась в том, что государства-члены Лиги — торжественно обязались не прибѣгать к войнѣ, не использовав ряд мѣр для ея предотвращенія и разрѣшенія конфликта мирным путем. С этой цѣлью установлен был ряд процедур, в расчетѣ и на время, когда страсти могли бы остыть, — «період охлаждения», называют его нынѣшніе авторы будущаго замиренія; и, главное, в расчетѣ на все тот же элементарный принцип, еще римлянами твердо провозглашенный: никто себѣ не судья — судей искать надо на сторонѣ. Отсюда предложенія посредничества, согласованія, арбитража, обращенія в заранѣе установленный суд — все, что угодно, только не разрѣшеніе спора физическими средствами, которое угрожает вызвать всеобщую войну и катастрофу.

Во многом можно упрекать организаторов мира послѣ той войны. Но в недостаткѣ воображенія и предвидѣнія того, во что может вылиться частный или **мѣстный** конфликт, — их по всей справедливости упрекать нельзя. Именно, поэтому, они и пришли к системѣ обезпеченія мира путем организациі общих санкціі за его нарушеніе. Что и Лига Націй, и созданная для предотвращенія войны процедуры на дѣлѣ не дѣй-

ствовали вовсе или дѣйствовали очень медленно, нерѣшительно, двусмысленно и скверно, — это внѣ спора. Это избочиваетъ людей и учрежденія, тѣми же людьми руководимыя, — но никакъ не самую коллективную безопасность, в основу международнаго порядка положенную.

Нѣтъ одной причины, опредѣлившей неудачи, обвал и, в конечномъ счетѣ, провал женевской Лиги. Ряд причин лежалъ во **внутри-организаціонной** структурѣ Лиги, в психологіи, идеологіи и политикѣ тѣхъ, кто писалъ Ковенантъ и, в порядкѣ почти никого не удовлетворившаго компромисса, создали Лигу. Об этой сторонѣ вопроса мнѣ пришлось уже писать в 1-й книгѣ «Нов. Журнала». Но главенствующую роль в крушеніи системы коллективной безопасности сыграли, конечно, **внѣшне-политическія** обстоятельства — психологія, идеологія и политика тѣхъ, кто сталъ руководить Лигой.

Не будемъ сейчасъ возвращаться ко всѣмъ причинамъ внѣшне-политическаго порядка, обусловившихъ неудачу. Но первая по времени — отходъ Соединенныхъ Штатовъ отъ дѣла своихъ рукъ — была главной и фатальной. Она с самаго начала предопредѣлила не только то, что система коллективной безопасности утратила свою устойчивость — финансово-экономическую, технико-организаціонную, морально-политическую. Но и то, что коллективная безопасность перестала **замѣщать** систему равновѣсія силъ, — а стала **совмѣщаться** съ послѣдней.

Отказъ Соед. Штатовъ подписать версальскій трактатъ означалъ, вмѣстѣ съ отказомъ отъ участія в Лигѣ Націй, и отказъ отъ спеціального соглашенія об «оказаніи помощи Франціи в случаѣ невызваннаго нападенія на нее Германіи», — подписаннаго Вильсономъ и Лансингомъ одновременно съ версальскимъ договоромъ. Отказъ Америки автоматически влекъ за собой и отказъ в помощи Франціи со стороны Англій. Клемансо и раньше шелъ, скрѣпя сердце, на обезпеченіе безопасности Франціи путемъ коллективной помощи. Онъ публично заявилъ в палатѣ депутатовъ 29 декабря 1918 года: «Я не отказываюсь отъ системы союзовъ, говорю это с полной откровенностью». Ближайшій совѣтникъ Вильсона полковникъ Хаузъ записалъ в дневникъ под 7-ое января 1919 года: «Я убѣдилъ его (Клемансо), думаю, в первый разъ, что Лига Націй в интересахъ Франціи... Старый тигръ, повидимому, это узрѣлъ и сдѣлался ея энтузіастомъ. Онъ положилъ обѣ свои руки мнѣ на плечи и сказалъ: «Вы правы. Я за Лигу Націй, какъ Вы ее себѣ представляете, и Вы можете рассчитывать на мое содѣйствіе Вамъ».

Лишенная гарантії своих союзников, Франція стала, естественно, обеспечивать себя как могла — всѣми средствами: и путем коллективной безопасности в той мѣрѣ, в какой та была предусмотрена в Ковенантѣ и обеспечивалась Лигой, несмотря на отход Соед. Штатов; и испытанными в прошлом средствами: усиленіем собственнаго вооруженія, организаціей дипломатических и военных союзов против мыслимаго противника, самочинной военной экспедиціей в Рурскій бассейн и т. д. В менѣе откровенной и вызывающей формѣ вернулась частично к системѣ равновѣсія сил и Великобританія.

Коллективная безопасность **вмѣстѣ** с системой равновѣсія сил создавали анархію в международных отношениях: каждая из них не только компрометировала другую, но и ослабляла ее. Мы знаем, чѣм это кончилось для Лиги и установленнаго ею в Европѣ порядка. Но и Соединенные Штаты отдают себѣ сейчас отчет в том, чего этот порядок **ни** коллективной безопасности — **ни** равновѣсія сил, стоил им морально и матеріально. В чрезвычайно распространенной книжкѣ Аллен Невинс и Генри Комэдджер «Карманная исторія Соединенных Штатов» можно прочесть: «Никогда еще до этого Соединенные Штаты не предавали так безцеремонно надежд человечества». А сенатор из Пенсильваніи Джозеф Гаффи даже в цифрах опредѣлил, во что обошлась Соединенным Штатам неудача Вильсона, Лиги Націй и коллективной безопасности — : «милліон людей и триста милліардов долларов».

**
*

Уроки прошлаго позволяют сдѣлать выводы и предложенія относительно будущаго. Так всегда бывало: что вызывало оспариваніе и отрицаніе в предшествующую эпоху, то опредѣляло положительное содержаніе требованій и пожеланій для послѣдующей. Содержаніе всѣх Петицій, Биллей и Деклараций питалось тѣм, что отвергалось и подвергалось преслѣдованію и гоненію в эпохи, предшествующія англійской, американской и французской революціям. И сейчас по отрицательной сторонѣ в организаци и дѣятельности бывой Лиги судят о том, что необходимо для будущей, болѣе совершенной организациі мира.

Что коллективная безопасность исключает изоляціонизм и равновѣсіе сил, — это стало совершенно очевидным и банальным. **Или** — **или**: все лучше смѣшенія систем, при котором анархія узаконяется как норма, а не как нарушеніе или от-

ступленіе от нея. Но возможна ли **коллективная** система обеспечения мира безотносительно к политическому составу коллектива? Другими словами: предполагает ли внешне-политическая организация международного порядка и мира наличности нѣкоторых общих предпосылок, обязательных для всѣх входящих в эту организацию, или каждый волен устраиваться у себя в своих предѣлах, по своему, — не считаясь ни с кѣм и ни с чѣм?

Рѣчь идет не о времени войны, когда союзы даже с «чортом и его бабушкой» болѣе чѣм дозволены и необходимы. Рѣчь идет о времени послѣ войны, когда устанавливается болѣе или менѣе длительный и прочный порядок для предотвращения новой войны и необходимости обращенія к тому же «чорту и его бабушкѣ». С другой стороны, рѣчь не может, конечно, идти о политической нивелировкѣ участников международной организации — о том, чтобы они стали схожи или подобны один другому. И в природном мірѣ, даже растительном, не существует двух идентичных предметов, — даже листьев на деревѣ, — что же говорить о мірѣ общественном. Коллективная безопасность — как и демократія — не предполагает и не требует единообразія режимов. Она может ужиться с любой формой правового государства, не только республиканскаго, но и конституціонно-монархическаго. Но совмѣстима ли она с режимом диктатуры, исключаящей свободу и право?

Это — кардинальный вопрос, и на него то и дѣло наталкиваются всѣ проекты устроенія міра послѣ войны, когда в станѣ борцов против «нацизма, фашизма и японизма», по выраженію Рузвельта, очутилась и совѣтская Россія.

Когда президент Рузвельт провозгласил 6 января 1941 года свои знаменитыя четыре свободы, — ему не приходилось озираться на СССР, и каждая из перечисленных им свобод заканчивалась рефреном: **«повсюду в мірѣ»**. К тому же времени, когда, 14 августа 1941 года, формулированы были 8 пунктов Атлантической Хартіи, — оказался в войнѣ и СССР, и в Хартіи пришлось опустить свободу религіи и слова. Хартія возвѣщала обезпеченіе «всѣм людям во всѣх странах» лишь двух других свобод: от страха и нужды (п. 6-й Хартіи). На ряду с этим за каждым народом Хартія (п. 3-й) сохраняла право выбирать по собственному усмотрѣнію любой образ правленія — очевидно и без свободы религіи и свободы слова, т. е. и режим диктатуры. Из опущенных, конечно, не случайно, свобод, — свобода религіи еще была возстановлена 1 января 1942 года,

когда 28 об'єдинившихся націй заявили о своем присоединеніи к Атлантической Хартіи. Но свобода слова так и исчезла окончательно из оборота — при поясненіи цѣлей войны и мира.

Этим не устранялся трагическій вопрос: может ли союзник — и какой! — с режимом диктатуры и безправія у себя, стать опорой и устоем устроения міра и разрѣшенія споров у других не путем произвольнаго усмотрѣнія и физической силы, а путем права и коллективнаго сотрудничества? В своей рѣчи в день празднованія в этом году памяти Линкольна президент Рузвельт упомянул о несомѣстности Атлантической Хартіи с «правом порабощенія своего народа или других народов в мірѣ». Можно ли добросовѣстно утверждать, что народы Россіи правоспособны и дѣеспособны, что они не порабощены своим диктаторіальным правительством?

Коллективная безопасность — и международная организациа на основах права, как ее ни называть, — плод демократическаго сознанія, и возможны онѣ лишь при наличности демократических предпосылок. Не может быть для них безразличным, кто призван осуществлять безопасность или руководить организацией. Наканунѣ крушенія Лиги Націй — и собственной дипломатической карьеры — М. М. Литвинов заявил в засѣданіи одного из Комитетов Лиги Націй (в сентябрѣ 1937 года): «лучше Лига не-универсальная нежели универсальная, но не (дѣйствующая) Лига!»

И он был прав. Относительно прошлаго и относительно будущаго.

В прошлом, когда Соединенные Штаты и Россія не вошли в Лигу Націй, а Франціа стала перестраховывать коллективную безопасность усиленным вооруженіем и заключеніем союзов, в универсальности Лиги стали видѣть главный шанс ея эффективности. В Лигу стали включать всѣх, всѣх, всѣх, без разбора и оглядки — (в первоначальном проектѣ, выдвинутом Соед. Штатами, от будущих членов Лиги требовалась наличность "ordently government").

Сейчас об универсальной Лигѣ на слѣдующій день послѣ окончанія военных дѣйствій никто не говорит. Говорят о болѣе или менѣе длительном періодѣ «охлажденія» страстей, о предварительном «перевоспитаніи» нацистской и нацизированной Европы, и т. д. К будущей универсальной организации міра предполагают итти, исходя от воюющаго об'єдиненія жертв Оси и их защитников — от Об'єдиненных Народов. Среди этих послѣдних, только СССР может равняться по удѣльному

вѣсу своего военного и политическаго «потенціала» с двумя великими англо-саксонскими демократіями. К несчастью всего міра и будущаго правопорядка, именно СССР является и тѣм участником борьбы против нацизма и фашизма, у котораго политическая структура гораздо болѣе схожа со структурой врагов, нежели со структурой друзей и союзников.

Как выйти из безвыходнаго положенія? Без Россіи ничего не может удасться, а с Россіей нынѣшняго, тоталитарнаго типа тоже не может удасться анти-тоталитарный международный правопорядок, который обезпечил бы коллективную безопасность реально, а не только в текстѣ Ковенанта.

**

Но является ли Россія тоталитарным государством? И это, оказывается, требует доказательства — даже для демократов російскаго происхожденія и опредѣленно анти-большевистскаго образа мыслей. И среди них имѣются такіе, кому большевизм представляется несравнимым с фашизмом и нацизмом, как и совѣтская государственность с Третьим Рейхом, потому что у тѣх и других и **происхожденіе**, и **цѣли** разныя.

Послѣднее вѣрно. У большевизма и совѣтской государственности была своя пре-исторія отличная от фашизма, как и у послѣдняго пре-исторія или подоснова отлична от нацизма. У каждаго народа и режима своя исторія, как и у каждаго человѣка своя исторія и судьба. Значит ли отсюда, что людскія судьбы или государственныя системы не имѣют ничего общаго и их нельзя сравнивать, отвлекаясь от индивидуальных черт и различій в происхожденіи или в цѣлях? В таком случаѣ вѣдь нельзя было бы сравнивать и фашизм с нацизмом! Нельзя было бы говорить и о демократіи вообще и даже об англо-саксонской демократіи, которая в одном случаѣ покоится на парламентаризмѣ, а в другом — на отвергающей его, так называемой, президентской системѣ!

Истоки русскаго большевизма искали во многом и в разном. Их находили и в географіи Россіи — в ея безкрайних просторах; и в ея экономикѣ — в отсталости ея хозяйства, в земледѣльческом характерѣ страны; и в русском сознаніи — в психикѣ русскаго крестьянства, в беспочвенности русской интеллигенціи, оторванной от народа; и т. д. И германскій нацизм появился не как Венера из пѣны морской и не как Минерва из головы Юпитера. Традиціонное «пруссачество» в такой же мѣрѣ отложилось в мозгах австрійскаго выходца, в какой им-

перско-римская вѣковая романтика по своему повліяла на творчество Муссолини и Ко.

И цѣли или идеологія у большевизма и нацизма, конечно, совершенно разныя, — хотя и тот, и другой одинаково аргументируют от анти-капиталистической стихіи и стремятся установить «Новый порядок» взамѣн существующей анархіи производства и распредѣленія. Если у одних в основѣ политики положено классовое начало, а у других расовое, — то тѣ и другіе одинаково толкуют о мирѣ и раѣ на землѣ, которые могут наступить только послѣ того, как удастся истребить всѣх несогласных и осчастливить всѣх послушных.

В Россіи гоненія связаны главным образом с политическими убѣжденіями, т. е. с величиной переменнѣй, — от убѣжденій можно и отказаться. В Германіи преслѣдованія связаны с признаком постоянным, с тѣлесным или духовным состояніем, от котораго гонимый даже при желаніи не может освободиться. Тѣм не только возмутительнѣе, но и бессмысленнѣе нацистское гоненіе. Можно как угодно различать по происхожденію или по цѣлям большевизм и нацизм, — не надо лишь забывать, что и самый отдаленный от 1° — 360° с ним смежен и с ним соприкасается. Это было подмѣчено еще во время французской революціи.

И большевистская — первая по времени, — и фашистская, и нацистская диктатуры были реакціями на прошлую мировую войну. Но **общей** для всѣх этих разных по времени реакцій трех различных стран и народов была **партийно-политическая структура** власти, создавшейся в Россіи, Италіи и Германіи. До прихода к власти большевиков человечество не знало тоталитарнаго типа государственности.

Как охарактеризовать или описать его?

Возьмите справочник, — хотя бы большой словарь Уэбстера, чтобы не заподозрить в нарочитости. Под «тоталитарным» вы найдете поясненіе — «в высшей мѣрѣ централизованное или имѣющее к тому склонность управленіе под контролем политической группы, которая не признает существованія или представительства других политических партій, как в фашистской Италіи или в Германіи под нацистским режимом». — Коммунистическое управленіе в Россіи здѣсь упущено. Это не отмѣняет того, что оно полностью вмѣщается в приведенное опредѣленіе. Больше того — исторически было **первым** по времени видом тоталитарнаго государства.

И тоталитарный тип государственности, как и другіе,

знает свои виды и разнovidности. Различіе может выражаться в степени напряженности аппарата принужденія — : как ни жестока итальянская ОБРА, все же ей далеко до НКВД или ГЕСТАПО; и в обхватъ жизни и дѣятельности подвластных: тоталитаризм повсюду запускает свои щупальцы глубоко в хозяйственную жизнь, в культуру, в семью, дѣтскую и т. д., — однако, в третьем райхѣ проникновеніе и контроль не достигли тѣх степеней, как в СССР, а в Италіи суд по гражданским дѣлам функционирует почти так же, как он дѣйствовал до фашизма. Самой постановкой «**совѣтской** страны», на мѣсто Россіи, и «**совѣтскаго** народа», вмѣсто народов Россіи, подчеркивается срашенность страны и народа с режимом; система управленія опредѣляет все и вся.

Погибшій, послѣ выдачи его вишійским правительством, знаменитый Рудольф Гильфердинг помѣстил в апрѣльском номерѣ «Соціал. Вѣстника» за 1940 год статью под заглавіем «Государственный капитализм или тоталитарное государство?» В этой статьѣ автор оспаривает мнѣніе, в частности Троцкаго, о том, что господствующій в СССР слой — или класс — составляет бюрократія. «Властителем является не бюрократія, а тот, кто бюрократіи приказывает. Русской бюрократіи приказывает Сталин. Ленин и Троцкій с группой отборных сторонников, которая никогда не была способной к самостоятельным рѣшеніям партіей, а всегда была лишь инструментом в руках вождей, как позднѣе фашистская и национал-соціалистическая «партіи», — овладѣли властью в момент развала стараго государственнаго аппарата. Они преобразовали ее соотвѣтственно потребностям своего господства, устранили демократію и установили собственную диктатуру, которую они в собственной идеологіи, но отнюдь не на практикѣ, отождествили с «диктатурой пролетаріата». Они создали таким образом первое тоталитарное государство, прежде чѣм это названіе было изобрѣтено. Сталин продолжил это дѣло, устранил посредством государственнаго аппарата своих соперников и сдѣлал неограниченной свою личную диктатуру. Такова фактическая дѣйствительность, и не надо ее маскировать».

В поисках «аналогіи к тоталитарному государству», Гильфердинг нашел ее «в поздней римской имперіи, в господствѣ преторіанцев и их императоров». Его заключительный вывод: «Хозяйственная система Советскаго Союза — не «капиталистическая» и не «соціалистическая»... Она представляет собою тоталитарное государственное хозяйство, т. е. систему, к ко-

торой все больше приближаются и экономики Германіи и Италіи».

Не стану комментировать Гильфердинга, интересовавшегося главным образом политико-экономической природой СССР. Прибавлю только, что когда я искал аналогію для поясненія государственно-правовой структуры Совѣтской диктатуры, я нашел ее в сращеніи трех предшествовавших демократическому государству типов деспотизма: **античнаго** государства, покоившагося на рабствѣ, — неслучайно Карл Каутскій характеризовал совѣтскую систему, как «систему государственнаго рабства»; **полицейскаго** государства 17-го столѣтія и, т. н. **просвѣщеннаго абсолютизма**, когда власть над ограниченными разумом поданными руководилась исключительно велѣніями своего «внутренняго голоса» или — своей «революціонной совѣсти».

Только в тоталитарном государствѣ власть не скрывает, а даже кичится своим партійным происхожденіем: приведшей партію к монопольному пользованію властью, тѣм самым обрѣтает право на признаніе его и вождем страны и народа. Всюду, гдѣ единая и единственная партія, с единым и единственным вождем, мы имѣем тоталитарное управленіе; и всюду, гдѣ тоталитаризм, — мы имѣем единую и единственную партію с вождем.

**
*

У СССР своя, конечно, особенная статья, которая никак не укладывается в общій тип самоуправляющейся на основѣ гражданских свобод демократіи. Как быть с СССР, как будущим партнером в организациі прочнаго и длительного мира, которым может быть только мир на началах коллективной безопасности, т. е. демократіи, перенесенной из области внутригосударственных отношеній и в международную сферу?

Каждый по своему рѣшает эту проблему. Наиболѣе простым и легким выходом является прямое отрицаніе того, что мѣшает рѣшенію, или даже безответственное утверженіе обратнаго тому, что существует.

Таким является завѣреніе, что нынѣшній СССР только по названію остается тѣм, чѣм был раньше, — коммунистически-большевистским или интернаціонально-подрывным. В Россіи, как в свое время во Франціи, произошла уже «націонализация революціи», и Россія вернулась к своим святым и строителям ея государственнаго величія. Об «экспортѣ» подрывных идей

или вліяніи в чужих дѣлах она и не помышляет больше. Загадку представляет собой не СССР, а Америка, — заявил ближайшій помощник главы американской военной информации Элмера Дэйвиса. Со всѣм авторитетом очевидца, сопровождавшаго Вилки в Россію, Гарднер Коулс рѣшительно утверждает, что только «американскій предразсудок и недовѣріе» могут считать, что Совѣты «все еще подавляют религію, стремятся навязать коммунизм всему прочему міру и «убивают» частную собственность».

Не будем полемизировать с очевидцем, обозрѣвшим Россію с высоты «птичьего полета» и в предѣлах совѣтскаго дозволенія. Официальное его положеніе, может быть, обязывало его к официальному оптимизму и ручательству за совѣтскую власть больше, чѣм за свою собственную: загадку представляет Америка, а не СССР! Но вот перед нами не официальный голос, к которому не всегда прислушиваются с чрезмѣрным довѣріем. Перед нами чрезвычайно широко распространенный орган печати — с 4-милліонным тиражом и чуть ли не с 20 милліонным кругом читателей, — находящійся в оппозиціи к внутренней политикѣ администраціи Рузвельта. Мы имѣем в виду специальный номер, посвященный СССР, «Лайф».

На основаніи специального обслѣдованія там приведено много очень интереснаго матеріала, — интересен вѣдь иногда и вздор, который печатается. Так, американскому читателю сообщают, что Ленин не только испытывал «страстное уваженіе к идеям», но и «освободил 140-милліонный народ от жестокой и невѣжественной тираніи», и что даже «вообразить себѣ трудно, чѣм была бы исторія Россіи и міра, еслибы не жил Ленин»; что террористическій аппарат Совѣтов, НКВД (наслѣдник ГПУ и ВЧК), — в сущности довольно невинное учреждение: «національная полиція, схожая с F. B. I.»; что Сталин, не чета, конечно, Троцкому, происходившему из «средних классов», — «молчаливый, но дѣйствующій пролетарій»; что Тимошенко — русскій Вашингтон; и т. д. и т. п.

И освѣдомленный в русской исторіи читатель узнает из «Лайф» много новаго. Напримѣр, что совѣтское правительство не только не революціонно, а **реставраціонно**: коммунистическая революція, можно сказать, **возстановила** русское прошлое; она порвала «лишь с возвышеніем привилегированных классов», которому покровительствовали послѣдніе **русскіе** самодержцы. Составители совѣтскаго номера имѣют и свою философію русской исторіи: они за Ивана Грознаго, «убійцу,

но большого правителя, — чей кафтан с гордостью (?) сохраняют в советском музее», и они рѣшительно **против** Бориса Годунова, который «создал крѣпостное право и взростил боярство, сломившее прежнія отношенія между царями и крестьянством».

Не будем разбирать, что здѣсь от составителя очерка и иллюстрацій и что от советской пропаганды. Право на такого рода противопоставленіе дает один тот факт, что показанія свидѣтеля, командированнаго «Лайфом» в Россію, расходятся. В книгѣ, увидѣвшей свѣтъ одновременно с советским номером «Лайф», «Кругосвѣтное путешествіе в Россію», Уолтер Гребнер отмѣчает и другое по сравненію с тѣм, что со ссылкой на его обслѣдованіе напечатано в «Лайф». В книгѣ отмѣчается: прежняя негибимость советской диктатуры; полное отсутствіе свободы слова; преслѣдованіе религіи — «я сам видѣл, религія не умерла в Россіи, но все указывает на то, что она в чрезвычайно нездоровых условіях»; по прежнему имѣются политическіе узники, — «человѣкъ не дорого цѣнится»: «правительство не для народа, а для государства и бюрократіи, которая контролирует государство»; и т. д. Обо всем этом информация «Лайф» молчит. Только в редакціонной передовой высказывается условная надежда — : «если вожди (СССР) искренни в стремленіи эмансипировать русскій народ, они повернут в сторону свободнаго слова, и, мы надѣемся, скоро». Эту надежду сопровождает моральное поученіе Сталину — : «Россія должна стараться преодолѣть подозрѣніе, которое она, повидимому, таит против всѣх демократических народов. Она должна помочь и поощрять друзей, которых она имѣет в Соед. Штатах, открыв каналы освѣдомленію и доброй волѣ».

Однако, тенденціозная и неточная информация и наивная «мораль», читаемая Сталину — ничто по сравненію с экспертизой по русской внѣшней и внутренней политикѣ, которую в том же номерѣ «Лайф» дает бывший посол Соед. Штатов при советском правительствѣ. Джозеф Дэйвис. «Лайф» рекомендует Дэйвиса, как «крупнѣйшаго американскаго коллекціонера русскаго искусства и капиталистическаго адвоката», и воспроизводит его фотографію на фонѣ коллекціи русскаго фарфора и картин, с книгой «Миссія в Москву» в руках.

Дипломат и коллекціонер удостовѣряет: в правителях Россіи надлежит предполагать добрую волю; «надо принимать то, что они говорят; они честны в своих убѣжденіях, говорят правду и держат обѣщанія». Нельзя быть увѣренным, что сами

правители рискнули бы сказать это с такой категоричностью. «Советы энергично поддерживали Лигу Наций»; цѣлями міровой революціи они не задаются, — этим озабочены «троцкисты» и «пятая колонна». Территоріальныя требованія Советов — «естественны: отобрать то, что у них отняли силой и что они считают для себя жизненно необходимым»; «это не агрессія, а реставрація и исправленіе границ». Бывшій посол и коллекціонер забѣгает даже нѣсколько вперед, когда указывает, что и Порт-Артур, и Дальній для Советов не безразличны...

В качествѣ заключенія, — «Их правительство это их дѣло. Нас не касается, что они говорят или не говорят своему народу... Способ, которым они разрѣшали вопросы, показал их эффективность».

Надо ли опровергать бывшаго посла? Он и сам знает, что Советы нарушали обѣщанія и во внутренней политикѣ (НЭП, Сталинская конституція и т. п.), и во внѣшней. Сколько одних международных договоров Советы подписали, чтобы затѣм их нарушить: пакт Бриана-Келлога об отказѣ от войны, соглашеніе с Китаем, Ковенант Лиги Наций, договоры о не-нападении, по инициативѣ самой советской власти заключенные с Финляндіей, Польшей, Балтійскими государствами. Можно по всей справедливости признать совершенно основательными нѣкоторыя из территоріальных претензій, заявляемых Советами, но допустимо ли, при соблюденіи § 1 Атлантической Хартии и намѣреніи организовать будущій мір не на началах захвата сильным в порядкѣ односторонняго усмотрѣнія, допустимо ли рѣшать спорный и сложный вопрос о границах по собственному разуму и вдохновенію? Вѣдь для Британіи стратегическая и иная нужда в Ирландіи, вѣроятно, не менѣе настоятельна, чѣм для Россіи Балтика или восточная часть бывшей Польши, срок существованія которой все же длиннѣе срока существованія независимой Ирландіи.

Может быть, всѣ эти вопросы и будут рѣшены в порядкѣ физическаго превосходства. Но в таком случаѣ о коллективной безопасности, как принципѣ будущаго мира, не придется и заикаться. На авансценѣ исторіи и послѣ побѣды над Осью останутся танк и бомбовоз.

**
*

Не всѣ, конечно, попадаютъ легко на удочки, там и здѣсь раскинутыя советскими пропагандистами. Все-таки трудно ис-

кренне и до конца повѣрить тому, что в СССР все обстоит благополучно и только «ненавистники Россіи» (а не террористической власти) упорно твердят о разстрѣлах невинных героев и мучеников Эрлиха и Альтера; о болѣе чѣм странной политикѣ в Югославіи; о повторном уклоненіи от честнаго соглашенія о будущем и т. д.

Болѣе искушенные не рискуют утверждать, что в Россіи **уже** все благополучно. Они предпочитают исходить, как от даннаго, что в будущем, **послѣ** войны, все образуется. «Когда война кончится, Россія будет занята внутренним развитіем и строительством своей социалистической системы», — успокоительно обходит проблему недавно опубликованный «Третій доклад» Комиссіи по изученію организациі мира, под предсѣдательством проф. Шотвела. Россіи в будущем понадобится достаточно труда и сил, чтобы зализывать свои раны, а не то, чтобы продолжать прежнюю политику подрыва и борьбы с демократіей, — полагает и помощник товарища государственнаго секретаря А. А. Берли.

Кто в такого рода перспективѣ увѣрен, еще может планировать будущій международный порядок на основѣ коллективной безопасности. Но практически руководящим является вѣдь не то, что **может** быть и что **желательно**, а то, что **есть** и что **вѣроятнѣе** всего будет. В безнадежности плана организовать демократическій мир с не-демократическим партнером, как одним из главных гарантов такого мира, — одно из объясненій, почему даже в весьма радикальных кругах сейчас можно встрѣтить немало откровенных сторонников пагубной системы раздѣленія сфер вліянія и равновѣсія сил. Даже когда и говорят сейчас «коллективная безопасность», часто имѣют в виду совсѣм другое.

Так вліятельный англійскій ежемѣсячник «XIX вѣк и послѣ» (№№ за іюнь и ноябрь 1942 г.), лондонскій «Таймс» (от 10 и 22 марта 1943 г.), весьма лѣвый «гильдейскій» социалист Коль и проф. Кар в Англии, проф. Спикман или бывший президент Хувер и посол Джигсон — я назвал только болѣе извѣстныя имена, — по существу уже отказались от идеи коллективной безопасности. Отчасти, может быть, потому, что не всѣ изжили в себѣ до конца старый — или новый — имперіализм: отчасти же в силу объективной безысходности положенія: все, в концѣ концов, лучше, чѣм повтореніе прошлаго, когда мир покоился на нѣскольких системах одновременно, и ни одна не дѣйствовала, как могла бы, еслибы ее не нейтрализовала другая.

Я склонен думать, что и внезапное влеченіе к, так назыв., региональным об'единеніям, как предпосылкѣ международной организациі и возможности обезпечить коллективную безопасность, тоже в извѣстной мѣрѣ подсказано не всегда осознанным убѣжденіем, что обезпеченіе демократическаго мира недемократическими средствами невозможно. И вмѣсто того, чтобы строить коллективную безопасность на «вертикальном» об'единеніи не всѣх, но непремѣнно демократических государств, вмѣсто того, чтобы к **Лигѣ итти через Лигу Демократій**, — многіе, в их числѣ и предсѣдатель норвежскаго стортинга и послѣдней сессіи Лиги Націй Гамбро рекомендуют строить коллективную безопасность на мѣстном или территориальном об'единеніи, т. е. «по горизонтали».

Я не увѣрен, что и послѣднее предложеніе Черчиля — Совѣты, европейскій и азиатскій, «в реально дѣйствующей Лигѣ» — не подсказано тою же невозможностью создать демократическую Лигу Націй, толкающей к созданію Союзов или Лиг по региональному признаку. Этим проблема, конечно, не разрѣшается, а только отсрочивается и разбивается на части: и в «европейском совѣтѣ», как и в азиатском, возникнет вѣдь та же трудность — как примирить демократическій принцип с диктаторіальным?

Не надо думать, что только эта трудность и стоит на пути к демократической организациі мира. Конечно, нѣтъ! Когда англійское правительство и парламент спорят о будущем англійской авіаціи, не обладающей транспортными и тяжеловѣсными машинами, которых все больше становится в американском воздушном флотѣ; или когда морской министр Соед. Штатов заявляет о необходимости для Америки ряда воздушных и морских баз для обезпеченія континентальной безопасности, — мы в правѣ сказать, что исторія мирной конференціи в Версалѣ грозит повториться до того и без того, чтобы мирная конференція уже собралась.

Но в основѣ того, что раз'ѣдает самую сердцевину противников Оси лежит, конечно, неустранимое и грозящее стать трагическим противорѣчіе между тоталитарным СССР и демократическими Соединенными Штатами и Великобританіей. Об этом противорѣчьи можно не говорить, можно дѣлать вид, что его не видать или что его вовсе не существует, — но, как шило в мѣшкѣ, оно то и дѣло вылѣзает наружу и ранит.

Мнѣ приходилось уже обращать вниманіе в печати на чрезвычайно поучительное письмо, написанное наканунѣ окон-

чанія прошлой войны государственным секретарем С. Штатов Робертом Лансингом и опубликованное лишь в 1941 году. Это письмо выразительно формулирует то же противорѣчіе, возникшее перед заключеніем прошлаго мира.

«Я пришел к заключенію, — писал Лансинг полковнику Хаузу 8 апрѣля 1918 года, — что единственной прочной гарантіей медународнаго мира является **Лига Демократій** с тѣх пор пор, как онѣ однѣ стали заслуживать довѣрія, дѣлающаго их слово нерушимым. С другой стороны, Лига с извѣстным числом автократических правительств надѣлена элементами личной амбиціи, интриг и раздоров — сѣменами будущих войн. Лига, состоящая из демократических и автократических правительств и обязавшаяся силой поддерживать мир, была бы непрочной; Лига же, состоящая только из демократій, могла бы в силу характера членов Лиги быть дѣйствительной порукой мира... Пока автократія не окончательно скомпрометирована и демократія не стала не только господствующим, но практически всеобщим принципом в политической системѣ міра, я опасюсь, что Лига Націй, особенно при употребленіи силы, не станет дѣйствовать... Компромисс с этим принципом управленія и попытка образовать Лигу Націй с автократическими правительствами, как ея сочленами, будет постоянно ощущаться».

Основную мысль этого письма — путь к коллективной безопасности и Лигѣ Націй идет через Лигу Демократій — я, как мог, защищал в печати, русской и французской, вот уже десять лѣт. То же высказывал и доказывал в 1932 году Эдуард Бенеш. С этим тезисом мало кто раньше соглашался. В свѣтѣ свершившагося и пережитаго он представляется мнѣ еще болѣе оправданным и неоспоримым. Возможно, что и теперь, при заключеніи мира, не удастся его осуществить, Тогда угроза «третьей войны», о которой говорит вице-президент Уоллес, может сдѣлаться реальной.

**
*

Двадцать с личным лѣт тому назад — 3 августа 1922 года — в палатѣ общин Ллойд Джордж издѣвался над «революціонной Россіей и русским народом, настолько безпомощным, что он не мог продѣлать даже хорошей революціи». Англійскій премьер считал «истинным благословеніем для Европы, что первый взрыв коммунизма произошел в Россіи». Он мило шутил: «в этом отношеніи Ленин и Троцкій были спасителями общества». Как отмѣчает стенографическая ремарка, коммо-

неры «смѣхом» подчеркнули, что поняли и оцѣнили шутку Ллойд Джорджа.

Сейчас над Россіей не издѣваются. Наоборот, Россіи сейчас кадят, ея восторгаются, пред нею преклоняются. Это и естественно, и понятно, и справедливо. Но можно ли утверждать, что в существѣ отношеніе измѣнилось от того, что «спасителями общества» считают не Ленина и Троцкого, а Ленина и Сталина? Если не проводить основнаго различенія между страдающей героической Россіей и порочным ея режимом — всякое пониманіе лишено смысла, всякій политическій сговор будет мнимым и двуличным.

Одни не видят этого основнаго различія — по политической своей близорукости. Другіе не хотят его видѣть, умышленно закрывая глаза и утверждая: Россія спасет мір от Гитлера, и Сталину (?) можно простить всѣ его грѣхи и преступленія, минувшія, нынѣшнія и грядущія!... Наконец, третьи критикуют и осуждают «Политбюро», за его дѣйствія в Югославіи, за разстрѣл польских эмигрантов-соціалистов и антифашистов, но критиковать и осуждать террористическую диктатуру, исходя от лишений и страданій подсовѣтскаго населенія, — считается по меньшей мѣрѣ несвоевременным, безтактным, вредящим установленной фикціи, что в СССР все обстоит благополучно. Народ молчит, значит, — благоденствует.

Совѣтскій лѣтописец утверждает:

«...Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой, не ради славы —
Ради жизни на землѣ».

Но американскіе эксперты по русским дѣлам знают лучше, за что идет «кровавый бой». Дуранти увѣряет читателей «Нью Йорк Таймс», что русскій народ умирает не за себя, не за свое достояніе и родную землю, а за совѣтскую власть и режим!...

Что может получиться в итогѣ умолчанія или если изображать обратное тому, что существует в дѣйствительности, можно иллюстрировать потрясающим фактом, сообщенным в упомянутой выше «экспертизѣ» Джозефа Дэйвиса. Оказывается, «высоко освѣдомленные в Москвѣ лица считали 22 іюня 1941 года, что Британія, по соглашенію с наци, одновременно вторгнется в Балтійское море»!... Так долго и систематически лгали на Черчиля и Англию (с Америкой), что тѣ, со всѣм

прочим капиталистическим окружением злоумышляют против Совѣтов, что, в концѣ концов, сами повѣрили в свою ложь и, не повѣрив Черчилю и его предостереженію (послѣ прилета Гесса) о предстоящем вторженіи, проморгали момент вторженія гитлеровских орд.

Неправда о Россіи сейчас будет бить уже не только по Россіи, но и по всему міру. И в интересах не одной только Россіи, но и возможности замиренія послѣ войны всего міра, всякій русскій, патріот и гражданин міра не может не исповѣдовать публично, что только упраздненіе террористической диктатуры в Россіи может возстановить мир в Россіи и мир во всем мірѣ. Об'единенныя в смертной схваткѣ с Осью, Россія и Западныя демократіи связаны общей судьбой и в установленіи общаго для всѣх мира. **Мир** един и недѣлим, как един и недѣлим и **мір**, — и не будет покоя Западу, пока не установится свобода и правопорядок на Востокѣ. За истекшіе четверть вѣка Запад в этом убѣдился. Убѣдился ли в этом и Восток?

Марк Вишняк.

15.IV.43.

P. S. — Предыдущее было уже набрано, когда американскіе публицисты оказались вынуждены обратиться к проблемѣ лжи и фальсификаціи в дѣлѣ освѣдомленія о Россіи, — в связи с фильмом «Миссія в Москву». Мы лишены возможности остановиться на высказанных при этом взглядах. Ограничимся лишь ссылкой на очень яркій протест знаменитаго философа Джона Дьюи и Сюзанны Лафоллет, которые правильно расцѣнили фильм, как «тоталитарную пропаганду для массоваго потребленія», — ибо «правда и свобода нераздѣльны; это знал и Гитлер, когда пропагандой вносил смуту в общественное мнѣніе».

Таково же мнѣніе и Мак-Кормик, выраженное в статьѣ под выразительным заглавіем — «Прелюдія к второй миссіи в Москву». Здѣсь говорится между прочим: «Если Россія и Соедин. Штатам предстоит дѣйствовать сообща, им прежде всего надо знать правду друг о другѣ». (См. Нью-Йоркскій «Таймс» от 8 и 9 мая, а также «Нью Лидер» от 8 мая 1943 г.). — Как не вспомнить при этом Герцена: «Когда бываешь принужден, даже против своего желанія, печатать только часть правды, есть всегда риск сказать неправду, даже не желая лгать!»...

ДВА ПОЛЮСА ДУХОВНАГО СКИТАЛЬЧЕСТВА

(Лев Толстой и Глѣб Успенскій).

В исторіи русской литературы трудно найти болѣе драматическій эпизод, чѣм внезапный «страннический» уход из дому Льва Толстого.

К сожалѣнію, смысл этого величественнаго и трогательнаго акта был скорѣе затемнен, чѣм освѣщен, разразившейся послѣ смерти Толстого литературной распрей между окружающими его при жизни родными, близкими и единомышленниками. Быстро выросла цѣлая литература обличеній, самооправданій, полупокаяній. Из нея мы узнали, какая шла вокруг Толстого борьба, как его рвали и тянули в разныя стороны, и как своею распрею его в конец измучили два борющихся из-за него лагеря. Один составляла его семья, выросшая до размѣров свыше двадцати пяти душ, чьи матеріальные и жизненные интересы пришлось защищать его женѣ. Другой — духовная семья его, тѣсный круг фанатических и узких послѣдователей-толстовцев, — род секты, которую возглавлял и чьим именем говорил и дѣйствовал энергичный, одушевленный, но властный и деспотически-неуживчивый Чертков. То, что близкіе Толстому люди в самые послѣдніе мѣсяцы его жизни не переставали «дѣлать ризы его между собою и об одеждѣ его метать жребій», несомнѣнно, форсировало его уход, его побѣг. Но думать, будто без этого ничего подобнаго Астаповскому скитальчеству в жизни его не имѣло бы мѣста, — значило бы безнадежно утратить ключ к пониманію его духовной личности.

Богатая мемуарная и біографическая литература, появившаяся послѣ смерти Толстого, дала неотразимыя доказательства того, что «Агасферово» — странническое, скитальческое начало заложено было в натурѣ его гораздо глубже, чѣм могли догадываться его читатели. Немногим из них извѣстно было, напр., каким вождѣльным источником нравственнаго отдыха были для Толстого его спорадическія путешествія из Москвы в Ясную Поляну, в которых ему приходилось покрывать пѣшком около двухсот верст разстоянія. Вот как живо-

писует их его биограф: «одѣтый в крестьянское платье, шел никому невѣдомый старичек с палочкой и заводил безконечныя знакомства и разговоры с пѣшеходами из народа. Весь божій мір открывался перед ним внѣ тѣх условных рамок жизни, в которых он жил».

Однако, на эту полузатаенную черту великаго писателя всѣх, интересующихся его личностью, легко могли бы навести нѣкоторые из его излюбленных сюжетов. Кто не помнит его «Отца Сергія»? К герою этого разсказа стекается, точь в точь как к Толстому — многое множество людей, из породы «алчущих и жаждущих правды». В нем хотят видѣть — учителя жизни: одни приносят на его разсмотрѣніе сложные и запутанные жизненные казусы; другіе хотят, чтобы он помог им понять самих себя; третьи вообще не знают, в чем искать смысла жизни. Как будто, он всѣм нужен. А ему все это кажется «суею сует и всяческой суетой», и он припас себѣ мужицкое платье, чтобы бѣжать от своей собственной тщетной славы, чтобы «сдѣлаться безымянным бродягой»...

Из богатаго матеріала Толстовских рукописей стоит оставаться и на тѣх, из которых видно, как притягивала его зародившаяся в Сибири легенда, что умершій там таинственный «старец Федор Кузьмич», говорившій, что сам митрополит Филарет благословил его скрыть свое происхождение и «принять вид скитающаго отшельника», — был не кто иной, как император Александр I.

Легенда эта историческою критикою разрушена. Повидному, разгадана и тайна прошлаго «Федора Кузьмича»: под этим именем скрывался, как кажется, бывшій блестяшій кавалергард, масон и церемоніймейстер Уваров II. — Отмѣтим и «сосѣдную» легенду: будто загадочная затворница Саркова монастыря, Вѣра Молчальница, была на дѣлѣ императрицею Елизаветой Алексѣвной, по ея собственному приказу выданной за скоропостижно умершую в маленьком городкѣ Бѣлевѣ. На самом дѣлѣ под этим именем покинула свѣтскую жизнь и приняла монашество пережившая личную драму свѣтская дама В. А. Буткевич.

Стоит вспомнить еще об одном старом хлыстовском сказаніи: императрица Елизавета Петровна царствовала всего два года, а потом, передав правленіе одной из приближенных, похожей на нее лицом, — пѣшком отправилась в Кіев на богомолье. Хлыстовская богородица Акулина Ивановна — это она и есть. Наконец, подобная же легенда родилась и в нѣдрах

секты скопцов: Петр III перемѣнился платьемъ с караульнымъ солдатомъ, а самъ, под именемъ Кондратія Селиванова, исходилъ всю Россію, былъ сосланъ въ Иркутскую губернію, гдѣ и умеръ бродягой, завѣщавъ Россіи единоспасующее и праведное скопческое ученіе.

Изъ всего этого уже видно, до какой степени народна самая идея странничества, скитальчества. Порою она принимаетъ чисто мистическую форму. Такъ, напримѣръ, у того же Льва Толстого былъ періодъ, когда его часто навѣщала мысль, что быть бѣднымъ, быть нищимъ, быть бродягой — это и есть «то самое, чему училъ Христосъ». По подобному же духовному камертону настраивались «скитальческіе» порывы у Толстого порою и подъ конецъ его жизни: такъ, онъ пытался въ концѣ 80-хъ годовъ растолковать женѣ, какъ хотѣлъ бы онъ, «какъ индусъ, удалиться въ лѣсъ», чтобы «последніе годы своей жизни посвятить Богу». Или, какъ писалъ онъ однажды въ письмѣ, оставленномъ для Софьи Андреевны на случай «ухода»: «я не могу болѣе жить въ тѣхъ условіяхъ роскоши, въ которыхъ жилъ, и дѣлаю то, что обыкновенно дѣлаютъ старики моего возраста — уходятъ изъ мірской жизни, чтобы жить въ уединеніи, въ тиши последніе дни своей жизни». Такое скитальчество принадлежитъ «старому міру». Таково на католическомъ Западѣ «скитальчество» ордена «нищенствующихъ монаховъ». Но какъ такой орденъ далекъ отъ русской секты «странниковъ» или «бѣгуновъ» съ ея бурной исторіей...

Рядомъ съ такими тенденціями къ скитальчеству — **отшельничеству**, мы видимъ у Толстого и другія: къ скитальчеству, оборотной стороною котораго является бурное отщепенчество. Отщепенчество отъ всего, что являлось для него привычнымъ отъ рожденія укладомъ жизни: жизни въ социальномъ бельэтажѣ современнаго общества, въ сосѣдствѣ съ его командными верхами, среди средне-высшаго дворянско-помѣщичьяго круга. Отщепенцемъ онъ былъ и отъ господствующей церкви, которая реагировала на его вдохновенное слово торжественнымъ отлученіемъ; отъ тяжелой государственности російской, вплоть до отрицанія государства вообще, т. е. христіанскаго анархизма, отъ всѣхъ имущихъ и привилегированныхъ, которымъ онъ бросилъ въ лицо заветную свою «народническую» идею: «въ поколѣніяхъ работниковъ лежитъ больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ бароновъ, банкировъ, профессоровъ и лордовъ»; отъ всего быта и культуры этой среды, вплоть до ея искусства, науки и прочихъ «плодовъ просвѣщенія». **Воз-**

врат к народной простотѣ, к физическому труду, «в потѣ лица своего» — вот душа «отщепенчества» Толстого.

В Толстом всегда шла поистинѣ гигантская духовная работа ума и совѣсти. Еще молодым человѣком, рисуя свой автопортрет в видѣ «юнкера Оленина», он говорил, что «жил всегда своеобразно и имѣл безсознательное отвращеніе к битым дорожкам». Если он рѣшает, что смысл жизни — в любви к ближнему, то он сейчас же потребует непременно «любить с самоотверженіем, любить всѣх и все, раскидывать на всѣ стороны паутины любви: кто попадетсѣ, того и брать». Если же он начинает выступать в защиту здороваго эгоизма, то открывает, что «самоотверженіе — все это вздор, дичь, все это гордость, убѣжище от заслуженнаго несчастья, спасеніе от зависти к чужому счастью». Иначе у него быть не могло. Ибо это была не только гениальная, но и просто стихійно-мощная натура, из тѣх, у которых «силушка по жилушкам переливается». Та жадность, с которой он хочет охватить всю жизнь, перепробовать в ней все, доступное силам человѣческим — мнѣ напоминает такую же стихійную натуру Петра Великаго.

У Толстого поле было уже, чѣм у Петра: четыре стѣны писательскаго кабинета. Но сколько же он в них строил — и сколько разрушал! Едва перевалив через совершеннолѣтіе, он уже дает обѣтъ — «посвятить остальную (!) жизнь составленію плана аристократическаго соединенія с монархическим правленіем на основаніи существующих выборов» (т. е. дворянских) и завершает благочестивой концовкой: «Благодарю тебя, Господи, дай силы». А, почувяв данную силу, он возьми да и примись, как Самсон, расшатывать колонны палат и дворцов и храмов. В серединѣ 70-х годов он вызвал на бой всѣх, кто олицетворял собой господствующую систему народнаго образованія. Принялся за современное искусство — и оказалось, «что все, что мы сдѣлали по музыкѣ и поэзіи — сдѣлано по ложному пути, не имѣющему никакой будущности», так что является даже шагом назад против «Ваньки-ключника» и «вниз по матушкѣ по Волгѣ». А там — низвергнут с пьедестала и сам Шекспир, и, наконец, собственное художественное творчество низведено до степени «однаго из видов искусной эксплуатации народа». Добрался до философіи — и почти всѣ философскія системы уличил в «оправданіи праздности и жестокости людей, освободивших себя от труда». Перешел к суду — и зачеркнул его цѣликом, даже в видѣ присяжных, ибо всякое право есть организованное насиліе.

Но не все же крушил Лев Толстой. Жадный к жизни, он то и дѣло открывал в ней все новыя и новыя цѣнности, большія и малыя, — на дѣлѣ почти всегда давно извѣстныя, но им заново находимыя со всею свѣжестью ощущенія новизны. Переписывающіеся между собою друзья его сегодня с тревогою сообщают друг другу — (а иногда и сам он сообщает им) бурную череду смѣняющихся у него увлеченій. То он уходит с головою в щегольство и пропадает на балах; то в картежную игру, проигрываясь до нитки, зарекаясь навсегда играть и опять нарушая всѣ зарокѣ; то длинные часы, день за днем, проводит в модном гимнастическом залѣ, с энтузіазмом преодолевая трудности разных трюков. Вот его поразил работник Юфан, как то особенно, истым Микулою Селяновичем растопыривающій локти при пахотѣ, и Толстой сам напропалую «юфанствует»; вот он нашел призваніе в сельском хозяйствѣ, но пришедшій с докладом приказчик застал барина лицом вниз на трапеціи, со свисшими вниз волосами, с налитым кровью лицом, и не знает — на зрѣлище ли дивоваться или «висячія» хозяйственныя распоряженія выслушивать. А там Толстой открыл заповѣдь — каждому «жить плодами своих рук» в буквальном смыслѣ, и вот он хочет и печи складывать, как печник, и сапоги тачать, как сапожник, — и это тотчас-же входит в общій катехизис «толстовства». Потом с утра до полуночи изучает, день за днем, греческій язык, не признавая без него никакого образованія и недоумѣвая, почему это «никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестнаго Ксенофонта»; правда, это не помѣшает ему потом ему заявить, что изученіе древних языков в гимназіях по безсмыслицѣ своей, есть нѣчто вродѣ обученія искусству стоять на одной ногѣ. Тѣм временем он успѣвает либо открыть в лицѣ Шопенгауэра «геніальнѣйшаго из людей», изумляясь, «как может оставаться имя его неизвѣстным», либо — «сидѣть и ахать» над книгою Премудрости Соломоновой, Эклезіастом и Притчами его, — и опять оказывается, что «книги этой еще никто не читал», а между тѣм «новѣ этого трудно что нибудь найти». Тургенев, наконец, спрашивает о Толстом у Фета: «когда же он перестанет чудить, перекувыркнется в послѣдній раз и станет на ноги?»

Легко сказать: в послѣдній раз! Для этого Толстому нужно не мало: обрѣсти самого себя, хотя бы цѣною потери всего, что его окружало с рожденія. А Лев Толстой мучительно раздвоен. «Лев» в Толстом выслѣживается и хочет изгнать «графа» со всѣм его графством; а граф умѣет притаиться и, неуловимый,

как Протей, тихую сапою подкапывается под величественнаго «Льва». И кое что останется от него в Толстом навсегда. Это, во первых, привычка к «повелительному наклоненію», увѣренность и рѣзкая безапелляціонность сужденій. Во вторых, не задумывающееся распространеніе своей юрисдикціи на любя сфeры жизни и на любя свѣтила этих сфeр. Как власть имущій, он одним росчерком пера приближает и возвышает до себя кого ему угодно: тут Шопенгауэр и Фет, Соломон и Страхов, Эзоп и Ксенофонт. А кого ему угодно — так скоропостижно разжалует и низвергнет в прах: Пушкина и Бетховена, Шекспира и Огюста Конта, Бѣлинскаго и Спенсера.

Народническія симпатіи дважды в жизни приводили Льва Толстого на порог «Отечественныхъ Записокъ»: в срединѣ 70-х годов, когда он выступил на ихъ страницахъ со своими «еретическими» мыслями о народномъ образованіи, высказывая надежды на поддержку с ихъ стороны; и вторично, в письмѣ лично к Салтыкову-Щедрину, гдѣ он заявлял, что открыл в этомъ журналѣ «цѣлую новую литературу, искреннюю и свѣжую», и сообщал о своемъ намѣреніи открыто стать в ея ряды. Но послѣдствій это не имѣло, да и не могло имѣть. «Отечественныя Записки» были продолженіемъ идейной линіи Бѣлинскаго и Добролюбова, а уже о Бѣлинскомъ Толстой отзывался: «Бѣлинскій былъ кастрированный человѣкъ, лишенный религіознаго чувства»!

Один изъ біографовъ Толстого, Полнер, рассказываетъ, какъ однажды — то было еще в 1884 году — «ему вдругъ стало невыносимо тяжело. Прервавъ бурный разговоръ, онъ в своей комнатѣ взялъ мѣшокъ съ кое-какими вещами, взвалилъ его на спину и вышелъ изъ дому, сказавъ, что не вернется никогда. Шелъ, одинокій, по шоссе в Тулу... но вспомнилъ, что жена должна скоро родить, и вернулся». Вернулся, едва ли не повторяя мысленно евангельское: «и враги человѣку домашніе его». Но не надо думать, что уходъ былъ вызванъ семейною неурядицей. Наоборотъ, намѣреніе порвать безповоротно связь съ верхами соціальной пирамиды привело его къ «эксцентрической, чудаческой, дикой», с точки зрѣнія домашнихъ, идеѣ: покинуть нормальную жизнь своего круга для положенія какого то «калики перехожаго» старой Руси, что натолкнулось в семьѣ Толстого, разумѣется, на сплошную стѣну всеобщаго сопротивленія — протеста. Лев Толстой суммировалъ создавшееся положеніе со скорбною ироніей такъ: на него кругомъ смотрятъ «какъ на добраго, не слишкомъ вреднаго душевно-больнаго,

жить с которым все же можно! надо только с ним не говорить о пунктах его помѣшательства». От споров и бурных сцен он обращался, в концѣ концов, к самообвиненіям. Кто же, если не сам он, виноват в том, что — не говоря уже о дѣтях — жена, подготовлена к чему угодно, только не к такому жизненному перевороту? У Софьи Андреевны было против мужа неотразимое оружіе: угроза самоубійством. И вот, Толстому пришлось смирять самага себя. Нѣтъ, ему не дано было счастья поступить, как давній самобытный южно-русскій философ, Гр. Сковорода, который промѣнялъ ученый кабинет на кочевье по простым украинским хатам. Его раздирала душевная сумятица. То ему казалось, что он до конца должен нести крест жизни с семьей на положеніи «чудящаго старичка»; то он сам себя подозрѣвал в том, что слишком легко пошел на эту «жертву», прикрывая ею соблазны привычнаго уюта и комфорта. Переживая эти «бури под крышкою черепа», Толстой писал: «я дѣлался гадою, и участвовал прямо сознательно в этом развратѣ, ѣлъ, пил, играл в карты, тщеславился и раскаивался, и мерзѣлъ самому себѣ». Он был родственен тѣм революціонерам-народникам из дворянской среды, которые жаждали искупить личным подвигом свой неоплатный долг перед народом. Н. К. Михайловскій дал им мѣткое названіе «кающагося дворянина». В лицѣ Толстого мы имѣем дѣло с непревзойденным по нравственному величію и по мощи своего «покаянія» «кающимся дворянином». Он мучился и мечтал прекратить эту муку уходом в простую, здоровую, крѣпкую цѣльность своей народную массу. «Как бы они ни были тяжелы (да они легкія!) условія бродяги» — писал он — «там не может быть ничего подобнаго этой боли сердца». В записи его дневника от 8-го іюня 1897 года мы находим горькія слова: «если бы я слышал про себя со стороны, — про чловѣка, живущаго в роскоши, отбивающаго, что он может, от крестьян, сажающаго их в острого, и исповѣдующаго, и проповѣдующаго христіанство, — и дающаго пятакки, а для всѣх своих гнусных дѣл прячущагося за своей милой женой, — я бы не усумнился назвать его мерзавцем. А это — то самое и нужно мнѣ, чтобы освободиться от славы людской и жить для души...» Это было предтечею финальнаго рѣшенія. Но порывы к нему красною нитью проходят через всю жизнь Толстого. То он пишет (декабрь 1885 года): «Жить так не могу, уѣду в Париж или Америку». То, позднѣе, он повѣряет пріятелю-мужику, Новикову: «Я не умру в этом домѣ. Я рѣшил

уйти в незнакомое мѣсто, гдѣ бы меня не знали. А может я и впрямь приду помирать в вашу хату». Были и другіе проэскты, но самыя удобоисполнимыя неизмѣнно отвергались: «Только ни в какую колонію, ни к какимъ знакомымъ, а просто в избу к мужикам...».

И вот, наконец, свершилось. В одну темную ночь восьми-десяти-двух-лѣтній Толстой покинул Ясную Поляну навсегда.

В предсмертномъ бреду онъ говорил: «Бѣжать..., бѣжать..., догонят...». «Искать, все время искать...».

И может ли быть на его могильной плитѣ лучшая надгробная надпись, чѣмъ изреченіе Г. Сквороды:

«Мір ловил меня, но не поймал...».

Был в Россіи писатель, современникъ Толстого, — конечно, не соперникъ ему по силѣ таланта, но с такой же страстно-безпокойной напряженностью неподкупной мысли и такимъ же обращеніемъ ея к народу, к главной его мужицкой массѣ. Много — в томъ числѣ «скитальчество» — ихъ роднит, и многое отдѣляет. Я говорю о Глѣбѣ Ивановичѣ Успенскомъ.

Этотъ писатель имѣлъ свою собственную, ни на чью другую непохожую манеру письма: полубеллетристическую, полупублицистическую, внутренне-взволнованную и даже, если угодно, какую-то вз'ерошенную. Такъ свѣже-вскрывшаяся рѣка, со стихійною силою громоздитъ другъ на друга, с трескомъ ломаетъ, сталкиваетъ, дробитъ и крушитъ огромныя льдины, среди посто-рѣвшихъ, мутныхъ водъ. И въ то же время порою, — словно выло-щивъ и отполировавъ льдины мощнымъ треніемъ другъ о дружку и, окунувъ ихъ въ глубину, вдругъ взмываетъ вверхъ, свѣже-омытыми, чтобы подставить подъ яркіе лучи вешняго солнца; и они преломляются сквозь кристально-чистыя ледяныя призмы, и радугаю красокъ радуютъ глазъ. Такова у Глѣба Успенскаго «неожиданная радость» улыбокъ — вспышекъ заразительнаго юмора. Полный щедрыхъ сюрпризовъ и насквозь оригинальный, Глѣбъ Успенскій многихъ ставилъ в тупикъ, какой-то незванный, непрощенный, неразгаданный.

В сборникѣ «Вѣхи» когда-то о немъ были написаны недоумѣнные слова: «Загадочный ликъ Глѣба Успенскаго тѣмъ и загадоченъ, что его истинное лицо все прикрыто какими-то интеллигентскими масками...».

Большаго непониманія самаго основнаго в Успенскомъ и не придумаешь. Левъ Толстой, сильно критиковавшій литературную форму его писаній и особенно, с высотъ своего класси-

ческаго московскаго говора, его «тульскую рѣчь», говорил о нем Максиму Горькому: «Вот — писатель! Он силой искренности своей Достоевскаго напоминает, только Достоевскій политиканствовал и кокетничал, а этот — проще, искреннѣе. Если бы он в Бога вѣрил, из него вышел бы сектант какой-нибудь...».

В самом дѣлѣ, у него было чисто-сектантское цѣломудріе ума и аскетическое отталкиваніе: во первых — от изысканности самодовлѣющаго художества, и во вторых — от всякой эстрады, сцены, позы. Когда однажды, в Парижѣ, в салонѣ Мадам Віардо Тургенев вздумал устроить вечер Успенскаго, гдѣ сам же читал с неподражаемым мастерством его рассказы, виновник торжества скрылся от грозивших ему овацій и долго еще потом, как будто отряхиваясь, говорил: «ну, и фокусники же эти сороковые годы!» Простота его изумляла. Покойный Семен Акимович Ан-скій рассказывал про него такой случай: в особнякѣ В. А. Морозовой, в Москвѣ, был вечер, на котором Успенскій должен был прочесть что-нибудь, перед лицом двухсот или трехсот человѣкъ «избранной публики», встрѣтивших его бурной оваціей. Он постоял, помялся нѣсколько времени на эстрадѣ, то открывал, то закрывал книгу с самым страдальческим выраженіем на лицѣ, и наконец, не издав ни звука, позорно сбѣжал...

О каки-же «масках» у такого человѣка может быть рѣчь? Приглядимся к нему пристальнѣе в такой области, гдѣ люди обычно выступают без всяких масок: в чисто личной, бѣглой, без'искусственной перепискѣ. В одном из его писем вы вдруг натываетесь на отрывок, поистинѣ замѣчательный и по безпкойной взволнованности рассказа, и по странному его сходству с образцами чисто-Толстовскаго способа воспріятія дѣйствительности:

«Как-то утром слышу я какой-то отдаленный звук, будто бубенчики звенят... выглянул из окна, гляжу — идет сѣрая, безконечная масса арестантов: все знакомыя лица, и мужики, и господа, и воры, и политическіе, и бабы, и все наше, из нутра русской земли... Вѣдь эти люди — отборный продукт тѣх русских условій жизни, той путаницы, тоски, мертвечины, трусости или отчаянной смѣлости, среди которых живем мы, не сосланные, томимся, скучаем, мучаемся, пьем чай с вареньем от скуки, врем, лжем и опять мучаемся: всѣ эти, от воров до политических, не выдержали этой жизни, и их ташут в новыя мѣста...».

Казалось бы, можно только вчуже пугливо вздрогнуть от мысли, в какія дебри этих людей закинет судьба? Но Глѣб Успенскій ощущает все иначе, по своему: «и меня так потянуло вслѣд за ними, как никогда в жизни не тянуло ни в Париж, ни на Кавказ... И мнѣ охотой, а не на цѣпи захотѣлось необузданно идти на новыя мѣста».

Подход к народу, однако-же, у Толстого и Успенскаго совсѣм иной.

Лев Толстой искал мужика статическаго, пребывающаго в состояніи высшей (сравнительно с интеллигентской раздвоенностью), цѣльности и гармоніи. Глѣб Успенскій искал — как это особенно ясно становится из его переписки — мужика динамическаго, мужика «на ходу» — хотя бы даже в арестантской партіи, только чтобы ему предстояло не застыть на мѣстѣ, а устраиваться гдѣ-то и как-то заново...

Начиная с марксистской полосы в русском общественном развитіи, народникам вообще, а народникам-беллетристам в особенности, по штату полагалась — обязательная идеализація мужика и умиленіе перед его нетронутыми природными добродѣтелями. Но ни Каратаевы, ни Ерошки вовсе не во вкусѣ Успенскаго. Скорѣе уж занимает его вытянувшійся во фронт перед землею-кормилицей прозаически-озабоченный, суровый и дѣловитый Иван Ермолаич («Крестьянин и крестьянскій труд»). Успенскій, видя «статическаго» мужика, без колебаній пишет: «вообще я поустал от мужика, его бороды, лаптей и всего этого голоднаго и холоднаго... Больно смотрѣть и голова отказывается мучиться об этом, просто утомилась». Когда же ему случалось попасть в мѣста, куда «деньга привалила», все вокруг себя подкупая и разлагая и создавая «шумную, полупьяную, развратную деревню», — Успенскій не боялся писать о ней так, что Маниловы от народничества били в набат (лично я помню статью: «До чего договорился Глѣб Успенскій») и подвергали сомнѣнію самую любовь его к народу. И Успенскій об'ясняется: «да, вѣрно, я писал о том, какая он свинья, потому что он дѣйствительно творил преподлѣйшія вещи». Безстрашно держал он свой путь на равном разстояніи и от «самохвалов, из статистических данных извлекающих однѣ прелести жизни народной», и от «Марксов Карликов» (которыми он противопоставал самаго великаго Карла Маркса), выбрасывающих из этих же данных все, что живо оригинальностью».

В Петербургской шумихѣ его вѣчно «заѣдает глубокое горе»; он «истиранин и истиранин на много лѣтъ»; если «нѣтъ

возможности никуда поѣхать». Ему «не подходит жить (а не бороться) с людьми, с которыми (и которым) приходится много лгать, бесплодно, бзцѣльно, и изживать русскій теперешній вѣкъ — бзцвѣтно, неинтересно, бзвкусьо и неумно»... Ему вѣчно «надобно вновь внимательно видѣть жизнь». А жизнь — это значит жизнь народа. Он оживает лишь, когда погружается в самую гущу этой народной жизни. И тогда у него звучат свѣжія. Содрыя ноты. «Ах сколько новаго на Руси!» — пишет он из Новороссіи к Соболевскому, — «сколько ужасно интереснаго: менониты, колонисты нѣмцы, штундисты, казаки! Все это до чрезвычайности ново, любопытно. Я чуть-чуть видѣл и говорил, а повѣрите ли, не растался бы с здѣшними мѣстами: так много в каждом уголкѣ, своего, — вѣр, порядков, взглядов, общественных отношеній, типов... Я хорошо себя чувствую и много для меня чрезвычайно новаго... Я всегда исцѣляюсь этим». И у него зарождается новый вопрос: «Почему переселяются только мужики? И нам надо добровольно бросать запутанныя, тяжкія, ненужныя отношенія, хотя бы они и были старыя, привычныя, и искать и мѣст, и людей, с которыми можно чувствовать себя искреннѣй и сильнѣй. И тут-то вот я и остановился: так много на меня нахлынуло новаго и свѣтлаго!»

Неудивительно, что разбиравшій нѣсколько пачек писем Успенскаго Н. К. Михайловскій был прежде всего поражен разнообразіем и безпорядочной смѣной почтовых штемпелей его писем: русских и заграничных. Первое, что пришлось ему установить, это, по его собственному выраженію, «факт Агасферова житія Успенскаго...».

Глѣб Успенскій долго мечтал написать повѣсть, в центрѣ которой должен был стоять своего рода «удалой добрый молодец» новаго времени, не укладывающійся ни в какія партійныя или иныя рамки «вольный казак» революціи. Он хотѣл взять его прототипом Германа Александровича Лопатина.

«Повѣсть, которую я напишу — сообщал Успенскій — автобіографія, не моя личная, а нѣчто вродѣ Л. Чего он только не видал на своем вѣку! Его метало из губернаторских чиновников в острог на Кавказ, с Кавказа в Италію, прямо к битвѣ под Ментоной, к Герцену, потом в Сибирь на три года, потом на Ангару, по которой он плыл тысячи верст, потом в Шенкурск, в Лондон, в Цюрих, в Париж. Он видѣл все и вся. Это цѣлая поэма. Он знает в совершенствѣ три языка, умѣет говорить с членом парламента, с частным приставом, с мужиком,

умѣет сам притворяться и частным приставом, и мужиком, и неучем, и в то же самое время может войти сейчас на кафедру и начать о чем угодно вполне интересную лекцію. Это изумительная натура. Я и думать не могу охватить все это, но уголок я постараюсь взять в свою власть...».

Излюбленнѣйших литературных героев своих авторы любят выращивать «из себя» — хотя бы просто из какого-то сокровеннѣйшаго «зерна горчичнаго» в своем собственном глубочайшем «я». Успенскій ничего другого в данном случаѣ и не собирался дѣлать.

Спрашивается: откуда этот неудержимый динамизм, эта неумная страсть к отталкиванію от берегов, к прыжкам в неизвѣстное? Откуда эта психологія, знакомая нам по Чацкому: «Гдѣ-ж лучше? — Гдѣ нас нѣтъ»...

О, конечно, это был «Агасфер» совѣм иной социальной формации, а потому и совѣм иного склада, чѣм отрекшійся от своего «графства» наш великій «Граф». Тот был баловнем фортуны, этот — ея пасынком. Тому было от чего отречься, чѣм жертвовать. Но оба шли в одном направленіи: только один — сверху, а другой — снизу.

Когда Глѣба Успенскаго постигла душевная болѣзнь, выяснилось, что он был отягощен тяжелой наслѣдственностью по отцовской линіи. В то время, как со стороны матери, в роду Соколовых, были даровитые люди — музыканты, живописцы, писатели (из сотрудников «Современника»), в лицѣ отца в семью вошла стихія дореформеннаго канцелярско-семинарскаго быта, с цѣлым рядом извращеній, вплоть до сумасшествій и самоубійств. Семейная жизнь, повидимому, была кошмарна. Мальчиком, отроком и даже юношей Успенскій был обречен на тяжкое духовное одиночество. Литературная среда, в которую он сначала попал и от которой отчаянным усиліем оторвался, состояла из «подверженных сивушной гибели людей», из которых он особенно вспоминал всегда «погибшій талант» своего двоюроднаго брата, Николая Успенскаго, тоже кончившаго самоубійством, и «потрясающую фигуру» П. И. Якушкина. Осью мистическаго бреда, в который перешла психическая болѣзнь Успенскаго, было раздвоеніе личности. В нем жил свѣтлый дух — «святой Глѣб» — по линіи матери, отец которой звался тоже Глѣбом, — и темный дух, «Иванович», по отцу. От свѣтлаго Глѣба — все лучшее в нем и в окружающем: начало равновѣсія, добра, гармоніи. От «Ивановича» вторженіе «свиного элемента». Перипетіи борьбы этих двух

начал выражались в формѣ самых кошмарных галлюцинацій. Приходилось заключить, что «вальпургіева ночь» фантомов безумія была претвореніем в гиперболических образах какой-то реальной трагедіи, на которую цѣломудріе чувства Успенскаго набрасывало покрывало молчанія.

Один только раз, в отвѣтъ на просьбу издателя Павленкова дать автобіографическій очерк для собранія его сочиненій, Успенскій слегка приподнял край завѣсы над исторіей своей жизни: «вся обстановка моей личной жизни, лѣтъ до двадцати, обрекала меня на полное затменіе ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятій, неразвитость и вообще отдаляла от жизни бѣлаго свѣта на неизмѣримое разстояніе. Я помню, что я плакалъ безпрестанно, но не зналъ, отчего это происходит. Не помню, чтобы до двадцати лѣтъ сердце у меня было когданибудь на мѣстѣ. Вот почему, когда настал 1861 год, взять с собою «в дальнюю дорогу» что-нибудь вперед из моего личного прошлаго было рѣшительно невозможно — ровно ничего, ни капельки; напротив, чтобы жить хоть какнибудь, надо было непремѣнно до послѣдней капли забыть все это прошлое, истребить в себѣ всѣ внѣдренныя им качества...».

«Слѣдовательно — писал Успенскій, — начало моей жизни открывается только послѣ забвенія моей собственной біографіи; а затѣм в эту, опустошенную от личной біографіи душу я пускалъ только то, что во всѣх смыслах противорѣчило неправдѣ; каждая малость, которая радовала душу, гдѣ бы я ее не нашел, попадала теперь непремѣнно в мою новую душевную родословную...».

Впослѣдствіи Н. К. Михайловскій вспомнит, как один государственный человек на коварный вопрос об его предках гордо отвѣтил: «я сам — предок». И прибавит, что в этих словах — цѣлая программа. «Сам предок» — это тот, кто по отношенію ко всему, что окружало его в прошлом — равнодушный или гнѣвный отщепенец, кто в сердцѣ своем похоронил его навсегда, кто смѣет и умѣет создать сам себѣ свою собственную «душевную родословную».

Люди типа Успенскаго хотѣли провести влажной губкой по грифельной доскѣ прошлаго, стереть все, что было на ней написано, и начать писать ЗАНОВО. В этом глубокое созвучіе между личной духовной біографіей и судьбой русской интеллигенціи, а отчасти и всей исторіей русскаго народа.

Бѣлинскій, этот в извѣстном смыслѣ родоначальник русской интеллигенціи, писал: «Я натура русская и этим горжусь.

Не хочу быть даже французом, хотя эту націю люблю и уважаю больше других. Русская личность — пока эмбрион, но сколько широты и силы в натурѣ этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость! Она боится их, не терпит их больше всего — и хорошо, по моему, дѣлает, довольствуясь пока ничѣм, вмѣсто того, чтобы закабалиться в какую нибудь дрянную односторонность».

Историческую генеалогію этого возрѣнія можно возвести еще дальше — к героическому міроощущенію Лермонтова, который болѣе ста лѣтъ тому назад, в 1841 г. занес в подаренную ему В. Ф. Одоевским книжку страшныя слова: «У Россіи нѣтъ прошедшаго; она вся в настоящем и будущем».

Как Герцен говорил: «Мыслящій русскій — самый независимый челоѣкъ в свѣтѣ... Мы независимы, потому что начинаем жить с'изнова... Мы независимы, потому что почти ничего не имѣем. Нам почти нечего любить. Всѣ наши воспоминанія исполнены горечи и злобы. Образованіе, науку, подали нам на концѣ кнута... Можно ли упрекать найденьша за то, что он не уважает своих родителей? На нас лежит слишком много цѣпей, чтобы мы добровольно надѣли еще новыя».

Не сложись так трагически русская исторія, Россія не стала бы естественною аренсю для борьбы на жизнь и смерть между всѣми видами максимализма.

Виктор Чернов.

МЫСЛИ ОБ ИСКУССТВѢ И ТВОРЧЕСТВѢ

Об'ективно-ли **прекрасное**? Строго теоретическое сужденіе склоняется, обычно, к отрицательному отвѣту на этот вопрос. А между тѣм... трудно уйти от какой-то внутренней увѣренности, что та Сила, которая создала нѣчто, постигаемое нами как **прекрасное**, — равно как и самую способность этого рода постиженія, — должна обладать чѣм-то сродни тому, что ею же сотворено. Иначе говоря, Сила эта должна быть в каком-то смыслѣ прекрасной сама по себѣ, прекрасной хотя-бы в том своем аспектѣ, который воспринимается нашим сознанием в качестве ея имманентной упорядоченности и творческой неизсякаемости.

Искусство — дѣяніе рук человѣческих — являет нам, покуда, лишь ограниченное, частичное излученіе этой животворящей Силы, но уже и оно способно привести нас, порою, в состояніе бурной экзальтации и эстетическаго восторга. Что-ж сталось-бы, если-б пред нами вдруг полностью — и, именно, в планѣ **прекраснаго** — развернулась эта величайшая из сил? Мы, вѣроятно, сгорѣли-бы внутренно от ея созерцанія, испепелились-бы в огнѣ экстаза! **«Человѣкъ не может увидѣть Меня и остаться в живых»**, подтверждает как-бы ту-же мысль библейская мудрость.

Но может-ли **прекрасное** че быть об'ективным при этих условіях? Может-ли оно не быть прекрасным, и, притом, без'относительно к своему «суб'екту постиженія»?

Сущность (быть может и смысл) искусства в преодолѣніи духом матеріи. В преодолѣніи этом, повидимому, и сущность (равно как и смысл) нашей жизни, иначе не радовались-бы мы искусству как родному дѣлу. Одна и та-же стихія, что создает в искусствѣ новыя и болѣе адекватныя духу формы, постепенно создает и в нас самих новый и — несмотря на ужасающіе историческіе зигзаги — болѣе одухотворенный биологическій тип.

Понимание искусства дается ни через одно только восприятие его чувствами, ни, тем более, через одно лишь познание его разумом, а как-бы путем взаимопроникновения того и другого, иначе говоря, — через некое его **созерцание**, соединяющее в себе почти парадоксальным образом эмоциональный трепет и интеллектуальное спокойствие. Неизменное содружество этих-же двух факторов является равным образом (если еще не в большей степени) одним из первейших условий и актуального художественного творчества.

В искусстве самым ценным является не абсолютнейшая точность воплощения или воспроизведения, а утонченные и многообразные к ней приближения. Причина этому, вероятно, в «приблизительности» (к некоей норме) и самой человеческой психики, являющейся критерием для своих-же эстетических суждений. Едва уловимая абберация, subtilный каприз в творчестве или исполнении, — вот в чем нередко загадка подлинного искусства.

Техника в искусстве способна, иной раз, как-то притушить искру вдохновения у посредственного художника, но она же раздувает эту искру в великое и неугасаемое пламя у подлинного мастера.

О примитивах в искусстве. Они часто очаровательны в своей технической нелюбности. Отсутствие или недостаток в них истины — технической, но не художественной — и делает их, очевидно, привлекательными и многообразными.

Мы повседневно замечаем, что отклонения от истины (вообще) иной раз гораздо любопытнее самой истины — хотя-бы уже вследствие того, что отклонений множество, а истина одна. Нам редко интересуют явления, вполне нормальные — быть может потому, что они большей частью чрезмерно похожи друг на друга. Помимо этого, уже в самом факте **многообразия** «отклонений» есть своя истина — не абсолютная, не довлеющая в себе истина, единственная и неповторимая... а многоликая, подвижная, «текучая» истина, имя которой — **жизнь**.

Как философія, в своем историческом развитіи, стремится согласовать противорѣчивыя концепціи, так и музыкальное искусство, в своей постепенной эволюціи, примиряет враждующія между собою звуковыя сочетанія. Однако, по примиреніи этих полярностей — и в музыкѣ и в философіи — возникают новыя несогласованности, вслѣд за чѣм весь процесс повторяется сызнова, хотя и в относительно высшем планѣ. Таковы законы вѣчнаго творческаго круговращенія.

Эволюція музыкальнаго искусства не есть эволюція идей, — послѣднія в основѣ своей неизмѣнны, — а эволюція способов выявленія этих идей.

Гармонія в музыкѣ это символ многого во едином — то-же что и символ Вселенной. Отсюда уже недалеко и до «гармоніи сфер».

Ритм в музыкѣ, как «звучащей матеріи», **тройственен** по своим основным качествам, ибо в каждом отдѣльном произведеніи выявляется, одновременно, **акустически** — в звуковых колебаніях, **кинетически** — в звуковых послѣдованіях, и **архитектонически** — в звуковых формообразованіях. Силу непосредственнаго воздѣйствія музыки и слѣдует отнести, в значительной мѣрѣ, за счет этой всепроникающей ее ритмообразности. Живой-же отклик, который неизмѣнно находит в нас ритм, в цѣлом, об'ясняется его волевой природой, — природой дѣйствованія, — лежащей «прежде всѣх вещей» в основаніи Мира, и, как неизбѣжное слѣдствіе, — в нас самих, в каждой клѣточкѣ нашего тѣла, гдѣ-то безконечно глубоко в душѣ нашей...

О космическом ритмѣ.

Разумом понятый — он об'ект науки...
 Чувством воспринятый — он об'ект искусства...
 Интуиціей постигнутый — он об'ект религіи...

Человѣк склонный к религіозной интерпретаціи явленій сказал-бы, вѣроятно, что творчество в безконечном много-

образі — это закон Бога, и что сим, именно, обстоятельством об'ясняется врожденное в нас — созданных по Его подобію — отвращеніе к однообразію.

Вѣрный-же себѣ позитивист, говоря на ту-же тему, сталбы несомнѣнно утверждать, что тенденція к максимальному разнообразію является одним из основных принципов космического механизма, и что этим слѣдует об'яснить свойственное нам — невольным «частям» того-же механизма — инстинктивное избѣганіе не в мѣру длительного послѣдованія сходных, тѣм болѣе, идентичных раздраженій.

Послѣдняя формулировка быть может внѣшне и точнѣе, но первая — внутренне правдивѣе.

В творчествѣ нѣтъ будней, ибо, в противоположность томительной «каждодневности», оно принципиально неповторяемо.

Праздничность творчества — в исключительности его актов, в единственности его проявленій. Поэтому творчество не нуждается в оправданіи «достиженіем»; поэтому оно может служить самоцѣлью. В этом, именно, его тайна, внутренне вседержащая человекa, вседержащая и Мір.

Творчество — личное и космическое — подобно гигантскому и стремительно вращающемуся жироскопу, которому обязаны своей устойчивостью и личность и космос.

Скованный Прометей — творческій порыв, сдерживаемый формой.

В художественном творчествѣ главное не в первоначальном планѣ (будь то его общее начертаніе, или тщательно разработанныя детали), а в умѣнии находить вѣрныя рѣшенія по мѣрѣ того, как развертывается в дальнѣйшем каждое исходное намѣреніе и возникают новыя ситуации — часто вопреки первоначальному плану.

Среди профессионалов искусства всегда имѣется цѣлая категория лиц с весьма незначительными творческими задатками, но, в то-же время, с тоской по творчеству, способной

потрясать горы. В тѣх немногих случаях, когда они явственно сознают в себѣ этот разрыв между «свершениями и возможностями», судьба их воистину трагична. И уж, конечно, трагичность эта неизмѣримо глубже той, что испытывают, скажем, люди, мучительно жаждущіе жизни, но «не умѣющіе» жить. Ибо не в примѣр житейской мудрости, которая все-же благопріобрѣтаема при извѣстных условіях, пути подлиннаго творчества наглухо закрыты для тѣх, кому тайны его не ввѣрены от рожденія.

Как жестока природа в своей односторонней щедрости! Как подавляюще «справедлив» суд Исторіи в своей безстрастной невозмутимости!

Страданія нераздѣльно связаны с творчеством, слѣдовательно... столь-же необходимы как творчество.

Непрестанное творчество — наилучшее средство против душевной депрессіи, ибо послѣдняя представляет собою нѣкій род «психического затора», тогда как творческая активность это как-бы мощный весенній ледоход, сокрушающій на своем пути все, что носит на себѣ печать неподвижности.

Вселенной неоткуда ждать каких-либо стимулирующих мотивов для своих дѣйствій. Поэтому она сама создает всѣ эти мотивы, всѣ условія своего (космического) творчества.

Не жди «подходящих» условій для творчества, создай их, ибо ты — маленькая вселенная!

Геній и бездарность, как двѣ крайности, нерѣдко сходятся в одной общей точкѣ — оригинальности. Послѣдняя, однако, непосредственно вытекает из природы генія, но составляет сознательную цѣль бездарности. Стоит-ли прибавлять, что это кардинальное различіе в артистическом «механизмѣ» того и другого уже чисто автоматически предопредѣляет их противоположную историческую судьбу?

Если гений творит искусство будущаго, то ясно, что рядовой индивид — человек настоящаго — способен постичь до конца лишь гения прошлаго. И дѣйствительно: всякое великое произведение искусства должно непременно пройти через очищающій фильтр Исторіи, и как-то «отстояться» в вѣках, прежде чѣм быть исчерпывающим образом понято. К тому-же оно и пріятнѣе на вкус в этом «выдержанном» видѣ, подобно старому и отличному по качеству вину.

Геніальное не может устарѣть, ибо оно есть постиженіе Мира без отношенія ко времени. Старится лишь способ фиксаціи постигнутаго — стиль, но и то не болѣе, как в смыслѣ постепенно угасающей пригодности его для новых воплощеній. Ибо, и «состарившись», ни один из уходящих в Исторію стилей не является препятствіем для воспріятія нѣкогда зафиксированнаго в нем міропостиженія.

Геніальность — это творческая способность непрерывно **измѣняться**, оставаясь **неизмѣнно** самим собой.

Стиль — недоказуемая логика вещи.

Іосиф Яссер.

ПИСЬМА РАЙНЕР МАРИА РИЛЬКЕ

Маленькій пакетик писем с надписью на синих конвертах тонким почерком по-старинному: А Мадам Мадам... и кучка пожелтѣвших визитных карточек: у Рильке была привычка оставлять у консьержки в видѣ утренняго привѣта букетик фіалок.

Жили мы тогда в Парижѣ почти рядом: он в отелѣ Фойо против Сената, я на улицѣ Корнеля у Одеона, — видались часто и писал он лишь по случайным поводам. Одно из писем и сейчас вызывает чувство огорченія: Рильке пришел провести вечер, но не увидѣвъ, из-за задернутых занавѣсей свѣта, ушел, оставив внизу записку:

«Я бы так хотѣл побесѣдовать с Вами, и вчера вечером мы были, г-жа К. и я, если не у ваших дверей, то во дворѣ: Ваши окна (в 9½ приблизительно) больше не были освѣщены и консьержка сказала, что Вы уже легли, она увѣряла даже, что Вы больны, но я надѣюсь, что она в этом послѣднем пунктѣ ошиблась».

Этот потерянный по недоразумѣнію вечер кажется украденным сокровищем.

Письма всюду были со мною, но печатать их не хотѣлось; без подробных объясненій они непонятны, а объясненія должны затронуть давній мой кукольный театр. Знакомство с Рильке произошло из-за «деревянных комедіантов», которые тогда наполняли мою жизнь.

Моя вѣра в маріонеток и в их художественное значеніе заразила Дягилева, к которому я привозила в Монте Карло из Сен Ремо драгоцѣнныя куколки старинных итальянских вертепов и нѣкоторые экземпляры моей коллекціи турецких Карагезов. Своего увлеченія Дягилев не забыл и своим авторитетом в нужную минуту поддерживал кукол. В Парижѣ кукольной идеей увлекся извѣстный музыковед и редактор «Ревю Мюзикаль» Анри Прюньер; он помог при выборѣ оперы Перголезе и писал о ней, ставя ритмичность и музыкальность кукол в примѣръ живым оперным артистам. Заинтересовался куклами и извѣстный режиссер Жак Копо, предоставившій им

театр «Старой Голубятни» — Въе Коломбье. Так началась парижская жизнь «маленьких артистов», «слишком совершенных и слишком сильных, чтобы самим допускать эти милые слабости: похвалы или цвѣты», как писал о них Рильке на приложенной к цвѣтам карточкѣ.

К рожденію куклол привлечены были художники Наталія Гончарова (для русскаго балета «Деревенскій праздник»), Николай Милліотти (для оперы «Ливіетта и Тракколо» Перголезе, для современнаго скетча и для оркестра деревянных музыкантов под управленіем портретной куклы дирижера С. А. Куссевицкаго), М. Ларіонов для постановки балета и для Карагеца, ушедшій впоследствии в монашество Б. Родіонов, кн. Шервашидзе для выполненія декораций; Н. Н. Черепнин, написавшій музыку для балета, Франк Мартен, дирижировавшій живым оркестром за кулисами и написавшій музыку для «Цирка»; шили и вышивали костюмы молодья художницы Второвы.

В тупичкѣ Мон Тоннер близ улицы Вожирар снята была скульптурная мастерская, в которой цѣлый день шла работа: стучали, пилили, отливали маски, готовили из итальянских «ангельских волос» парички, пѣли, играли на рояли, провѣряли нити, — и всюду были развѣшаны полуодѣтые, обтянутые розовыми шелковыми трико, иногда еще безголовые, будущіе артисты. Сюда любил приходиться Рильке.

Рожденія кукол он не видал, не присутствовал на их спектаклях в театрѣ Въе Коломбье. Впервые увидал он их в большом парижском залѣ на случайном спектаклѣ, и, как говорил, «невольно» пошел за кулисы. С куклами возни было много, — и в антрактѣ я не сразу замѣтила недвижно стоявшаго у притолки двери и сосредоточенно за нами слѣдившаго, очень блѣднаго, меньшаго роста человѣка, с необычайными, прозрачными и глубокими глазами. Его представили; он сказал нѣсколько слов, поразивших своей серьезностью, и пожелал зайти ко мнѣ. С перваго же вечера установился простой тон и удивительная легкость общенія с ним.

Рильке иногда любил, сидя в глубоком креслѣ, отдаваться вслух своим мыслям и воспоминаніям, — и боясь нарушить невѣсомую прелесть его бесѣд, я не записывала их послѣ его ухода. Теперь горестно об этом жалѣю, так как память сохранила не самыя слова, а лишь их неуловимый облик, как бы цвѣт вызываемых ими образов. Пересказывать своими словами то, что он говорил, так же невозможно, как пересказывать сонеты:

у Рильке даже тогда, когда он говорил о простом, были особенныя, ему одному свойственныя, сочетанія слов. Особенно, запомнились нѣкоторыя, волновавшія его темы.

В один из таких вечеров он рассказывал о своей жизни у Родена, и с горечью говорил о том, как Родена оставили умирать послѣ того, как его скульптуры были увезены в музей его имени, — и с поэтической яркостью описывал послѣдніе мѣсяцы жизни жены Родена, когда оба как зябнушія птицы, жалась от холода друг к другу; говорил, как потом Роден не мог понять смерти жены. Рассказывал Рильке о своем пребываніи в поразившем его своей необычайностью Петербургѣ, в котором даже камни казались ему одушевленными мыслью; о Россіи говорил всегда с взволнованной нѣжностью. Казалось, что рожденному в Чехіи поэту Россія представлялась духовной родиной славянства и его к ней влекло кровной любовью. Иногда, но очень осторожно, еле касаясь хрупкими, легкими словами, он говорил о собственной жизни, но уходил от всѣх упоминаній о здоровьи.

Была в его голосѣ и во всем его обликѣ изумительная тихость, как бы прислушиваніе к внутреннему, и поражала в нем тонкость линий, хрупкость, предѣльная деликатность и боязнь заполнить собою: он как будто всегда уходил в тѣнь, отступал в сумерки. Отличался он большою чуткостью; он ощущал собесѣдника и улавливал всѣ оттѣнки настроеній. Он был внимательным и очень любил доставлять удовольствіе хотя бы в мелочах. Помню, как послѣ одной из кукольных репетицій, он увлек нас в русскую чайную — и каким был он тогда прелестным, заботливым хозяином. В памяти остался образ Рильке, соизмѣримый с его поэзіей, и кажется, что в каждый миг своей жизни он был подлинным воплощеніем поэта.

К куклам он питал искреннюю и нѣжную привязанность. Онѣ манили его своей художественной цѣльностью и гармоничностью. Он раздѣлял мою вѣру в их ирреальную, независимую жизнь и соглашался с тѣм, что не мы их ведем за нити, но онѣ своими нитями ведут нас за собою по их собственному художественному пути. В то время онѣ не выступали, а жили в уединеніи на Мон Тоннер, готовясь к веснѣ, — и там всегда проводили день наши «кукольники», — выписанные из Италіи наслѣдники древних маріонеточных традицій. Иногда устраивались показательныя репетиціи на построенных в ателье на-

шими итальянцами подмостках, и тогда Рильке смущенно спрашивал, не помѣшает ли он своим приходом:

«Я в восторгѣ от того, что Вы мнѣ разрѣшаете присутствовать на маленьком представленіи, которое дадут завтра в 2½ в ателье... Что касается г-жи Клоссовской, она будет рада меня сопровождать. Я даже настолько нескромен, чтобы просить вас о позволеніи привести в то же время ея двух сыновей, двух милых юношей 16 и 19 лѣтъ, которые оба очень артистичны. Если же Вы думаете, что в ателье будет черезчур тѣсно, то я вполне понимаю... Во всяком случаѣ, г-жа Клоссовская и я, мы придем, и от всего сердца! Большое спасибо»...

Приходил он в таких случаях заранѣе, садился в дальній угол, уже не отрывал от кукол своего внимательнаго взгляда. Ни одной репетиціи не пропускал, и выходя из мастерской, говорил о своем впечатлѣніи, подмѣчая все: знал он свойства каждой куклы не хуже нас. Помню, как его умиляла плачущая, в безсиліи опускающаяся послѣ своей аріи на ступени лѣстницы Ливіетта и как его забавлял долговязый, носатый, с повязанным на шеѣ шарфом милліотіевскій Тракколо; а когда гончаровская Маша, подбоченившись, пускалась в пляс, он провожал ее ласковым, улыбающимся взглядом. Онѣ были для него «совершенными существами», в которых «не было ошибок» и людских пороков, — и говорил он о «маленьком народѣ», как о живых.

В свою любовь ему хотѣлось ввести своих друзей. Его пріятельница, заботившаяся потом о нем во время болѣзни, г-жа Клоссовская рѣдко приходила в мастерскую кукол, но часто забѣгала ко мнѣ, особенно в пору его ухудшавшагося здоровья. Помню один из таких ея визитов: ее в дверях передней, перепуганную, с пакетиком «пти-сюисс» для больного, шепчущую об его «усталости», об его огорченіи и о том, что он опять в постели.

На репетиціи в мастерской он часто приводил своих свѣтских знакомых: «в числѣ людей, перед которыми я расточал хвалы вашим милым комедіантам, княгиня де Бассіано выразила мнѣ желаніе присутствовать на завтрашнем представленіи и я счел себя имѣвшим разрѣшеніе ее пригласить; возможно, что князь тоже присоединится к нам... Мы будем совершенно счастливы увидѣть эти дорогія существа ожившими, — и вас среди них»...

В такіе дни он волновался, слѣдил за новыми гостями тревожным взглядом, беспокоился за «дорогих маленьких ар-

тистов» и успокаивался только тогда, когда замѣчал произведенное ими впечатлѣніе. Уѣзжал со своими знакомыми, радостный, и потом приходил подробно все рассказать обо всѣх артистах, даже о старом, деревянном милліоттѣвском виолончелистѣ с пухлым лицом, для котораго Н. Н. Черепнин все хотѣл написать сонату, увѣряя неизмѣнно при этом, что «по рождѣ видно, что он запивает» и что «за это ему от жены достается», — и Рильке, хотя сам никогда так о почтенной куклѣ не выражался, но поглядывал на виолончелиста с особой усмѣшкой. В перевозках и передрыгах сломали большую скрипку, замѣнявшую по кукольному росту виолончель, и даже подбили виолончелисту палец, но плѣнившая Черепнина и Рильке «рожа» осталась неуязвимо цѣлой.

Рильке мечтал для них о больших задачах и иногда посылал мнѣ пьесы, в числѣ которых были первыя вещи, получившаго потом большую извѣстность Катильона. — «В ожиданіи позвольте передать Вам два экземпляра очаровательной пьесы Жана Варію (Красавица из Гагенау) — один для Вас, другой для г. Милліотти. Мнѣ кажется весьма возможным, что выразительная простота этой маленькой драмы понравится Вам и вызовет у г. Милліотти желаніе до своего от'ѣзда» (в Америку для написанія серіи портретов) «увеличить вашу труппу нѣсколькими, исполненными значенія актерами. Судите о том сами. Я добавляю (из той же коллекціи) милую комедію Чехова, которую вы вѣрно знаете. Кто, читая ее, не подумал бы, что маріонетка болѣе к ней подходит, чѣм актер, который захочет сам быть комичным вмѣсто того, чтобы просто оставаться среди реальности, которая смѣшна сама по себѣ. Эти нѣсколько строк пишу наспѣх в ожиданіи удовольствія быть у Вас»...

Подобно Вальтеру Страраму, который собирался ставить с нашими куклами музыкальныя мистеріи и не смог осуществить своих замыслов по недостатку средств, — Рильке вѣрил в неограниченныя возможности «совершенныхъ существъ», которых готов был предпочесть живым артистам. У него было желаніе устроить куклам прочную, безопасную будущность, чтобы онѣ могли осуществлять свои проэекты, — и в письмах его отражена эта постоянная отеческая о них забота: «Я не смог сам встрѣтиться с графом де Б., но судя по свѣдѣніям, которые я мог собрать, мы должны, я думаю, отказаться от мысли его заинтересовать: его вниманіе слишком подѣлено между различными начинаніями»... «Я думаю, что Вы должны на все

рискнуть для спектакля у Дюллена: это ни с чѣм несравнимая удача»... Но он, как и мы, практичностью не обладал.

Ему хотѣлось увидеть их в дружеском домѣ и он отнесся с восторгом к приглашенію архитектора Водуайе (брата поэта): «Вчера у Жан Луи Водуайе, куда я принес фотографіи ваших маленьких комедіантов, их портреты имѣли очень большой успѣх: всѣ ими интересовались. Жорж Водуайе, брат хозяина дома, говорил мнѣ о желаніи дать в своем салонѣ на Бульварѣ Перейр, один или два закрытых спектакля. У него большое желаніе как можно скорѣе поговорить с Вами об этом прозектѣ, который мнѣ кажется, мог бы быть полезен для Ваших дорогих маленьких артистов»... Он пишет об этом нѣсколько раз, устраивает свиданіе и предлагает, «послѣ того, как поговорим у Вас, отправиться в ателье, чтобы представить благожелательному любителю маленькую труппу».

Но как ни размѣряли мы зал в особнякѣ Жоржа Водуайе, вдвинуть в него наш театр оказался невозможным: мѣшал рост кукол, почти в метр, и соотвѣтствующая этому высота подмостков; миниатюрную же репродукцію сдѣлать было трудно. Зато как радовался Рильке «благой вѣсти» о спектаклѣ по приглашенію извѣстнаго режиссера и актера Шарля Дюллена.

Больной, — «увы, я все еще в постели, хотя немного лучше» — он пишет: «что ваш спектакль 29-го Апрѣля в Ателье рѣшен, мнѣ доставляет очень большое удовольствіе. Я не сомнѣваюсь в под'емѣ, который будет у ваших артистов и их живых помощников, чтобы использовать всѣ возможности такого, всецѣло им отданнаго вечера, в красивой рамкѣ, какая будет у них для проявленія себя в полной мѣрѣ. Поздравляю Вас и Ваш маленький народ с этой удачей: да будет она первую в длинном рядѣ прекрасных предпріятій»... В монмартрскій театр «Ателье» явился он с цѣлою «бандой» друзей, хотя и был еще больным. Все же радость его оказалась неполной из-за встрѣчи с ненавистным ему Карагезом. Только через недѣлю, и то письменно, он рѣшил мнѣ о том сказать:

«Умоляю, не считайте меня неблагодарным или невѣрным. Мы всѣ были в Ателье и я смог заинтересовать приблизительно двадцать моих друзей, которые всѣ признали себя совершенно покоренными Вашими маленькими артистами. Я с тѣх пор все хотѣл зайти к Вам сообщить мои собственныя впечатлѣнія, но чувствовал себя на это мало способным: каждые два дня мое недомоганіе возобновляется и исключает меня из всѣх, для

меня наиболее дорогих, предприятий. Я был очарован сам в тот вечер, немного опечален Карагезом, который нарушал и прерывал течение спектакля...». «Как было бы прекрасно поставить **настоящую** пьесу, слышать, как **говорят и вступают в непрерывно развивающееся дѣйствіе** эти дорогие комедианты, которые проявляют свои неисчислимыя способности, но не дают до конца своей полной мѣры. Много людей вокруг меня были того же мнѣнія и выражали желаніе видѣть пьесу со словами. Сценка с пѣніем в «Деревенском Праздникѣ» была восхитительна, вторая картина «Ливіетты и Траколло» силы, мѣстами, потрясающей. Номера Цирка были поразительны. У меня было большое желаніе Вас поздравить, но я был измучен усталостью».

Но мнѣ казалось все же, что не зашел он тогда за кулисы из-за Карагеца. С тою же силою, с какою он любил деревянных маріонеток, ненавидѣл он Карагеца. Ни рѣзбою, ни необычайными по краскам тѣнями, которыя отбрасывали турецкіе силуэты на экран, ни музейною рѣдкостью этих экземпляров семнадцатаго вѣка, разысканных мною в Константинополѣ, плѣнить его мнѣ не удавалось. Он брезгливо от них отворачивался при моих попытках склонить его на милость хотя бы их исторической древностью. Дягилев в своем отельном номерѣ, опрокинув стол вверх ножками и растянув между ними простыню, ложился ничком, чтобы любоваться Карагецами, когда я впервые их ему показала, — но Рильке даже сверху не хотѣл бросить на них взгляда и без об'ясненія причин говорил, морщась и подергивая плечами: «я их не люблю», как будто я показывала ему крыс. Никакіе уговоры не помогали. Может быть его чуткость улавливала в безстыдном героѣ Рамазана глубоко чуждую духовному складу поэта сущность: Карагез, хоть и был болѣе безплотною тѣнью, нежели деревянная кукла, но к ствлеченным идеям способен не был, продѣлывал в турецких спектаклях лишь необыкновенно дерзкіе, похожіе на приключенія Полишинеля, любовные подвиги и славился своей живописной прелестью, красочный секрет которой утерян был даже в Турціи с середины восемнадцатаго вѣка. Рильке хотѣл из'ять «Карагеца», хоть и принявшаго у нас скромный вид, из общества «совершенных существ» с их плѣнительной философской жизнью, которая от вѣка и до вѣка увлекала в свой зачарованный круг поэтов и философов, музыкантов и живописцев: от Платона, говорящаго о них в «Законах», до Гёте, взявшаго у них сюжет своего Фауста — и Гайдна, по-

святившаго им двѣ оперы, — и до петербургских поэтов и художников: С. Маковского, давшаго нашим куклам пріют в редакціи «Аполлона», живописца Гауша, предоставившаго для их спектаклей свой особняк, Гумилева, написавшаго для них драматическую поэму «Дитя Аллаха», Георгія Иванова, сочинившаго для их волшебной пьесы стихи «Все образует в жизни круг», Тамары Карсавиной, вѣдавшей их танцами, и Неслуховской, ставившей их менуэт, М. Добужинскаго, расписавшаго для них портал передвижнаго театрика и создавшаго восхитительную куколку «Пролога», Н. Калмакова, сдѣлавшаго постановку старинной «Силы любви и волшебства», Александра Яковлева, готовившаго для них «чертовскаго» Фауста, молодой художницы Э. Давыдовой, Гартмана, написавшаго музыку, Сомовой, изысканными руками вышивавшей их костюмы, К. Сомова, А. Бенуа, Анны Ахматовой, В. Пяста, Н. Недоброво и Александра Блока, впрочем не влюбившаго одной из кукол, — калмаковской Пастушки, за отсутствіе у нея «человѣческаго нимба», — всѣх, общими усилиями поддерживавших в послѣдніе миги прежняго Петербурга волшебную жизнь разодѣтых в кружева и шелка, миниатюрных кукол. Куклы эти покосались пріѣхавшему из Москвы Таирову до того изысканными, что он полу-шутя, полу-серьезно нам грозился: «Это предѣл, теперь надо ждать камня в окно — и все рухнет, куклы и люди». — «Камень в окно» дѣйствительно был пущен скоро, но куклы остались. И кукольник Кондратьич, фантастическое гофманское существо, с уваженіем говорившій о куклѣ «она этого не любит», «она сегодня, вижу, не в настроеніи» или укорявшій новичков: «ходить то она у вас ходит, а вот живности в ней настоящей нѣтъ», — этот Кондратьич, вполне понимавшій испуг Пяста, когда Жаба зацѣпила его нитями («говорил я им не соваться к ней, она их не уважает»), остался при куклах и заслужил послѣ своей смерти некролог.

От этого былого домашняго театрика, исчезнувшаго из наших глаз вмѣстѣ с Петербургом, остался у меня в Парижѣ лишь рисунок портала Добужинскаго, да на каминѣ два «бѣженца» в порванных платьях, с польсѣвшими паричками, — символ нас самих в бѣженствѣ, — и Рильке всегда смотрѣлъ на них с участіем, как на больных. Наши «парижане» казались возлѣ них великанами, сытыми и благополучными в своем отечествѣ. Впрочем, как и петербургскіе их предтечи, они оказались теперѣ покинутыми, в Парижѣ, и вѣрно тоже польсѣли. «Бѣженцев» с их умными деревянными личиками, мы

всѣ любили и брали всегда с собою и в мастерскую, и в путешествие.

Карагез в мастерской не появлялся: он оставался у меня. Рильке неизмѣнно говорил: «не надо его». Но в театрѣ Ателье мы по условію должны были его показать. В письмѣ Рильке отразилось его огорченіе, даже негодованіе, когда среди маріонеточных номеров Цирка, кукла Фокусника стала показывать тѣни, и на экранѣ появились бредущіе по пустынѣ силуэты верблюдов, рѣзныя фигуры турок, и заплясал неугомонный Карагез, как бы врѣзавшійся в самую гущу игры «дорогих маленьких артистов».

В присутствіи маріонеток Рильке всегда был как бы смущен и держался застѣнчиво. К куклам он не подходил, их не трогал и никогда не дергал их за нити, как любили это дѣлать другіе. Когда я иногда клала ему на руки любимую куклу, он держал ее тихо и нѣжно, как ребенка, потом бережно передавал мнѣ.

Только раз «маленькій народ» играл, не сообщив ему: Это было в день прихода в мастерскую Гуго фон Гофмансталя, с ним, как меня предупредили, Рильке не любил встрѣчаться. Гофмансталь провел у нас все время послѣ обѣда, сидѣл близко от сцены, слѣдя за техникою игры, и уходя, сказал нам и быть может также стоявшим возлѣ «деревянными комедіантам», оставившим на него свои недвижные взоры: «не слушайте ничьих посторонних указаній, будьте всегда такими, как сейчас, работайте для нас, поэтов».

Ни одной такой фразы никогда не сказал Рильке, всегда тихій в обществѣ маріонеток. Как ни пріятен был визит Гофмансталя, как ни поднимали дух его слова, но было у нас горькое чувство измѣны, и казалось, что Рильке, взглянув на кукол, прочтет ее в их чистых глазах, как будто мы заставили узнать порок лжи «совершенныя дотолѣ» существа. Хоть и отравленный подобными мыслями, визит Гофмансталя вспоминался радостно: его «работайте для нас поэтов» относилось вѣдь и к Рильке. Но для Рильке никогда не удавалось нам сдѣлать особой репетиціи: он неизмѣнно от этого отказывался. Его деликатность не позволяла ему повѣрить, что для нас это было бы удовольствіем, и ему вѣроятно была бы испорчена радость сознаніем, что это дѣлается для него одного и что он «доставляет затрудненія». Может быть внутренне он знал цѣну своего дара, но никогда этого не выказывал.

Несмотря на все проявляемое Рильке вниманіе, мнѣ

иногда казалось, что он хотѣл лишь «поддержать» нас в наших маріонеточных мечтаніях. Только через десять лѣтъ послѣ его смерти из французской книги Мориса Бетца «Рильке живой» я узнала, как часто он говорил о них заочно.

В ту послѣднюю пору его жизни он находил в куклах отрѣшеніе от повседневно-человѣческаго, абстрактную и в то же время индивидуальную идею человѣка с очищенными страстями и стремленіями, и для него, как для нас, маріонетка не была забавной, движушейся по чужой прихоти, деревяшкой. Укор Блока в «отсутствіи человѣческаго нимба», то есть страданія и тоски (впрочем относившійся у Блока лишь к одной куклѣ), Рильке обращал к Карагезу, но не к маріонеткѣ, нѣкогда посвященной Матери Скорбей — Дѣвѣ Маріи. В письмѣ о драматических возможностях куклы он говорит именно об этой ея свободѣ от лично-плотскаго, при сохраненіи «человѣческаго нимба», котораго искал Блок. Рильке плѣнялся духовной ея «законченностью» и скрытой в ней поэзіей.

Когда оказалось необходимым закрыть мастерскую, отпустить выписанных из Италіи «кукольников», когда пришлось уложить кукол в гробики-ящики, Рильке был взволнован, испуган и старался придумать, как избѣжать им такой судьбы:

«Возможно ли, что добрыя надежды, которыя казались мнѣ уже «прирученными» и достаточно вѣрными, измѣнили внезапно? Ваше письмо очень меня опечалило, и мою грусть раздѣлила г-жа Клоссовская и ея дѣти: мы в спѣшном порядкѣ устроили совѣщаніе, но никто из нас не оказался в силах, в послѣднюю минуту предложить выход. Но, как это ни грустно, прошу вас, не будем говорить «смерть», скажем «сон» и если так суждено, что Ваши дорогіе маленькіе артисты должны спать втеченіе нѣскольких мѣсяцев, то, не тревожа их, будем продолжать шептать о них над ними, спящими. Может быть неожиданныя обстоятельства помогут нам подготовить им день пробужденія, исполненный удачи и дѣятельности. Надѣюсь вскорѣ Вас увидѣть, — я был бы уже у Вас, еслибы я не был так занят и немного нездоров, сверх всего». В дни болѣзни он стѣснялся, чтобы его навѣщали в его маленькой отельной комнатѣ.

В ту пору был он усталый, осунувшійся, все чаще измученный суетою свѣтской парижской своей жизни, в которой его баловали «до смерти». Приходя, садился в глубокое кресло, переводил дыханіе, заводил бесѣду. Он был неспособен сказать о ком-либо дурное или рѣзкое слово: его нелюбовь можно

было угадать лишь по его умолчаніям о ком-либо. Но чувствовалась возраставшая нервность, тревога. На каждое малѣйшее вниманіе он тотчас откликнулся ласковой признательностью: «тысячи благодарностей за Ваше дружеско-сосѣдское участіе»... Все чаще забѣгала Клоссовская вмѣсто него, приходили записки о нездоровьѣ, — написанныя неровным, трепетным почерком:

«Вот опять я порчу большое удовольствіе видѣть вас сегодня вечером у г-жи Клоссовской: нездоров со вчерашняго вечера и должен заняться лѣченіем..., но я надѣюсь, что вечер отложен только на нѣсколько дней... я в отчаяніи». Но вечера не состоялось больше. Вскорѣ он уѣхал в Швейцарію. Одна из послѣдних с ним встрѣч запомнилась ярко. В солнечный день против Сената по улицѣ Вожирар он шел, согнувшись, прозябшій даже в теплых лучах, тихо передвигая ноги, как будто ослабли «движушія нити», и был еще блѣднѣе, еще больше и прозрачнѣе были его необыкновенные глаза. Мы постояли нѣсколько минут на углу, говоря о назначенном его от'ѣздѣ: он говорил, что парижскій климат ему вреден. Но не было ни слова о поправкѣ или о возвращеніи: повидимому он внутренно знал исход.

Через нѣсколько лѣтъ на бульварѣ Монпарнасс меня окликнула Клоссовская: «у меня есть порученіе от Рильке». Мы пошли к ней и по дорогѣ она нѣсколько раз повторила: «он все говорил — не забудьте передать г-жѣ Сазоновой». Она передала мнѣ посмертный привѣтъ Рильке, слова, которыя он поручил сказать — и большой пакет с надписью по-французски: «отдать потом Мадам Сазоновой». Я развернула пакет и на меня глянула, подперши головку, широко раскрыв задумчивые глаза, подруга Ливіетты, и за нею смотрѣлъ Тракколо с его длинной улыбкой, всѣ «совершенныя существа», чьи большіе портреты мы когда-то подарили ему и которые он, как оказалось, увез в свое уединеніе и сохранил возлѣ себя до смерти. Это их послал он сказать о концѣ.

И было это так непередаваемо жутко и странно, что, помню, меня пронзила мысль о вѣчной разлукѣ с незабываемой, никогда не утраченной остротою и мы сидѣли тогда с Клоссовской, подавленные и молчаливыя, под недвижным взглядом глаз, в которые столько раз глядѣлъ поэт.

Загробные его посланцы оставались со мною до крушенія Парижа и там же остался силуэт поэта, карандашный портрет Рильке, сдѣланный в мастерской Николаем Милліотти. И думая

НАУКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Я не политик и потому могу свободно и беспристрастно подвергнуть анализу этапы развития науки в России.

Я прожил в Советской России 13 лет, был привлечен к работам в президиум ВАСХНИЛ по химической промышленности, и состоял много лет во главе Научно-Технического Отдела ВАСХНИЛ, выдавшего Научно-Техническими Институтами, обслуживавшими все отрасли промышленности, и я могу рассказать, что Советская власть сделала для развития науки и индустрии. Но 12 лет тому назад мне пришлось покинуть СССР и таким образом мне было бы трудно изложить достижения, сделанные за этот период, если бы я не получил ценных указаний от Я. М. Толпина, который, находясь на работе в У. О. П., занят собиранием всех научных работ, сделанных в России по химии и нефтяной промышленности, а попутно собирает и материалы по работам в других, смежных с химией областях.

Война 1914 года застала Россию совершенно не подготовленной с химической точки зрения. Химическая промышленность находилась в зачаточном состоянии и в России производились главным образом неорганические важнейшие вещества, как-то: кислоты, сода, аммиак и т. п.; из органических соединений: спирт, глицерин, мыла и взрывчатые вещества. Все краски и медикаменты и другие органические препараты привозились из Германии. Хотя правительство посредством таможенных тарифов и пыталось развивать отечественную химическую промышленность, оно делало это очень неуклюже.

Я могу здесь привести такие курьезы: Военное Ведомство, желая обезопасить производство взрывчатого тринитротолуола (TNT) в своих контрактах с промышленными фирмами писало, чтобы он был приготовлен из отечественного сырья — т. е. толуола, не обращая внимания, из какого сырья последний продукт получается. Толуол действительно получался в России, но исходный продукт для его получения, так называемый «сырой бензол» (получаемый при добытии кокса из каменного угля) целиком привозился из Германии.

Отечественное производство заключалось только в дистилляции сырого бензола и получении фракции, содержащей толуол.

В началѣ войны с Германіей мы не получали сырого бензола при коксованіи и потому очутились без толуола, что, конечно, было хорошо извѣстно нашему врагу.

Другой примѣр безхозяйственности касался получения поташа. В Россіи до войны сырой поташ получался при сжиганіи громаднаго количества подсолнуха, послѣ извлечения из него сѣмян. Этот сырой поташ за безцѣнок продавался Германіи, а из нея к нам ввозился чистый поташ по дорогой цѣнѣ.

Можно себѣ представить, какая трудная задача была возложена на нас, химиков, чтобы создать новыя отрасли химической промышленности и обезпечить армію порохом, взрывчатыми веществами и отравляющими газами. Однако, нам удалось в теченіи 2-3 лѣт войны построить болѣе 20 заводов, производящих сырой бензол при коксованіи угля и пиролизом нефти, построить ряд заводов сѣрной и азотной кислот и ряд заводов взрывчатых веществ.

Если эта работа дала положительные результаты, то только благодаря тому, что русскіе химики и инженеры получили солидное химическое и техническое образованіе под вліяніем учителей, имена которых были извѣстны всему міру и которые создали русскую химическую школу.

Война есть экзамен нации, и во время ея видны как недостатки государственной жизни, так и проявленія генія народа и его потенциальная мощь.

Революція 1917 года не только привела к миру с Германіей, но разстроила всю экономическую жизнь страны. Из-за гражданской войны многіе заводы прекратили работу вслѣдствіе недостатка сырья и топлива, а дезорганизация путей сообщенія привела к страшному голоду.

Чтобы судить, насколько упала производительность заводов и фабрик, приведу только один примѣр. В Россіи в 1913 году производилось около 270 милліонов пудов чугуна; в 1921 году было выплавлено чугуна только 9 милліонов пудов (пуд — 16 килограммов).

В замерзших лабораторіях университетов и институтов прекратилась всякая научная дѣятельность.

Ленин увидѣл, что идеи «Военнаго коммунизма» нельзя реализовать в мирной обстановкѣ, и сознавшись в своих про-

счетах, как большой человек, решил в 1921 году резко повернуть руль управления и начал новую экономическую политику (Н.Э.П.).

Он призвал для реставрации и развития промышленности и земледелия выдающихся специалистов. В это время автор этой статьи был избран членом Правительства, для управления всей химической промышленностью и всеми научно-техническими Институтами.

Этот поворот в деле управления страной принес положительные результаты, но болезнь и смерть Ленина не дала возможности провести в жизнь все меры, которые он намечал в своем декрете, вводя НЭП, как базу экономического развития России.

Состоя долгое время во главе Научно-Технического Отдела Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ), а также принимая участие в заседаниях Комиссариата Народного Просвещения, я был в курсе развития образования в Советской России.

Большевики, придя к власти, решили, что в стране не должно быть безграмотности и немедленно обнародовали декрет об обязательном обучении. Но необходимо заметить, что еще до войны 1914 года, — в 1910 году было введено всеобщее обязательное образование, к 1922 году в России должна была исчезнуть безграмотность, и если проведение этой меры растянулось на несколько лет, то только потому, что не хватало учителей для крестьянских школ. В 1916 году 91% всех детей посещали школы, и только небольшой процент жителей городов, по большей части старики, оставались неграмотными. Очень трудно вычислить процент неграмотных для всей России; неграмотность была больше всего распространена среди инородческого населения.

Что касается высшего образования, то Советская Власть широко открыла двери в высшие учебные заведения. Сначала даже так широко, что каждый гражданин, достигнув 16 лет, мог поступать без всякого экзамена в высшую школу. Но скоро обнаружилась полная несостоятельность этой меры.

Для того, чтобы высшая школа, т. е. университеты и высшие технические институты могли выполнить свои функции, необходимо, чтобы лица, поступающие в них, имели солидное среднее образование. Большевики преисполненные желанием облегчить учебу в средней школе, ввели новую систему обу-

ченія, рѣзко отличающуюся от принятой ранѣ в Россіи и других странах.

Опыт нѣскольких лѣтъ показал, что новую систему надо оставить и перейти по большей части к программам старой русской школы.

Пока проэктировалась в средних школах новая система преподаванія, администрація высших школ постоянно жаловалась на неуспѣшность студентов, потому что они были очень плохо подготовлены не только по математикѣ, физикѣ, но даже не умѣли правильно писать.

Желаніе учиться среди современной русской молодежи громаднo, и несмотря на трудныя условія жизни в больших городах, студенты готовы были все претерпѣть, чтобы получить высшее образованіе и стать работниками в промышленности и сельском хозяйствѣ.

Совѣтская власть сдѣлала теперь школу доступной для всѣх граждан СССР, независимо от того, партійный ли он или безпартійный, потомок ли бывшаго буржуа или сын рабочаго.

Однако, я должен замѣтить, что и при царском режимѣ среднія школы: гимназіи, реальныя училища, а также и всѣ высшія школы были доступны для всѣх сословій.

Я сам учился в 3-й военной гимназіи в Москвѣ, и там за одной партой сидѣли и сын графа и сын мелкаго торговца и сын крестьянина. Мои дѣти учились в 11-ой гимназіи в Петербургѣ (на Выборгской сторонѣ, рабочій район), и 95% всѣх учащихся составляли дѣти рабочих, мелких торговцев, швейцаров и только 5% дѣти чиновников.

Если в городах в гимназіях училось мало дѣтей крестьян, то это об'яснялось тѣм, что за ученье и в средней и в высшей школѣ приходилось платить, да кромѣ того, жизнь ученика, если не было родных в городѣ, стоила дорого.

Совѣтская власть сначала ввела стипендіи*); но затѣм сдѣлала обученіе в высшей школѣ платным, а через нѣкоторое время и ученики средней школы должны были платить за свое обученіе.

Много было сдѣлано совѣтской властью для развитія всѣх

В средней школѣ около 10% было стипендіи для успѣшных бѣдных учеников.

видов промышленности, 'созданіем большого числа научно-ислѣдовательскихъ институтовъ, которые должны были служить и наукѣ и индустріи. Безъ изученія физическихъ и химическихъ процессовъ в лабораторіи нельзя приступать къ производству в большомъ масштабѣ.

В 1921 году, когда мнѣ пришлось вступить в управленіе Институтами, подвѣдомственными НТО (Научно-Технической Отдѣл), я нашелъ, что нѣкоторые изъ нихъ начали свою дѣятельность еще до революціи, а другіе находились в зачаточномъ состояніи. Такъ, напримѣр, институтъ прикладной минералогіи образовался изъ небольшой лабораторіи, которая еще до войны 1914 года была организована любителемъ собиранія минераловъ В. В. Аршиновымъ (впослѣдствіи профессоромъ), сыномъ богатаго Московскаго купца. В своемъ домѣ на Пятницкой, Аршиновъ имѣлъ интересную коллекцію минераловъ и нѣкоторые аппараты для ихъ изслѣдованія; кромѣ того, онъ собралъ обширную бібліотеку по минералогіи.

Аршиновъ предложилъ НТО взять его лабораторію в свое вѣденіе и такимъ образомъ появился новый институтъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ в 1928-1929 годахъ намъ удалось выхлопотать у совѣтскаго правительства средства для постройки Научно-Ислѣдовательскаго Института по геологіи и минералогіи и оборудовать его по всемъ требованіямъ современной науки.

Такимъ же образомъ образовался и развился Институтъ по удобреніямъ. В самомъ началѣ революціи, в 1919 году, по инициативѣ проф. Я. В. Самойлова, в небольшомъ частномъ домѣ в Москвѣ на Тихвинской улицѣ былъ основанъ Институтъ по изученію удобреній, который поступилъ также в вѣденіе НТО.

Важное значеніе изученія удобреній для земледѣльческой Россіи заставило Н. Т. Охлопотать о постройкѣ большого института, и в 1930-31 г.г. рядомъ съ Институтомъ по Минералогіи, появился новый Институтъ по удобреніямъ, который в скоромъ времени оправдалъ всѣ расходы по его созданію. Достаточно указать, что в Институтѣ были разработаны методы переработки апатитовыхъ рудъ на удобренія в новыхъ Хибинскихъ мѣсторожденіяхъ (Лапландія), которыя являются самыми мощными в мірѣ.

Точно также Институтъ в 1932-1935 г.г. развѣдалъ новые громадныя залежи фосфористыхъ отложеній в Средней Азіи в горномъ хребтѣ Кора-Тау, которыя не уступаютъ по мощности Хибинскимъ.

Для обслуживанія химической промышленности по ини-

ціативъ члена Президіума Л. Я. Карпова еще в 1919 году была оборудована небольшая лабораторія в частном домѣ в Армянском переулкѣ в Москвѣ. Директором этой лабораторіи был приглашен А. Н. Бах, который в то время пріѣхал в Россію из Швейцаріи, гдѣ он прожил эмигрантом всю свою жизнь. Но в скором времени оказалось, что подобная лабораторія не может обслуживать всю химическую промышленность и было рѣшено построить новую лабораторію в 1920 году. Несмотря на громадныя затрудненія по строительству и недостаток в матеріалах, Институт имени Карпова был открыт в 1921 году и хорошо оборудован.

Число Институтов увеличивалось с каждым годом по мѣрѣ развитія различных отраслей промышленности, и уже в двадцатых годах их насчитывалось до 20-ти. Кромѣ того промышленные тресты тоже старались обзаводиться институтами и лабораторіями для контроля и усовершенствованія своих производств.

В 1935 году Народный Комиссаріат тяжелой промышленности издал книгу «О Научно-Исслѣдовательских Институтахъ», в которой подробно описываются цѣли, которыя преслѣдуют Институты, и указан личный персонал, ведущій исслѣдовательскую работу. В 1935 году при Народном Комиссаріатѣ Тяжелой Промышленности находилось 99 Институтов с 28 филиалами. Всѣ Институты дѣлятся на двѣ группы: Институты теоретическіе (головные), подчиненные непосредственно Научно-Исслѣдовательскому Департаменту, и Институты по различным отраслям промышленности — так наз. отраслевые, подчиненные главным управлениям промышленности.

ОТРАСЛИ	Институты	Филиал	Всего
Физика	6	—	6
Химія (включая углехимію)	27	5	32
Топливо	5	2	7
Энергетика	7	1	8
Электротехника	6	—	6
Черная Металлургія	6	—	6
Цвѣтная Металлургія	5	—	5
Горно-Рудное Дѣло	4	10	14
Геологія-Геодезія	3	2	5
Машиностроеніе	14	3	17
Строительство	12	3	15
Организація труда	4	1	5
Итого	99	27	126

Во всех Институтах числились научного персонала 11.189 человек (33.5%), техников, инженеров и лаборантов 9.358 (28.1%), остального обслуживающего персонала и рабочих 12.833 (38.4%). Всего 33.380 человек.

Для подготовки кадров научного персонала в СССР был учрежден Институт аспирантов во всех Университетах, в Академии Наук и в Исследовательских Институтах; в последних в 1935 году состояло 450 аспирантов. Содержание всех институтов обошлось в 1934 году почти в 269 миллионов рублей, причем из государственного бюджета было отпущено 38 миллионов, а остальная сумма ложилась, главным образом, на органы промышленности.

Такая организация Исследовательских Институтов несомненно способствует как развитию научных сил в стране, так и введению в промышленность новых технических процессов и усовершенствованию старых методов производства.

Если бы параллельно развитие деятельности Институтов и развитие Советской промышленности, то подтверждается необходимость подобной организации институтов при социалистическом строительстве промышленности. При капиталистическом строе, подобные исследовательские лаборатории создавались в России частными промышленными предприятиями, редко ассоциациями промышленников; но они, конечно, не имели такого широкого охвата всей данной отрасли промышленности, какой присущ Институту государственного характера.

Я не в состоянии здесь даже в общих чертах указать на все достижения советской науки и промышленности за 25 лет существования советской власти; укажу только на некоторые, наиболее характерные.

В химии наиболее важное достижение заключалось в установлении производства связанного азота в таких размерах, что оно вполне может удовлетворять нужды сельского хозяйства и военного ведомства. Производство основной химической промышленности также развилось до больших размеров. Если производство тонкой химической промышленности, как-то: фармацевтической и красок, развивается медленно, то это вполне нормально, так как для их успешного развития надо было создавать школу химиков в течение долгого времени. Я вспоминаю разговор с Троицким, когда он в 1925 году на его вопрос, когда мы будем иметь такую же красочную промышленность, какую имеют немцы, получил от меня ответ:

«Если мы будем развивать производство красок своими силами, то потребуется около 25 лѣтъ».

В фармацевтической промышленности работы А. Е. Чичибабина, Орѣхова и других внесли значительныя достиженія в области алкалоидов.

В концѣ 20-х годов И. Преображенским были открыты залежи калиевых солей в Пермской губерніи; и в настоящее время СССР имѣет громадныя залежи калиевых солей и может покрывать всю потребность в этих солях как в сельском хозяйствѣ, так и в химической промышленности.

С самаго начала революціи Ленин обратил вниманіе на необходимость развитія у нас производства искусственнаго каучука. Сначала проф. С. Бызов стал изучать процесс полученія каучука из нефти, подвергая ея пиролизу. Получаемый бутадіен подвергался полимеризаціи под вліяніем катализаторов. Нѣсколько лѣтъ спустя в 1928-29 г.г. профессор С. Лебедев систематически изучил полученіе бутадіена из этилового алкоголя под вліяніем смѣшанных катализаторов, и настолько увеличил выход этого углеводорода из спирта, что явилась возможность реализовать этот процесс в заводском масштабѣ. В настоящее время в СССР добывается около 100.000 тон бутадіена из алкоголя.

Кромѣ того в СССР было предпринято обширное изслѣдованіе флоры на каучуконосность и в этом отношеніи был получен ряд наиболѣе эффектных каучуконосов и гуттаперченосов (Тау-сагыз каксачыз).

В СССР в различных институтах производились работы по изученію каталитических реакцій, как с теоретической, так и с практической точек зрѣнія. Большія работы в этом направленіи были сдѣланы в Институтѣ высоких давленій. Молдавскій, В. В. Ипатьев (младшій), А. В. Фрост сдѣлали много цѣнных работ по теоріи катализа. Опытныя установки Института оказали большую помощь промышленности.

Физико-Химическій Институт имени Л. Я. Карпова также удѣлял большое количество времени на изученіе катализа. Мы можем отмѣтить работы А. Н. Баха, А. Н. Фрумкина, Я. К. Сыркина, которые дали цѣнныя данныя для теоріи каталитических процессов.

В Университетах, Технических Институтах, начиная с 1921 года, было сдѣлано много хороших работ по всѣм отдѣлам химіи. Работы Н. Д. Зелинскаго, Фаворскаго, Наметкина,

Юрьева, Н. Н. Семенова и многих других хорошо известны химикам всех стран.

В области физики мы можем в первую голову указать, что проф. Л. Манделштам и г. Ландсберг посредством наблюдений над разбиванием монохроматической радиации кварцев пришли к открытию феномена, который получил название спектра Рамана. Манделштам сделал это открытие независимо от Рамана и почти в одно и то же время.

До революции не умели получать оптического стекла. Оптический Институт, начавший свою деятельность с 1918 года и привлечший в свой состав лучшие научные силы: Академика Гребенщикова, Ак. Вавилова, Преображенского, Члена Корресп. Академии Наук Качалова и ряд профессоров, блестяще справился с задачей получения оптического стекла. В настоящее время Институт по своему объему и по разнообразию исследуемых проблем является одним из самых мощных учреждений по оптике в мире.

Исследования Академика Капица, ученика Рutherford, сделали известны всему миру. Капица еще в 1934 году в Кембридже в своей лаборатории построил машину для сжижения гелия путем его расширения с совершением внешней работы. Эта машина позволяет гораздо удобнее получать самую низкую температуры, устраняя необходимость пользоваться жидким водородом для предварительного охлаждения.

В настоящее время в СССР имеется машина, которая позволяет получать жидкий гелий в техническом масштабе.

Нельзя не упомянуть о деятельности Центрального Аэрогидродинамического Института имени проф. Жуковского, оказавшего громадную услугу в деле воздухоплавания. Этот Институт возник по инициативе проф. Жуковского и его сотрудников в 1917 году; тогда эта группа ученых работала при Главном Управлении Воздушного флота и называлась «Авиационное расчетно-испытательное бюро».

В 1918 году это бюро было преобразовано в Институт, во главе которого стал Жуковский. После его смерти главным теоретическим работником стал Академик Чаплыгин. Работы Института охватывают все крупнейшие проблемы самолетостроения и в его лабораториях на моделях изучаются аэродинамические явления в искусственно созданном потоке воздуха. В Институте образовался солидный штаб аэродинамиков, которые добились научных достижений в области воздухоплавания и гидродинамики. В этой области выдвинулись Г. Г.

Кульман, В. П. Ветчинкин, а в особенности член-корреспондент Академіи Наук А. Н. Туполев.

Не имѣя возможности хотя бы вкратцѣ продолжить описаніе выдающихся работ в других областях знанія, упомяну об организациі цѣлаго ряда экскурсій с научной цѣлью, как напримѣр, для изученія полезных ископаемых. Эти экскурсіи принесли громадную пользу дѣлу развитія русской промышленности, в результатѣ их появились и развились новыя отрасли промышленности, как напримѣр, добываніе солей калия, рѣдких элементов и развитіе в большом масштабѣ фосфорных удобреній.

Всему міру извѣстны экскурсіи, предпріятыя с научной цѣлью под командой Академика О. Ю. Шмидта на Памир, для изслѣдованія морских путей в Сѣверном Ледовитом Океанѣ. Всѣ мы с замираніем сердца слѣдили за безстрашным путешествіем Шмидта и его сотрудников от Челюскина мыса до берегов Америки. Не менѣе интересны были двѣ экскурсіи русских летчиков Водопьянова и других на Сѣверный Полюс.

Изданная ими книга об их путешествіи читается с громадным интересом.

В заключеніи мы должны признать, что многія указанныя достижения, сдѣланныя в Россіи, нашли себѣ промѣненіе и в других странах. Достаточно указать, что полимеризація углеводов (олефинов), открытая автором еще в Россіи, реализованная в Соединенных Штатах, дала возможность получить высоко-октановый газолин (100) столь необходимый нынѣ для военной авиациі.

Мы имѣем очень скудныя свѣдѣнія о том, что дѣлается в СССР во время войны в научных лабораторіях, но то, что случайно доходит до нас, указывает на то, что научная мысль не замерла; так, в Казани установлен мощный циклотрон для утилизаціи атомной энергіи, немалыя научныя силы направлены для обслуживанія нужд арміи и флота.

Нѣтъ сомнѣній, что и послѣ войны кадры научных работников будут продолжать разработку проблем, в разрѣшеніи которых нуждается человѣчество.

В. Ипатьев.

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ

Отрывки из подготовляемой книги «Моя жизнь и творчество».

Спера «Добрыня Никитич» была задумана мною в 1893 г., тотчас по окончаніи Петербургской Консерватори. Либретто я рѣшил написать сам. Для этого мнѣ нужно было хорошенько изучить былинный стиль. Я начал ходить в Публичную Библиотеку и с необычайным увлеченіем принялся за дѣло. Когда либретто достаточно было подвинуто, я рѣшил показать его В. В. Стасову. С ним я встрѣчался на «пятницах» у М. П. Бѣляева, извѣстнаго мецената, издателя русской музыки. Стасов служил в Библиотекѣ и его всегда можно было найти там в извѣстные часы дня. Высокаго роста, довольно полный, с длинной развѣвающейся сѣдой бородой Стасов ласково встрѣтил меня в своем просторном кабинетѣ, заваленном книгами, увражами, журналами. Я прочел ему то, что у меня было готово. План сценаріума в общем был одобрен, но ему хотѣлось вставить одну сцену. Ему казалось, что был бы очень оригинальным и эффектным любовный дуэт Змѣя Горыныча с Забавой Путятичной. Мнѣ же идея эта, наталкивающая на мысль о скотоложествѣ, сразу не понравилась, но не желая огорчить старика, я не стал ему возражать и сказал, что подумаю. Конечно, дуэт этот не был мною написан.

Либретто было готово и я приступил к сочиненію музыки. Работа эта по разным причинам очень затянулась и я закончил оперу лишь в 1900 г. в Крыму, гдѣ я проводил лѣто того года. На одном концертѣ в Ялтѣ Чупрынников, пѣвец Петербургскаго Маринскаго Театра, впервые исполнил под мой аккомпанимент пѣсенку Алеши Поповича. Она имѣла громадный успѣх. С Чупрынниковым мы жили в Алупкѣ в одном пансионѣ. На другой день, когда мы пришли с ним в столовую завтракать, на наших приборах красовались маленькіе лавровые вѣнки, — дань восхищенія нашей хозяйки Атрыганьевой, присутствовавшей на ялтинском концертѣ.

В двадцатую годовщину смерти Николая Рубинштейна

по инициативѣ С. И. Танѣва музыканты собрались в ресторанѣ «Эрмитаж», чтобы тризной по покойному основателю Московской Консерваторіи отмѣтить эту годовщину. На этом обѣдѣ присутствовали: Танѣв, Кашкин, Рахманинов, Метнер, Кастальскій, Гольденвейзер, Энгель, Игумнов, Г. и Л. Колюсы, Розенов, Сахновскій, Бартенев и я.

Музыканты в Москвѣ как, впрочем, и всюду, рѣдко бывают об'единены: этот шокирует меня своим дурным вкусом в искусствѣ, тот меня не признает и дурно отзываясь о моей игрѣ, с третьим невозможно дружить, если не хвалишь его сочиненія, а сочиненія-то его мнѣ не нравятся и т. д., и т. д., а потому каждый живет в своем углу, мало общаясь с товарищами по искусству. Но на памятном этом обѣдѣ всѣ как-то почувствовали радость и пользу такого общенія и тогда-же было рѣшено, что отнынѣ мы будем собираться в том-же ресторанѣ «Эрмитаж» первое воскресенье каждого мѣсяца. На обѣдах этих бесѣды были или с ближайшими сосѣдями или иногда выдвигался вдруг какой-нибудь вопрос, интересовавшій всѣх. В таких случаях иногда приходилось даже выбирать предсѣдателя. Помню, однажды с большой страстностью обсуждалась критическая статья Энгеля в «Русских Вѣдомостях» по поводу «Heldenleben», симфонической поэмы Рих. Штрауса, которая наканунѣ была исполнена в симфоническом концертѣ. Энгель с большой похвалой отзывался об этом сочиненіи и, главным образом, отмѣтил превосходную инструментовку — работу большого мастера. Московскіе музыканты того времени были народ нетерпимый и похвалу Энгеля приняли как личное оскорбленіе. Первым напал на бѣднаго Энгеля Танѣв, который в музыкѣ был ретроград. Между прочим, он не любил Мусоргскаго, а над новшествами Скрябина издѣвался. В нападках на Энгеля за его статью о Штраусѣ тотчас-же горячо поддержали Танѣва и другіе. Только я защищал точку зрѣнія Энгеля.

На одном из этих собраній впервые выступил со своими сочиненіями Метнер и был принят всѣми весьма сочувственно.

К осени того года у меня уже был вполнѣ закончен «Добрыня» и я рѣшил показать его нашему кружку, о чем и заявил во всеуслышаніе за обѣдом в Ноябрьрѣ. Предложил день и час, время, на котором всѣ сошлись, и дал адрес. По окончаніи обѣда, прощаясь, я еще раз каждому в отдѣльности напоминал о предстоящем audition моей оперы. Когда

я прощался с Танѣвым и напомнил также ему, он мнѣ вдруг говорит:

— Это понедѣльник? Пойдите, а меня на этот вечер пригласил сейчас к себѣ Н. Н. Это какое-то недоразумѣніе. Пойду от него откажусь.

Было так печально убѣдиться, что в нашей товарищеской семьѣ оказался человек, который не только сам рѣшил не идти ко мнѣ, но старался и других отвлечь. И это был один из самых выдающихся членов нашего кружка...

Audition было назначено на вечер 21 ноября в домѣ моего тестя И. Ф. Рерберга, у котораго были прекрасных два рояля. Всѣ члены кружка с Танѣвым во главѣ были на лицо. Н. Н., конечно, отсутствовал. За одним роялем был я, за другим А. Б. Гольденвейзер, отлично читающій партитуры. Предварительно я познакомил с содержанием оперы, а затѣм началось чтеніе музыки, которое продолжалось около трех часов. Всѣ со вниманіем слушали оперу и по окончаніи было высказано много пріятнаго по адресу автора. Нѣкоторыя газеты дали потом отчет об этом собраніи в домѣ Рерберга. В отчетах этих было отмѣчено обиліе широко развитых, эффектных хоров, мелодичность арій и пѣсен и хорошая инструментовка.

Я был счастлив, что большой труд мой оказался удачным. Теперь нужно добиться, чтобы опера была поставлена в театрѣ. Для начинающаго композитора это не так-то легко (да и не только для начинающаго), но на этот раз судьба была ко мнѣ благосклонна. Я написал письмо дирижеру Большого Театра И. К. Альтани и в отвѣт получил приглашеніе в такой-то вечер быть у него и показать свою оперу. Встрѣтил меня Альтани очень любезно, говорил, что уже слышал от нѣкоторых знакомых музыкантов большія похвалы моему сочиненію и что оно его очень интересуется. Сын его, мальчик лѣтъ 16-ти, попросил у меня разрѣшенія тоже послушать мою музыку. Я сѣл за фортепьяно и начал играть. С каждым новым номером Альтани и его сын, входили все в большій и большій энтузіазм и по окончаніи наговорили мнѣ массу комплиментов. Отец предложил, что он доложит директору театров о моей оперѣ и попросит назначить комиссію для ея пріема. Через нѣсколько дней была назначена комиссія. «Добрыня» и в комиссії имѣл такой-же успѣх и был единогласно принят для представленія.

Москва заговорила о новой оперѣ. Ко мнѣ начались

налеты пѣвцов и пѣвиц Большого Театра с просьбами назначить их на такую-то или такую партію. Как извѣстно, назначеніе это зависит от автора. Приѣхал ко мнѣ, между прочим, и Шаляпин и попросил познакомиться его с партіей Добрыни. Я ему поиграл, партія ему понравилась, и он выразил желаніе ее спѣть.

Приѣхал ко мнѣ также извѣстный музыкальный издатель К. А. Гутхейль и предложил передать ему право на изданіе моей оперы. В то время я начал издаваться у Юргенсона. Бѣляев, охладѣвъ к вокальной музыкѣ, отказался ее издавать. «Даже Римскаго-Корсакова вокальныя произведенія у меня больше не печатаются», писал он мнѣ. Я перешел к Юргенсону, а тут Гутхейль, прослышав про успѣх моей оперы, приѣхал ко мнѣ и предложил блестящія условія. Я не дал ему сразу окончательнаго отвѣта, сказав, что должен переговорить с Юргенсоном. Когда я передал Юргенсону условія, предложенныя мнѣ Гутхейлом, а именно 2.000 руб. при подписаніи контракта и 1.000 при условіи, что опера пройдет не менѣе 10 раз в первый год, Юргенсон сказал, что таких условій он предложить мнѣ не может. Мы рѣшили, что со своими духовными сочиненіями я остаюсь у него, а свѣтскія буду отдавать Гутхейлю. Клавир «Добрыни» был прекрасно издан, как все у Гутхейля, печатавшаго свои изданія в Лейпцигѣ у Брейткопфа и Эртеля. Изящный титул сдѣлан был художником Симовым, декоратором театра Станиславскаго. Первое изданіе быстро было распродано и задолго еще до 1-го представленія было выпущено 2-ое изданіе. «Добрыня» был назначен к исполненію на слѣдующій сезон 1902-1903 г. Я выбрал лучших пѣвцов и пѣвиц, которые за лѣто должны были приготовить свои партіи. Режиссированіе оперы поручено было Василевскому, а декорации Лавдовскому.

Н. А. Римскій-Корсаков живо интересовался моей оперой. Я ему послал клавир и через нѣкоторое время в отвѣтъ получил письмо, в котором он мнѣ писал:

« Подѣлюсь с вами впечатлѣніями вкратцѣ, по пунктам: 1) В общем опера производит на меня самое симпатичное впечатлѣніе. 2) В большей ея части чувствуется русскій дух и зачастую дух былинный. 3) По моему вам всего болѣе удаются в ней хоры и соло пѣсенно-образнаго характера. 4) Все очень мелодично и в большей части случаев бу-

дет хорошо звучать в пѣніи... В общем нахожу вѣянье Бородина и (да позволено будет сказать) иногда и мое вѣянье, но понятно — не вездѣ... Заимствованій я искать не люблю и считаю, что без легоньких сходств, в особенности в мелких мотивах, ничего сочинить нельзя. Я сам в этом отношеніи никогда не церемонюсь»... Затѣм он перечисляет номера, которые ему наиболѣ нравятся и в заключеніе пишет: «В общем радуюсь на оперу вашу и считаю ее хорошим вкладом в русскую оперную музыку».

Можно себѣ представить, какой праздник был для меня получить от обожаемаго учителя, всегда скупого на похвалы, такую оцѣнку моего труда. Это придало мнѣ большую увѣренность в дальнѣйших работах.

2-ая литургія

Лѣто 1902 г. я проводил, как почти всегда, на Волгѣ, на сей раз близ Свияжска. У меня была чудная дача, уединенно расположенная, а в саду разгуливал барашек, приставшій ко мнѣ в подлѣ, с которым презабавно играл Томка*). Идиллическій характер природы необычайно располагал к созерцательному образу жизни и мыслей и настраивал меня сдѣлать что-нибудь для церкви. Я рѣшил написать новую литургію, так как первая меня во многом не удовлетворяла. Работалось легко и успѣшно, но когда я дошел до «Вѣрую», я задумался: что сдѣлать новаго, не похожаго на то, что сдѣлано было в 1-ой литургіи. Там было сочинено 2 номера «Вѣрую». Одно большое, детально иллюстрирующее текст в манерѣ Чайковского, другое речитативное. В каком же родѣ теперь сочинить 3-е? Я долго думал и вдруг мнѣ пришла оригинальная и вмѣстѣ с тѣм очень простая мысль поручить весь текст символа вѣры альту, который не поет, а читает текст на манер монастырских канонархов, а хор благоговѣйным шепотом оттѣняет в простых красках гармоніи содержаніе даннаго мѣста все время с одним словом «вѣрую», а в концѣ «исповѣдую» и «чаю». Работа меня увлекала и я с жаром писал это «Вѣрую», которое завоело потом широкую извѣстность и любовь.

Осенью, вернувшись в Москву, я передал партитуру для исполненія хору Л. С. Васильева. Для символа вѣры он мнѣ

*) Моя собака.

предоставил способнаго мальчика, с которым я сам разучивал партію альты. Сначала нужно было без музыки научить правильно читать по славянски, а потом читать текст на данных мною нотах. Нужно было и самого регента Васильева приучить к этой не совѣм обычной музыкѣ и потому он всегда присутствовал на этих репетиціях. Главная трудность состоит в том, чтобы подвести под одно два самостоятельных элемента этой музыки: свободный речитатив альты, и сопровождающіе его в спокойном теченіи аккорды хора.

2 марта 1903 г. новая литургія моя была исполнена под управленіем Л. С. Васильева в большом залѣ Московскаго Дворянскаго Собранія. Зал был переполнен. Литургія имѣла громаднй успѣх и в особенности «Вѣрую». Мальчика исполнителя на другой день задарили подарками: он получил часы, деньги, массу конфет и пр. Отзывы во всѣх газетах были полны похвал и даже восторгов. Кашкин писал: «Символ вѣры, оставаясь в предѣлах строгаго церковнаго характера, представляет из себя гениальное изобрѣтеніе по простотѣ и удивительной поэтичности замысла. Номер этот производит дивно прекрасное впечатлѣніе, совершенно захватывающее слушателя». В таком родѣ и во всѣх других газетах.

Постановка «Добрыни» в Москвѣ

Первое представленіе «Добрыни Никитича» в Большом Театрѣ между тѣм все откладывалось по каким-то неизвѣстным причинам. Одновременно с моей оперой откладывалась и постановка «Сервиліи» Римскаго-Корсакова, что приводило в негодованіе ея автора. Он писал мнѣ: «от директора театров я узнал, что моя «Сервилія» в Москвѣ не пойдет в этом сезонѣ. Когда же пойдет «Добрыня Никитич» наконец! Какіе они всѣ там тугіе и сонные»... И в другом письмѣ: «Поведеніе московской императорской оперы возмутительно до послѣдней степени. Воображаю, как вам должно быть это неприятно. Скажу вам, что я сам настолько не вѣрю в московскую императорскую оперу, что допускаю возможность не слышать «Сервиліи» и в будущем сезонѣ и равным образом отношу это и к вашему «Добрынѣ». Какіе они колпаки и плуты в то же время!... Достаточно ли выругал их за это Кашкин? Когда придет время, что их там всѣх смѣнят и они перестанут позорить Москву?»...

Осенью 1902 г. я получил из Петербурга от гр. Шере-

метьева письмо с просьбой разрѣшить ему исполнить в одном из своих концертов отрывки из «Добрыни Никитича». Я отвѣтил согласіем и 9 февраля 1903 г., раньше, значит, чѣм в Москвѣ, в Петербургѣ были исполнены вступление к оперѣ и цѣликом 3-ій акт под управленіем гр. Шереметьева и с участіем г-ж Дунковской, Пржебылецкой, гг. Н. Кедрова, Богдановича и др. Свадебный и плясовой хор были повторены, много аплодировали за рассказ Алеши и пѣсню Добрыни; мнѣ поднесли вѣнок. Исполненіе в 1-ый раз большого отрывка из «Добрыни» в Петербургѣ явилось крупным для меня событіем. Об оперѣ много писали и говорили.

Шум, поднятый «Добрыней» задолго до перваго представленія, не мало повредил мнѣ. Пѣвцы и любители, познакомившіеся с оперой по клавиру, может быть и переоцнили достоинства моей музыки, а это вызвало другую волну, которая старалась во что бы то ни стало свергнуть меня с пьедестала, оказавшагося слишком высоким. В этой средѣ стали всячески отрицать какія-либо достоинства «Добрыни». Главный исполнитель оперы Шаляпин как раз был окружен такими людьми, моими недоброжелателями. На него, конечно, не могло не дѣйствовать отрицательное отношеніе его друзей к моему сочиненію да и, правду нужно сказать, роль благороднаго защитника угнетенных, добраго семьянина, храбраго витязя «Добрыня» не достаточно широкаго поле давало для игры этого геніальнаго артиста. Как в «Игорѣ» артист дает прекрасные типы разгульнаго князя Владиміра Галицкаго или широко размашистаго Кончака, но в роли добродѣтельнаго князя Игоря его трудно было бы себѣ представить. Как бы то ни было Шаляпин охладѣл к своей партіи, не ходил на репетиціи и по этому поводу у меня с ним возникла переписка весьма непріятнаго характера. А между тѣм участіе его в оперѣ не давало возможности имѣть в числѣ исполнителей 1-го представленія такого талантливаго и симпатичнаго артиста, как Л. В. Собинов, которому так этого хотѣлось и который писал мнѣ по этому поводу отчаянныя письма из Петербурга, гдѣ он тогда гастролировал. Как раз вышло тогда директорское постановленіе, что участіе в одном и том же спектаклѣ таких выдающихся артистов, как Шаляпин и Собинов, не допускалось, вслѣдствіе чего мнѣ не пришлось имѣть

для перваго представленія в роли Алеши Поповича дружески расположеннаго ко мнѣ Собинова.

Наканунѣ перваго представленія днем состоялась генеральная репетиція при переполненном залѣ. Меня и моих друзей глубоко возмущали многія детали постановки — Змѣй Горыныч, напр., совершенно не соответствуя нашему представленію по былинам, был в видѣ какой-то несчастной селедки. Художнику Лавдовскому, которому была поручена художественная часть постановки оперы, я неоднократно говорил, что такой змѣй прямо смѣшон, что нужно сдѣлать его громадным, страшным, с крыльями, показывал ему рисунки и маленькую скульптуру, изображающую это чудовище, — ничего не помогало. Так эта селедка и осталась. Шаляпину в 3-м актѣ дали дѣтскія игрушечныя гусли. Он не постѣснялся и на генеральной репетиціи во всеуслышанье громко заявил: неужели в реквизитѣ Большого Театра не найдется настоящих гуслей? На высотѣ был только Вальц, устроившій великолѣпный фонтан в 1-ой картинѣ 2-го акта и фантастическую перемѣну замка Марины в лѣс. Дирижер Альтани при всем его стараніи и при всей симпатіи ко мнѣ не выявил всего, что может и что должна давать моя музыка. С огорченіем я должен был признать, что в исполненіи в Петербургѣ гр. Шереметьевым, — этим дирижером-любителем, моя музыка представлена была в свѣтѣ куда болѣе выгодном. У Альтани, вслѣдствіе отсутствія художественнаго темперамента все выходило как-то безцвѣтно и скучно. Шаляпин был не тверд в партіи; особенно это чувствовалось в дуэтѣ с Мариной.

С волненіем ждал я слѣдующаго дня. Что-то будет? За долго всѣ билеты на первыя два представленія были проданы: их брали с боя и было много непріятностей из-за распределенія мѣст между участвующими. Даже мнѣ, автору, не давали того количества билетов, которое мнѣ нужно было для моих друзей и знакомых. Квартиру мою осаждали неизвѣстные мнѣ люди, и я не знал, как от них спастись.

Наконец наступил этот страшный для меня день 14 октября. Я знал, что артисты готовятся меня чествовать, но чествованіе началось уже дома с утра этого дня. Один за другим приходили посыльные и приносили подарки: большой великолѣпный портрет Бетховена в рамѣ, письменный прибор, художественный бювар и пр.

В 1-ом актѣ послѣ 2-ой пѣсни Алеши Поповича раздались первые шумные аплодисменты. Пѣсню повторили (Донской). По окончаніи акта пришлось выдти на вызовы. Во 2-ой картинѣ 2-го акта Нежданова должна была повторить пѣсенку Забавы (за сценой), не смотря на то, что это так мѣшало игрѣ Шаляпина — Добрыни. В антрактѣ послѣ 2-го акта началось чествованіе. Мнѣ поднесли 3 лавровых вѣнка от публики и серебряный от артистов под несмолкаемый гром аплодисментов. В 3-м актѣ и Шаляпин должен был повторить пѣсню Добрыни. По окончаніи спектакля мнѣ пришлось еще много раз выходить на вызовы и с артистами и одному. Был настоящий большой праздник, какой рѣдко выпадает на долю композитора.

Трудно мнѣ описать то состояніе духа, которое я испытал на слѣдующій день послѣ представленія. С утра я начал получать большое количество поздравительных телеграмм от друзей, знакомых и незнакомых; в моей рабочей комнате красовались побѣдные трофеи в видѣ вѣнков и подношеній, а на душѣ была такая мучительная горечь, что я с трудом удерживался от слез. Какая же причина такого настроенія? Я тогда лишь смутно сознавал причину и только позднѣе она опредѣлилась совершенно отчетливо. Во первых на меня самого моя музыка не производила того впечатлѣнія, котораго я ожидал: Альтани так невозможно затягивал всѣ темпы, что я был в отчаяніи. На репетиціях я подгонял его, но что подѣлаешь, когда у человѣка нѣтъ художественнаго темперамента? Во-вторых, я понимал, что вслѣдствіе той-же причины часть публики должна была остаться холодной. В-третьих, я чувствовал, что за этим шумным успѣхом в другой части публики таилось ко мнѣ недоброжелательство: в залѣ не мало было моих врагов и завистников. Это-то и давало такой горькій осадок в моей душѣ.

Во всѣх газетах были краткія замѣтки о вчерашнем успѣхѣ оперы, но я знал, что я отдан на растерзаніе злых собак — критиков, которыми всегда были большей частью неудачливые композиторы, и ждал, что вот завтра, послѣ-завтра начнут лить на меня помои нѣкоторые господа, которые не могут вынести моего успѣха. Я был еще необстрѣлянной птицей и слишком близко к сердцу принимал отзывы всяких газетных писак. Дѣйствительно, через нѣсколко дней наряду с серьезными, вполнѣ дружественными отзывами Энгеля, Кашкина и нѣкоторых петербургских критиков, спе-

ціально для этого спектакля приїхавших в Москву, появились до неприличія ругательныя статьи. Особенно постарались композитор Сахновскій и Дорошевич. Первый писал в таком родѣ: «музыка в «Добрынь» отличается полным и совершенным отсутствіем оригинальности творчества»... «Всѣ исполнители заслуживают одобренія. Неодобрительно только участие Шалапина. Не боги горшки обжигают, говорит пословица, — так зачѣм же одного из них заставлятъ обжигать горшки»... Дорошевич же написал большой шутовскій фельетон — пасквиль на «Добрыню».

Конечно, в извѣстной степени газетные отзывы вліяют на дальнѣйшій успѣх разбираемаго произведенія и отрицательные отзывы о моей оперѣ как-то отозвались на ея судьбѣ, но все же ее с успѣхом продолжал давать Большой Театр и я дополучил с Гутхейля договоренные 1.000 руб. за 10 представлений в первый год.

С гораздо большим успѣхом «Добрыня» шел потом в Петербургском Народном Домѣ, гдѣ его на протяжении нѣскольких мѣсяцев давали по 2 раза в недѣлю, пока октябрьская революція не прекратила спектакли в этом театрѣ. Давался он также в Кіевѣ и в Московском Народном Театрѣ. Революція помѣшала постановкѣ его в Одессѣ.

А. Гречанинов.

ИЗ ВОСПОМИНАНІЙ

Первый том моего жизненного отчета встрѣчен был весьма доброжелательно. Приписываю это безоглядной искренности рассказа, не без труда достигнутой преодоленіем своего смутьянского я, упрямым стремленіем стать господином над самим собой. Такой успѣх должен бы подзадорить желаніе закончить работу, окрылить надежду, что с'умѣю честно отчитаться и в послѣдних двадцати годах пребыванія в бѣженствѣ. Так, несомненно я и уповал бы, если бы... неизмѣнным оставалось заданіе — воскрешать прошлое, предаваться мечтам и годам, коим нѣтъ возврата. Но это не так, заданіе стало совсѣм иным. Правда, на этом отрѣзкѣ жизни прошло перед глазами много, порой даже фантазмагорических, измѣненій и превращеній; многое, что вчера ярко бросалось в глаза, сегодня уже не только претворилось в былое, но и быльем поросло. Как, скажем, безслѣдно испарилась всепокоряющая, казалась, увѣренность в мимолетности совѣтскаго режима. А сколько новых имен и явленій эфемеридами вознеслось, чтобы кануть в рѣку забвенія. Но чѣм капризнѣй и все убыстряясь наслаивался новый отстой, тѣм отчетливѣе опредѣлялась стойкость основной тенденціи бѣженской судьбы, тѣм яснѣе виднѣлась проходящая через всѣ измѣненія красная нить. И, что подлинно ужасно — чѣм дальше, тѣм все назойливѣе всплывает на поверхность сознанія, что категоріи прошлаго на этом двадцатилѣтнем отрѣзкѣ создать не удалось, что оно продолжает жить в настоящем и напрягает его актуальность. До глупости наивно было бы искать утѣшеніе и надежду в волнующем вопросѣ, что день грядущій нам готовит? Нечего ловить его взором — аксіоматически безспорно, что, в сущности своей, завтра будет тоже, что сегодня, что мелькнуло вчера, — лишь еще хуже, еще гуще, еще непроницаемѣе.

Спрашиваю себя: если так, если эти страшные двадцать

*) Мы печатаем главу из второго неизданнаго тома «Воспоминаній» недавно скончавшагося І. В. Гессена. На долю перваго тома работы этого выдающагося политическаго дѣятеля и публициста выпал большой успѣх.

лѣтъ еще не оформились в прошлое, не преждевременно ли производить расчет, подводить итоги? Если прошлое так трепетно пульсирует в настоящем, то можно ли, разбираясь в нем, сохранить спокойствіе духа, смирить негодованіе, не захлебнуться раскаяніем? Возможно ли будет преодолѣть настроеніе, о котором поэт говорит: «я трепещу и проклинаю, и горько жалуясь и горько слезы лью!» О, если бы всетаки удалось отрѣшиться от себя, стать в сторонку, да еще посмотреть в большія стекла бинокля, так, чтобы картина удалялась, уменьшаясь в размѣрах, — это было бы большой побѣдой, которая и впрямь давала бы право сказать — нынѣ отпускаеши! Ну, а если не удастся и если не уничтожу написаннаго (Алданов рѣшительно не вѣрит «легендам об истребленіи писателями своих рукописей»), пусть оно пойдет на свалку самоубійственных «человѣческих документов», в преизобиліи заготовленных безчисленными мемуарами современников.

Уѣзжая из Петербурга, я тщательно отобрал десяток другой наиболѣе ярких номеров совѣтских газет, по которым можно было составить себѣ довольно точное представленіе о новом режимѣ. Опасаясь, что пограничники отберут, я завернул в газеты разныя части багажа — так меньше бросалось в глаза. Но и это не помогло, газеты были отняты, — однако, не совѣтскими чиновниками, а финляндскими представителями новоиспеченной контр-развѣдки, окрещенной по неисповѣдимому совпаденію, столь знакомым нам названіем «третьяго отдѣленія.» Хотя, как они утверждали, фамилія моя им извѣстна, но нѣтъ гарантіи, что я не воспользуюсь газетами для большевистской пропаганды, и тут же преподнесли другой сюрприз: недѣлю надо провести в Теріоках, в карантинѣ, а для поѣздки в новую столицу — Гельсингфорс — требуется особое разрѣшеніе начальства. Правда, в Петербургѣ были заболѣванія сыпным тифом, но он не имѣл характера эпидеміи, и карантин учрежден был не для профилактики (на чем, впрочем, новыя власти и не настаивали), а в качествѣ чистилища, в цѣлях дополнительной провѣрки политической благонадежности.

По началу мнѣ не хотѣлось сдаваться (позже я впал в другую крайность — резиньяци), да к тому же военным министром Финляндіи оказался скромный, почтительный Вальден, управлявшій типографіей Слова, в которой лѣтъ двадцать печаталось Право, а затѣм и Рѣчь. Теперь на посланную телеграмму он не отвѣтил, а приѣхавши как раз в эти дни в Теріоки

в сопровожденіи ад'ютантов, не поинтересовался видѣть меня. Бродѣ того, как угол паденія равен углу отраженія, нынѣшня величественность должна была соотвѣтствовать прежнему уклону заискиванія.

Сам по себѣ карантин не представлял ничего непріятнаго, напротив, убаюкивал разными, уже забытыми утѣхами: для жилья отводилась какая нибудь из многочисленных опустѣвших дач, принадлежавших петербуржцам, около которой заготовлены были дрова, и веселое горѣніе их с потрескиваніем в огромных печах ласкало глаз и слух. Еще больше прельщала бѣлая булка, кофе с сахаром в неограниченном количествѣ и нетерпѣливо ожидаемый днем судок, из котораго вырывался ароматный пар. Нѣтъ, кажется, ни одного мемуариста, который не вспомнил бы — то со стыдом, то с samozабвенным восторгом — об ошеломляющем впечатлѣніи, какое производил рѣзкій переход от петербургскаго голоднаго раціона к нормальному режиму. Но все это было ничто в сравненіи с головокружительным ощущеніем легкости, чисто дѣтской беззаботности, с какой вечером укладывался в постель — совсѣм не просто было проникнуться увѣренностью, что волшебная зимняя тишина не будет грубо прорѣзана автомобильным гудком и мотором, и почувствовать под собой устойчивость, — вѣроятно, так чувствуют себя на войнѣ вырвашіеся из зоны артиллерійскаго обстрѣла.

Вѣсть о моем приѣздѣ быстро просочилась за предѣлы карантина и, в нарушеніе его правил, вечером стали появляться гости. Очень удивил Н. И. Юрданскій, когда то поклонник, а со времени нелѣпаго вызова драться с ним на дуэли — злобный враг. Теперь все было забыто: революція привела его в плехановскую организацію «Единство», с'ютившую разнородных отщепенцев от главных стволов с.-демократіи, т. н. «соціал-патріотов». Юрданскій был комиссаром Вр. Правительства при одной из дѣйствующих армій и в карантинѣ у нас возстановился не только общій язык, но и дружеская нѣжность. В дальнѣшем, однако, он не выдержал бѣженскаго гнета и редактировал в Ригѣ одну из многих газет, основанных большевиками за-границей. Руль вел с ними острую полемику, не мало, смѣю думать, способствовавшую быстрой их ликвидаціи, послѣ чего Юрданскій был взят в Москву и там вскорѣ скончался от какой то болѣзни.

Другим, весьма шумным гостем, буквально ворвавшимся поздно вечером в огромной дохѣ и высоких валенках, был

Леонид Андреев, жившій на своей затѣйливо постоенной большой дачѣ, неподалеку от Теріок. Он был награжден всѣми дарами, чтобы стать очаровательным: тонко выточенное блѣдно-матовое лицо, доврчивые черные глаза с поволокой тихой грусти, проникновенный грудной голос счастливо сочетались с недюжинным художественным талантом, уже при первых литературных выступлениях обратившим на себя общее вниманіе. Но быстро завоеванная слава и подкосила его, — он разрывал страсть в клочки и вырвал у Толстого обидныя слова о своем творествѣ: «он пугает, а мнѣ не страшно».

Вышибленный революціей из колеи и пламенѣя ненавистью к большевикам, он считал себя призванным стать во главѣ міровой пропаганды против коммунизма, ждал милліонов из Америки, но по мѣрѣ того, как несбыточныя надежды все больше никли и душа опустошалась, — все настойчивѣе жаловался он на сердечное недомоганіе и усталость и через нѣсколько мѣсяцев внезапно скончался от паралича сердца.

Без нарушенія правил, вызвав меня в управление карантиня, тоже занимавшее одну из пустых дач, явился «богатый Гессен», проживавшій на своей большой дачѣ в Усикирка. Со скудным образованіем и широкой натурой, болѣзненно склонной к дерзкому риску, он своими руками создал многомилліонное состояніе, став (совмѣстно с братом) 'владѣльцем крупных транспортных, страховых и банковскаго предприятий. вмѣсто прежней кипучей коммерческой дѣятельности теперь его увлекала «борьба с большевиками». Нетерпѣливо отдѣлавшись от шаблонных вопросов о здоровьѣ и т. п. и вручив мнѣ финскія деньги, в обмѣн на оставленные его золовкѣ в Петербургѣ рубли, двоюродный брат бойко вскочил на своего новенькаго конька и во весь опор понесся в рассказѣ об организациі борьбы с большевиками. «Мы образовали комитет, во главѣ котораго стал Трепов (А. Ф., кратковременный премьер), но он быстро проявил свои монархическія устремленія, мы его свергли и выбрали Струве, а он и мѣсяца не просидѣлъ здѣсь, и как только появился Карташев — ну, сам увидишь, что это за человек, — посадил его вмѣсто себя, а сам бѣжал в Париж. Но теперь уже не важно, раз ты пріѣхал. Мы очень на тебя рассчитываем, вот и вопрос о газетѣ, которая влачит жалкое существованіе, будет разрѣшен. Тѣм легче, что Юлію (старшему брату), работающему в Лондонѣ, обѣщаны большія деньги. Юлій молодец, подружился с баттенбергским принцем, дядей Георга, который обѣщал передать

королю записку Юлія и поддержать ее. Вообще, он с'умѣл найти широкія связи, очень ему помогает Личь — теперь нельзя быть слишком разборчивым. Пожалуйста, дай знать заранѣе, когда ты поѣдешь в Гельсингфорс. Ты остановишься на день в Выборгѣ, мы устроим собраніе нѣкоторых членов наших и подробно поговорим и рѣшим».

Приблизительно тоже, хотя и не в столь возбужденном тонѣ, пришлось выслушать через день другой за изысканным завтраком на роскошной дачѣ другого виднаго петербургскаго банкира Шайкевича, приславшаго за мной лошадей. Меня не спрашивали, что я думаю о событіях в Россіи, презумпція была, что они и сами знают все, что нужно дѣлать, но дѣлать то должен я. От этого неожиданнаго бурнаго оживленія, послѣ долгаго обезсиливашаго бездѣйствія, голова слегка кружилась и руки начинали чесаться, но уже в Выборгѣ в небольшом залѣ (том самом, гдѣ лѣтом 1906 года подписывалось «выборгское воззваніе») зашевелился червячек сомнѣній. Было необычайно шумно, совѣм как на студенческих сходках, кромѣ уже названных, тут было еще нѣсколько банкиров и промышленников — помню Грубе, Шуберскаго, Форостовскаго — всѣ спѣшили, перебивая один другаго, высказаться и блеснуть своими соображеніями и чаяніями, а в ушах все громче звучало: «шумим, братцы, шумим». Так, ничего не формулировавъ, мы и разошлись, когда пришло время отправляться на вокзал, чтобы ѣхать в Гельсингфорс.

В сурово красивом, кокетливо чистом Гельсингфорсѣ, преобразовавшемся в столицу, стало тѣсно: потребовались помѣщенія для министерств, дипломатических представительств, и иностранных миссій; улицы, на которых русскія обозначенія были уже уничтожены, пестрѣли моряками со стоящих на рейдѣ и постоянно смѣнявшихся военных кораблей. Как и в Сердоболѣ, бѣженцы облюбовали, вновь, послѣ пожара, отлично отстроенный Сосіэтетс-Хаузет и, начиная с генерала Юденича с ближайшей свитой, заполнили его обогащая швейцара щедрыми чаевыми, чтобы заполучить комнату. Холль и ресторан гостиницы стали центром или — лучше сказать — кулуарами бѣженской политики. За завтраком и обѣдом формировалось нѣсколько групп, в которых то журчала, то бурлила, то с подозрительными, то с вызывающими взглядами по адресу сосѣдей, неумолчная бесѣда, подхлестываемая «огненной водой», подававшейся в виду «сухого режима» в чайниках, или добываемая из хранившихся в задних

карманах брюк плоских серебрянных и золотых фляжек. Теперь уже не тяготились, как было в Сердоболѣ, деньгами и драгоценностями и не предлагали «зачерпнуть, если нужно — в Петербургѣ сочтемся». Но отсюда не слѣдует заключить, что увѣренность в скором возвращеніи домой успѣла колебаться. Напротив, она как будто еще больше окрѣпла, утратив лишь розовую окраску и пріобрѣтя дѣловой характер. Совершенно серьезно банкиры и промышленники, от имени управляемых ими предпріятій, выставляли свои подписи, с непрекаемым убѣжденіем в реальной значимости, на векселях, выдаваемых иностранным банкам и учреждениям в обезпеченіе оказываемых миллионных кредитов на борьбу с большевиками.

Руководство этой борьбой довѣрено было «національным центром» (образовавшейся в Москвѣ подпольной организаціей) генералу Юденичу, который в холлѣ и ресторани никогда не показывался и участія в оживленных бесѣдах не принимал. Сиднем сидѣл он в небольшой узкой комнатѣ, за столиком, абсолютно свободным от всякой клади. Да и вообще комнату можно было бы считать необитаемой, если бы не два тощих чемодана на табуреткѣ у дверей. Юденич принадлежал к числу полководцев, выдѣлившись удачами в великой войнѣ. В какой мѣрѣ удачи были обусловлены военными дарованиями генерала, судить не могу.

Соперничество раздирало комитет. Хотя, казалось бы, тут дѣлать было нечего, он раздѣлился на ся по признаку международной оріентаціи. Во главѣ соперничающих групп стояли, с одной стороны, б. владѣлец Треугольника Утеман, с другой — мои дв. братья Гессены. С переменным успѣхом оба старались укрѣпить свое вліяніе и завладѣть симпатіями Юденича. Когда группа Утемана, за круговой порукой членов своих, получила от финских банков заем в миллион марок, приподнесенный генералу, — другая поторопилась повторить этот жест, а через нѣсколько мѣсяцев почти всѣ члены комитета раз'ехали из Финляндіи, банки обратили взысканіе по векселям на имѣніе Б. Гессена и сам он лишен был временно свободы. «Год интервенціи», день за днем излагающій событія и регистрирующій щедро копившіеся слухи и сплетни, представляет яркую картину мелких интриг и взаимных подсиживаній, которыми кишѣла закулисная работа комитета. А на сценѣ дѣятельность выражалась в горячем обсужденіи текста прівѣтственных, убѣждающих и просительных теле-

грамм Вильсону, Клемансо, Ллойд-Джоржу и другим вершителям мировых судеб.

Тяжелым безформенным грузом висѣлъ комитет на плечах председателя А. В. Карташева, который меньше всего был приспособлен руководить этим беспорядочным сборищем. Члены комитета относились к нему свысока пренебрежительно и злорѣчиво. Я знал Алексѣя Владиміровича в Петербургѣ, как блестящаго вдохновеннаго оратора, с симпатичным лицом и лучезарными глазами. Посѣтив его тотчас по приѣздѣ в Гельсингфорс, я был встрѣчен очень привѣтливо, точно и он только и ждал меня: «Мы надѣемся на Вас, как на слона, и хотим взвалить на Вас всю работу», а когда впоследствии, тяготясь обстановкой, я заговаривал об от'ѣздѣ, — он горячо уоб'ядал не дѣлать этого: ему, дескать, и самому очень тяжело, но он не считает возможным покинуть пост, на который он обречен. А фактически не только никакой работы на меня не взваливалось, но «слона» то он и не замѣчал, совершенно забывая о моем существованіи. Не могу, однако, об'яснить это неискренностью, а приписываю растерянности, лучше сказать, растерзанности.

Я не могу согласиться с многочисленными мемуаристами, участниками сѣверо-западнаго отрѣзка гражданской войны, обвиняющими Карташева в неискренности. Сомнѣваюсь, чтобы вообще нашелся человек, который справился бы со стоявшими тогда задачами. Чрезвычайно отвѣтственными были сношенія от имени Юденича, ни одного иностраннаго языка не знавшаго, с финскими и эстонскими властями и с представителями «союзных миссій» (англійской, американской, французской). Мѣстныя власти относились с болѣзненной ревностью к установленію престижа а соблазнительнѣе всего было проявить его на русских, дать почувствовать, что они здѣсь больше не хозяева, а гости, и притом незваные. В этом направленіи препятствием не служило не только прежнее демонстративно предупредительное отношеніе русской интеллигенціи к угнетаемым окраинам, но даже и личныя знакомства, пріятельство, дружба. Ымѣсть с тѣм, однако, эти власти весьма активно относились к бѣлому движенію, конечно — лишь с точки зрѣнія своих интересов (интересов сегодняшняго дня) и, жадно используя распыленность эмиграции, необычайно дорожили любым клочком бумаги, содержащим признаніе суверенности, как бы ни была низка его реальная и моральная цѣнность.

Не помню через кого, я получил приглашеніе к министру ин. дѣл Энкелю, безукоризненно говорившему по-русски и подробно спрашивавшему о положеніи в Россіи. Он предложил посѣтить генерала Маннергейма и на другой день уведомил о назначенном мнѣ приѣмѣ у «правителя государства». Бывшій русскій генерал, командир гвардейской части, высокій, породисто-изящный, барон Маннергейм, тоже свободно владѣвшій русским языком, парализовал мое краснорѣчіе неотрывным разсматриваніем своих ботфортов, блестящій вид коих доставлял ему, повидимому, большое удовольствіе. Впрочем, его не нужно было убѣждать в необходимости помочь в борьбѣ с большевиками, он сам мечтал о походѣ на Петербург, рисовавшемся ему пріятной прогулкой. К тому были и спеціальныя побужденія: на очереди стояли первые выборы президента республики, производящіеся, по конституціи, всеобщей подачей голосов. Усмиритель — правда, с существенной помощью нѣмцев, коммунистическаго возстанія в Финляндіи, Маннергейм пользовался большой популярностью, вполне обеспечивавшей ему избраніе. Но он был шведскаго происхожденія, и политическіе руководители, обуянные ударившим им в голову націонализмом, противопоставили кандидатуру проф. Стольберга, редактора вліятельной газеты, а, чтобы добиться успѣха, не остановились перед измѣненіем конституціи, отнеся избраніе главы государства к компетенціи сейма. Один из ближайших сотрудников этой газеты Карманнен, прежде ея петербургскій корреспондент, постоянный гость в Рѣчи — отсюда наши пріятельскія отношенія, — признавался: «Если бы я должен был голосовать, то, при всем уваженіи к Стольбергу, подал бы голос за Маннергейма. Как же иначе, если ему мы обязаны своим существованіем. Вѣдь нѣтъ дома у нас, в котором не красовался бы на видном мѣстѣ его портрет. А все таки президентом должен быть финн». Он был доволен, что измѣненіе параграфа конституціи освободило его от соблазна, и в голову ему не приходило, что недовѣріе записных рыцарей демократіи к ея символу — волѣ народа расчищает пути к авторитарному режиму. Свообразное вліяніе на русскія дѣла оказала борьба против кандидатуры Маннергейма. Его противники, опасаясь всего, что могло бы увеличить популярность барона, тѣм самым становились противниками «похода на Петербург».

Уже недѣли через двѣ, по приѣздѣ в Гельсингфорс, я был вызван в Копенгаген дирекціей пулеметнаго завода, учре-

дившаго в Россіи, совмѣстно с русскими участниками, акц. общество для постройки такого же завода в Ковровѣ. В качествѣ юрисконсульта правленія этого общества, я и был теперь приглашен для доклада о положеніи заканчивавшегося постройкой завода. Путешествіе за границу происходило в условіях, заставлявших проливать слезу о «добром старом времени», и притом мое паспортное положеніе было не совѣм устойчиво: для выѣзда из Россіи в Финляндію, суверенность коей не была еще формально признана, совѣтская власть выдала особый, отнятый на границѣ «пропуск», на руках осталась — вот она и сейчас предо мной — «паспортная книжка, безсрочная, выдана приставом перваго участка казанской части С. П. Б. столичной полиціи 1911 года, апрѣля мѣсяца 26-го дня надворному совѣтнику I. В. Г. № 132. Цѣна книжки 15 коп.». Но книжка по закону годилась только для проживанія внутри Россіи и обмѣнивалась при выѣздѣ на заграничный паспорт. Как же быть? Не мало краснорѣчія пришлось потратить, чтобы убѣдить датское консульство поставить визу на полученное дирекціей разрѣшеніе на в'ѣзд в Данію на этот паспорт. Теперь оставалось заполнить, если не ошибаюсь, пять экземпляров анкеты, интересовавшейся не только мною, но и родителями и дѣвичьей фамиліей жены моей и матери, — и приложить пять фотографических снимков. Такую процедуру надо было повторить в шведском консульствѣ, так как дорога лежала через Швецію, но начинать нужно было с тѣх же манипуляцій в финском министерствѣ ин. дѣл, ибо, только при его разрѣшеніи вернуться в Финляндію, иностранныя консульства выставляли визу. А потом... фактическая провѣрка на границах: томительное ожиданіе очереди перед турникетом таможенных и полицейских чиновников, грубые окрики, испытующіе взгляды, многозначительное покачиваніе головы при недовѣрчивом сопоставленіи паспорной фотографіи с оригиналом, все это производило столь внушительное впечатлѣніе, что можно было усомниться в себѣ самом: черт возьми, а быть может, я и в самом дѣлѣ агент большевиков! В этот первый раз я благополучно прошел через всѣ испытанія, но нѣсколько мѣсяцев спустя, когда уже в четвертый или пятый раз был вызван в Копенгаген, шведское консульство неожиданно отказало в разрѣшеніи проѣхать через Стокгольм, потому что, как впоследствии выяснилось, получило от своей контр-развѣдки свѣдѣнія о близости моей к совѣтской власти. И подумать только, что через два-три года посланцы Москвы, против

которых стѣснительныя мѣры были задуманы, встрѣчались на границах, как желанные гости, а стѣснительныя мѣры, которыя должны были мѣшать их просачиванію, всей тяжестью легли на бѣженцев.

В Стокгольмѣ мнѣ показалось, что из глухой провинціи я попал в столицу — настолько здѣсь было шумнѣе и размахистѣе. Пригласившій меня к завтраку петербургскій банкир, на дочери котораго женат был пріятель мой, занимал роскошную квартиру в одном из красивѣйших домов Стокгольма, и я так был смущен воликолѣпной, покрытой толстым ковром лѣстницей, что не рѣшился ступить на нее в дырвых калошах, украдкой снял их за колонной и там и оставил. Ни в какое сравненіе не шел чистенькій Сосіететс-Хузет с величественным Гранд Отелем, в огромном ресторанѣ так и кипѣло людьми и стоял гул. В одном из позднѣйших проѣздов я переночевал, по приглашенію «богатаго Гессена», в его номеръ-аппартаментѣ, том самом, в котором во время войны встрѣтились Протопопов с Варбургом, и за который мой родственник платил по 100 крон в сутки. А теперь эти аппартаменты занимал представитель Краснаго Креста Чаманскій с подругой, угостившій нас изысканнѣйшим обѣдом, с обильным возліаніем шампанскаго — через нѣсколько лѣт, дойдя до крайней степени нищеты, он вмѣстѣ с подругой покончил жизнь самоубійством. Здѣсь же проживал извѣстный журналист, корреспондент Русскаго Слова, от котораго газетчики узнали о моем пріѣздѣ, и буквально набросились на меня: вырвавшійся из Россіи представлялся тогда монстром, и для вящей убѣдительности в его реальности напечатанныя в газетах интервью документировались тут же снятыми фотографіями. А я в увлеченіи разсказом сболтнул, что пропуск в Финляндію получил за взятку, о чем один из интервьюеров, вопреки обѣщанію, разгласил вслѣдствіе чего всѣ неиспользованные пропуска были аннулированы, а чиновник взяточник, до революціи бывший агентом по сбору газетных об'явленій, разстрѣлян.

Отрадным моментом в Стокгольмѣ была встрѣча с бывшим посланником нашим К. Н. Гулькевичем, котораго я знал в Петербургѣ директором департамента мин. Ин. дѣл. Его благородная скромность, строгая корректность и чарующая благожелательность не были принадлежностью дипломатическаго обличья, а служили проявленіем прекрасной души и свидѣтельством лучших дворянских традицій, сдѣлавших из

него честнаго демократа. Теперь его официальное положеніе было неопредѣленным: хотя он уже не мог считаться представителем русской государственной власти, но побѣда революціи еще не расцѣнивалась, как окончательная, а потому Гулькевич продолжал занимать посольскую квартиру с привилегіей экстерриториальности, с штабом чиновников, ливрейными лакеями. К этому времени и совѣтская власть имѣла уже своего представителя в лицѣ потом убитаго в Женевѣ Воровскаго, который тоже не пользовался всѣми правами и преимуществами дипломатическаго представителя, а потом был даже выслан из Швеціи.

В числѣ состоявших при миссіи был, между прочим, бывш. профессор политехническаго института, выдающійся ученый А. А. Чупров. Его отца, профессора политической экономіи, московскую либеральную знаменитость, тѣсно связанную с Русскими Вѣдомостями, я хорошо знал, но только по многочисленным разсказам и анекдотам, в которых неизмѣнно самой яркой чертой выступала радушная общительность. Сын же был погружен в дебри математической статистики, в которой он считался европейским авторитетом. Для миссіи Чупров занимался составленіем финансово-экономических бюллетеней о международном положеніи и, на основаніи внимательнаго изученія, сам превратил небольшое, от отца унаслѣдованное состояніе в дешевыя германскія марки, которыя затѣм совершенно обезцѣнились.

Послѣ ликвидаціи императорской миссіи Чупров переехал в Дрезден, гдѣ окончательно ушел в науку и отрѣшался от нелюдимости только ради Гулькевича, с которым все больше сближался. вмѣстѣ с ним он переселился потом в Швейцарію, куда Нансен взял Гулькевича помощником по дѣлам русских бѣженцев. На руках у него Чупров, с виду всегда пышущій цвѣтущим здоровьем, преждевременно скончался от коварной, долго не распознанной сердечной болѣзни. Еще двумя годами позже тихо угас от застарѣлаго туберкулеза и Гулькевич.

В Стокгольмѣ он настоял на встрѣчѣ моей с популярным лидером с.-демократіи Брантингом, с которым был в добрых отношеніях, и большое удовольствіе доставила мнѣ двухчасовая бесѣда с ним: вдумчивое выраженіе правильнаго лица с красиво сдѣвающим бобриком, грозно насупленными густыми бровями и мягкими черными глазами внушало симпатію и довѣріе и так и хотѣлось сказать ему: напрасно, и под строгой маской тебѣ не скрыть отзывчиваго великодушнаго сердца! —

Плохо справляясь с французским языком, на котором велась бесѣда, я тѣм больше волновался и слишком горячо доказывал, что именно с.-демократам, вчера еще однопартійцам большевиков, слѣдует от них оградиться высокой стѣной, чтобы не подпасть вмѣстѣ с ними отвѣтственности за их гибельную политику. Брантинг не возражал, но все допытывался фактического матеріала, и уже много позже я понял, что излишняя страстность не могла не возбуждать подозрѣній в пристрастїи.

Выѣхав ночью из Стокгольма, ранним утром, еще в полутьмѣ, я был в Мальме и здѣсь, под мелким пронизывающим дождиком, таможенный и паспортный контроль производился с такой упрямой медлительностью и вызывающим тщаніем, точно ищейкам доподлинно было извѣстно, что среди нас скрывается опасный преступник. Но зато, когда совершенно измученному нелѣпыми и безцѣльными строгостями, голодному путешественнику удалось ступить на пароход, глазам открывалось ошеломительное зрѣлище. Зал кают-компанїи перегружен снѣдью в таком подавляющем количествѣ и дразнящем разнообразїи, что, невольно вспоминая петербургскую голодуху, становилось неловко. Но это пароходное зрѣлище было лишь преддверїем к культу чревоугодїя, одолѣвшему датскую столицу, которая утратила свое привѣтливое національное лицо. Куда ни взглянешь, всюду иностранцы, представители Антанты, чувствовавшїе себя полновластными хозяевами. Роль стокгольмскаго Гранд-Отеля здѣсь выполнял отель д-Англетер, швейцар и метр-д-отель были еще болѣе неприступны, и требовалась изворотливость не только, чтобы получить комнату, но даже столик за завтраком, обстановка котораго похожа была на столпотворенїе. Было, во всяком случаѣ, смѣшенїе языцѣх (не слышно только нѣмецкой рѣчи, на которую наложено было табу), всѣ говорили увѣренно, во весь голос, и нестерпимый гул то и дѣло покрывался рокочущим басом виднаго петербургскаго адвоката Н. П. Карабчевскаго. В промежутках между сервируемыми яствами, в узких проходах среди столиков, под оглушительный джаз-банд происходили танцы, которые мнѣ, воспитанному (больше, впрочем, литературно) на вальсѣ, мазуркѣ и т. п., представлялись похоронным обрядом.

По существу Копенгаген ничего новаго не давал. Я бы составил такую пропорцію: Копенгаген так относится к Стокгольму, как Стокгольм к Гельсингфорсу. Здѣсь только раз-мѣры были внушительнѣе, размах много шире. Там мной за-

интересовались три-четыре газетных сотрудника, здѣсь одних корреспондентов прежних русских газет была добрая дюжина. Одни издавали маленький листок. Другіе помогали не знающим русскаго языка корреспондентам крупных европейских газет, третьи умудрились установить с ними непосредственную связь и потому усерднѣйше выжимали свѣдѣнія об отгородившейся непроницаемой стѣной Россіи. Из «сильных міра сего» я в Стокгольмѣ ораторствовал перед полуповергнутым уже посланником Гулькевичем и депутатом Брантингом. Здѣсь я получил приглашеніе к французскому, англійскому и американскому дипломатам. Толстенькій, кругленькій, сѣдѣющій француз был безнадежно раздражен. Я и рта не успѣлъ раскрыть, как он стал негодовать на германскія интриги, в которых де уличен, находившійся тогда в Копенгагенѣ бывший член Думы X. Англичанин, напротив, подавил каким то зловѣщим молчаніем, с каменным лицом он выслушал не без труда произносимыя слова и ледяным голосом поблагодарил — как мнѣ показалось — не за то, что я сообщил, а за то, что не забыл кончить. Года два спустя, лечась в Нейенарѣ, я провѣряя русскій перевод Мадленовской Исторіи Революціи и краснѣлъ от стыда за себя и свое «краснорѣчіе», когда изложеніе напомнило мнѣ, как в свое время относились державы к французской революціи.

Один из газетчиков, большой друг Рѣчи и мой личный, заставил меня выступить с публичным докладом, собравшим, несмотря на отсутствіе оповѣщенія, полный, почему то адски холодный зал, словно для блѣдной иллюстраціи одного из условій петербургской жизни, о которых нужно было рассказать. Тогда еще не обозначилось водораздѣла между группами бѣженцев, онѣ еще не оформились и, послѣ внимательно выслушаннаго доклада, меня окружили и титулованные аристократы и генералы и евреи, буквально засыпая вопросами и требуя свиданій для дополнительных бесѣд. Из таких приглашеній слѣд оставил файф-о-клок у супругов В. и С. Челноковых, занимавших большой номер в упомянутой гостинницѣ. Он был очень похож на старшаго брата, пріятеля моего Михаила, московскаго городскаго голову, но яркія индивидуальныя черты послѣдняго у него выражены были гораздо блѣднѣе и сходство вызывало представленіе об искусственной поддѣлкѣ. И самый файф-о'клок в бивуачной обстановкѣ гостинницы, с чайником на спиртовкѣ, тщательно воскрешавшій знакомые разговоры и приемы таких общеній в Петер-

бургѣ, производил впечатлѣніе искусственности, любительской репетиціи, и тут ужаснула, уже больше не дававшая покоя, мысль, что вся наша жизнь в разсѣяніи есть только суррогат, или, выражаясь модным со времени войны словом — эрзац.

Наиболѣе интересным в Копенгагенѣ было свиданіе с графиней Витте, овдовѣвшей пять лѣтъ назад. Она занимала апартаменты в болѣе скромной гостинницѣ, гдѣ жила с красавицей дочерью Вѣрой Нарышкиной, усыновленной Сергѣем Юльевичем, и ея двумя дѣтьми — сыном, которому посвящены воспоминанія дѣда, и дочерью, с гувернанткой и прислугой. Неизмѣнным гостем был бывший дворцовый комендант Воейков, свитскій генерал, в штатском костюмѣ выглядѣвшій переодѣтым фельдфебелем и капризно томившійся бездѣльем. Матильда Ивановна обрадовалась моему прїѣзду: она только что получила от Маклакова из Парижа нѣсколько десятков хранившихся там в сейфѣ тетрадей, содержавших мемуарныя записи, которыя Витте дѣлал урывками, во время заграничных пребываній. В 1910 году мы встрѣтились в Биаррицѣ и Витте читал мнѣ главу о манифестѣ 17-го октября, содержавшую, между прочим, презрительную характеристику Проппера. Я убѣждал смягчить рѣзкость выраженій, что он и сдѣлал.

Показывая груду тетрадей, графиня возбужденно всплещивала руками: «Знаете ли Вы, что когда Сергѣй Юльевич в 1905 году был в Америкѣ, Шиф (Витте упоминает о нем, говоря об являвшейся к нему в Нью-Йоркѣ еврейской депутаціи), предлагал миллион долларов за продажу авторских прав. Я напомню теперь Шифу об этом». Теперь, конечно, послѣ того как революція дерзко сорвала всѣ покровы с бюрократических тайн, о такой фантастической цифрѣ рѣчи никак не могло быть, но предприимчивая графиня, не охотно с этим соглашавшаяся, сама отправилась в Америку (помнится, она рассказывала — на амераканском военном суднѣ) и, при содѣйствіи Шифа продала авторскія права за сумму, много менѣе значительную, издательской фирмѣ, которая (как затѣм и крупнѣйшее берлинское издательство) воспользовались текстом приготовленным, на основаніи тщательной работы над рукописями для русскаго изданія пасынком моим, молодым историком. Текст этот не вызвал никаких возраженій со стороны М. И. Витте, но из за моих «вступительных замѣчаній» у

нас произошли горячія схватки. Хотя замѣчанія и начинаются с утвержденія, что «гр. Витте, в ряду немногих наших выдающихся государственных дѣятелей, занимает безспорно наиболѣе видное мѣсто», но указаніе на его двойственную роль выводило графиню из себя, и мнѣ стоило большого труда отстоять эту основную черту его дѣятельности, поступившись лишь об'яснительными подробностями.

І. В. Гесен.

П. Н. МИЛЮКОВ

П. Н. Милюков умер, совершив рѣдкій по насыщенности духовным содержаніем круг жизни.

Всѣм своим нутром русскій человекъ, он в своем сознаніи был убѣжденным и непреклонным западником. Почти всеобъемлющая культура П. Н. Милюкова давала ему право на одно из первых мѣст среди ученых и среди политических дѣятелей Европы. Это мѣсто, несомнѣнно, было бы за ним признано, если бы не случилось русской катастрофы. Большой рѣдкій русскій человекъ ушел почти незамѣченным западным общественным мнѣніем...

Одиночество Россіи в мірѣ продолжается. И чѣм безнадежнѣе это одиночество, тѣм дружнѣе мы должны сомкнуться вокруг памяти одного из тѣх, без кого не было бы той Россіи, которой мы преданы и которой гордимся.

Человекъ неутолимой жажды жизни и знанія, человекъ чудовищной трудоспособности до послѣдняго дня своей жизни, глубокій аналитик и блестящій историк, П. Н. Милюков был по призванію политическим бойцом непреклонной воли, вѣры в свой путь, с холодной разсудочной страстью. Если бы П. Н. Милюков свою боевую натуру, свое властолюбіе и честолюбіе отдал на служеніе самому себѣ, его жизнь и роль в исторіи были бы совсѣм другими. Но на свои политическія страсти и мечты он наложил тяжкія вериги служенія Р о с с і и и с в о б о д ѣ.

О П. Н. Милюковѣ-историкѣ, о его русской культурной миссіи в Европѣ и в Америкѣ, о его общественной, политической и государственной работѣ надо писать цѣлое изслѣдованіе. Это не моя задача. Узнав о смерти П. Н. Милюкова, я почувствовал непреодолимую потребность написать эти строчки.

В годы, когда переламывалась судьба Россіи — четвертая Государственная Дума, война и 1917-й год — мы были оба в центрѣ вихря исторіи, почти в непрестанной борьбѣ между собой. Ничего личнаго в этой борьбѣ не было, хотя внѣшне

она и принимала иногда вид личных острых столкновений. На самом дѣлѣ была борьба двух пониманій происходящаго, двух разных тактик при единствѣ цѣлей. Каждый из нас в равной степени считал свой путь единственно возможным в исторических условіях того времени и вѣрил в правоту своего дѣла. Вѣря в с в о ю правду, каждый из нас в работѣ дѣлал неизбѣжныя ошибки. Но отвергнуть или принять в свое сердце человѣка, судить о нем должно не по его ошибкам, а по его намѣреніям, цѣлям, планам, направленію воли.

И вот, зная, чего хотѣл в переломный миг исторіи Россіи П. Н. Милюков, я убѣжден: Россія не пережила бы своего самага страшнаго со времен татарскаго ига паденія, если бы П. Н. Милюков мог довести до конца, осуществить свой план возрожденія и спасенія Россіи. А не осуществил он его только потому, что об'ективныя условія Россіи того времени превратили этот план в несбыточную мечту.

Четвертая и послѣдняя Государственная Дума — в противовѣс первой Государственной Думѣ безсильнаго народнаго гнѣва — была Думой оппозиціоннаго, а затѣм революціоннаго, дѣйствія. Она открылась в ноябрѣ 1912 года, в апогей расцвѣта имперіи.

Послѣ встряски 1905 года в короткій конституціонный період хозяйственное развитіе Россіи шло стремительно в американских масштабах, как признают даже совѣтскіе изслѣдователи той эпохи. Начало XX-го вѣка было блестящей эпохой русскаго духовнаго, культурнаго и политическаго расцвѣта. Низовая трудовая Россія и в городѣ и в деревнѣ, политически созрѣвая, превращалась в организованную демократію. Первые почувствовала себя политической силой промышленная и торговая Россія — Россія средняго класса. Дворянско-октябристское большинство «реакціонной» столыпинской Третьей Государственной Думы вернулось в Червертую рѣшительной конституціонной оппозиціей. Наканунѣ первой сессіи IV Государственной Думы большинство октябристской фракціи приняло директиву А. И. Гучкова — борьба с безотвѣтственными вліяніями вокруг трона за отвѣтственное перед законодательными учрежденіями правительством.

В этой Думѣ оппозиціоннаго дѣйствія мы встрѣтились — П. Н. Милюков лидером отвѣтственной либеральной оппозиціи, я — представителем оппозиціи лѣвой, иронически называемой тогда безотвѣтственной. О Милюковѣ 1905 г. я тогда слышал

и читал. П. Н. Милуков — радикал, вождь, настроенный, по авторитетному свидѣтельству ближайшаго его соратника І. В. Гессена, лѣвѣ своей собственной партіи, готовый к союзу с лѣвыми демократическими революціонными партіями, был в прошлом.

В Четвертой Государственной Думѣ я встрѣтился не с радикальным политиком, а с либеральным государственным дѣятелем, совершенно убѣжденным в невозможности совмѣстной работы с лѣвыми, социалистическими, революціонными партіями. Дѣло не в том, был ли П. Н. Милуков объективно прав в своей оцѣнкѣ государственных качеств русской лѣвой демократіи; дѣло в том, что субъективно, на основаніи своего опыта недавних лѣтъ, он был в этом рѣшительно убѣжден. Он остался вѣрен своей цѣли — превратить Россію в парламентскую либеральную монархію на базѣ широких социальних преобразованій. Но теперь, когда средніе классы Россіи созрѣли к борьбѣ за власть, за народовластіе, для достиженія поставленной П. Н. Милуковым цѣли открылся болѣе вѣрный и болѣе скорый путь парламентской борьбы опираясь на союзников справа.

А для П. Н. Милукова вопрос о скорости и безболѣзненности политическаго преобразованія имперіи имѣл тогда огромное значеніе. Четвертая Государственная Дума начинала свою работу, когда Европа была уже под знаком войны. Зарницы приближающейся грозы все чаще вспыхивали то там, то здѣсь.

П. Н. Милуков был человекъ Имперіи — иначе он Россіи не мыслил. Тут историк сливался с политиком. Он сознавал міровую роль Россіи и ею гордился. Отрицая «особые пути» Россіи, он глубоко чувствовал особое мѣсто Государства Россійскаго на смычкѣ Европы с Азіей с открывающимися перед ним безбрежными возможностями. Он мог бы сказать: «восточная Европа — географическій стержень исторіи», как в своей замѣчательной пророческой книгѣ «Демократическіе идеалы и дѣйствительность» написал в 1919 году англійскій географ и мыслитель Халфорд Д. Макиндер. И этот стержень исторіи должен оказаться в руках С. Петербурга, а не Берлина, каких бы жертв это странѣ не стоило. Міровая имперія требовала, как завершения зданія, императора, монарха — символа единства и исторической преемственности. Именно империализм Милукова, в положительном смыслѣ этого слова, слѣлал его

убѣжденнѣйшим и непреклонным, не идущим ни на какія соглашенія монархистом.

Парламентарная либеральная имперія, управляемая либерально-консервативным парламентским большинством, с лѣвой демократической и социалистической оппозиціей; имперія мірового масштаба — так я воспринял цѣль дѣятельности П. Н. Милюкова, когда мы были с ним рядом в Червертой Государственной Думѣ и когда он чувствовал себя готовым к власти, к управленію имперіей. Можно спорить о том, находился ли в соотвѣтствіи милюковскій план либеральной имперіи с исторической дѣйствительностью, с реальным соотношеніем социальных и политических сил в Россіи, с самой возможностью побѣдить диктатуру безумія Царскаго Села исключительно парламентарными методами борьбы.

Я думал, что это невозможно, П. Н. Милюков со всѣм своим упорством воли проводил свой план в жизнь, не сомнѣваясь в том, что он идет вѣрным путем. Если бы случилось двойное чудо и П. Н. Милюков осуществил свой план и осуществил его до войны, он бы вошел в исторію, как Бисмарк или Тьер.

Но всѣ расчеты, всѣ планы, всѣ сроки были взорваны войной 1914 года. Сверху до низу страна нутром поняла судьбоносность этой войны. В июль 1914 года Россія была в революціонном броженіи. Германскій посол граф Пурталес сообщил в Берлин, что обстановка в Россіи исключительно благоприятна для удара. Ему чудилась Россія в смутѣ времен японской войны 1904 года. Случилось совсѣм по другому. Июльскія баррикады в рабочих кварталах Петербурга мгновенно исчезли — онѣ были разобраны самими рабочими. Мобилизація была выполнена в нужные сроки без каких бы то ни было осложнений. Вся Россія оказалась единой в своей волѣ к защитѣ и побѣдѣ. Это была неповторимая минута в судьбах монархіи: идя навстрѣчу народу, протянув ему руку, слившись с ним в едином патриотическом чувствѣ, династія могла бы укрѣпить себя на долгія десятилѣтія. Безцѣнный дар народнаго энтузіазма и воли к жертвѣ был отдан на расхищеніе правительству Н. Маклакова, Щегловитова, Сухомлинова, заслоненных к тому же зловѣщей тѣнью всемогущаго Распутина.

26 июля должно было открыться так называемое историческое засѣданіе Государственной Думы. Естественно, думцы в своих настроеніях сливались со страной. Но кромѣ выраженія

патріотических чувств, воли к борьбѣ и побѣдѣ, перед Думой стояли еще политическія задачи — опредѣлить свое отношеніе к правительству, роль в войнѣ народнаго представительства, как посредника между страной и властью. В предварительных совѣщаніях старѣйшин Думы (лидеров партій) было много тревожных настроеній. Нѣкоторым из нас казалось, что мы, принимая на себя отвѣтственность за войну, должны, не нарушая торжественнаго единенія в публичном засѣданіи Государственной Думы, в строго секретном порядкѣ, через предсѣдателя Государственной Думы, М. В. Родзянко, передать государю мнѣніе Государственной Думы, что для благополучнаго завершения войны великій патріотическій под'ем Россіи должен быть закрѣплен рядом благожелательных мѣропріятій правительства.

П. Н. Милюков был рѣшительным противником этой тактики. Убѣдительными для большинства Государственной Думы доводами он доказал, что на время войны Государственная Дума должна отказаться от всякой политической борьбы и, стиснув зубы, помогать воевать тому правительству, которое оказалось у власти в минуту начала войны. С этого момента П. Н. Милюков становится вліятельнѣйшим вождем новаго либерально-октябристско-консервативнаго большинства. Именно война устранила психологическія препятствія к об'единенію еще недавно непримиримых противников — к. д. П. Н. Милюкова и октябриста А. И. Гучкова. Начался період политической работы на пользу войны шла в думских комиссіях и там только допускалась дѣловая критика гражданских и военных властей.

Но этот період молчанія продолжался недолго. При всей доброй и напряженной волѣ вождей Государственной Думы «не перепрягать лошадей во время переправы», политическое перемиріе с властью не удалось. Весенняя трагедія в Галиціи 1915-го года вызвала взрыв патріотизма в странѣ, сорвала замок молчанія с ея уст. Первыми заговорили промышленники во главѣ с Рябушинским, потом — земцы, городскіе дѣятели, кооператоры. Русское общество властно потребовало своего отвѣтственнаго участія в организаціи обороны страны, требовало правительства, способнаго работать с общественными организаціями, отдавшими свои силы на помощь войнѣ.

Вмѣстѣ со страной вернулось к открытой политической дѣятельности большинство Государственной Думы. К осени

1915 года блок к. д., октябристов и умѣренных правых начал свое официальное существованіе под именем Прогрессивнаго Блока. П. Н. Милюков стал самым вліятельным вождем этого блока. В размѣщеніи политических сил в странѣ Прогрессивный Блок стоял на правом флангѣ. Правѣ его уже никого не было, кромѣ явных и тайных распутинцев. А среди думских вождей Блока самую консервативную позицію занимал П. Н. Милюков.

Задача Блока была невѣроятной трудности: нужно было преодолѣть распутиніаду, фактически взять власть в свои руки.

Вопрос о власти с каждым днем становился острѣе, ибо послѣ краткаго «свѣтлаго промежутка» диктатура безумія все безнадежнѣе загоняла страну в тупик развала и сепаратнаго мира. Но как вырвать руль государства из рук «сумасшедшаго шофера» (слова В. А. Маклакова), не обращаясь за помощью к не-думским демократическим силам, таящим в себѣ угрозу стихійнаго бунта и анархіи? На этот вопрос А. И. Гучков дал ясный отвѣтъ еще в концѣ 1915 года — дворцовым переворотом.

Идея о дворцовом переворотѣ не была монополіей А. И. Гучкова. Во время войны не только в либеральных и октябристских кругах, но и в лѣвых кругах ни один отвѣтственный политик стихійнаго взрыва революціи снизу не хотѣл. Всѣм нам казалось, что ее можно предотвратить только скорым, смѣлым и рѣшительным переворотом на самой вершинѣ власти. Но внутри Прогрессивнаго Блока П. Н. Милюков твердо и рѣшительно остается защитником только парламентских методов борьбы за власть — он не хочет соблазнительно колебать самый принцип неприкосновенности монархической власти. Уже в ноябрѣ 1916 года, когда вся Россія была в судорогах политической горячки, он произнес свою знаменитую обличительную рѣчь, заканчивая каждое свое обвиненіе вопросом — «глупость или измѣна?» Эта рѣчь нѣкоторыми историками считается началом русской революціи. И, дѣйствительно, ея революціонное вліяніе в тылах и в особенности на фронтѣ среди офицерства, в особенности высшаго, нельзя отрицать. Но я могу свидѣтельствовать по чистой совѣсти, что П. Н. Милюков произносил свою объективно революціонную рѣчь с субъективным намѣреніем предотвратить революцію, побудив верховную власть к сговору с Прогрессивным Блоком.

Наконец, П. Н. Милюков сам убѣдился, что нѣтъ выхода

предотвратить внутреннюю катастрофу во время войны, как дворцовый переворот. Он на него согласился. Но было уже поздно...

Произошел чудовищный взрыв, переломивший всю историю России, всю историю европейского мира.

И тут, уже на развалинах монархии, П. Н. Милюков в убеждении в кровной неразрывности судеб российской империи и монархии поднялся на высоту подлинного героя трагедии...

Поздняя ночь на 3 марта 1917 года. В одном из небольших кабинетов здания Государственной Думы собрались члены только что образовавшегося Временного Правительства и члены Временного Комитета Государственной Думы. Делегаты Временного Правительства (военный министр А. И. Гучков) и Думского Комитета (В. В. Шульгин) в Пскове. Эти два консерватора и монархиста — должны получить от Императора отречение в пользу его сына, малолетнего Алексея, при котором должен быть состоять брат царя, великий князь Михаил Александрович. Идет час за часом в напряженном ожидании. Петербург горит. Псков молчит. Делегаты не возвращаются, никаких сведений от них нет. Наконец, ошеломляющее известие: государь отказался от престола за себя и за сына, вручив особым манифестом верховную власть своему брату Михаилу.

Тут случилось нечто, казавшееся тогда невероятным. Вслед за М. В. Родзянко, сказавшим — «Великий князь Михаил не может быть императором», члены Прогрессивного Блока решительно высказались против возможности передачи верховной власти в руки брата царя.

Все — кроме одного: П. Н. Милюкова.

Внешне спокойно, почти не повышая голоса, с холодной и сдержанной страстью, П. Н. Милюков упорно хотел переломить решение своих вчерашних единомышленников. Его доводы не действовали. Он возобновлял атаки. Не участвуя в этом неравном поединке политика-историка с безжалостной логикой истории, я увидел всю глубину веры П. Н. Милюкова в свою правду и всю напряженность его воли. Один довод П. Н. Милюкова был неопровержим: вопрос о судьбе России должен быть разрешен тем человеком, которому судьба вручила верховную власть империи; великий князь Михаил имеет право и должен выслушать мнение и большинства и меньшинства, должен принять решение в своей собственной совести. Было решено: утром, на свидании с великим князем Михаилом

Александровичем, предоставить П. Н. Милокову и возвращавшимся из Пскова А. И. Гучкову и В. В. Шульгину полную и неограниченную свободу убѣждать брата царя принять престол.

Утром 3-го марта, послѣ безсонной ночи, мы всѣ собрались на Милліонной 12, в квартирѣ друзей великаго князя, гдѣ он останавливался, приѣзжая из Гатчины. Князь вышел к нам, явно тожъ не спавшій всю ночь, нервный, возбужденный, тревожный. А. И. Гучков с В. В. Шульгиным все никак не могли доѣхать до Петербурга — пришлось начать официальную бесѣду без них. По нашему постановленію от большинства членов Временнаго Правительства и членов Комитета Государственной Думы говорил князь Г. Е. Львов и М. В. Родзянко. Они говорили недолго, смысл их обращенія был в том, что, в виду всѣм ясной обстановки, в предстврашеніе острых столкновеній в странѣ и в арміи, вопрос о принятіи престола нужно отложить до Учредительнаго Собранія. Великій князь слушал Родзянку и Львова довольно спокойно.

Но вот заговорил П. Н. Милоков. Мучительная ночь никак не отразилась на его физических и умственных силах. Не было такого историческаго, политическаго, психологическаго довода, котораго бы он не упомянул в своей длинной рѣчи. Великій князь потерял свое спокойствіе — он явно нервничал, мучился, дѣлал какіе то судорожные жесты руками. Иногда казалось, что он вскочит и скажет — «довольно!» Но П. Н. Милоков с внѣшней мягкостью терпѣливаго учителя и выдержанной почтительностью мудраго царедворца, с жестокой беспощадностью доказывал князю его долг перед Россіей и династіей, который он должен выполнить, несмотря ни на какой риск и ни на какія жертвы.

Для всѣх присутствующих эта сцена становилась все болѣе мучительной. Наконец, приѣхал А. И. Гучков и В. В. Шульгин, блѣдные, взволнованные, странно молчаливые. А. И. Гучков сказал только нѣсколько слов о том, что он всецѣло присоединяется к мнѣнію П. Н. Милокова, а В. В. Шульгин, насколько помню, просто промолчал. Послѣ слов А. И. Гучкова наступило тяжкое молчаніе...

Заговорил великій князь. Он «просил разрѣшенія» у М. В. Родзянко посоветоваться с двумя лицами из нашего состава наединѣ, в сосѣдней комнатѣ. М. В. Родзянко нѣсколько растерялся от этого неожиданнаго обращенія, так как накануне

мы рѣшили говорить с великим князем всѣ вмѣстѣ. Родзянко начал об этом говорить великому князю, но мнѣ показалось совершенно невозможным хоть как-нибудь помѣшательному рѣшенію брата царя. Вѣдь, дѣйствительно, судьба Россіи стояла в эту минуту на картѣ. Я вмѣшался. Князь мог выбрать двух из нас для послѣдняго совѣта. Кого он выберет? П. Н. Милюкова и А. И. Гучкова или других?

Великій князь просил выйти с ним в сосѣднюю комнату М. В. Родзянко и князя Г. Е. Львова. Вопрос о монархіи был рѣшен. Но П. Н. Милюков «выполнил свой долг до конца». Он уходил из дома № 12 на Милліонной послѣдним героическим и трагическим защитником монархіи, которой уже не существовало и для возстановленія которой не было никаких других сил, кромѣ страстной воли его самого.

Прошли года... Года попыток возстановить имперію по старому думскому плану. Надежды на бѣлых генералов, на союзников, разочарованіе и в генералах с их «классовым окруженіем», и в союзниках, и в творческих силах старых буржуазных средних классов.

Краткій миг участія во Временном Правительствѣ Февраля был только дурным сном в жизни П. Н. Милюкова. Тот Милюков, котораго я знал в Четвертой Думѣ и который таким пришел в революцію, не мог не оказаться в ней в страстной и дѣйственной оппозиціи. Всѣ мысли его, вся воля были сосредоточены на скорѣйшем возвращеніи Россіи на ея традиціонный историческій путь. То, что было послѣдней препоной на пути к разгрому и Ленину, ему казалось только досадной помѣхой на пути к возстановленію національной, мощной, монархической Россіи. Генералы Корнилов, Алексѣев, Деникин, адмирал Колчак должны были сохранить національное знамя на русской землѣ до побѣды союзников. Памятуя о жертвах Россіи для этой побѣды, союзники придут на помощь національной Россіи, вернут ей расхищенное достояніе и примут в свою среду, как равную.

Так думал П. Н. Милюков, выѣзжая с территории Добровольческой Арміи для переговоров с Парижем и Лондоном. И здѣсь его ждал жестокой удар. «Германія была побѣждена, — пишет об этом времени П. Н. Милюков в «Россіи на переломѣ». — Брест-Литовскій договор, унижительный для Россіи, был отмѣнен. Можно себѣ представить крайнее изумленіе и смущеніе русскаго общественнаго мнѣнія, когда оно, послѣ

напряженных ожиданий, начало понимать, что ослабление России есть цѣль не только наших врагов, но и наших друзей, и что самоопредѣленіе національностей в дѣйствительности превратилось в расчлененіе России, которое будет закрѣплено условіями мирнаго договора, а договор будет заключен в отсутствіе России».

Ушел весь тот мір — и внутри и внѣ России, в котором жил, строил и боролся Милюков-политик три четверти своей жизни. Но за завѣсой большевистской диктатуры осталась Россия.

Осталась страстная любовь Милюкова к России, во всем ея величій и убожествѣ, во всѣх ея достиженіях и паденіях. Любовь к странѣ с міровым будущим, которая уже переживала в своей исторіи страшныя катастрофическія паденія и вновь вставала в новом видѣ, в новых формах, с новой силой и с новым блеском. П. Н. Милюков послѣдних лѣтъ был новым человеком в политическом своем образѣ: человеком, преодолевшим самого себя и почувствовавшим в самой глубинѣ своего сознанія, что революціонный взрыв 1917 года не оказался взрывом России, что новыя поколѣнія русских людей, пришедшія с низов народа, преодолевая всѣ соблазны коммунистической идеологій, возвращаются на пути исторіи, способныя крѣпить и защищать Россию не хуже тѣх поколѣній, на смѣну которым они пришли.

А опыт первой міровой войны показал П. Н. Милюкову, как и многим из нас, что в борьбѣ за принадлежащее ей мѣсто под солнцем Россия должна рассчитывать только на себя.

Вся тактика П. Н. Милюкова с начала этой войны была продиктована ему его горьким опытом политика и историка: Россия — географическій стержень исторіи — должна существовать в мощи и силѣ, кто бы и как бы ею ни правил.

Отсюда его всѣм нам завѣщаніе: быть на сторожевой службѣ России — как бы она ни называлась — беззавѣтно, безропотно и до послѣдняго вздоха. **А. Керенскій.**

ПАМЯТИ П. Н. МИЛЮКОВА

Биографія Павла Николаевича Милюкова, как государственнаго дѣятеля, совершенно необычна. Он прожил восемьдесят четыре года и из них у власти был всего около двух мѣсяцев. Между тѣм, он именно для власти был создан.

Ллойд-Джордж как-то сказал, что у хорошаго государственнаго человѣка должны быть три качества, из которых два первыя: воля и мужество. Едва ли кто может отрицать, что Павел Николаевич был человѣком огромной воли и совершеннаго безстрашія. Покойный Іосиф Владимірович Гессен, знавшій Милюкова много десятилѣтій, в послѣднія десятилѣтія с ним расходившійся и почти не встрѣчавшійся, еще недавно здѣсь, в Нью-Йоркѣ, сказал мнѣ, что Милюкову чувство страха вообще от природы не дано и незнакомо: — «Он просто не знает, что это такое».

Замѣчаніе Гессена, думаю, было совершенно вѣрно. В 1917 году, в разгар революціи, я слышал Павла Николаевича на митингѣ в зданіи цирка Модерн. Публика, заполнившая зданіе цирка, на три четверти состояла из солдат Петербургскаго гарнизона. Настроеніе в циркѣ было чрезвычайно бурное и даже грозное. Ярость толпы вызвало уже одно то, что «Милюков-Дарданельскій» с м ѣ т появиться на митингѣ. Он дѣйствительно п о с м ѣ л. Павел Николаевич появился на трибунѣ в назначенное время без всякой охраны, — да и какая могла тут быть охрана? Его встрѣтили бѣшенным свистом. Милюков отнесся к этому совершенно хладнокровно, немного подождя и начал свою рѣчь. Ничего не смягчая, нисколько не заботясь об аудиторіи, П. Н. доказывал, что Россіи нужны Константинополь и проливы. Он говорил так, как мог бы говорить на засѣданіи своей партіи. Его прерывали криками, гулом, воем. Его могли тут же убить: «продался капиталистам!»... Ничего не случилось, но я без преувеличенія утверждаю: в этот вечер жизнь Павла Николаевича висѣла на волоскѣ. Добавлю, что появляться в циркѣ Модерн ему было совершенно ненужно: едва ли он убѣдил хоть одного человѣка из четырех тысяч. Конечно, он думал, что рисковать жизнью в тѣ дни было его профессиональным долгом.

Ллойд-Джордж требует от государственнаго человѣка еще третьяго свойства: это ораторскій талант. Милюков был оратор исключительной силы. Он всегда говорил ровно, спокойно и не повышал голоса даже тогда, когда апоплексически краснѣл. Такая манера рѣчи не в обычаѣ у русских или французских политических ораторов. Но так говорят извѣстнѣйшіе ораторы англійскіе. Павел Николаевич, к счастью, не любил ораторских образов и метафор и, если не ошибаюсь, никогда ими не пользовался. Образы и метафоры даже таких прославленных ораторов, как Родичев, Вивіани, Вандервельде, порою

бывали с литературной точки зрѣнія нестерпимы. Милюкова же можно было слушать часами с наслажденіем. Его рѣчи состояли из аргументов и только из аргументов. Он точно доказывал теорему, не забывая ни одного довода в цѣпи доказательств, не забывая их послѣдовательности, никогда не отвлекаясь в сторону. Вмѣстѣ с тѣм, его чисто-московская рѣчь была всегда безупречно правильна, у него и простыя обмолвки попадались очень рѣдко. Особенно хорош он бывал в дебатах, когда отвѣчал оппоненту или оппонентам. Основную рѣчь можно дома подготовить, но отвѣчать противникам необходимо экспромптом. И отвѣтныя рѣчи Павла Николаевича часто бывали настоящими шедеврами по стройности и находчивости діалектики, по неотразимой логической силѣ. Что и говорить, организациія умственного аппарата у него была необыкновенная.

Есть и такія качества, которых Ллойд-Джордж от государственнаго дѣятеля не требует. Что сказать о работоспособности Милюкова? Она приводила в недоумѣніе друзей и врагов. Кстати, приемы работы у него были особые, мнѣ не вполне ясны. Большого порядка в его кабинетѣ я никогда не замѣчал. Письменный стол П. Н-ча бывал неизмѣнно так завален книгами, газетами, бумагами, что на нем и писать было крайне трудно. Как он разбирался в своих безконечных папках, книжках, тетрадках? Посѣщая разные доклады, Милюков тут же записывал, — кажется, очень подробно — рѣчи докладчика и оппонентов, даже в тѣх случаях, когда онѣ никому не могли быть интересны. Всѣ записи он у себя сохранял (что нетрудно) и умѣл в нужную минуту находить (что гораздо труднѣе). Помню, в Парижѣ устраивалось чествованіе Н. В. Чайковскаго по случаю его 75-лѣтія. Н. Д. Авксентьеву и мнѣ было поручено просить Павла Николаевича выступить с небольшой рѣчью. Он тотчас дал согласіе. — «Одно только», — сказал он, — «не знаю, какою бы избрать тему? Развѣ вот что: я когда-то слышал в Лондонѣ доклад, который Николай Васильевич читал в... году»... Не сохранил точно в памяти, какой именно год назвал Милюков, но это был очень, очень давній год, год девятнадцатаго столѣтія. — «Неужели Вы помните, что тогда Н. В. говорил!» — «Да въдь это у меня записано, я могу найти», — отвѣтил Павел Николаевич. Мы только развели руками: со времени доклада Чайковскаго прошли десятилѣтія, и какія десятилѣтія! Были революція, эвакуациія, эмиграція. Уѣзжая в 1917-18 году из

Петербурга, из Кіева, из Одессы, Милюков всюду возил с собой сотни чужих докладов, — и теперь, в Парижѣ, у него хранилась запись доклада, прочтеннаго 30-40 лѣтъ тому назад, и он мог ее найти на полках своей огромной библіотеки!

Эта библіотека (тысяч двѣнадцать томов) была им составлена в Парижѣ. Он покупал книги по случаю, ходил по набережным Сены, вѣрил, что там у букинистов бывают цѣннѣйшія находки — и дѣйствительно раза два в жизни цѣннѣйшія находки дѣлал. По счету это была, если не ошибаюсь, третья библіотека в жизни Милюкова. Захватив Париж, нѣмцы вывезли ее в Германію. Павел Николаевич немедленно приступил в Монпелье к созданію четвертой библіотеки. Мнѣ писали, что он и там посѣщал букинистов, тратил деньги, которых становилось все меньше, на покупку греческих и латинских классиков (разумѣется, в подлинниках) и на девятом десяткѣ лѣтъ жизни необычайно радовался покупкам, особенно тому, что заполнялись пробѣлы в его парижской библіотекѣ, которую П. Н. надѣялся снова увидѣть послѣ побѣды над Германіей.

Был он, в полное отличіе от Ллойд-Джорджа, человѣком колоссальной энциклопедической учености. Достаточно извѣстно, чѣм ему обязана русская историческая наука. В политической области он, кажется, знал рѣшительно все: здѣсь Милюков мог в любое время замѣнить не одного эксперта, особенно по дѣлам внѣшней политики. Его первая жена Анна Сергѣевна рассказывала, что в пору работы Павла Николаевича в Государственной Думѣ он у себя дома ежедневно получал и прочитывал, или по крайней мѣрѣ просматривал, газеты на т р и н а д ц а т и языках! Двадцать пять лѣтъ тому назад, в 1918 году, мнѣ случилось быть с ним в Константинополѣ. В этом многоязычном городѣ Павел Николаевич был тогда не только фактическим руководителем делегаціи русских общественных организаций, отправлявшейся в Париж и в Лондон, но и ея незамѣнимым переводчиком. Он разговаривал по-турецки с престарѣлым великим визирем, говорил с иностранными журналистами на языкѣ каждаго из них, объяснялся по-болгарски и, помнится, также по новогречески с лодочниками на Золотом Рогѣ. Однажды я утром зашел к нему по дѣлу в его номер в гостинницѣ Токатліана и застал его, разумѣется, за работой. Перед ним лежали учебники: он с ранняго утра упражнялся в переводах с русскаго языка на турецкій! — «Вижу, что стал забывать турецкій язык, хочу освѣжить его

в памяти», — объяснил он. В западной Европѣ государственнѣй дѣятель, прилично знающій хотя бы один французскій языкъ в дополненіе к своему родному, может в настоящее время считаться рѣдкостью; а о лордѣ Холденѣ, который знал еще и по нѣмецки, в Англии говорили почти как о чудѣ.

И еще одно бесполезное свойство, в котором и из врагов никто не откажет Павлу Николаевичу: это его абсолютная честность, безкорыстіе, неподкупность. Вспоминаю забавное опредѣленіе понятія «честнаго политическаго дѣятеля», данное лѣтъ сто тому назад одним циником: «Честный политическій дѣятель это тот, кто, получив деньги, вѣрно и добросовѣстно служит людям, которые его подкупили». Но, разумѣется, я тут говорю не о вульгарной продажности: к счастью, ея в русской политической жизни вообще почти не было. Я говорю даже и не о том, что за Павлом Николаевичем никогда не было и не могло быть косвенных закулисных вліяній каких бы то ни было финансовых или промышленных групп. Когда Павел Николаевич говорил рѣчь в Государственной Думѣ или писал передовую статью в «Рѣчи», никому во всяком случаѣ не приходило в голову сомнѣваться в одном фактѣ: Милюков говорит и пишет то, что думает о н, Милюков, а не то, в чем так или иначе заинтересована та или иная финансовая, промышленная или еще какая-либо группа. Можно сказать, что это само собой разумѣется, что тут и заслуги никакой нѣтъ. Сошлюсь однако на нѣкоторые ученые труды, специально посвященные вопросу о косвенных денежных вліяніях на политических дѣятелей и в демократических, и в тоталитарных странах. Продажность? О, нѣтъ! Гораздо благозвучнѣе: «Косвенныя денежныя вліянія». С этими косвенными вліяніями в западной Европѣ должны были считаться и лично-честные неподкупные люди. Вспомним нашумѣвшее слово Эдуарда Эррио: «le mur d'argent!» Павел Николаевич ни с какими «серебряными стѣнами» не считался и даже не интересовался ими. И точно так же невозможно было его соблазнить министерскими портфелями. Ему вѣдь предлагали власть задолго до февральской революціи. Он поставил условія, оказавшіяся неприемлемыми. В торг он и не вступал: без принятія его условій власть его не интересовала.

Это сочетаніе свойств силы воли, таланта оратора и публициста, безстрашія, учености и безкорыстія, при большом душевном благородствѣ, нельзя даже назвать рѣдким: оно совершенно исключительно. Без преувеличенія можно сказать, что его не было у громаднаго большинства западно-европей-

ских государственных дѣятелей двадцатаго столѣтія. Еслибы с сочетаніем всѣх этих свойств Павел Николаевич родился англичанином, — он был бы премьером в теченіе десятилѣтій, и, быть может, лучшаго премьера для Англіи нельзя было бы себѣ представить. Однако гадательныя біографическія сужденія, начинающіяся со слова «еслибы», и совершенно бесполезны, и ничего, кромѣ горечи, не оставляют. Жизнь, дѣло, личность Павла Николаевича Милюкова достаточно значительны и без этого слова. Он был необыкновенный, большой, очень большой человек. Быть может, такіе люди, как он, еще кое-гдѣ изрѣдка встрѣчаются. Но думаю, что скоро их больше не будет нигдѣ, так как навсегда безвозвратно ушла та среда и тот дух, которые могли их породить.

М. Алданов.

ПАМЯТИ Н. Д. АВКСЕНТЬЕВА

Н. Д. Авксентьев принадлежит исторіи русскаго общественнаго движенія, и о нем как о политическом дѣятелѣ уже писали и будут писать авторы болѣе меня компетентные. Цѣль этихъ немногихъ строкъ иная: отдать дань любви и благодарности прекрасному человѣку, смерть котораго для многихъ изъ насъ была большой личной потерей.

За послѣднее время русская эмиграція понесла нѣсколько тяжелыхъ утрат. Но с Николаемъ Дмитріевичемъ у насъ, редакціи и сотрудниковъ «Новаго Журнала», были особо тѣсныя личныя связи. Еще такъ недавно онъ былъ среди насъ, казалось полный жизненныхъ силъ и творческихъ возможностей. Еще такъ недавно тѣ изъ насъ, кто имѣли счастье быть его друзьями, могли испытывать непосредственное обаяніе его личности, могли находить поддержку в его неизмѣнной добротѣ, в его убѣжденности связанной с терпимостью, в высокой настроенности его мысли такъ своеобразно уживавшейся в немъ с заразительнымъ чувствомъ юмора.

Не случайно, что в первой же книжкѣ «Новаго Журнала» появилась его статья — статья, написанная однимъ из основателей и бывшимъ редакторомъ «Современныхъ Записокъ», дѣло которыхъ наше изданіе стремится продолжать на новой почвѣ и в новыхъ условіяхъ. Не случайно, что эта статья была посвящена судьбѣ Россіи, той Россіи, которой принадлежали его лучшія чувства, о которой онъ никогда не переставалъ думать, к которой онъ никогда не переставалъ стремиться.

И, конечно, не случайно, что в тотъ короткій срокъ американской его жизни, который такъ скупой былъ отпущенъ ему судьбой, Н. Д. посвятилъ себя работѣ, главнымъ образомъ, в двухъ областяхъ: в дѣлѣ помощи русскимъ литераторамъ и ученымъ и в дѣлѣ поддержанія русской культурной традиціи. Сюда влекли Николая Дмитріевича основныя побужденія всей его дѣятельности. Онъ былъ демократомъ и социалистомъ, но в его демократизмѣ и в его социализмѣ не было ни малѣйшей доли сектант-

ства или догматизма. И тот и другой выросли на почвѣ широкаго подлиннаго гуманизма. В его ощущеніи суббота всегда была для человѣка, и никогда — человѣкъ для субботы.

О смерти близкаго человѣка говорить или писать всегда трудно. Труднѣе всего избѣжать затасканных банальных слов. Но бывают случаи, когда банальных слов бояться не надо. Если эти слова точно выражают существо человѣка, к которому они примѣняются, то они начинают жить новой жизнью и могут обрѣсти свою первоначальную свѣжесть. Такими мнѣ кажутся слова «Свѣтлый образ» в примѣненіи к Н. Д. Авксентьеву. Сейчас, когда я думаю о нем, весь его внѣшній облик и вся его духовная сущность, его неизмѣнная любовь к жизни и к людям, чистота его побужденій, благородство его высказываній, характер его жизненнаго дѣла — сливаются для меня в один воистину свѣтлый образ.

И именно таким он останется жить в нашей памяти.

М. Карпович.

Н. Д. АВКСЕНТЬЕВ В МОЛОДОСТИ

И. С. Тургенев когда то взволновал воображеніе русской читающей публики статьей «Гамлет и Дон-Кихот». То были для него не только всемірные типы, но и как бы два полюса духовной жизни вообще; а потому с этой точки зрѣнія и наша, русская интеллигенція в главном и основном дѣлилась для него на Гамлетов и Дон-Кихотов. Себя самага, со своей мягкой, спокойной натурой, в благоразумном резонированіи гасящей волю к дѣйствию, — он явно подводил под Гамлета; а друга своей академической юности Бакунина — под Дон-Кихота. Но Бакунин никогда не был испытаным аскетом, он не только любил жизнь, но и был жаден к жизни, и во многом был полною антитезою рыцаря из Ла-Манчи. Но дон-Кихотовскій элемент в нем все же был, тогда как гамлетизма не было ни капли.

О гамлетизмѣ в натурѣ покойнаго Н. Д. Авксентьева говорить не приходится. Но если отличительной чертой дон-Кихота считать фанатизм, то и ему натура Н. Д. была совершенно чужда. Он хотѣл быть реальным политиком, эластичным и

гибким. И если ему импонировало возвышенное направление души дон-Кихота, то он желал бы вооружить его, кромѣ меча и лат, еще здравым практическим смыслом, присущим антитезѣ дон-Кихота — Санчо Панса.

И все же и к нему примѣнными мысли Тургенева о Гамлетѣ и дон-Кихотѣ. Извѣстная доля «дон-Кихотства» была во всѣх лучших представителях его поколѣнія. Романы Тургенева пестрят изображеніями російских Гамлетов: старая дворянско-интеллигентская Русь давала их в изобилии; чтобы дать образ современнаго дон-Кихота, он должен был прибѣгнуть к болгарину Инсарову. Но эпоха, в которую пришлось жить нашему поколѣнію — эпоха великих канунов, міровых войн и революцій — пред'являла спрос именно на дон-Кихотов. Приходилось влѣзть в его латы всѣм, кто не хотѣл убѣгать от исторіи, а к послѣдним не принадлежал Н. Д. Авксентьев.

Когда я встрѣтил впервые Авксентьева, свыше 40 лѣтъ тому назад, он был совсѣм еще молодым человѣком, с золотистым пушком юности на щеках, с русой шевелюрой, откинутой назад и открывавшей благородныя линіи высокаго лба. Он и его друзья были недавно исключены из русских университетов и пріѣхали учиться в Германію. Всѣм памятен тѣ настроенія, с которыми студенты того времени переступали университетскій порог. Так, вѣрно, чувствовали себя перед посвященіем в рыцарское званіе юные пажи. Но «Прекрасной Дамой» наших юношей была Свобода. Свободная наука и академическая свобода. Эта послѣдняя была лозунгом студенческих беспорядков и забастовок, волной прокатившихся по русским университетам в 1899 году. Н. Д. был предсѣдателем «Союзаго Совѣта об'единенных землячеств», проводившаго забастовку в Москвѣ. Он руководил работой Союза, предсѣдательствовал на многотысячных студенческих митингах, и стал уже тогда (ему не было 20 лѣтъ) знаменитостью. Это повело к его исключенію из университета «без права обратнаго поступленія».

Но не клином же сошелся бѣлый свѣтъ на русских капищах казеннаго знанія. Есть сосѣдняя Германія, в конституціи которой горят золотыми буквами слова: «Наука и ея ученіе свободны». Была уже однажды у молодой интеллигенціи російской — тогда еще почти сплошь дворянской, — пора, когда весь умственный цвѣтъ ея устремлялся туда, чтобы «в Германіи туманной» упиваться глубоким и загадочно-темным краснорѣчіем Шеллинга и Гегеля, и возвращаться домой если не с «ду-

шею прямо геттингенской», то с богато уснащенной гегельянскими абстракціями «восторженной рѣчью», и восторженной мыслью о Прекрасной Дамѣ того времени — Вѣчной Идеѣ, во всем историческом процесѣ жизни человѣчества лишь «приходящей к своему самосознанію». Считать ли апогеем этого самосознанія Вѣчной Идеи наличную государственность, прусскую там, русскую здѣсь? Или же видѣть в них — только трагическій канун этого самосознанія, движущагося путем противорѣчій, отрицаній, отрицаній отрицанія, — словом путем революціонных катаклизмов? Об этом цѣлыми ночами спорили Герцен с Бѣлинским, Бѣлинскій с Грановским, Грановскій с Катковым, одни болѣзненно переживая, другіе — отвергая переход от Гегеля к Фейербаху, от каноническаго гегельянства к лѣвому младо-гегельянству, — в концѣ котораго уже вырисовывались фигуры бойца за «Единаго и его Достояніе» Макса Штирнера, апостола Справедливости и Анархіи Прудона, странствующаго рыцаря освобожденія угнетенных народностей Бакунина и его строгаго судьи, Маркса.

Исторія повторяется. На рубежѣ двух столѣтій в швейцарскіе и германскіе университеты нахлынули опять толпы юношей необычнаго для аборигенов вида — без корпорантских шапочек, без шрамов от рапир поперек лица; упивавшихся не пивом, а лекціями по философіи и морали; проводивших бурныя ночи не в удалствѣ буршикозных выходок, а в страстных преніях о заповѣди новаго времени, величественном Категорическом Императивѣ. Ибо на сей раз властителями душ вмѣсто Гегеля и младогегельянцев были Кант и нео-кантіанство. Философская романтика эпохи, вся в тонкой кружевной ткани великолѣпных абстракцій, затягивала молодые умы и овладѣвала ими. В «Прелюдіях» Виндельбанда для них горѣлъ «свѣтъ Вѣчности, свѣтящій не в Познаніи, а в «Совѣсти» — своего рода “*Lumen coeli, sancta rosa*” исторической эпопеи человѣчества. И кто же эта *sancta rosa*, если не кантовская — сокровенная, как вещь в себѣ — «разумно-волевая природа человѣка», с ея центральным свѣтилом «Самосознаніем, как Волей» Алоиза Рилля? Не в ней ли можно открывать и открывать абсолютныя моральныя цѣнности, «как новыя звѣзды в небѣ»? А развертываемая Когеном во всей ее чистотѣ и непорочности «Этика Чистой Воли»? Неокантіанство открывало неопиту «высшее, чѣм обладает человѣкъ — его человѣческое достоинство»: оно, и только оно из человѣка — животнаго существа

дѣлало человѣка-рыцаря, подобнаго новому универсальному человѣку эпохи Возрожденія. Оно возвѣщало пришествіе второй эпохи Возрожденія — нашей эпохи. Коллективный герой этой эпохи — «свободный союз равных людей-творцов», сплотившихся для «Творчества Культуры» (заглавіе лучшей философской статьи манифеста Н. Д. Авксентьева). — Конечно, культуры духовной, по отношенію к которой матеріальная культура, народное хозяйство, государственность, національная подоплека — только прочный мраморный пьедестал, а не самостоятельная, «самосвѣтящаяся» цѣнность. Авксентьев и его друзья говорили и о социализмѣ, как о грядущем охватѣ всего человѣчества этим свободным «союзом равных людей-творцов»; в настоящем — мысли их обращались к тому прообразу социализма, которым должна стать, до котораго должна возвыситься дѣйствующая во имя его партія. Или, как выражается в своих воспоминаніях об этой порѣ Зензинов: «работая в Галле у философа Алоиза Рия, мы сдѣлались на всю жизнь убѣжденными неокантіанцами его школы... Нам казалось, что общественная философія народничества может быть обоснована только на неокантіанствѣ, нормативной этикѣ и категорическом императивѣ...».

Какого же еще болѣе адекватнаго міросозерцанія желать дон-Кихоту новаго времени, без средневѣковых лат, но в непробиваемой бронѣ философски-обоснованнаго міросозерцанія?

**
*

Как раз в это время в просторах Россіи политически-дѣйственное народничество сплотилось в об'единенную партію социалистов-революціонеров. Вѣсть об этом привез за границу, вмѣстѣ с призывом так же сплотиться для служенія общему дѣлу — Г. А. Гершуни. По его мысли и инициативѣ был налажен заграничный идейный центр, в руки котораго был передан начатый там, на родинѣ, печатный орган «Революціонная Россія». В его ряды встал и я в качествѣ «Веніамина партіи», в роли как бы младшаго брата замѣчательнаго человѣка того времени, Михаила Рафаиловича Гоца.

Одним из первых, данных мнѣ отвѣтственных порученій был об'ѣзд русских студенческих колоній Швейцаріи и Германіи — производить набор единомышленников и сочувствующих. Здѣсь у меня было много счастливых «находок», — видное мѣсто среди них занимал Н. Д. Авксентьев с друзьями.

Всѣ «командныя высоты» в студенческих колоніях были заняты тогда русскою социал-демократіей. У нас не могло быть и мысли о ея вытѣсненіи — мы искали мѣста рядом с ней, в союзѣ с ней и в дополненіе к ней. Гершуни еще в Россіи свойственным ему романтическим стилем писал: «лѣвую руку мы протягиваем социал-демократіи, ибо правая занята у нас мечем». Но господа положенія рѣдко встрѣчают гостепримством незваных пришельцев. Всей органичности зарожденія с.-р. партіи, всей глубочайшей ея почвенности они тогда — нечего скрывать — не разглядѣли. Русское крестьянство, русская деревня незадолго перед тѣм были сброшены ими со своих счетов — они казались без нужды отягощающим энергію городского пролетарскаго движенія балластом. Нас приняли «в штывки», твердо рассчитывая покончить с нами в порядкѣ всеокрушающаго полемическаго «блицкрига». В итогѣ вся молодежь оказалась скоро раздѣленной на два лагеря, хотя и неравных, но тративших огромную часть своих сил в драматически безысходном поединкѣ. Взаимныя отношенія все дальше отходили от тѣх, которыя приличествовали бы «свободному союзу равных людей-творцов». Симпатіи немалого числа чутких и вдумчивых душ в это время невольно обращались к нам. Надо ли спрашивать, на чью сторону стал Н. Д. Авксентьев с товарищами?

Лишь незадолго перед тѣм Авксентьев перешагнул порог совершеннолѣтія. Но он производил впечатлѣніе челоуѣка, который уже вполне «обрѣл самаго себя», и очень ревниво относится к своей идейной самостоятельности. В своем кружкѣ он лидерствовал и имѣл вкус к лидерству, не без примѣси даже извѣстной персональной властности. Отличался жизнерадостностью, вполне не покидавшей его потом и в самых тяжелых сѣро-прозаических обстоятельствах. Держался сдержанно, тактично, с достоинством и сразу дал понять, что он и его друзья — согласно позднѣйшему выраженію одного из них — «под эсеровскую политическую программу и народническую философію хотя бы подвести не столько Лаврова-Михайловскаго, сколько Канта и Ріля». Эти имена можно было дополнить именем Ницше, чья философская поэзія легко овладѣвала воображеніем юных дон-Кихотов из Пензы и Твери. Их успокоило то, что новая партія так же четко отдѣляла политическую партію от общефилософскаго міросозерцанія, как когда то была отдѣлена церковь от государства. Каждый был волен обосновать свое присоединеніе к ней материали-

стически или идеалистически, марксистски или антимарксистски, религиозно, или антирелигиозно. Авксентьев принес с собою в ея ряды только что опубликованное им первое исповѣданіе своего философскаго кредо в книжкѣ о «Сверхчеловѣкѣ». Но что же такое, в концѣ концов, сверхчеловѣк, как не человѣк, переросшій в рыцаря? Не удивила меня впослѣдствіи и вѣсть о раннем вступленіи Авксентьева в ряды масонства. Гдѣ же, как не в нем, сохраняется понынѣ ритуал торжественных посвященій, обѣтов, символических знаков, орденских рангов — словом, весь реквизит эпохи мистерій и рыцарской романтики.

**
**

Здѣсь нѣтъ мѣста даже для краткой біографіи Авксентьева. Я даю лишь бѣглые штрихи к характеристикѣ самаго интереснаго в его политической личности, как я ее воспринимал и воспринимаю. Первые шпоры свои в партіи он с блеском заслужил в той банкетно-митинговой кампаніи 1905 года, план которой созрѣл в нѣдрах знаменитаго «парижскаго совѣщанія», гдѣ Натансон, Рубанович и пишущій эти строки сошлись с П. Б. Струве, кн. Долгоруким, Богучарским и П. Н. Милуковым, гдѣ Пилсудскій очутился за одним «круглым столом» с Дмовским, гдѣ, храня свою легальность, устами Конни Циллиакуса говорил из-за кулис отец финскаго конституціонализма Свинхувуд; гдѣ собирался быть — но из-за рѣзкаго несогласія ленинской группы не был Г. В. Плеханов. Тѣ, что в моем лицѣ впослѣдствіи не раз встрѣчали сурового критика многих коалиціонных комбинацій (тогда как Авксентьев всегда бывал их адептом), потом не без удивленія отмѣчали, что я был в числѣ инициативных участников конференціи, давшей русскому движенію первый и самый сильный толчок как раз в «коалиціонном» направленіи. Но я от несенія отвѣтственности за него никогда не уклонялся, и в свое время со спокойной совѣстью перенес за то безконечное множество нападок.

Наша точка зрѣнія была такова. Пока основой государственнаго строя Россіи не стало народовластіе на базѣ всеобщаго избирательнаго права, — преступно разобщать, преступно оставлять в сторонѣ хоть одну из тѣх политических сил, для которых народовластіе — необходимое предварительное условіе их нормальной жизнедѣятельности. Чтобы осуществить это предварительное условіе, всѣ онѣ должны стать в единый фронт. Другое дѣло — на второй день послѣ его осуществленія. Тогда в порядкѣ дня будет стоять другой

вопрос: какія именно соціальныя достиженія можно и должно реализовать чрез сообща завоеванное народовластіе. По этому признаку произойдет радикальная перегруппировка всѣх сил, и пути вчерашних попутчиков могут разойтись рѣзко и надолго.

И дѣйствительно, впоследствии не в одной лишь партіи с.-р., но и рѣшительно во всѣх партіях возникли не малыя разногласія — конечно, не по вопросу о голом принципѣ коалиціи — что было бы нелѣпо — но о том, — когда, с кѣм, для чего, на каких условіях и в каких размѣрах («широкая» или «узкая») коалиція желательна и возможна; конечно, в том случаѣ, если на лицо есть обладающіе «коалиціонной способностью» и коалиціонной готовностью элементы. Сюда надо прибавить еще одну трудность — когда надо сдѣлать выбор между обычно несомѣстимыми «коалиціей вправо» и «коалиціей влѣво».

Завязавшаяся у меня с Авксентьевым тѣсная и крѣпкая дружба относится к періоду до переломнаго пункта в постановкѣ всѣх этих вопросов. Втеченіе почти всей революціи 1905 года все шло у нас гладко. Все громадное значеніе «парижской конференціи» об'яснялось тѣм, что она смѣло и рѣшительно с н я л а всякое критическое разсмотрѣніе методов борьбы отдѣльных партій, не потому, что для него не было матеріала, а потому, что оно завело бы в безисходный тупик. Пусть каждая остается при своих методах, пусть одновременно и совокупностью дѣйствія будет доведена до максимума эффективность каждаго из них.

В процессѣ довольно удовлетворительнаго и дружнаго выполненія нашего плана мы одно время, казалось, вплотную подошли к побѣдѣ над властью. Она сильно потрясенная, к тому же, внѣшними пораженіями — под внутренним давленіем со всѣх сторон, вплоть до забастовок даже в стѣнах собственных министерств, дошла одно время до состоянія крайней растерянности, почти полной «абуліи» (утраты воли). В. В. Розанов впоследствии называл эти дни временем, «Когда начальство ушло...». В рядах нашего движенія началось «головокруженіе от успѣхов». Тщетно сохранившіе холодную голову и умственное самообладаніе (примѣчательно, что, несмотря на молодость Авксентьев принадлежал к их числу) пробовали «плыть против теченія». Тщетно доказывали они, что всеобщая стачка — есть оружіе, которое нельзя пускать в ход слишком часто без риска перенапрячь силы и надорваться; что безсиліе правительства — лишь безсиліе морально-психологическое, а

не физическое; что преждевременный штурм его позиций может только заставить его очнуться от выгодной нам летаргии и убѣдиться, что мы не так сильны, а оно не так слабо, как кажется; что нам выгоднѣе длить медленную «осаду власти», когда время работает на нас и наши скелетообразныя нелегальныя организациі обрастают тѣлом массоваго присоединенія; что, наконец, до весны слѣдующаго года нельзя ожидать присоединенія аграрнаго движенія, а без толщи крестьянства городской авангард может быть легко раздавлен; что, наконец, первыя крупныя неудачи могут разорвать все, с трудом достигнутое единство нашего фронта, и, раз'единив наши силы, привести к потерѣ всѣх наших достижений... Голос политическаго благоразумія оставался гласом вопіющаго в пустынь. Революціонное наступленіе быстро захлебнулось, пробовало выпутаться ставкой ва-банк — и сорвалось.

Партія, в рядах которой был Н. Д. Авксентьев, была осуждена на долгую и мучительную тактику арьергардных боев и максимальных потерь. И в момент наибольшаго ослабленія сил ее чуть не добила внутренняя драма, связанная с внезапным раскрытіем издавна гнѣздившейся в самом центрѣ ея провокаціи.

Авксентьев в разгарѣ событій был вырван из партійных рядов арестом, судом и ссылкой, счастливо бѣжал и был введен в ряды ея Центральнаго Комитета. И тут, и в позднѣйшей эмиграціи он мужественно выносил черные дни партійнаго упадка, всеобщаго разброда, разочарованія, массоваго отступничества. Но даром для него время это не прошло. С этих пор началось развитіе его скептицизма по отношенію к тому, что должно было бы — в качествѣ «свободнаго союза равных людей-творцов» — и расчистить почву для «творчества культуры», и приступить к самому этому творчеству. А параллельно с этим шла концентрація его мысли на идеѣ возможно болѣе широкой коалиціи: не была ли она на его глазах спутницей величайшаго историческаго под'ема, не совпал ли разрыв ея с поворотом к упадку?

Во второй, зрѣлой порѣ жизни Авксентьева, его «Прекрасной Дамой» становится идея, а затѣм и реальность «Коалиціи». Это была новая героиня его идейно-политических устремленій. Нося ея цвѣта, он ратовал в ея честь на безчисленных политических турнирах и выдержал безчисленное количество схваток.

Разсматривать их здѣсь не мѣсто и не время. Они относятся к ситуациі, совершенно своеобразной и неповторимой. Оставим ее исторіи и историкам.

Жизнь не раз обманула наше поколѣніе. Извѣдал удары ея и Н. Д. Быть может, самым красивым моментом его дѣятельности был тот, когда находясь в руках у противников, он отказался купить жизнь даже малѣйшей уступкою им.

Чистѣйшей случайностью, почти чудом было то, что его тюремщики в самый послѣдній момент не рѣшились превратиться в палачей.

...И в далеком от родины Парижѣ, а потом в еще болѣе дальнем Нью-Йоркѣ, пришлось ему замкнуться во вѣсѣм нам слишком хорошо извѣстном кругу жизни малаго радіуса — слишком узком, тѣсном и низком для его роста. И в этом микрокосмѣ пытался он служить тому же «творчеству культуры», до котораго «обманувшая жизнь» поскупилась допустить его во всероссійском макрокосмѣ.

Передают, что незадолго до смерти, увидѣвъ в зеркалѣ свое исхудавшее лицо, Николай Дмитриевич сказал своей женѣ: «Ты видала Дон-Кихота? Я — второй!»

Говорил ли он только о внѣшнем сходствѣ? Хотѣл-ли вложить в эти слова болѣе глубокой смысл, — кто знает? Но, кажется, как рыцарь Печальнаго Образа, полный горечи при зрѣлищѣ ужасной современности, гордым жестом негодующаго отвращенія он навсегда опустил забрало своего шлема.

Мы больше не увидим его лица. Забрало спущено.

Виктор Чернов.

С. В. РАХМАНИНОВ

В этой огромной потерѣ, понесенной русским и мировым искусством, есть развѣ одно утѣшеніе: жизнь Сергѣя Васильевича Рахманинова была счастливой, — поскольку может быть счастливой жизнь великаго артиста. Счастлив он был и в своей частной жизни, и в своей работѣ, в своем творчествѣ. Слава пришла к нему очень рано. Рахманинову не было двадцати лѣтъ, когда в тѣсном московском кругу заговорили о «новом Моцартѣ». Двадцати лѣтъ отроду он написал и свою знаменитую «Прелюдію». Кстати сказать, необычайный успѣх этого юношескаго произведенія, вот ужъ пятьдесят лѣтъ исполняемаго піанистами во всѣх частях свѣта, очень раздражал самаго Сергѣя Васильевича. — «Прелюдію» всѣ знают, «Колоколов» почти никто не знает», — говорил он сердито: сам он считал своим лучшим произведеніем «Колокола». Чайковскій один из первых отмѣтил громаднѣйшій талант молодого Рахманинова и в послѣдній год своей жизни говорил с ним почти как с равным. Сергѣй Васильевич в юности работал очень легко: оперу «Алеко» он написал в двѣ недѣли. Незадолго до своей кончины Чайковскій сказал ему: «Как вы много за это время написали! А я только одну вещицу!» (Эта вещица былъ «Патетическая Симфонія»). Рахманинов стал всероссійской знаменитостью тридцати лѣтъ отроду. Достаточно сказать, что А. П. Чехов просил и убѣждал именно его написать музыку на сюжет «Чернаго Монаха».

Позднѣе за всероссійской славой пришла слава мировая. «Со времен Листа я не слышал піаниста, равнаго Рахманинову», — сказал послѣ его кончины старый, извѣстнѣйшій музыкант. На этом сходятся всѣ: дѣйствительно играть лучше, чѣм Рахманинов, невозможно. В извѣстную же пору своей жизни он, как дирижер, был не менѣе знаменит, чѣм как піанист. Еще двадцать пять лѣтъ тому назад, лишь только С. В. в началѣ большевистской революціи покинул Россію, его

из Америки многократно по телеграфу просили стать руководителем Бостонского симфонического оркестра. Такія же предложенія он получал и позднѣе, и неизмѣнно их отклонял, хотъ не без колебания. Кажется, он тяготился дирижерской работой еще в оперѣ Мамонтова и в Большом Театрѣ: опасался, что эта работа убьет его как композитора.

Как композитор он имѣл в Европѣ и в Америкѣ успѣхъ менѣе шумный. Не всѣ его шедевры были оцѣнены по заслугам. Однако именно в послѣдніе годы (даже в послѣдніе мѣсяцы) в Соединенных Штатах, — говорят, и в Россіи — намѣчается «возвращеніе к Рахманинову». Надо надѣяться, время все поставит на свое мѣсто. Послѣ кончины Сергѣя Васильевича, в статьяхъ американскихъ газетъ больше, слава Богу, не говорилось ни о «подражаніи Чайковскому», ни об «устарѣломъ стилѣ», ни об «отсутствіи русской національной стихіи». Отсутствіе національной стихіи у Рахманинова вообще отмѣчали главнымъ образомъ иностранцы, очевидно глубже ее чувствующие, чѣмъ этотъ человѣкъ, родившійся в великорусской деревнѣ, выросшій в Москвѣ и вдобавокъ принадлежавшій к одной изъ старѣйшихъ русскихъ семей (Рахманиновы появляются в русской исторіи при Иванѣ III, с которымъ они, кажется, породнились). Какъ бы то ни было, лучшіе американскіе музыкальные критики теперь называютъ Рахманинова очень большимъ композиторомъ и говорятъ, что его твореніямъ предстоитъ долгое будущее. Признали его гениальнымъ человѣкомъ и совѣтскіе музыканты. Къ счастью, оказались и в современной русской культурѣ такія явленія, в восторженной оцѣнкѣ которыхъ сходимся мы всѣ, независимо отъ раздѣляющаго насъ географическаго рубежа.

Обо всемъ этомъ будутъ, конечно, писать на страницахъ «Новаго Журнала» болѣе компетентныя лица, чѣмъ авторъ этихъ строкъ. Мнѣ хотѣлось сейчасъ хоть весьма кратко, хоть нѣсколькими словами почтить память необыкновенно обаятельнаго и выдающагося ч е л о в ѣ к а.

Рахманинова породила среда очень старой музыкальной культуры. Многіе его предки были музыканты-любители. Его дѣдъ былъ однимъ изъ лучшихъ учениковъ Фильда и принадлежалъ к кружку, связанному с именами Одоевскаго и Вильгорскаго. Правда, родные Рахманинсы никогда не были профессиональными музыкантами. Отецъ Сергѣя Васильевича, гвардейскій офицеръ и страстный музыкантъ, говорилъ, что для дворянина музыка можетъ быть только увлеченіемъ, но никакъ не про-

фессией. Он собирался отдать сына в Пажескій корпус. Помогло разореніе семьи, в свое время богатой. Рахманинов стал «профессиональным музыкантом» — и своего рода, как извѣстно, не опозорил.

С ранних лѣтъ он попал и в другую среду: в ту, с которой связано самое лучшее и драгоцѣнное в новѣйшей исторіи Россіи. В старшем поколѣніи он знал лично Толстого, Чайковского, Римскаго-Корсакова, Антона Рубинштейна (котораго считал величайшим из всѣх піанистов). Его друзьями, пріятелями или, по крайней мѣрѣ, близкими знакомыми были Зилоти, Аренскій, Скрябин, Гречанинов, Брандуков, Чехов, Бунин, Шаляпин, Станиславскій, Давыдов, Сѣров, Коровин. Сергѣй Васильевич разсказывал рѣдко и, кажется, неохотно, он никак не был *causeur*'ом; но иногда разсказы его бывали очень цѣнны даже для «большой исторіи» русской культуры (помню когда-то меня поразившій и нигдѣ в печати не появлявшійся разсказ С. В-ча об его разговорѣ с Л. Н. Толстым), иногда просто очень забавны (напр., о свадьбѣ Шаляпина, на которой он, Рахманинов, в седьмом часу утра дирижировал импровизированным хором, состоявшим из множества знаменитостей).

Я знал его много лѣтъ, хотя и не близко. Встрѣчался с ним на Ривьерѣ, в Парижѣ, в его имѣніи Клэрфонтэн, в послѣдніе два года в Нью-Йоркѣ. Многие считали его холодным человѣком. Еще в молодости, когда он давал уроки музыки, Сергѣй Васильевич наводил страх на своих учеников и учениц каменным лицом и строгостью манер. Он дѣйствительно никак не был «душой на распашку» и к этому не стремился; но был он человѣком добрым, благожелательным и отзывчивым. Иногда бывал совершенно очарователен. Помню встрѣчу Новаго Года у его дочери Ирины Сергѣевны. Друзья и сверстники внучки Сергѣя Васильевича танцовали — под снисходительным взглядом Фокина, нынѣ тоже покойнаго. Сам Рахманинов исполнял обязанности тапера — и очень охотно, сіяя радостью, играл вальсы для молодежи, безпрекословно подчиняясь всѣм указаніям своей любимицы-внучки. Помню обѣд на Ривьерѣ, в Жюан-ле-Пен, лѣтъ семнадцать тому назад, — поистинѣ блестящій разсказ Сергѣя Васильевича о музыкальной и артистической Москвѣ, затѣм его спор с Буниным, бывшій для слушателей истинным наслажденіем. От характера С. В. Рахманинова у меня прежде всего остается впечатлѣніе совершенной порядочности, сдержанности и благородства. Сдер-

жанность, мѣра и благородство тона были особенностями и его гениальной игры, — недаром же его назвали «Пушкиным роля».

Он очень много читал и интересовался, кажется, всѣм в самых разных областях искусства. Любимым его писателем был Чехов, к которому он относился с благоговѣнием и как к человеку. Чехов — Рахманинов, — сочетание этих двух имен напрашивается само собой. Гораздо сложнѣе вопрос о музыкальной генеалогіи Сергѣя Васильевича. О ней надлежит судить музыкантам, но уж конечно Рахманинов вышел не из одного Чайковского. Как он ни преклонялся перед своим учителем, Бетховена и Вагнера (особенно Вагнера «Мейстерзингеров») Сергѣй Васильевич ставил еще выше. Музыкальная культура его была всеобъемлющей; здѣсь ему, вѣрно, служило службу его прошлое дирижера. В музыкѣ он знал рѣшительно все. Он не раз говорил, что «не любит и не понимает модернистов». Очень неопредѣленно это слово «модернисты», да и как мог Рахманинов кого бы то ни было «не понимать»?! Во всяком случаѣ новѣйшая музыка ему была почти так же хорошо знакома, как старая, как классическая, и он относился к молодым композиторам без враждебности, которую почему-то полагается приписывать старым знаменитостям. При послѣдней моей встрѣчѣ с ним он говорил о «Седьмой Симфоніи» Шостаковича и отзывался о ней лестно и благожелательно, с ироніей относясь лишь к чрезмѣрному шуму, создавшемуся вокруг этого замѣчательнаго произведенія: «Новый Бетховен?! Зачѣм нести этакій вздор!».

Вѣроятно, он знал себѣ цѣну, — странно было бы, еслиб не знал: какой же вообще другой музыкант так заслуженно знаменит, как он, в трех качествах композитора, пианиста и дирижера? Но о себѣ самом он говорил не иначе как с самой благородной сдержанностью и скромностью. Очень скромн он был и в своей частной жизни. Сергѣй Васильевич любил повторять слова Сократа: «Сколько есть в этом мірѣ вещей, которыя мнѣ совершенно не нужны!»

М. Алданов.

К. Д. БАЛЬМОНТ

В том поколѣніи, которое за послѣдніе мѣсяцы так стремительно сходит со сцены. — поколѣніи, об'единенном не столько возрастом, сколько тѣм, что главный расцвѣт его дѣятельности совпал с началом столѣтія и оборвался с первой

войной и революціей, — в этом поколѣннй звѣзда Бальмонта сіяла очень ярко. И хотя слава его испытала потом эклипс, но русская литература, русская поэзія были бы бѣднѣе и монотоннѣе без его яркой фигуры.

Бальмонт был крайним индивидуалистом. Он любил Россію, но не он ли написал чеканныя строки:

«Я ненавижу челоѡѡчество,
Я от него бѣгу, спѣша.
Мое единое отечество, —
Моя свободная душа!»

И, однако, его творчество неразрывно связано с судьбами его подлиннаго отечества и русской литературы. Имя Бальмонта неотдѣлимо от исторіи русскаго «декадентства» и символизма.

Исторія эта еще не написана, хотя для нея собраны драгоцѣнные матеріалы. В совѣтской Россіи опубликовано немало переписок, дневников и воспоминаній дѣятелей символизма. Кое что появилось и за границей, напримѣр, краткіе, но глубоко берушіе предмет очерки Ходасевича в его «Некрополѣ». Связь литературы и жизни не столь проста, как ее примитивно изображают совѣтскіе историки литературы, и ее не легко бывает прослѣдить. Но она существует и, в частности, русскій символизм, порою проповѣдывавшій «искусство для искусства», был «учительным», совершенно в традиціи русской литературы. Поэты, хотя и по иному, хотѣли быть «властителями дум», проповѣдниками. Они только предпочитали называть себя «vates», путеводителями и, порой, пророками. Это относится даже к тому первоначальному, «декадентскому» періоду, когда религіозно мистическая струя была в нем еще слаба, періоду, обозначенному именами двух «Б» — Брюсова и Бальмонта. Первый из них писал второму:

Может, наши сны глубоки
Голос наш — вѣкам завѣт!
Как и ты, мы одиноки,
Мы — пророки, ты — поэт.

Эти стихи, ограничивавшіе роль Бальмонта областью «чистой поэзіи» едва ли были пріятны ему. Так в одну из очередных размолвок между другими двумя «Б», вождами послѣдующаго періода символизма, Бѣлый, пренебрежительно,

называл Блока «пѣвчей птицей». Поэты символизма меньше всего хотѣли быть пѣвчими птицами.

Здѣсь не мѣсто напоминать обо всем, чему учили эти «пророки». В тѣх любопытных и рѣдких явленіях исторіи литературы, которыя называются «школами», не легко бывает найти то общее, что можно вынести за скобки многообразных и не похожих друг на друга индивидуальностей. И все же это общее существует в идеях, в стиль участников «Школы». В литературном отношеніи русскій символизм был реакціей против плоскаго реализма народнической беллетристики, против унылой гражданской лирики. Он опирался отчасти на классиков, заново открывал Фета, Тютчева, Боратынскаго, даже Пушкина (работы Брюсова) и Некрасова (статья Бальмонта), отчасти же на родственныя теченія Запада. Но западный символизм оставался узко эстетическим явленіем. Русскій же символизм оказался гораздо болѣе глубоким и сложным явленіем. Можно сказать, что русская литература, не знавшая подлиннаго романтизма (Жуковскій был скорѣе идилликом, чѣм романтиком, а для Пушкина и Лермонтова романтизм был «дѣтской болѣзнью»), впервые пережила в символизмѣ и свой романтизм. Нетрудно подмѣтить, как символисты воскрешали, соединяя их, всѣ отгѣнки западнаго романтизма: титанизм Байрона, экзотику Гюго, мистицизм Новалиса. Помимо этого символизм уводил русскую интеллигенцію от привычнаго для нея «панморализма», дѣлал ей прививку «эстетизма» и порою в лошадиных дозах... Как иллюстрацію того, что он был явленіем не только литературы, но и жизни, я вспоминаю, как революціонные «ловцы челоуѣков», вродѣ покойнаго М. А. Натансона, с юности стихов не читавшіе, просили меня познакомиться их с поэзіей Бальмонта и других, чтобы понять, **что же** уводило из их лагеря многочисленныя юныя души? С другой стороны, повидимому, соотвѣтствует дѣйствительности рассказ о Луначарском, читавшем над гробиком своего ребенка бальмонтовскую «Литургію Красоты».

Однако, Бальмонт не только уводил души от «панморализма» интеллигенціи. Одно время он отвѣчал ея революціонным настроеніям не одними своими «Пѣснями Мстителя», приведшими его, при старом режимѣ в изгнанье, но главным образом именно своим «титанизмом», сверхчелоуѣчностью, оптимизмом, тѣм, что он формулировал в названіи книги: «Будем, как солнце». Какова бы ни была связь его творчества с «жизнью», с «общественностью», эта связь существовала,

Бальмонт был в фокусѣ вниманія публики и критики, был в центрѣ жизненнаго потока. Увы, многое, что нравилось, что дѣйствовало на читателя тогда, теперь безнадежно устарѣло. Так, устарѣла почти вся его проза. Теперь трудно без улыбки читать хотя бы предисловія к сборникам его стихов. Но по слову Гете «тот, кто жил для своего времени, жил для всѣх времен». Если разумѣется, он дѣйствительно жил для своего времени, отвѣчал какой то его глубокой потребности.

Еще до первой войны, стали появляться новыя поэтическія «школы» — футуризм, акмеизм, да и в самом символизмѣ все сильнѣе обозначалась иная струя, чуждая Бальмонту. К чему привело бы все это — трудно сказать. Естественное развитіе литературы было оборвано революціей, отдавшей Россію в первоначальную школу политграмоты. Была учинена «все-ленская смазь» утонченной «буржуазной» культурѣ. Как в свое время Байрон проснулся в одно утро знаменитым, так теперь многіе проснулись внезапно забытыми, по манію ВАПП'а.

Бальмонт уѣхал за границу и судьба его в эмиграціи была печальна. Литературной «судьбы» у него вообще больше не было. Эмиграціи жилось тяжело, массѣ ея было не до стихов. Стихи вообще дѣло молодежи, эмиграція не интересовалась ими уже просто по возрасту. К тому же по вкусам она была скорѣе настроена в литературѣ консервативно, а молодежь забывала русскій язык. Самая горькая обида была в том, что тѣ молодые люди, которые ушли в эмиграцію подростками и не только сохранили русскій язык и любовь к литературѣ, но и сами писали стихи; тѣ десятки, а, может быть, даже сотни молодых поэтов, сосредоточенных главным образом в Парижѣ, но и в других центрах эмиграціи, тот «соловьиный сад» эмигрантской поэзіи, о котором хорошо писал Г. П. Федотов, совершенно не интересовались Бальмонтом. Эти молодые (вѣрнѣе средняго возраста) поэты поклонялись Блоку, открывали Анненскаго, любили Сологуба, читали Ходасевича, но были равнодушны к Бальмонту. Он жил в духовном одиночествѣ. И тут он, вѣроятно, мог вспомнить свои собственные прекрасныя стихи. Они были написаны в момент растущей славы, тогда в них был гуманный смысл благородной жалости, но теперь они звучали бы не жалостью, а жалобой:

Тише, тише солекайте с древних идиолов одежды,
Слишком долго Вы молились, не забудьте прошлый свѣтъ
У развѣчанных великих, как и прежде, горды вѣжды,
И слагатель вѣщих пѣсен был поэт и есть поэт.

Дѣти солнца, не забудьте голос меркнушаго брата,
 Я люблю в вас ваше утро, вашу смѣлость и мечты.
 Но и к вам придет мгновенье охлажденья и заката.
 В первый миг и в миг послѣдній будьте, будьте, как цвѣты.

Увы, «охлаждение и закат» становились явственными в бальмонтской поэзии. Период упадка неизбѣжен у всѣх поэтов. Только немногіе в старости испытывают прилив творческих сил и поют, может быть, свои самыя глубокія и одухотворенныя пѣсни. Таковы были Гете, Фет, в наши дни Иетс. Поэзія Бальмонта, всегда склонная к внѣшней словесной узорности, стала с возрастом совѣм «барочной», каким то русским гонгоризмом. Бѣлый назвал его «русским трубадуром» и это опредѣленіе взял для своей статьи о Бальмонтѣ М. Слоним. Но если это названіе хорошо подчеркивает рыцарственность образа Бальмонта, как человѣка, то, к сожалѣнію, оно соотвѣтствует и по существу многому в его поэзии. Болѣе бесплодной, чисто внѣшней и словесной массы стихов, чѣм поэзія трубадуров, не существует в міровой литературѣ. Кромѣ немногих пѣсен, одни ученые изслѣдователи способны читать эти стихи.

Но поэты, за исключеніем самых великих, никогда не живут для потомства во всей массѣ своих произведеній. Безсмертье для поэта — это антологія, а в лучшем случаѣ книга избранных стихов. В этом смыслѣ безсмертье Бальмонту обезпечено. Нѣсколько десятков его стихотвореній, а может быть — и сотня-другая не забудутся. Онѣ войдут в антологіи. Влюбленные будут их читать и декламировать. Трудно предсказать, что войдет в ту небольшую и очаровательную книгу «избранных стихотвореній» поэта (небольшую, потому что хотя сам Бальмонт предпочитал большіе форматы для своих книг, но книга стихов должна быть такою, чтобы помѣщаться в карманѣ, чтобы ее можно было брать с собою в путешествіе, в лѣс, на свиданіе). Вкусы публики и составителей антологій мѣняются. Самые характерные и в свое время популярныя стихи не всегда были самыми лучшими. Больше чѣм сомнительна цѣнность знаменитых «Хочу быть дерзким» или нашумѣвших аллитераціонных «Чуждый чарам черный челн» с буквой «ч» в каждом словѣ или даже (много лучшаго) «С лодки скользнуло весло». Аллитерація, извѣстная уже Гомеру и Вергилію и почти всѣм поэтам всѣх стран, изумительно использованная у нас Некрасовом и Пушкиным, казалось бы не нуждалась в открытіи. Но так глубок был упадок русской

поэзии конца девятнадцатого века, что этот прием приходилось открывать заново и применять его в почти барабанно примитивном виде. Гораздо больше заслуги Бальмонта в создании по новому музыкального, гибкого и певучего стиха. Я думаю, запомнятся несколько стихотворений — бальмонтовский *art poétique* — «Я изысканность русской медлительной речи», или «Запах солнца», которым он так искренне развеселил при свидании Льва Толстого. Еще лучше «Я не знаю мудрости годной для других». Найдем мы в антологиях и очаровательное «Есть в русской природе усталая нежность». И, может быть, другое стихотворение, схожее с этим по настроению, но менее известное и которое позволю себе привести:

О, краски закатныя! о, лучи невозвратныя!...
Повисли гирляндами облака просвѣтленныя.
Равнины туманятся, и лѣса необ'ятныя,
Как будто не жившіе, навсегда утомленные.
И розы небесныя, облака безтѣлесныя,
На доли печальныя, на селенія бѣдныя
Глядят с состраданіем, на безвѣстных безвѣстныя,
Поникшія, скорбныя, безответныя, блѣдныя.

Эти облака стоят пушкинской «последней тучи» и лермонтовских «тучек небесных».

Впрочем, если вспоминать прекрасные стихи Бальмонта, то перечисление их заняло бы много места. Тут были бы и прелестная «Золотая Рыбка», и «У моря ночью», и «Слова любви всегда безсвязны» и столько еще стихов о любви.. Меньше всего имеют шансы стихи «дидактические», вроде «Будем, как солнце», или «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце». — Но в этой серии нельзя отказаться от тоже очень популярного «Как испанец благородный, пьяный солнцем и любовью».

Роль Испании и ее поэзии в жизни Бальмонта была велика. Он знал множество языков и больше всего переводил с польского, с английского и с испанского. Его часто упрекали в «бальмонтизировании» переводимых поэтов, словно он переводил их не на русский, а на какой то «бальмонтовский» язык. Доля правды в этом обвинении была. Однако его переводы всего Шелли и Поэ являются подвигом замечательным и едва ли будут кем либо превзойдены. Но английские переводы совпали с «предбальмонтовским» периодом его поэзии и не оставили на ней большого следа. Изучение же испанского языка и

поэзии совпали с периодом «Горящих Зданий», т. е. той книги, в которой поэт, как говорится, «нашел себя». Испанія вошла в его плоть и кровь почти физически, отразилась на его интонаціях, в его жестах. Французская литература знала нѣсколько «испанообразных», как Конельи и Гюго, но в Россіи единственным поэтом, создавшим с в о ю Испанію был Бальмонт.

Когда уходит из жизни человек, то невольно стараешься закрѣпить в своей памяти его образ, чтобы охранить его от постепеннаго забвенья. Образ Бальмонта забыть трудно, слишком он был необычен и характерен. Его духовную сущность хорошо передал в молодом портретѣ Сѣров. В памяти всѣх, знавших его, запечатлѣлся его высокій «башенный» лоб, при волненіи покрывавшійся красными пятнами, его каріе глаза, его гордая, испанская, испанскаго гранда постановка головы, его немного по дѣтски лукавая улыбка, его быстрая, прихрамывающая, «альбатросовская» походка. В общей интонаціи было тоже что то «испанское», гласныя не русскія, а какія то древне славянскія, славянскіе носовые «юсы». Была ли тут доля поэты, игры? Если да, то чрезвычайно сросшаяся с личностью поэта, ей соотвѣтствующая. Марина Цвѣтаева в своем очеркѣ о Бальмонтѣ говорит, что поэты стараются не подчеркнуть, а **спрятать** свое своеобразіе. Едва ли это вѣрно по отношенію к поэтам символистам. Пушкин дѣйствительно старался казаться обыкновенным свѣтским человеком. Бывают эпохи, когда поэты стараются быть «как всѣ» в стилѣ и в наружности и когда их индивидуальность, их «не как всѣ» проявляется вопреки их волѣ. Так было скажем во французском классическом вѣкѣ, который мы окрестили «ложно-классицизмом». Поэты символизма своим долгом считали быть **не** как всѣ и порой, несмотря на это, оставались безнадежно банальными. Никто не станет отрицать яркую оригинальность личности Бальмонта, но он ея не скрывал и не затушевывал.

Трогательна была в этом знаменитом поэтѣ, в этом «гордом испанцѣ» необыкновенная кротость и мягкость. Недаром он сказал о себѣ:

«Мнѣ странно подумать, что трезвые люди
Способны затѣять войну.
Я весь в созерцательном, радостном чудѣ
У ласковой мысли в плѣну.
Мнѣ странно подумать, что люди враждуют
Я каждому рад уступить...

И это была правда и это было очаровательно.

Всѣ, писавшіе о Бальмонтѣ, подчеркивали, что он был насквозь поэт, поэт в каждом помыслѣ и движеніи. Особенно хорошо это выразила Марина Цвѣтаева, мастер портрета больше, чѣм в натуральную величину. Но и болѣе реалистическій наблюдатель не мог не отмѣтить подлинных больших человѣческих качеств Бальмонта. Удивительно, что в эпоху машинную и механическую, в эпоху упадка культуры, появились в мірѣ нѣсколько таких «несвоевременных» поэтов, как Бальмонт и Блок, Рильке и Йетс. Он был необыкновенно продуктивен и работоспособен. Раз как то говоря о своих стѣсненных обстоятельствах, он прибавил: «а вѣдь я не лѣнтяй!» Да, рѣдко кто так много трудился и так много знал. Поэт Волошин, жившій с ним одно время в Парижѣ, говорил, как возбуждающе дѣйствовал на его творчество ритм жизни с Бальмонтом. Это был ритм почти экстагического труда. Болѣе 10.000 страниц его произведеній и переводов хватило бы не на одну жизнь, и на цѣлую литературу небольшого народа. Но это не спасало от нужды, не спасло от болѣзни. Поэт выздоровѣл от душевной болѣзни, постигшей его, но перестал разговаривать, перестал улыбаться. Солнечный Бальмонт!

Как умер он в голодной и захваченной нѣмцами Франціи мы не знаем. Говорят, что поэты пророчески предвидят в своих стихах свою судьбу. Несмотря ни на что вѣшнее, хочется думать, что смерть Бальмонта была похожа на ту смерть, которую он описал в чудных по легкости воздушнаго ритма, стихах:

Воздушная птичка на окнѣ у меня
 На мгновенье присѣла и запѣла, звеня.
 Воздушная птичка не видала меня.
 Вдали запоздалый закат догарал,
 Упоительно алый, как небесный корал.
 Забытый, усталый, я один умирал.
 А сѣрая птичка на раскрытом окнѣ
 Все воздушнѣе пѣла о негаснущем днѣ,
 О вѣчности свѣтлой в неизвѣстной странѣ.
 И тихо я умер без печали земной,
 И воздушная птичка улетѣла со мной,
 Смутившись внезапно неземной тишиной.

Мих. Цетлин.

БИБЛИОГРАФІЯ И ЗАМѢТКИ

А. А. ИГНАТЬЕВ: «Пятьдесят лѣтъ в строю». Книги 1 и 2. Гос. Издат. Художеств. Литературы. Москва, 293 стр.

Внук гр. П. Н. Игнатъева, получившаго флигель-адъютантскіе аксельбанты за 14 декабря 1825 год и умершаго предсѣдателем комитета министров при Александрѣ II; племянник гр. Н. П. Игнатъева автора русско-турецкаго договора в Сан-Стефано и проекта созыва Земскаго Собора в 1882 году; сын гр. А. А. Игнатъева, котораго в дни Первой Гос. Думы считали предсѣдателем «звѣздной палаты» и вдохновителем наиболѣе реакціонных проектов; сам в прошлом блестящій кавалергард, дирижировавшій танцами на придворных балах; позднѣе военный атташе в Парижѣ, немедленно же послѣ «октября» признавшій большевиков, но оставшійся за рубежом еще два десятилѣтія и вернувшійся в Москву только в 1938 г., гдѣ нынѣ, — как сообщил недавно лондонскій бюллетень «Review of World Affairs», — он состоит одним из ближайших военных совѣтников Сталина, — А. А. Игнатъев написал книгу, которая интересна всѣм: и тѣм, что в ней рассказано; и тѣм, как рассказано; и даже тѣм, как эта книга «подана» читателю. На внутренней обложкѣ книги, изданной большим тиражем (50 тыс. экз.), виньеткой идет оружіе старых полков, в которых служил автор, — лейб-гвардіи кавалергардскаго, забайкальскаго казачьяго: кираса, палаши, пики, даже лядунка и т. д. Ничто не забыто, — только на мѣстѣ двуглаваго орла, гдѣ тому быть полагалось, стоит звѣзда. Правда, не пяти-, а восьмиконечная, но все же звѣзда, а не орел. Почему художник, так тщательнао вырисовывавшій всѣ другія детали, неожиданно споткнулся на «двуязычной, безтолковой» птицѣ, — об этом, как говорил Щедрин, мы узнаем только лѣтъ через 50 из «памятной книжки» грядущаго совѣтскаго Бартенева... Но из исторіи мы помним: Наполеон, воскрешая почти весь церемоніал «старога Версаля», так до конца и не позволил вернуться к сюжету королевских ллій ни в архитектурном орнаментѣ, ни в декоративном рисункѣ. В этом есть своя логика...

В предисловіи, обращенном к Комсомолу, автор, нынѣ ген.-майор Красной Арміи, пояснил, какую задачу он ставит, выпуская книгу

(кстати: к печати она подписана 10 июня 1941 г., т. е. меньше, чѣм за двѣ недѣли до нападенія Гитлера на Россію, и потому отражает настроенія, существовавшія в Москвѣ буквально наканунѣ войны):

«мнѣ хотѣлось сдѣлать небольшой вклад в исторію ближайшей к нашим дням эпохи. Народ не должен забывать своего прошлого. И как бы ни были велики историческія потрясенія, как бы ни была мрачна эпоха русскаго царизма, — в особенности послѣдних лѣтъ существованія, — мы не вправѣ вычеркнуть ее из исторіи нашего великаго народа. Людям же, как я, пережившим эту эпоху, надо имѣть мужество рассказать о ней правду и этой правдой об'яснить, что дает человѣку Родина-Мать».

Задача, как видим, была исключительно трудная, — в особенности в виду своеобразнаго сочетанія прошлого и настоящаго у автора воспоминаній, — но он, надо признать, с нею справился с большим тактом. Воспоминанія еще не закончены; в «Новом Мирѣ» уже появилась часть продолженія; предстоят другія. Трудно сказать, сумѣет ли автор до конца выдержать взятый им тон. Но уже теперь ясно, что рецензируемый том останется в мемуарной литературѣ, как одна из лучших книг об эпохѣ «послѣдняго царствованія».

Эта литература уже теперь обширна, — главным образом на иностранных языках. Но для нея характерны два основных недостатка: она прежде всего почти сплошь посвящена, т. с., праздникам исторіи, т. е. большим событіям. Таких событий было очень много; ими больше всего интересуется аудиторія, — особенно иностранная, для которой эти воспоминанія обычно и пишутся, т. к. только она способна их оплачивать. С другой стороны, она «партионна», как говорилось лѣтъ сто тому назад и авторы или поют хвалебные гимны «потонувшему миру», или малюют его сплошь в мрачные тона.

Игнатьев избѣгал обѣих этих опасностей. Он рассказывает не только о праздниках, но и о буднях. Годы дѣтства в генерал-губернаторских домах Иркутска и Кіева, кадетскій, а затѣм Пажескій корпус, служба в кавалергардах и в уланах, Военная Академія, русско-японская война, — во всѣх этих отдѣлах автор дает живое, временами даже художественное описаніе именно повсѣдневаго быта, житейских отношеній, — с массой тѣх мелочей, которыми мемуаристы часто пренебрегают, ибо они слишком обыденны для современников, но которыя так необходимы читателю других поколѣній для воссозданія атмосферы эпохи.

С другой стороны, Игнатьеву удалось найти и такой общій тон для своего разсказа, который не рѣжет уха читателю. В его раз-

сказъ нѣтъ тѣх аляповатыхъ красокъ, которыя и до сихъ поръ обязательны для про-совѣтскихъ авторовъ за границей при изображеніи до-революціоннаго прошлаго. О прошломъ онъ рассказываетъ съ нескрываемой любовью и изображаетъ его въ основномъ такомъ, какимъ онъ его въ свое время воспринималъ. У него, конечно, есть критическое отношеніе ко многому, — но читатель видитъ, что это отношеніе въ своей основѣ было свойственно автору и въ тѣ далекія времена, о которыхъ идетъ разговоръ: развѣ только въ двухъ-трехъ эпизодахъ возникаетъ подозрѣніе, что авторъ подлаживается къ окружающей современности; въ огромномъ большинствѣ случаевъ зарожденіе и нарастаніе критическаго отношенія не только объяснено словами, но и показано фактами, различными деталями. Рѣзкости авторъ явно избѣгаетъ, — даже тогда, когда они были бы исторически правдивыми. Это особенно ясно замѣтно въ разказахъ о послѣдней императрицѣ, которую въ семьѣ Игнатьевыхъ явно не любили и непріятныя стороны характера которой авторъ, — въ свое время камер-пажъ императрицы, — настороженно замѣчалъ. Въ результатѣ получилась книга, которая удовлетворяетъ тѣмъ основнымъ требованіямъ, которыя историкъ предъявляетъ мемуаристу: въ ней правдиво изображено прошлое, — такимъ, какимъ его авторъ въ свое время видѣлъ.

Конечно, въ книгѣ имѣется не мало интереснаго и об историческихъ «праздникахъ». Изъ нихъ мнѣ хочется особо отмѣтить сообщенія автора о роли его отца въ періодъ первой Государственной Думы. Игнатьевъ сынъ отрицаетъ существованіе въ то время какой-то «звѣздной палаты», — но полностью подтверждаетъ сообщенія о планахъ дворцоваго переворота. Игнатьевъ-отецъ въ изображеніи сына выходитъ убѣжденнымъ монархистомъ, который ненавидѣлъ своего монарха Николая II и мечталъ о «сильномъ царѣ, который сможетъ укрѣпить пошатнувшійся монархическій строй».

«Мы попали въ тупикъ, — говаривалъ онъ мнѣ, — и, пожалуй, придется пойти въ Царское съ военной силой и потребовать реформы».

Эти «реформы» должны были состоять «въ возрожденіи старинныхъ русскихъ формъ управленія, съ самодержавной властью царя и зависимыми только отъ царя начальниками областей» (напомнимъ, что Игнатьевъ-отецъ самъ былъ генералъ-губернаторомъ).

Какъ далеко зашелъ Игнатьевъ-отецъ въ подготовкѣ дворцоваго переворота, авторъ воспоминаній не знаетъ, но онъ видѣлъ у отца списокъ кандидатовъ на министерскіе посты, а въ бесѣдахъ съ нимъ отецъ перебиралъ, на какія именно гвардейскія части онъ разсчитываетъ для совершенія переворота:

«Думаю, — говорил он мнѣ, — можно положиться из пѣхоты на вторую гвардейскую дивизию, как на менѣе привилегированную, а из кавалерійских — на полки, которые мнѣ лично довѣряют: кавалергардов, кирасир, гусаров, пожалуй, казаков».

Для характеристики настроеній, существовавших в этой средѣ, очень интересно, что мемуарист до сих пор убійство своего отца (он был убит в 1906 г.) приписывает полиціи, которая будто бы дѣйствовала едла ли не по указаніям самого царя. В свое время двоя убитаго на соболѣзную телеграмму императора отвѣтила кратко:

«Благодарю, ваше величество. Бог разсудит всѣх.

Графиня Игнатъева».

Эти настроенія и эта программа в литературѣ уже извѣстны: о том же в тѣ годы мечтал, напр., митр. Антоній (Храповицкій) в его письмах к Бор. Никольскому. Что касается программы, то она своими корнями уходила в тѣ самые круги, которые подсказали гр. Н. П. Игнатъеву в 1882 году программу созыва Земскаго Собора. Семья Игнатъевых явно жила в настроеніях тѣх реакціонно-славянофильских кругов, которые мечтали о возвратѣ к «самобытным началам» для того, чтобы имѣть возможность вести агрессивную панславистскую политику во внѣ. Как видно из ряда замѣчаній, разбросанных в книгѣ, эти же настроенія были настроеніями и автора послѣдней; — несомнѣнно, что именно здѣсь надо искать ключа для пониманія путей личной эволюціи мемуариста. По существу, ни революціонному, ни просто оппозиціонному движенію в Россіи он никогда не сочувствовал, — и не скрывает, что остается при этих настроеніях и понынѣ. Его критическое отношеніе к порядкам, существовавшим в Россіи Николая II, совсѣм иного происхожденія: он возмущался тѣм, что в странѣ было так много неурядков и неорганизованности; что ея хозяйство попадало в зависимость от иностранных банков; что ея армія теряла свою силу; что ея внѣшнее положеніе терпѣло ущерб. Причиной всего этого, с его точки зрѣнія, было отсутствіе в странѣ настоящаго «хозяина». Въстѣ со своим отцом он мечтал о «реформах», — о царѣ-хозяинѣ, — при чем для них уже тогда удареніе стояло на «хозяинѣ», а не на царѣ легитимном...

В высшей степени интересно, что эти свои настроенія Игнатъев в достаточной мѣрѣ отчетливо выявляет в книгѣ, предназначенной для широкаго распространенія в Комсомолѣ 1941 года, т. е. фактически среди младшаго команднаго состава Красной Арміи: это —

показатель, что такого рода освѣщеніе прошлаго отнюдь не было нежелательным и для властей современных. Прошлое здѣсь смыкается с настоящим, — и если мы пересмотрим книгу под углом не изучения минувшаго, а познанія современнаго, то придем к выводам, быть может, еще болѣе интересным. Какія стороны старой арміи, — ея будней и ея праздников, ея подготовительной работы в мирное время и ея работы боевой, в дни войны, — современная Россія считает полезным показывать молодому офицерству? каких командиров стараго времени она согласна рисовать в сочувственных тонах? какія отношенія между командиром и бойцом она изображает в симпатизирующих красках? Если искать краткой формулы для отвѣта на всѣ эти вопросы, то она вытекает из изложенной выше программы Игнатъева-отца: командир для своей части должен быть заботливым и попечительным, но полновластным «хозяйном». Одно колесико цѣпляется за другое, — и создает «самобытный» идеал «государства будущаго»: іерархія хозяев, замѣнивших ничтожества... И все это — для успѣха внѣшне-политической акціи...

Контуры этой послѣдней автору мыслятся, повидному, иначе, чѣм его дядѣ, который, вмѣстѣ со Скобелевым, был извѣстен своими анти-нѣмецкими взглядами (попадая под вліяніе атмосферы, царившей в семьѣ Игнатъевых, можно было бы дату смерти Скобелева сопоставить с датой отставки Н. П. Игнатъева). У Игнатъева-автора воспоминаній нѣтъ и намека на анти-нѣмецкія настроенія, — и вполне опредѣленные намеки на настроенія про-японскія. Он с явным сочувствіем вспоминает тост японскаго военнаго атташе, обращенный к Игнатъеву:

«Наш русскій коллега может засвидѣтельствовать, что японская армія дралась хорошо. А я, как проведенный весь первый год войны в Манчжуріи, считаю своим долгом заявить, что русскіе не уступали нам в храбрости. Наконец, мы оба, сидя за одним столом, можем вам заявить, что наши народы умѣют драться, но умѣют и жить в согласіи».

«Послѣднія слова, — прибавляет Игнатъев, — хоть и были открыты аплодисментами, но едва ли пришлись по вкусу представителям имперіалистов». Рѣчь идет о тостѣ, произнесенном в 1906 году в Парижѣ в присутствіи высших чинов французской арміи: именно к ним в первую очередь и относится эпитет «имперіалисты»...

Жульетта Адан, так много сил потратившая в 1881-82 г.г. на выпестовываніе внѣшне-политических концепцій Н. П. Игнатъева и ген. Скобелева, конечно, не могла предвидѣть, как конкретизируются эти концепціи в умѣ Игнатъева-племянника. Но тот факт, что по-

слѣдній умѣет так чутко подмѣчать направленіе политическаго вѣтра, — лишнее доказательство, что он никогда не был тѣм ничтожеством, каким его рисовала эмигрантская пресса. Быть первым графом в окруженіи Сталина (если не считать А. Н. Толстого, который в придворно-аристократическом мѣрѣ никогда не вращался), это так же трудно, как было трудно в свое время быть первым маркизом при дворѣ Наполеона...

Б. Н.—скій.

NATIONAL SOCIALISM. Basic principles, their application by the Nazi Party's Foreign Organization, and the use of Germans abroad for Nazi aims. Department of State, U.S.A. Washington, D. C. 1943.

Этот обѣмистый том в 500 с лишним страниц большого формата, выпущенный недавно Государственным Департаментом в Вашингтонѣ, является своего рода справочной книгой по идеологіи націонал-соціализма, и для ознакомленія с характером государственнаго строя современной Германіи и ея внѣшней политикой. Свыше 300 страниц занимают в ней разные документы, заимствованные из официальных нацистских источников, фотостаты нѣмецких газет и выдержки из рѣчей идеологов и вождей націонал-соціалистической партіи. Книга составлена группой чиновников европейскаго отдѣла Государственнаго Департамента, с Реймондом И. Морфи во главѣ. В введеніи к книгѣ, занимающем около 150 страниц, авторы излагают только идеологію націонал-соціализма, цѣли и методы нацистской партіи. О всей кровавой политикѣ нацистов они упоминают лишь вскользь. Авторы для своей работы пользовались не только официальными документами и различными трудами по исторіи, философіи и политикѣ Германіи, но и конфиденціальными отчетами, которые в течение ряда лѣтъ Государственный департамент получал от своих представителей в Германіи и в других странах.

Авторы правильно отмѣчают, что нацистская идеологія создана не Гитлером и не Геббельсом и даже не Альфредом Розенбергом, а что идеи нацизма в течение цѣлаго столѣтія проповѣдывались многими выдающимися нѣмецкими мыслителями, писателями, политическими дѣятелями и вождями арміи. Нацистскіе вожди лишь кристаллизировали всѣ эти идеи о народности, о превосходствѣ германской расы, о господствѣ одной партіи, о тоталитарном государствѣ, о германском «жизненном пространствѣ», о принципах вождизма и о пользованіи военной силой для достиженія полити-

ческих цѣлей и создали партію, которая методами жесточайшаго террора проводит в жизнь эти идеи. Большинство величайших нѣмецких философов и мыслителей на протяжении свыше ста лѣт проповѣдывали, что государство — все, а индивидуум — ничто. Так, напр., знаменитый нѣмецкій экономист Фридрих Лист, который еще в первой половинѣ XIX вѣка агитировал за политическое объединеніе всѣх нѣмецких стран вмѣстѣ с Голландіей и Бельгіей, был убѣжден, что нѣмецкіе народы призваны самим Провидѣніем быть руководителями всего міра. Идею тоталитарнаго государства проповѣдывал еще философ Фихте. О Германіи, управляемой всемогущим и всевластным вождем, мечтали не только тот же Фихте и Гегель, но и социалист Фердинанд Лассаль (авторы книги приводят очень убѣдительный отрывок из письма Лассалья к Бисмарку, опубликованный лишь послѣ предыдущей войны). Идею превосходства арійской расы проповѣдывали еще Рихард Вагнер и его зять англичанин Стьюарт Чемберлен, отказавшійся от англійскаго подданства и ставшій ярым нѣмецким націоналистом. Эта идея легла в основу их антисемитизма. Альфред Розенберг лишь дальше развил идеи Вагнера и Чемберлена. Согласно Розенбергу, всѣ западно-европейскія государства и всѣ их культурныя цѣнности созданы нѣмцами, поэтому, если исчезнет нѣмецкая кровь в Европѣ, вся европейская культура неминуемо осуждена на гибель. Расовая теорія Розенберга закрѣплена в программѣ націонал-соціалистической партіи, которая гласит: «Никто, кромѣ членов народа, не может быть гражданином государства. Никто, кромѣ людей нѣмецкой крови, не может быть членом народа. Еврей, поэтому, не может быть членом государства».

Идею о том, что Германія должна поглотить всѣ нѣмецкіе народы и стать властительницей всей Европы, еще задолго до первой міровой войны проповѣдывали многіе выдающіеся нѣмецкіе писатели. Один из них в 1913 году писал: «Мы хотим работать для всего міра, поэтому весь мір должен работать на нас. Это наш путь к тому, чтобы стать народом господ. Это наш удѣл, это единственный путь к разрѣшенію наших соціальных проблем». Германскіе писатели отдавали себѣ ясный отчет в том, что эти цѣли могут быть осуществлены только при помощи войны. Естественно, поэтому, что всѣ наиболѣе вліятельные из них были яркими противниками всякаго пацифизма. «Наша военная организація, — писал еще в 1886 году знаменитый нѣмецкій историк Трейчке, — является яркой демонстраціей нѣмецкаго политическаго идеализма... На арійскія расы дурацкая пропаганда вѣчнаго мира никогда не имѣла вліянія. Они всегда были достаточно мужественны, чтобы твердо держать в руках меч, которым они овладѣли при помощи духа».

Нацизм базирується на трех понятіях: Народ, Вождь и Партія, являющаяся посредницей между Вождем и народом. Народ в цѣлом, утверждают нацистскіе теоретики, политически никогда не бывает активен. Активны лишь тѣ, кто воплощают его волю. Истинная воля народа никогда не может быть установлена большинством голосов. Она может проявить себя лишь в людях и в движеніях, и исторія разсудит, в правѣ ли эти люди и движеніе утверждать, что они выражают волю народа. Настоящим выразителем воли народа является Вождь, «фюрер». Он — наивысшій авторитет, он всегда прав и всѣ должны ему безпрекословно повиноваться и исполнять всѣ его приказанія. В отличіе от большевиков, в принципѣ признающих единоличную диктатуру временной, преходящей системой государственнаго управленія, нацпсты считают диктатуру Вождя идеальнѣйшей и самой естественной на вѣки вѣков системой человѣческаго общества. Большевики в принципѣ, по крайней мѣрѣ, признают демократію, нацистскіе же вожди открыто выражают свое презрѣніе к демократическим учрежденіям. Нацистское ученіе рѣшительно отвергает основной принцип, легшій в основу современной демократіи, что всѣ люди равны и поэтому должны пользоваться одинаковыми политическими и гражданскими правами. «Мы, націонал-соціалисты, — заявил Геббельс в 1934 году, — никогда не претендовали на то, что являемся представителями демократической точки зрѣнія. Наоборот, мы открыто заявляем, что мы используем средства демократіи для завоеванія власти и что послѣ того, как мы завоюем власть, мы самым безжалостным образом лишим наших противников возможности пользоваться тѣми средствами, которыя они нам предоставляли, когда мы были в оппозиціи».

Вѣрные традиціи германскаго имперіализма, нацисты усиленно пытаются осуществить свои идеи не только в Германіи, но и в других странах. Так, напр., Розенберг еще в 1935 году писал, что послѣ того, как Соед. Штаты освободятся от отживших идей, легших в основу их политическаго строя, т. е. «послѣ уничтоженія идей, представляемых Нью-Йорком, они будут имѣть перед собой великую задачу с юношеской энергіей взяться за осуществленіе новых идей о расовом государствѣ, которое нѣкоторые дальновидные американцы уже предвидѣли».

Другой нацистскій теоретик, Колин в своей книгѣ «Унзер Америка» (наша Америка), вышедшей в 1936 году, писал, что все лучшее, что есть в американской жизни и цивилизаціи, создано нѣмцами — и он призывает, поэтому, нѣмцев, живущих в Соединенных Штатах, осознать свое расовое наслѣдство и подготовиться к тому дню, когда они в состояніи будут перенять полный контроль над страной.

Официальные документы вскрывают всю лживость нацистской пропаганды и всей внѣшней политики Германіи. Политическія цѣли нацизма, — говорят авторы книги, — ярко запечатлѣны в исторіи послѣдних десяти лѣтъ. Сам Гитлер заявил, что политическими цѣлями нацизма являются, с одной стороны, внутреннее об'единеніе нѣмецкаго народа, с другой стороны, завоеваніе «жизненнаго пространства» для Германіи, иначе говоря — расширеніе германскаго господства над всѣм міром с цѣлью сдѣлать нѣмецкій народ народом господ, на который всѣ остальные народы должны работать в качествѣ рабов.

Согласно нацистским законам, нѣмец, проживающій в другой странѣ может стать гражданином этой страны, но он должен имѣть для этого разрѣшеніе мѣстнаго представителя германскаго правительства. Но и послѣ того, как он становится гражданином другой страны, он по прежнему продолжает оставаться гражданином Германіи. Еще задолго до войны нацистское правительство приказало своим приверженцам в Соед. Штатах и в других странах, чтобы они стали гражданами тѣх стран, в которых они проживают с тѣм, чтобы они могли с большим успѣхом играть роль пятиколонников для нѣмецкаго Фатерлянда. Одним из интереснѣйших документов в книгѣ является конфиденціальный отчет о том, как агенты Гитлера готовили пятую колонну в Голландіи. Несомнѣнно, что они этими методами пользовались и во всѣх других странах.

В предисловіи авторы утверждают, что, по мнѣнію Государственнаго департамента, всѣ усилія нацистов заразить своими идеями лояльных американцев нѣмецкаго происхожденія не увѣнчались успѣхом.

Несмотря на нѣкоторые недостатки, это очень полезная книга. Напечатанные в ней документы откроют глаза многим американцам.

Д.Шуб.

“AMERICA, RUSSIA AND THE COMMUNIST PARTY IN THE POST-WAR WORLD” by John L. Childs and George S. Counts. Published by John Day Co. 1943. New York.

Среди богатой литературы о проблемах будущаго мира, представляет особый интерес коллективная работа комиссіи Союза учителей, примыкающаго к Американской Федерациі Труда. Комиссія эта состоит из пяти профессоров Учительскаго Колледжа колумбійскаго университета. Возглавляют ее профессора Джон Л. Чайльдс и Джордж С. Каунтс, оба умѣренные социалисты. Авторы стремятся

намѣтити пути и средства для созданія послѣ войны международной организациі, которая включила бы всѣ без исключенія государства и стала бы мощным орудіем для построенія новаго міра. Как и большинство американских радикалов и демократов, авторы книги убѣждены, что союз Об'единенных Націй, созданный для борьбы против Оси, должен остаться в силѣ и послѣ окончанія войны, иначе человечеству не миновать новой войны. Но задачу сохраненія дружескаго сотрудничества Об'единенных Націй, по их мнѣнію, не так легко будет разрѣшить. «Нам трудно будет, — пишут они, — приспособиться к новому статусу, который Китай получит в міровой политикѣ. Нам также трудно будет освободиться от старых предрасудков по отношенію к Англии. Но труднѣе всего нам будет установить базис для искренняго и дружескаго сотрудничества с Совѣтским Союзом».

В первых главах книги авторы пытаются дать краткій очерк причин, создавших враждебныя отношенія между Сов. Россіей и Соед. Штатами. Эта часть книги всего слабѣе. Авторы хотѣли бы быть как можно болѣе об'ективными. Так как в самом Союзѣ учителей и среди членов комиссіи, есть немало людей, изучавших исторію русской революціи по большевистским источникам, то они включили в свое изслѣдованіе все то, что говорят большевики и почти все, что говорят критики большевистской диктатуры. Обѣ точки зрѣнія ясно формулированы, но связаны между собой чисто механически. Авторы повторяют, вслѣд за большевистскими историками, что «капиталистическія страны» все время стремились при помощи интервенціи сокрушить «соціалистическое государство», и что интервенція явилась причиной гражданской войны в Россіи, которая, в свою очередь, привела к страшному голоду 1920-1921 г.г. Русскому читателю нѣтъ надобности раз'яснять, что все это — вздор; что т. н. союзническая интервенція началась только послѣ того, как большевики заключили в Брест-Литовскѣ сепаратный мир с Германіей и что первоначальной цѣлью союзников было возстановленіе восточнаго фронта против Германіи. Поскольку большевики были как бы данниками Германіи, союзники считали их своими врагами и оказывали помощь тѣм русским силам, которые стремились свергнуть совѣтскую власть. Гражданская же война в Россіи была вызвана не союзниками и не русскими анти-большевиками. Сам Ленин в первые годы революціи открыто ставил в заслугу большевикам то, что они были единственной партіей, которая с самаго начала революціи выдвинула лозунг гражданской войны. Что касается Соединенных Штатов, то вся их «интервенція» выразилась в том, что небольшіе американскіе отряды во время войны участвовали в экспедиціи, которая была послана в Мурманск и Архангельск, с цѣлью

предупреждения захвата нѣмцами громаднх складов оружія и военного снаряженія, которое до большевистскаго переворота было доставлено союзниками в Россію. Американская экспедиція на Дальній Восток имѣла своей единственной цѣлью не допустить японцев захватить Сибирь. Соединенные Штаты всегда защищали цѣлостность Россіи и долго не признавали самостоятельности мелких государств, отдѣлившихся от Россіи, как и аннексиі Бессарабіи Румыніей. Наконец, Америка была единственной страной, которая оказала огромную помощь голодающей Россіи в 1920-1921 году и буквально спасла миллионы русских жизней. Но как американская «интервенція», так и союзническая, прекратились послѣ окончанія совѣтско-польской войны в 1920 году. Почти 20 лѣт тому назад Италия, а вслѣд за ней Англія и Франція, признали совѣтское правительство. Америка офіціально признала СССР в 1933 году, но и до того американскій народ и правительство не только не проявляли никакой враждебности к Россіи и совѣтскому правительству, но — наоборот, экономически сотрудничали с ними. Ни одна из «капиталистических» держав за послѣднія 20 лѣт не только не дѣлала ни малѣйшей попытки вмѣшательства во внутреннія дѣла СССР, но наоборот — всѣ они всячески стремились поддерживать с ним дружескія отношенія. И если это не всегда им удавалось, то в этом вина была не их, а большевиков, которые ставили ставку на міровую социальную революцію. Главной помѣхой для установленія тѣснаго сотрудничества между «капиталистическими странами» и СССР, по мнѣнію авторов, являются коммунистическія партіи. И авторы стараются убѣдить совѣтское правительство, что коммунистическая партія в Америкѣ приносит СССР больше вреда, чѣм пользы. Авторы сами в прошлом тѣсно сотрудничали с коммунистами; они хорошо знакомы не только с коммунистической теоріей, но и со всѣми методами организациі и практической дѣятельности коммунистов.

Коммунистическая партія, по словам авторов книги, не самостоятельная американская организациа, а лишь секція Коминтерна, всецѣло подчиненная Москвѣ. Политику и тактику партіи опредѣляют не члены партіи, и даже не офіціальные ея вожди, а лидеры Коминтерна. Члены партіи не могут имѣть собственнаго мнѣнія — они должны лишь безпрекословно исполнять рѣшенія, навязанныя им «сверху», т. е. из Москвы. Коммунисты не могут быть искренними, они вынуждены всегда носить маску. «Мы, имѣем дѣло, — пишут авторы, — с движеніем, которое подкапывает моральный фундамент американской демократіи... Вся исторія коммунистической партіи показывает, что она никогда и ни на іоту не усплила мощи и вліянія либеральнаго, демократическаго и гуманитарнаго движенія.

Наоборот — она всегда ослабляла, деградировала или всецѣло разрушала всякое движеніе, к которому только прикасалась... Коммунистическое движеніе предало социальный идеализм многих лучших молодых людей в странѣ».

Только в тѣсном сотрудничествѣ с остальными странами Америки удастся создать прочный мировой правопорядок. Но главным препятствіем для установления дружескаго сотрудничества между СССР и другими народами является до сих пор Коминтерн и, главное, вся политика совѣтской власти.

Не раздѣляя иллюзій авторов насчет «социалистическаго строя», существующаго будто бы в СССР, как и насчет всѣх «огромных достижений» совѣтской власти, мы, тѣм не менѣе, вмѣстѣ с ними думаем, что сотрудничество СССР в дѣлѣ будущей международной организациі не только вполне возможно, но и чрезвычайно желательно как в интересах международнаго міра и мировой демократіи, так и в интересах Россіи.

Д. Шуб.

RELIGION IN SOVIET RUSSIA. N. S. Timasheff. Sheed and Ward .New York, 1942.

Недавно опубликованная на англійском языкѣ книга Н. С. Тимашева вызвала живой интерес в американской культурной средѣ. Печать единодушно признала, что труд проф. Тимашева представляет огромную цѣнность. Это первоклассный историческій матеріал. Он дает исчерпывающій отвѣтъ на вопрос глубоко волнующій американскую публику: каково истинное положеніе православной Церкви в СССР? В какой степени она подверглась гоненіям? Как проводится в жизнь, и проводится ли вообще, пресловутая статья Совѣтской Конституціи о «свободѣ религіи»?

Но и для нас русских, болѣе освѣдомленных в этих вопросах, книга Н. С. Тимашева является цѣнным матеріалом. Автор нарисовал обширную и подробную картину религіозной жизни в Россіи. Мы имѣем перед глазами цѣлую панораму трагических 25-ти лѣтъ, когда русская Церковь шаг за шагом отставала свое существованіе. Мы видим как она путем огромных жертв, цѣной безконечных страданій, завоевала себѣ это право перед лицом власти, которая ставила разрушеніе религіи **обязательным условіем** торжества новаго строя.

Автор напоминает тезисы Ленина, ясно формулировавшіе отношеніе Компартіи к религіи. О них не слѣдует забывать теперь, когда

текст конституціи, до сих пор оставшіяся на бумагѣ, и выступления совѣтских чиновников, маскируют правду о церкви в России. Благодаря этой маскировкѣ, обыватель может вынести ложное представление, что коммунизм в СССР никогда не преслѣдовал религію как таковую, а лишь отдѣльных «представителей культа», осужденных за контр-революціонную или оппозиціонную дѣятельность.

Между тѣм, Ленин неоднократно и с чрезвычайной четкостью выражался по этому поводу. Он утверждал, что «всѣ религіи и церкви, всѣ церковныя организациі» суть «орудіе буржуазной реакціи», что борьбу нужно вести «против всѣх видов средневѣковья, включая и официальную религію». И Ленин добавлял, что религія и прогресс несовмѣстимы, что не может быть «хорошей религіи», что «хорошая религія хуже плохой», и т. д.

Н. С. Тимашев отмѣчает три главных періода гонений. Первый період — 1917-22 г.г., когда были пущены в ход всѣ жесточайшія средства борьбы: лишеніе церковей матеріальных и легальных возможностей существованія, массовая ликвидація храмов и монастырей, лишенія духовенства избирательных прав, права работы и вступленія в профсоюзы, права на продовольственныя карточки и на образованіе для своих дѣтей. Реквизиція церковных сосудов, аресты, разстрѣлы и ссылки епископов, священников и оставшихся вѣрных своим приходом «религіозников».

Кромѣ того, как извѣстно, совѣтское правительство пыталось ослабить Церковь путем внутренней смуты, поощряя созданіе антиканонической «Живой Церкви» и разложеніе духовенства.

Послѣ затишья, связаннаго с эпохой НЭПа, совѣтское правительство, в період насильственной коллективизаціи 1929-30 года, возобновило гоненіе с нѣкоторыми вариантами: массовое закрытіе церковей, сожженіе икон, ссылка священников в Соловки, введеніе шестидневной недѣли, лишеніе духовенства права жительства в крупных центрах. Рядом с прямой борьбой, были введены методы «культурнаго удушенія», пресѣченіе религіознаго преподаванія (несмотря на то, что религіозная пропаганда была еще в то время разрешена первой совѣтской конституціей), интенсивная антирелигіозная пропаганда и всяческія издѣвательства над религіей.

С 1937 года по 1938 год, начался третій період гонений, связанный с чистками. Опять неисчислимыя аресты и ссылки, под предлогом борьбы с «попами вредителями» и «германояпонскими шпионами». Это была попытка дискредитировать Церковь в глазах народа и разрушить все возрастающій престиж духовенства.

Всѣ три попытки закончились полной неудачей для анти-религіозников, и в 1939 году совѣтская власть стала проводить «новую

религіозную политику», значительно смягчившую условия церковной жизни. Представители духовенства уже не считались паріями. С начала же войны, эти условия стали еще благопріятнѣе, т. к. правительство старается всячески поддержать народный дух и національное сознание, тѣсно связанное с религиозными мотивами. Эти смягченія общеизвѣстны — они являются официальными признаками того, что уже свершилось много лѣт назад — моральной побѣдой Церкви.

Побѣда эта всецѣло является результатом стойкости русской іерархіи и глубокой привязанности русскаго народа к своей вѣрѣ. Невозможно в краткой рецензіи перечислить богатѣйшій матеріал, представленный проф. Тимашевым в главах, посвященных героическому сопротивленію Церкви и народа. В продолженіи многих лѣт автор собирал свѣдѣнія относительно всѣх проявленій религиозной жизни в СССР. Свѣдѣнія эти почерпнуты из совѣтских источников или основаны на тщательно провѣренной частной информации. Автор дает в концѣ каждой главы подробную библиографію и снабжает свой текст обильными цитатами. Перед нами проходят волнующія сцены из совѣтской жизни; мы видим не только людей стараго закала, оставшихся вѣрными религіи, несмотря на преслѣдованія. Мы видим также и «новых совѣтских людей», чиновников, военных, рабочих, представителей интеллигенціи, колхозников и даже — комсомольцев, отказавшихся принять «историческій материализм» во имя высших духовных цѣнностей.

Разбирая в концѣ своей книги перспективы будущаго, автор воздерживается от слишком оптимистических прогнозов, ибо, пишет он, «новая религиозная политика — это компромисс, на который правительство пошло неохотно, вопреки своим убѣжденіям». Статья конституціи о «религіозной свободѣ» так и остается на бумагѣ, покуда не будет снят запрет с религиознаго преподаванія. Затишье на антирелигіозном фронтѣ может быть лишь временным, и гоненія могут в любую минуту вспыхнуть с новой силой...

Однако, для автора не столь важна та или иная «генеральная линія», продиктованная власти «политическим реализмом». Важно, что русская Церковь **жива**, независимо от того, дано ли ей или нѣтъ официальное право на существованіе. Недаром Н. С. Тимашев сравнивает эту Церковь с Градом Китежем, чудом спасшимся от своих преслѣдователей в час великаго испытанія родины.

Елена Извольская.

MAX M. LASERSON. The Development of Soviet Foreign Policy in Europe, 1917-1942. Carnegie Endowment for International Peace. January issue of International Conciliation.

Сборник документов по исторіи внѣшней политики сов. правительства, составленный проф. М. Лазерсоном, распадается на три части. В первой части г. Лазерсон собрал документы, объясняющіе и освѣщающіе совѣтскую политику, как-то деклараціи, рѣчи на с'ѣздах Совѣтов, на партійных с'ѣздах, на конгрессах Коминтерна и т. п. Сюда-же входят и односторонне-совѣтскіе дипломатическіе акты, конституція, нѣкоторыя ноты, адресованныя сов. правительству. Во второй части собраны договоры и соглашенія, заключенные сов. правительством. Наконец, в третью часть включены документы, относящіеся к вопросам западных границ и отношеній с западными соотѣдями в 1939-40 годах.

Трудность задачи, которая стояла перед составителем, дѣлается понятна, если принять во вниманіе поставленныя ему рамки: вся книжка имѣет около 90 страниц. Ему пришлось поэтому из горы матеріалов выбирать то, что он считал болѣе существенным, из больших докладов и договоров ему приходилось давать лишь выдержки. Это очень трудная задача, и как хорошо ее ни выполнить, элемент суб'ективизма не может не сказаться на подборѣ матеріала.

В предисловіи проф. Лазерсон дает краткое объясненіе, по каким признакам он составлял свой сборник: матеріал собран так, чтобы выяснить читателю «колебанія совѣтской политики между догмой универсальной революціи и потребностью защищать устойчивость и безопасность совѣтскаго государства». Составитель сборника не утверждает, что «догма универсальной революціи» вообще отброшена во имя «безопасности государства»; он говорит лишь о колебаніях в политикѣ. Однако, в другом мѣстѣ своего предисловія он дѣлает вывод из договоров и декларацій послѣдних, военных лѣтъ, что сов. Россія отказалась от цѣлей «универсальной революціи» — «цѣлей первых лѣтъ сов. союза». Этот довольно сложный вопрос невозможно, конечно, разрѣшить немногими фразами; онъ способен скорѣе породить недоразумѣнія. Дѣйствительно, онъ дал повод одной очень видной американской газетѣ представить работу проф. Лазерсона как доказательство, что «сов. правительство отказалось от міровой революціи»: это соотвѣтствовало в тот момент распространенной потребности в упрощенных и успокаивающих формулах.

Приводя доклад Сталина на партійном с'ѣздѣ 1934 года, г. Лазерсон опускает тѣ части доклада, гдѣ Сталин говорит о неизбѣжно-революціонных послѣдствіях будущей войны; он приводит рѣчь

Молотова от 31 августа 1939 года, но опускает его-же рѣчь от 31 октября того-же года, в которой Молотов объяснял, почему Сов. Союзу нужна «сильная Германия»; он цитирует документ о присоединеніи сов. Россіи к Атлантической Хартіи, но опускает особую декларацию Майскаго; из рѣчн Сталина от 6 ноября 1942 года он опускает и тѣ мѣста, гдѣ Сталин, скрыто полемизируя с Хартіей, отказывается присоединиться к программѣ длительного разоруженія Германіи. В исторіи 20-х годов — имѣется акт признанія де-юре со стороны Великобританіи, но нѣтъ грознаго ультиматума Керзона, и т. п. В результатѣ получается оптимистическій уклон в общей оцѣнкѣ.

Тѣм не менѣе, книга эта является очень полезным сборником документов, цѣнным справочником для журналистов и для широкой публики.

Д. Д.

MICHEL BERCHIN and ELIAHU BEN-HORIN. The Red Army. New York. W. W. Norton & Co.

В небольшом предисловіи к работѣ г.г. Берхина и Бен-Горина де-Уирд рекомендует ее, как образец объективнаго изслѣдованія вопроса о Красной арміи: как «отношеніе к національной, а не политической институціи», и как образец честнаго, внѣпартійнаго отношенія к государственному учрежденію первостепеннаго значенія. Эта характеристика правильна; авторы, дѣйствительно, поставили себѣ цѣлью дать объективное изложеніе исторіи и нынѣшняго состоянія совѣтской арміи. Книга их имѣет всѣ достоинства такого изложенія, но также и нѣкоторые недостатки, с этим неизбѣжно связанные.

Честность и объективность авторов сказалась прежде всего в том, что они сумѣли сохранить и примѣнить критицизм по отношенію к военным теоріям и организационным методам сов. правительства. Они очень далеки от моднаго сейчас слѣплаго поклоненія и огульнаго одобренія всего, что сов. правительство дѣлает в военной области. Они правильно излагают роль Троцкаго в созданіи Красной арміи, хоть это многими сейчас замалчивается; множество колебаній в вопросѣ об офицерских кадрах; вопросы наступательной и оборонительной стратегіи и др. Они рѣшительно встают против модной, но отвратительной легенды о «чистках» и полемизируют против «нѣкоторых кругов», которые «готовы не только закрыть глаза на Красный Террор, но и принять московскую версію, будто

эти старые большевики и лучшие представители сов. высшего командования были предателями и немецкими шпионами. Джозеф И. Дэвис приëмлет, повидимому, эту версию».

Авторы отвергают также концепции тѣх-же кругов, будто отсутствіе «пятой колонны» в Россіи является благотворным результатом тѣх-же чисток. Они находят, что «пятая колонна» невозможна там, гдѣ надо всѣм господствует внутренняя полиція — «Это объясняет, между прочим, и отсутствіе «пятой колонны» в Германіи. Если-б не Гестапо, Германія имѣла-бы самую большую в Европѣ «пятую колонну». Согласно информации французскаго министерства иностранных дѣл, вожди Красной арміи были вычищены за программу заговора и связанную с этим попытку внутренняго переворота; авторы приводят эту программу — в ней имѣлись, во имя повышенія боеспособности арміи — возврат крестьянам колхозной земли, ликвидация Коминтерна и т. д.

Но желая соблюсти до конца безпристрастіе и «объективность», авторы лишь очень коротко касаются больших вопросов военнаго періода. Очень мало, напр., мѣста удѣлено военным комиссарам послѣ их восстановленія в 1937 году, их отмѣнѣ в 1940 году и их роли в первые 15 мѣсяцев совѣтско-германской войны. Об этом громадном вопросѣ (он и сейчас играет роль, и послѣ сокращенія прав политработников в арміи) авторы ограничиваются замѣчаніем: «согласно мнѣнію нѣкоторых иностранных корреспондентов, комиссары оказались цѣнными в руководствѣ гражданским и партизанским сопротивленіем по ту сторону фронта».

Столь-же мало вниманія удѣлено вопросу о «національном» в арміи и об «интернаціональном». Рост націонализма представлен как непосредственный вывод из «соціализма в одной странѣ», и только. Но это вѣдь дѣла давно минувших дней; а в послѣдній, в военный період національныя настроенія и в народѣ и в арміи, раньше искусственно насаждаемыя, стали вѣдь переростать поставленные им предѣлы — и подвели вплотную к большим политическим вопросам, которых авторы не касаются однако, чтобы не выйти за рамки «объективнаго». Но вопрос о Красной арміи — вопрос сугубо-политическій, не-политическое отношеніе к нему часто бѣкаывается недостаточным.

Д. Д.

«МЕССИЯ БЕЗ НАРОДА». С. Поляков-Литовцев. Изд. «Новая Земля». Нью-Йорк, 1943.

Книга С. Полякова-Литовцева — результат серьезной работы. В нее вложено философское содержание так что ее трудно даже, собственно, отнести к чистой беллетристике, несмотря на многие внешние атрибуты романа, развитие сюжета, любовную интригу и т. п.

Автор рассматривает сложную и не совсем обыденную проблему Мессии и его взаимоотношения с народными массами. Книга написана как бы априорно: автор пришел к определенным убеждениям, которые он иллюстрирует соответствующе подобранными историческими фактами. Несмотря на обилие конкретных подробностей (вроде, например, «толстых, коротких, беспомощных» рук раввина), книга не создает впечатления непосредственной жизненности, да вряд ли это и входило в задание автора. Действующие лица ее, начертанные уверенными, умелыми штрихами, не просто люди, но символы, воплощающие известные идеи, среди событий, развивающихся соответственно заданию.

Интересно передано созрвание сознания своего мессианства в душѣ Саббатая. Очень убедительны в своей психологической правдоподобности переживания Мессии, все крепче верящего в свою избранность и затѣм внезапно теряющего эту веру. Несколько условные и безжизненные фигура невесты Мессии, «блудницы» Сарры в которой ясно просвѣчивает поставленное автором задание: Мессия должен своей святостью освятить грѣх.

Хорошо переданы мистические чаяния еврейского народа, его страстная потребность оправдания своей трагической судьбы, равно как и ожидание Мессии и затѣм нарастание веры в появившагося Мессию.

Сюжет книги взят из истории. Но автор не задается простой передачей исторических событий, для него центр тяжести лежит в их осмысливании. История говорит, что конец Саббатая, как Мессии, пришел в результате его принятия мусульманства. Интерпретация Полякова-Литовцева — иная, психологически очень любопытная: Саббатай соглашается появиться перед народом в зеленой мусульманской чалме, чтобы явить последнее доказательство своего мессианства, подлинность которого не может пошатнуть ничто. Он этим

подвергает испытанію вѣру в него народа и народ, а не он, не выдерживает испытанія.

Книга дает интересный психологическій матеріал на тему о вождѣ и народѣ.

Х. Кроткова.

«ВСТРѢЧИ». Сборник разсказов Галины Издебской.

Изданіе Об'единенія русских писателей в Нью-Йоркѣ.

И на сюжетах, и на манерѣ писанія Галины Издебской сказывается одна особенность писательницы: она почти одинаково владѣет тремя языками — польским, русским и французским. — Отсюда отпечаток интернаціональности. Это новый тип писателя, созданный условіями бѣженства.

Нетрудно понять ея міроощущеніе, выработавшееся в результатѣ жизни в условіях хронической катастрофы: зыблемость, невѣрность, неустойчивость, и наряду с этим упрямая, мистическая вѣра в невидимое, только и дающая возможность как то не погнѣнуть в окружающей фантазмагоріи.

Издебская инстинктивно выбирает отвлеченность, условный стиль. Дѣйствующія лица у нея нерѣдко носят нереальный, условный или невѣроятный характер. Это не люди, а символы: Сэр Джон, «жизнь котораго могла цѣликом вмѣститься в одну формулу: воля к обновленію»; граф Рэймонд, вся жизнь котораго предопредѣлилась раз увидѣнным — и через годы осуществившимся — сном; Человѣкъ, у котораго обмѣняли душу; юноша, до 18 лѣтъ жившій в подземельи и т. п.

Темы ея необычайны и неправдоподобны, и это также характерно. Это своего рода психологическій выход, лазейка, в которую автор спасается от дѣйствительности. В книгѣ 16 разсказов, среди которых есть, впрочем, и болѣе реалистическіе. К ним надо отнести два наиболѣе удачных разсказа: «Мечтатель» и «Крушеніе».

Извѣстная «интернаціональность» и связанная с этим безличность есть и в языкѣ Издебской. К слову она относится бережно, и недочеты языка (вродѣ названія церкви в Испаніи «костелом») рѣдки.

Романтизм в русской литературѣ имѣет иностранный привкус. То, что возможно у Виктора Гюго, такая, напримѣр, фраза, как: «Он был из людей типа трагическаго, — в самой сладкой чашѣ им

чудится вкус пепла, и счастье их похоже на смерть...» по русски не звучит.

Не связанная с реальностью, наблюдательность Г. Издебской носит характер психологической. В основѣ ея все же лежит желаніе понять окружающее.

Х. Кроткова.

ВОЙНА И МИР.

Задача выигрыша войны, безконечно сложная технически, для штабов, для вождей индустрии сравнительно проста, как заданіе политико-психологическое. Вѣрнѣе — это задача на упрощеніе. Для того, чтобы народ мог выдерживать тяжесть войны, чтобы его «мораль» не сломилась, надо, чтобы его объединяло, чтобы им владѣло одно чувство, одна воля. Это чувство должно быть простым, стихійным, элементарным. Таким простым, стихійным чувством является, прежде всего, любовь к родинѣ, воля к ея спасенію и защитѣ. Порою, как мы знаем, придумываются, для той же самой цѣли и лживыя теоріи, вродѣ гитлеровскаго «окруженія» Германіи. Еще в большей степени, Гитлер апеллирует к другим чувствам своего народа, столь же стихійным и элементарным: к чувству расоваго превосходства, к древним инстинктам захвата и завоеванія. Так или иначе, но вся нація должна быть «интегрирована», объединена. Если во время войны не забыто то, что раздѣляет, не улеглись сложныя политическія страсти, как это было во Франціи, неминуемы катастрофа и пораженіе.

Это прекрасно поняли большевики, изобрѣтатели и инициаторы методов современной соціально-психологической педагогики. Вѣроятно, именно в поисках простой и элементарной, «интегрирующей» всю націю силы, вернулись они к патріотизму и историческим традиціям. Они искали того цемента, который объединяет народы. Патріотическое воспитаніе в школах, в синематографах, в печати, соединенное со стихійным патріотизмом, вызванным чужестранным нападением, создало тот единый порыв, единый элементарный взрыв патріотизма, который спас Россію.

За послѣднее время в Америкѣ не раз поднимался вопрос о

желательности обсуждения проблем будущаго мира. Нужно ли уже теперь заняться их постановкой, планированием будущаго? Одни, как Рузвельт, именно боясь всего разлагающаго и раздѣляющаго, высказались против этого. Во время войны не нужно отвлекать вниманія от единой цѣли: побѣды. Другіе, как Вилки, за немедленную постановку проблем мира. Вѣдь, если не начать исподволь подготавливать к этим проблемам общественное мнѣніе, то ко времени, когда их поставит сама жизнь, народы, выиграв войну, снова рискуют проиграть мир, как это случилось однажды.

Опасенія, связанныя с постановкой будущих проблем кажутся не обоснованными, пока это будущее явлено нам в видѣ печатных страниц и идеологических изысканій. Оно тогда не имѣет тѣх качеств реальности, которыя однѣ и способны г л у б о к о захватывать и, значит, глубоко раздѣлять. Наоборот, такое обсужденіе скорѣе может имѣть превентивный ослабляющій характер, как прививка болѣзни посредством серума. Будущія разногласія п р и в и в а ю т с я в ослабленном, «несмертельном» видѣ. Организм націи при-выкает к ним заблаговременно.

Совсѣм другое дѣло, когда это будущее врывается в настоящее со всею острою силою реальности. Так было во время захвата союзниками Сѣверной Африки. Мы не будем говорить по существу о политикѣ союзнаго командованія (наше мнѣніе мы уже высказывали). Но кажется, что раздѣляющія человечество проблемы: проблема будущности Европы и міра, вопросы еврейскій и арабскій встали во весь свой грозный рост. Словно нестройный хаос будущаго, его противорѣчія, противоположныя страсти, мятушія людей, ворвались в стройную простоту формулы: «война до побѣднаго конца». Словно само это страшное, сложное и загадочное будущее заглянуло в глаза настоящему.

Еще боѣ рѣзким диссонансом (по крайней мѣрѣ на наш слух) ворвались в цѣльность лозунга «все для побѣды» нѣкоторыя выступленія Совѣтскаго правительства.

Трудно судить о мотивах этих выступленій. Они рѣдко диктуются чувством, почти никогда не бывают импульсивны. Для чего, для каких цѣлей нужны были эти ноты (не примите за плохой

каламбур) раз'единенія и раздора? Очевидно, в Москвѣ чувствуют себя сильными, если об'явили о преступном убійствѣ Эрлиха и Альтера, если так рѣзко, ребром поставили вопрос о границах, и т. д.

В дипломатических переговорах эти вопросы стояли уже давно. Теперь их вынесли на площадь. С прїездом Идена в Америку повидимому связанным с ними, совпало опубликованіе в лондонском «Таймсѣ» сенсаціонной статьи, от солидарности с которой англійское правительство отказалось. Но такіа полуофіціальныя статьи во вліятельных органах печати бывають иногда правдивѣе офіціальных заявленій или им предшествуют (как статьи Бартеlemi в «Тан» предварили Мюнхен). «Таймс» стоит за союз с Россіей в о ч т о б ы т о н и с т а л о и за раздѣл с ней, если не міра, то сфер вліянія в Европѣ. Почти такой же раздѣл, какой предлагал Англїи Гитлер и от котораго она твердо отказалась. Может быть, именно зная, как настроена Англїя, Москва и рѣшилась «играть в открытую», не обращая вниманія на то, что Америка, и ея правительство и ея общественное мнѣніе, настроены иначе.

Любопытно отмѣтить это различіе между двумя англо-саксонскими странами, об'ясняемое, вѣроятно, прежде всего географіей: чѣм ближе к «опасной зонѣ» войны, тѣм больше реализма в подходѣ к проблемам мира; чѣм дальше, тѣм больше интереса к идеям и принципам мира. Однако отношеніе Англїи к совѣтской Россїи не нужно представлять себѣ, как основанное исключительно на разумном разсчетѣ. Как извѣстно, у англичан нерѣдко эгоистическій разсчет сливается с инстинктом и моральным чувством, что придает этой амальгамѣ большую силу. Отношеніе к Россїи у англичан основано на чувствѣ или переживанїи, одном из тѣх простых и сильных переживаній, которыя врѣзываются в память народов, входят в их плоть и кровь. Чтобы вполне понять его, надо вспомнить, в каком положенїи была Англїя наканунѣ 22 іюня 1941 года. В недавно вышедшей чрезвычайно интересной книгѣ Винцента Шина «Между солнцем и грозой» очень живо передано душевное состояніе англичан послѣ зимы «блитца», который они с таким мужеством выдержали. По его наблюденіям, два мѣсяца перед нападеніем Гитлера на Россїю были самой низкою точкою в британской «морали». Америка была

далека, вступленіе ея в войну проблематично, от Россіи не ждали ничего хорошаго и сэр Стеффорд Криппс должен был вернуться из Москвы без каких-либо ошутительных результатов своей работы. Впереди, казалось, лежала долгая полоса новых и худших бомбардировок, новых военных неудач без всякаго просвѣта. Нервы у всѣх были натянуты, всѣ были утомлены, может быть, отчасти и вслѣдствіи недоѣданія. Никто не видѣл, **как** можно выиграть войну. Из безнадежности вывела англійскій народ Россія и ея героическое сопротивленіе. Немудрено, что чувство благодарности, восхищенія, союзнической солидарности охватило всю страну, правых и лѣвых, лордов и рабочих, причем Англія, повидимому, не отдѣляет русскаго народа от его правительства и вождя. Вѣроятно, именно вслѣдствіе таких настроеній англичане не нуждаются для закрѣпленія своих просовѣтских чувств ни в какой пропагандѣ. Жизнь сильнѣе всякой пропаганды. Фикціи и официальная ложь не нужны там, гдѣ довольно правды и реальности.

Этого не было в Америкѣ. Несомнѣнно и здѣсь понимают значеніе русскаго сопротивленія. Однако здѣсь это скорѣе пониманіе, чѣм переживаніе. Хотя на Америку напала Японія, хотя ей об'явила войну «Ось», и хотя задолго до этого американскому общественному мнѣнію внушали, что родина в опасности, но тысячи миль водной поверхности сильнѣе аргументов, даже самых разумных. Изоляціонизм как настроеніе был силен в американских массах. Нам кажется, что Америка вошла в войну с инстинктивным чувством, аналогичным тому, с которым она вступила в первую міровую войну, с чувством, **что она** спасает Европу, демократію, Россію... Мы не ставим тут вопроса, правильно ли такое чувство, но отмѣчаем психологію, как она нам представляется.

При таких настроеніях рядом с элементарным чувством патріотизма, защиты родины, выступают на первый план иные, болѣе сложные мотивы. Американцы, которых обыкновенно упрекают в излишнем практицизмѣ, оказываются чувствительнѣе к принципам, на которых будет строиться будущая Европа, чѣм сами европейцы. Американское общественное мнѣніе хочет твердо знать, во имя чего идет борьба. И тогда неизбежно вскрывается основное противорѣчіе

этой войны, войны за демократію в союзѣ с т о т а л и т а р н ы м государством. Тут-то и является необходимость в пропагандѣ. Советскую Россію об'являют демократіей как бы *homois causa*. Каждая пропаганда таит в себѣ дозу лжи и как бы имѣет на это право. Тут она этим «правом» и злоупотребляет. В слишком больших количествах ложь — опасный союзник, особенно в свободной странѣ, гдѣ правдѣ нельзя просто заклепать рот, об'явив ее «пятой колонной»... Тѣм болѣе не понятно, когда эффективность своей собственной пропаганды нарушают сами же пропагандисты. Это может принести разочарованіе и отрезвленіе. А за разочарованіем может подняться новая волна изоляціонизма. Если американскій народ почувствует, что его жертвы напрасны, он может снова отвернуться от Европы, снова замкнуться в свою океанскую «скорлупу».

Скрывать это не нужно и бесполезно: перед нами два «міра», и то и дѣло вскрываются глубокія между ними противорѣчія. Невольно является вопрос, как же эти противорѣчія изживутся послѣ войны, какія отношенія сложатся между этими «мірами»? Эти проблемы в историко-философском аспектѣ поставили статьи Г. П. Федотова «Новое Отечество» и «Загадки Россіи» и в аспектѣ практическом статья М. В. Вишняка в этой книгѣ «Новаго Журнала». Однако всякое констатированіе этого факта, теперь, когда вице-президент Соед. Штатов Уоллес произнес слово «третья война», пугает и волнует читательское воображеніе. Многим уже рисуется ужасная перспектива новаго столкновенія «міров», новой человеческой бойни, еще болѣе ужасной. — Не захотят ли демократіи принести на остріѣ меча свободу Россіи, или Россія ввести коммунизм в демократических странах. Иным может померещиться даже та нынѣ полузабытая, полуполегендарная «интервенція», которую пробовали провести союзники послѣ первой міровой войны.

Не будем напоминать подробно об этой интервенціи послѣ Октября. Вначалѣ она была попыткой не дать распасться «второму фронту», который был необходим союзникам в Россіи, не дать ей выйти из войны. Когда война кончилась, она превратилась в чаклую и слабую попытку дѣйствительной интервенціи, которая была быстро ликвидирована. Разумѣется, попытка вмѣшательства, не удавшаяся

по отношенію к неокрѣпшей еще послѣ революціи Совѣтской Россіи, совершенно немислима по отношенію к нынѣшнему колоссу. Теперь уж можно было бы скорѣе опасаться обратной «интервенціи» Совѣтов в дѣла своих сосѣдей. Признаки этого как будто имѣются. Здѣсь за границей нѣкоторые русскіе публицисты ищут для нея теоретическаго обоснованія в новом «правѣ» больших государств одобрять и «принимать» состав правительств сосѣдних стран, якобы в благодарность за тяжелую обязанность защиты мира. Эта теорія подозрительно напоминает теорію «жизненнаго пространства». Гитлер, быть может, не затѣял бы войны, если бы ему предоставили такое «право» сажать дружественныя правительства в Польшѣ, Чехословакии и других сосѣдних странах. Тѣм же «правом» руководилась и Екатерина II перед раздѣлом Польши.

Теперь попытка «интервенціи» во внутреннія дѣла Россіи возможна была бы только в формѣ большой войны. Едва ли есть на свѣтѣ политическій дѣятель достаточно безумный, чтобы ея желать. Во всяком случаѣ в демократическом лагерѣ нѣтъ ни одного такого политическаго дѣятеля. Достаточно ясно, что міровая война № 3 привела бы к окончательной гибели нашу, уже шатающуюся, цивилизацію. Самый худой мир лучше такой ссоры. К счастью, она не только не желательна, но и невозможна. Трудно вообразить себѣ не только в свободных странах, но и в совѣтской Россіи армію, которая пошла бы на такое нападеніе. Для этого предварительно еще какая либо из міровых держав должна была бы превратиться в фашистскую диктатуру агрессивнаго, нѣмецкаго типа.

Если бы замѣчаніе М. В. Вишняка относительно будущности Совѣтской Россіи, что «практически руководящим являетѣя не то, что может быть и что желательно, а то что есть и, вѣроятнѣе всего будет» примѣнить к ея будущему международному положенію, — то можно до нѣкоторой степени вѣроятности расцѣнить шансы этого будущаго. Вѣдь за нами уже двадцатипятилѣтній опыт того, что б ы л о, опыт сосуществованія двух теоретически несовмѣстных «міров». Это были 25 лѣтъ дурнаго, очень дурнаго мира, с промежутками нѣкотораго сближенія, как вступленіе СССР в Лигу Націй и литвиновская политика коллективной безопасности, сопровождае-

мая (на бумагѣ) сталинской конституціей. Мир сохранится, но будет ли он по новому «хорошим» или по старому «дурным» миром? Шансы на хорошей мир несомнѣнно имѣются: недаром наперекор людской волѣ и разсчетам исторія связала демократіи и Россію в общей борьбѣ. Такой мир открывал бы путь к подлинному расцвѣту культуры. Однако вѣроятнѣе всего, что в новых формах будет продолжаться «дурной мир». Ничего заманчиваго тут нѣтъ. В течение десятилѣтій (исторія не торопится) будут как-то изживаться и смалываться противорѣчія. Как — мы не можем предвидѣть. Мы увидим, быть может, полукommунистическія и полудемократическія государства, увидим, может быть, и новыя еще не бывшія формы человѣческаго общежитія. Сегодня нам будет казаться, что мир идет к сближенію, завтра — к катастрофѣ. Надежда будет смѣняться отчаяніем, но и отчаяніе — надеждой.

Теперь телеграф принес нам неожиданную новость. Сталин росчерком пера уничтожил дѣло Ленина, душу и символ коммунизма, Коминтерн. Трудно судить, каково будет реальное значеніе этой мѣры, но едва ли оно будет велико. Коминтерн давно не играл уже большой практической роли. Но значеніе пропагандистское этой отмѣны очень значительно, как в области союзническаго общественнаго мнѣнія, так и среди нейтральных и в самой Россіи. Лживая пропаганда Геббельса получила сокрушительный удар. Еще больше значеніе этой мѣры, как символа и признака. Очевидно, в Москвѣ поняли послѣднія свои ошибки. Зигзаг московской политики направлен снова к сближенію с союзниками. В той дилеммѣ, которую ставит Г. П. Федотов: хочет ли Сталин быть продолжителем Ленина или новым Иваном Калитой, приобретает большую вѣроятность послѣднее. Как ни слаба наша надежда, все же полоска синяго неба стала чуть чуть шире.

Ц.

ПОД ПРОЖЕКТОРОМ ВОИНЫ

Представленія о прошлом покоятся на изученіи фактов, мнѣнія современников о настоящем и близком будущем часто складываются из впечатлѣній, не всегда поддающихся контролю сознания; о таких впечатлѣніях принято говорить: «это носится в воздухѣ». К числу их относится широко распространенное, хотя и смутное ощущеніе, что Совѣтская Россія выйдет из страшной войны не такой, какой она в нее вошла.

Среди фактов, питающих это чувство, темы совѣтскаго искусства, его внутренняя настроенность сейчас играют видную роль. До нынѣшней войны приходилось постоянно слышать, что 25 лѣт русской революціи радикально измѣнили страну и людей Совѣтскаго Союза, что за это время там выросло поколѣніе, ничего не знающее о дореволюціонной Россіи и — в свою очередь — непонятное и чуждое интеллигенту дореволюціонной формации.

Страшная война ежедневно разрушает это укоренившееся было представленіе. В зловѣщем заревѣ военных пожаров люди, даже давно уѣхавшіе из Россіи и знакомящіеся с ней по совѣтским фильмам, по репродукціи картин совѣтских художников (см. репродукціи картин М. Мобышева, А. Лаптева, В. Мѣшкова и др.), сразу узнают свое, неповторимое, родное небо, а под ним, тоже неповторимый, с дѣтства запомнившійся ландшафт. Новыя индустріальныя детали в этом ландшафтѣ схватываются почти так же, как схватываешь на дворѣ родительскаго дома новый сарай: его видишь сразу, его выдѣляешь, но трава вокруг него — та же и тѣ же деревья у тына, развѣ вот только бузина разрослась. Но больше всего волнует в этих встрѣчах — люди. Их «узнаешь» тоже сразу. В быстротѣ этого узнаванья не послѣднюю роль играет — увы! — нищета их одежды, она, вѣдь, тоже давнишняя знакомая...

Но настоящія «открытія» дѣлают не столько люди, давно уѣхавшіе из Россіи, сколько тѣ, кто никуда оттуда не уѣзжал. Эти открытія не только интересны, но и знаменательны.

Престарѣлая артистка и депутат Верховнаго Совѣта **Е. Корчагина-Александровская**, эвакуированная вмѣстѣ с Ленинградским Гос. театром в Новосибирск, пишет в статьѣ «Сердце Сибири» («Литература и Искусство», июнь 1942 г.):

«Прожитый год обогатил каждаго из нас небывалым жизненным опытом. Сколько пришлось переживать, сколько обстоятельств осмыслить и глубоко переоцѣнить.

«Что знали мы, напримѣр, о Сибири — давнишней, дореволюционной, да и нашей, совѣтской?» Вспоминая реплику старой революционерки Клары из пьесы Афиногенова «Страх» о том, что до Средне-Колымска было будто бы восемь лѣтъ пѣшаго хождения, Корчагина прибавляет:

«Стыдно признаться, но еще недавно подлинная Сибирь осталась от нас в таком же отдаленіи». Как артисткѣ и депутату Верховнаго Совѣта Корчагиной приходится общаться с самыми разнообразными людьми:

«Какой это кряжистый, широкоплечій народ с широкой душой и горячим сердцем. И поневолѣ возникает вопрос: Что же сказало совѣтское искусство народу о нашей Сибири? Что значительнаго создано в нашей литературѣ об этом богатырском краѣ? Как раскрыла совѣтская живопись и графика мощную красоту его природы? Какіе человѣческіе характеры изваяли совѣтскіе драматурги, какіе образы сибиряков увѣковѣчили они в своих пьесах? Это вопрос-требованіе, с которым я мысленно обращаюсь к нашим общепризнанным мастерам слова — к писателям драматургам, художникам самой Сибири... Меня волнует вопрос, почему ими до сих пор не созданы произведенія, которыя выдвинули бы какого-нибудь сибирскаго писателя хотя бы на мѣсто, которое в старой русской литературѣ занимали Мамин-Сибиряк и народник Наумов, сумѣвшіе сдѣлать сибирскую тему, сибирскіе сюжеты общим достояніем всей нашей русской литературы»...

В статьѣ «Облик Родины» («Литература и Искусство», от 12 марта с. г.) художник **Б. Югансон** дѣлится с читателем впечатлѣніями и мыслями, навѣянными жизнью в Молотовѣ (б. Пермь):

«Никогда не забыть дней, когда война заставила меня, покинув

Москву, отправиться в далекий и незнакомый Молотов. Мы добирались пароходом, и меня потрясла необычайная красота Камы... И вот Молотов. Я долго ходил по городу, жадно впитывал неповторимое очарование старой русской провинции — кусочки древней Перми, еще сохранившиеся среди нового и молодого: высокая набережная, собор, тихія прямые улицы и такіе уютные двухэтажные домики, иногда с мезонином. Как много говорят они сердцу русского человека зимой, когда снѣг громадными шапками нависает с их крыш!». Красота старой русской городской провинции как-то внезапно раскрылась перед Югансоном и он с недобрим чувством поминает «урбанистскій период градостроительства», гигантскіе дома-коробки Ле-Корбюзье, прибавляя: «Наши архитекторы до сих пор не нашли еще таких форм и средств выраженія, которые воплотив новое, данное временем, сохранили бы связь с тѣм, что складывалось столѣтіями и несет на себѣ отпечаток національной культуры, что объединяет архитектуру с людьми, с природой». Он горячо совѣтует братьям-художникам использовать невольное пребываніе в русской провинции, вспоминая Кустодіева, годами жившаго на Волгѣ и в Астрахани. Чтобы так рисовать, как рисовал Кустодіев — говорит он — недостаточно бѣглого знакомства, надо внутренне сблизиться с людьми, населяющими эту провинцію.

Близки по настроенію, хотя и касаются другой области искусства — литературы — впечатлѣнія от Урала Ленинградскаго писателя **Мих. Слонимскаго:**

«На Уралѣ — золотыя россыпи языка, богатаго, как здѣшняя земля, поражающаго своеобразіем и прелестью. Старый язык принимает новыя слова с осмотрительностью и осторожностью уральца, не сразу раскрывающаго дружескія объятія пріѣзжему». «Коренные уральцы — замѣчает писатель — сами говорят про себя: «Мы — черствые, жестокіе, грубые». Вот почему Слонимскій рекомендует писателям, которые возьмутся за тему Урала, вдумчивый и осторожный подход: «Если тему Урала подсахарить — она погибнет, из нее уйдет реальный Урал... Трезвый Урал не любит сентиментальности. Здѣсь нужна рѣзкость и ясность в изображеніи, точность и **глубина правды.**»

Не только старинные города Урала, но и маленькіе тихіе города центральной Россіи, послѣ четверть-вѣкового забвенія, вдруг попали на глаза совѣтским писателям, публицистам, поэтам. Эти «открытія» сдѣланы отнюдь не по заказу. В этом убѣждает внутреннее звучаніе фразы, теплота стиха. Так в стихотвореніи «Калуга», описывая взятіе Красной Армией обратно этого города, молодая поэтесса **Маргарита Алигер** говорит:

«Голубое, как дѣтскій гостинец
Люди небо увидѣли вдруг.
Шел в строю молодой пѣхотинец
Он глядѣл точно видѣл впервые, —
Вот какіе они, земляки.
Зипуны, кацавейки худыя,
Постарѣвшіе бабы платки»...

Пожалуй только **А. Ахматовой**, почти 20 лѣт молчавшей, не пришлось пересматривать своих творческих установок. Она подошла к нынѣшнему молодому хору поэтов и заговорила своим прежним, негромким, но запоминающимся поэтическим голосом:

Наступленіе

«Славно начато славное дѣло
В грозном грохотѣ, в снѣжной пыли,
Гдѣ томится пречистое тѣло
Оскверненной врагами земли.
К нам оттуда родныя березы
Тянут вѣтки и ждут и зовут
И могучіе дѣды-морозы
С нами сомкнутым строем идут».

(«Красная Новь», № 3-4, 1942 г.).

Особенно замѣтны происшедшіе под влияніем войны, но созрѣвшіе задолго до ее начала, сдвиги в музыкѣ, вѣрнѣе в области теоріи музыки. Смерть **С. В. Рахманинова** вызвала горячій отклик в сердцах совѣтских музыкантов. **Р. Глієр** посвятил великому художнику статью в «Извѣстіях» (31-го марта):

«Широта и об'ем музыкальнаго творчества С. В. Рахманинова, мелодическія сокровища, которыя им найдены и которыя роднят его с Чайковским, могли развиваться исключительно на почвѣ русской національной музыки. Это заслуженно ставит Рахманинова в ряды великих русских композиторов... Умер композитор, творчество котораго составляет значительный этап развитія музыкальной мысли. Значеніе Рахманинова для русской и міровой музыки, его роль и творческое вліяніе таковы, что он может быть поставлен в ряд классиков русской національной музыки».

Глубже, задушевнѣе отклик на смерть Рахманинова **Игоря Глѣбова** (под этим именем пишет свои работы по теоріи музыки извѣстный композитор **Б. Асафьев**). Воздавая должное міровому пианисту, гениальной интерпретаціи гениев міровой музыки, Игорь Глѣбов особенно подробно останавливается на Рахманиновѣ-композиторѣ:

«...Когда он (т. е. Рахманинов) раскрывал интонаціонную дѣйствительность своей музыки, исполняя свои произведенія, эмоциональный тонус этой музыки возвышался до великолѣпнаго ораторскаго пафоса. В планѣ русской поэтической культуры — я бы сказал — Рахманинов поднимался до блестящих контрастных образов Державинских од — 'искусства метанія звуками', как выраженія безмѣрнаго богатства откликов челоуѣческаго сердца на жизнь и как художественнаго 'формированія' игры страстей. Именно собственная музыка Рахманинова, особенно в ея образах, сопряженных с широко развитой формой русскаго фортепяннаго концерта, представляла его исполнительскому ораторскому воображенію и мастерству широкое поле дѣйствія. 'Львиный пианизм' Антона Рубинштейна нашел в лицѣ Рахманинова умнаго и пламеннаго продолжателя. От нѣжнѣйших лирических воспѣваній прекрасных мгновений жизни (знаменитые рахманиновскіе музыкальные 'моменты статики' — долго длыащагося созерцанія, когда кажется, что музыка — словно остановившійся поток или чуть колышущаяся озерная гладь) до бурнаго рокота страстных волнующих 'гамм' гнѣва, негодованія, восторженнаго под'ема, праздничнаго ликованія, 'звонов радости' и 'сумрачных перезвонов,' — то вздымает, то опускает, баюкая эмоціи слушателей композитор-пианист...

«Мѣсто, занимаемое музыкой Рахманинова в созданіи русской мелодійной культуры, основанной на правдивости интонаціоннаго содержанія, весьма значительно, и тут он сближается с лучшими сторонами **русскаго художественнаго реализма** (Чехов), в оперном театрѣ (как он создавался Мамонтовым), в драматическом театрѣ (Станиславскій) и даже в 'мелодикѣ' настроеній русскаго музыкально-выразительнаго пейзажа той же эпохи (Левитан, Нестеров, Остроухов, а также Рылов)».

Не желая «дѣлать музыкально-цѣльное явленіе», каким был Рахманинов, на составные элементы, Глѣбов подчеркивает, что искусство Рахманинова выросло «из эпохи борьбы за національно-народныя свойства русскаго искусства, борьбы как против безоглядно-подражательнаго западничества, так и против 'варварскаго черносотенства', борьбы **за художественную самостоятельность на основѣ общечеловѣческой демократической культуры и просвѣщенства**».

Только одно мѣсто в этом горячем, искреннем откликѣ звучит натянуто: там, гдѣ автор говорит о годах жизни Рахманинова за границей, когда «казалось порой, что уже порвались нити, связывающія его с Россіей». Но «в грозную для родной земли годину войны в душѣ композитора ярко зажглось пламя патриотических чувств». «Воля к жизни и радости вновь привела Рахманинова к родинѣ, и родина сохранит его образ **поэта музыки** и даст его творчеству долгую и прекрасную жизнь в памяти великаго народа». Нам кажется, что в дѣйствительности геніальный поэт музыки» ни на минуту не порывал связи со своей музыкальной родиной — русским народом, со страстной неутомимостью воплощая и интерпретируя бессмертный мелос этого народа...

Вѣра Александрова.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ЗАМѢТКИ.

Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942).

Как-то прошла незамѣченной в зарубежной печати смерть замѣчательнаго русскаго художника, Михаила Васильевича Нестерова, скончавшагося в Москвѣ 18 октября 1942 года.

«Малая Совѣтская Энциклопедія» 1930 года характеризует Нестерова, как «художника, стремившагося передать якобы присущую русскому народу «святость» и выражавшему в своей живописи реакціонно-націоналистическія настроенія буржуазной интеллигенціи». Но уже в 1939 году «Большая Совѣтская энциклопедія» причисляет Нестерова к **«выдающимся совѣтским художникам»**.

Нестеров, конечно, ни в какой мѣрѣ не совѣтскій художник. Он родился в Уфѣ в культурной и религіозной русской семьѣ. Влеченіе к живописи проявилось у него очень рано. В московском Училищѣ Ваянія и Зодчества, гдѣ Нестеров начал впервые серьезно учиться живописи, царил в то время Перов, Там же Нестеров сблизился с Левитаном. Послѣ смерти Перова он учится в Петербургѣ у Крамского и в 1886 году в Москвѣ получает званіе «класснаго художника» и серебряную медаль за картину «До Государя челобитчики».

Смерть любимой жены производит громадный переворот в душевной жизни художника. Нестеров возвращается на родину в Уфу и начинает работать на путях религіозной живописи.

«Христова Невѣста» приковывает к себѣ всеобщее вниманіе своим молитвенным настроеніем и тѣм особым типом «нестеровской женщины», который создаст впослѣдствіи славу художнику.

В 1889 году Нестеров дебютирует на Передвижной выставкѣ двумя картинами, которыя становятся извѣстными всей Россіи: «Видѣніе отрока Варфоломея» и «Пустынный». Полные очарозанія русскіе пейзажи этих двух картин, смиренный экстаз прекраснаго юноши перед являющимся ему видѣніем, скит и святые старцы, впервые появляющіеся в русской живописи, произвели громадное впечатлѣніе. Нестерову предлагают принять участіе в росписи собора Св. Владиміра в Кіевѣ. Он соглашается, но ѣдет предварительно за-границу познакомиться с западной церковной живописью.

В соборѣ св. Владиміра Нестеров работает с 1890 г. по 1893 г. Кисти Васнецова и Нестерова принадлежат здѣсь многочисленныя росписи. Не все удалось ему, — изображенія нѣкоторых святых слишком слащавы. Но слава Нестерова гремит по всей Россіи. В 1898 году его избирают в Академію, и в том же году цесаревич приглашает его для разрисовки храма в Абастуманѣ.

Работы в этом храмѣ заняли у Нестерова пять лѣтъ. Здѣсь им написано около пятидесяти композицій. Но святые Грузин не находят отклика в его русской душѣ. «Все это непрочувствовано, слишком обдуманно, дѣльно скомпановано, холодно приподнято», писал об этих фресках Муратов.

Сам Нестеров тоже впоследствии отзывался о них весьма критически. Вообще работы по официальным заказам, на заданныя темы, без религиознаго порыва, лишь отвлекали его от того, что ему было предназначено: быть художником чисто русских упований, которыя он впитал с молоком матери.

В концѣ девяностых годов появляются «Великій Постриг», «На горах», «Св. Димитрій, Царевич Убиенный», а в началѣ девяностых — нашумѣвшая картина «Святая Русь». Эта картина поразила многих своей нескладностью: Христос, низошедшій на русскую землю — какой-то чужой и холодный; старцы же и калѣки, устремившіеся к нему, — свои, живые русскіе люди; чудесный русскій пейзаж, — и невѣрная перспектива; порыв, и в то же время трафарет. Это с огорченіем отмѣчают Розанов, Грабарь, Муратов. Но вот в 1906 году Нестеров рисует эскиз из «Житія Св. Симеона Верхотурскаго», и от картины вѣет подлинным религиозным вдохновеніем. Вот гдѣ его стихія! Говоря словами Розанова: «он вынимает из сердца русскаго челоуѣка молитву и облекает ее в краски».

Имя его навсегда останется связанным с міром тѣнистых русских лѣсов и тихой молитвы у чистаго ключа.

Годы, прожитые Нестеровым в Россіи послѣ революціи, отвлекли его в сторону портрета. В 1928 г. он пишет изумительный автопортрет во весь рост. А в 1932 году начинает серію портретов совѣтских дѣятелей! Какую трагедію ему пришлось пережить, мы не знаем.

ВЫСТАВКИ.

Этой зимой выставка картин в нью-іоркском «Мэтрополитэн Мюзеем» под лозунгом «Артистс фор Виктори» отобрала из четырнадцати тысяч присланных вещей 532 картины, 305 скульптур и 581 гравюру. Количество всегда находится в нѣкотором противорѣчій

с качеством; даже нѣсколько хороших произведеній затерялись в этой массѣ.

Нью-Йоркскій «Музей Современнаго Искусства» тоже устроил этой зимой двѣ выставки на политическія темы: выставку плакатов «Об'единенных Націй» и выставку военных афиш. На обѣих выставках оказалось много графаретнаго: голуби мира, флаги всѣх республик, цѣпи, связывающіе континенты, и т. п. Искусство афиши, блестяще представленное во Франціи, здѣсь еще ищет своих путей. Один из первых призов был присужден художнику Колеру за плакат с огромным зеленоватым лицом нѣмецкаго офицера, в моноклѣ котораго отражается висѣлица! Сеймур Фогель получил награду за плакат с голодным полуголым ребенком...

На очереди дня — интерес к республикам Южной Америки. Филадельфійскій музей организовал большую выставку мексиканскаго искусства. Бруклинскій музей — выставку акварелей, нью-йоркскій «Музей Совр. Искусства» — выставку латино-американских художников. На послѣдней представлено десять стран и около трехсот произведеній, которыя с неутомимой энергіей собирал один из инициаторов этой выставки, Линкольн Кирштейн.

Лучше других представлена Мексика. Хозе Клементе Орозко специализировался на фресках. Орозко — испанец, бунтарь в живописи и революціонер в жизни. Его картины и фрески насыщены социальным содержаніем. В прекрасной техникѣ, строгой планировкѣ элементов картины, оригинальной оркестровкѣ красок видны черты подлиннаго художника. К его лучшим вещам на выставкѣ надо отнести картину «Запастисты» (1931 г.), оригинальной «южной» раскраски и особаго распредѣленія в пространствѣ движущихся фигур.

Другой выдающійся мексиканскій художник Діего Ривера много ѣздил по Европѣ, страстно увлекался там Сезанном, побывал в Россіи; но он не столь революціонно настроен, как Орозко (говорят, он был исключен из коммунистической партіи по настоянію Москвы), у него гораздо больше національных мотивов и фольклора. К его лучшим картинам на выставкѣ надо отнести «Праздник цвѣтов» и фигуру Запаты, опирающагося на великолѣпную бѣлую лошадь.

Отличным художником обнаружил себя и Сикерос, тоже весьма

бурный мексиканец. От картин его, насыщенных трагическим содержанием, с фигурами и людьми ненормально больших размѣров, зрителю стновится как-то не по себѣ.

Бразилія представлена Кандидо Портинари. Он сын итальянских рабочих, упорным трудом добившійся художественнаго образования и признанія. Плодовит и многообразен. Это первый художник в Бразиліи, рѣшившійся рисовать простых рабочих, негров. Одна из этих картин — «Морера» — была на выставкѣ.

В живописи других южно-американских стран трудно пока найти большія достижения. Много примитивов. Кое-что привлекает своей непосредственностью и свѣжестью. Среди художников Аргентины отмѣтим Гидо. Интересен Пелаез (Куба), чья «Игра в карты» нарисована четкими линіями, напоминающими Пикассо. Выдѣляется Ариза (Колумбія) и Уратега (Перу).

В отдѣлѣ скульптуры привлекал вниманіе вырѣзанный из дерева, выше человеческого роста Христос, изгоняющій торгашей и мѣнял из Храма. Мѣткій и сильный рѣзец этой вещи принадлежит бразильской скульпторшѣ Марія.

Вѣра Коварская.

«МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ СОВѢТСКОЙ РОССІИ». Изданіе «Об'ед. Русских Писателей в Нью-Йоркѣ». Цѣна 1 долл.

Эта небольшая антологія совѣтских поэтов не претендует на то, чтобы дать полную картину современной совѣтской поэзии в лучших ея образцах. В эмиграціи, да еще в условіях военного времени, это задача невыполнимая. Заграницу доходят далеко не всѣ книги, да и тѣ, что доходят, представляют собой довольно случайный подбор.

И все же нельзя не отмѣтить произвольности в отборѣ стихотвореній даннаго сборника.

В сборникѣ есть нѣсколько имен, не вызывающих никаких сомнѣній в своей значительности: М. Исаковскій, А. Сурков, А. Твардовскій, Маргарита Алигер (надо отмѣтить, что им отведено больше

вниманія, чѣм остальным). Затѣм имѣются произведенія интересныя, иногда — характерныя для совѣтской поэзіи. Кромѣ того имѣется и случайный матеріал, не вполне ясно, почему вошедшій в сборник.

М. Исаковскій очень популярен на родинѣ, в частности, как автор пѣсен, распѣваемых повсюду. Достаточно сказать, что он написал слова таких популярных, уже ставших почти народными пѣсен, как «Дайте в руки мнѣ гармонию», «Кто его знает» и др. Стихи А. Суркова относятся к лучшему, что о войнѣ было написано. Глубоко-значительные по содержанію, лаконичные и хорошо сдѣланные по формѣ, они нѣсколькими строчками говорят больше, чѣм многія книги. Замѣчательный поэт А. Твардовскій к сожалѣнію представлен в сборникѣ недостаточно ярко.

Слѣдует отмѣтить «Зодчих» Дм. Кедрина, написанных на историческую тему, о постройкѣ для Іоанна Грознаго двумя владимірскими зодчими церкви Покрова в Москвѣ, слегка архаическим, стильным языком, — литературных потомков «Василія Шибанова» и других «русских» произведеній Алексѣя Толстого:

— Смерды! Можете ль церкву сложить иноземных пригожѣй?
Чтоб была благолѣпнѣй заморских церквей, говорю?

И трягнув волосами отвѣтили зодчіе: — Можем!

Прикажи, государь! и ударились в ноги царю.

Большая часть стихотвореній в сборникѣ — о войнѣ. Совѣтскіе поэты всѣ пишут о ней, она всѣх их задѣвает за живое. Сборник дает об этом представленіе, и этого вполне достаточно для того, чтобы вызвать интерес читателя.

Х. К.

КНИГА М. О. ЦЕТЛИНА.

Принимается подписка на книгу М. О. Цетлина, выходящую в изданіи «Новаго Журнала», «Пятеро и другіе» (Могучая Кучка), посвященную жизни великих русских композиторов. Только нѣсколько отдѣльных глав книги были напечатаны в журналѣ.

Цѣна книги по предварительной подпискѣ 1.75 долл. В отдѣльной продажѣ 2.25 долл. В книгѣ около 350 страниц.

50 экземпляров на особой бумагѣ нумерованы и парафрованы автором. Цѣна в переплетѣ 5 долл.

Деньги (чеком или моней ордер) просят направлять по адресу редакціи «Новаго Журнала».

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Литературно-политическое издание, выходящее раз в
три мѣсяца.



Цѣна книги по предварительной подпискѣ — 1 долл.
50 центов; цѣна трех книг — 4 доллара. В розничной
продажѣ книга стоит 2 доллара.

Адрес редакціи:

Mrs. M. E. Zetlin, 267 W. 70th St., N. Y. C., 23, N. Y.

Tel: ENdicott 2-9893

Там же принимается подписка.
